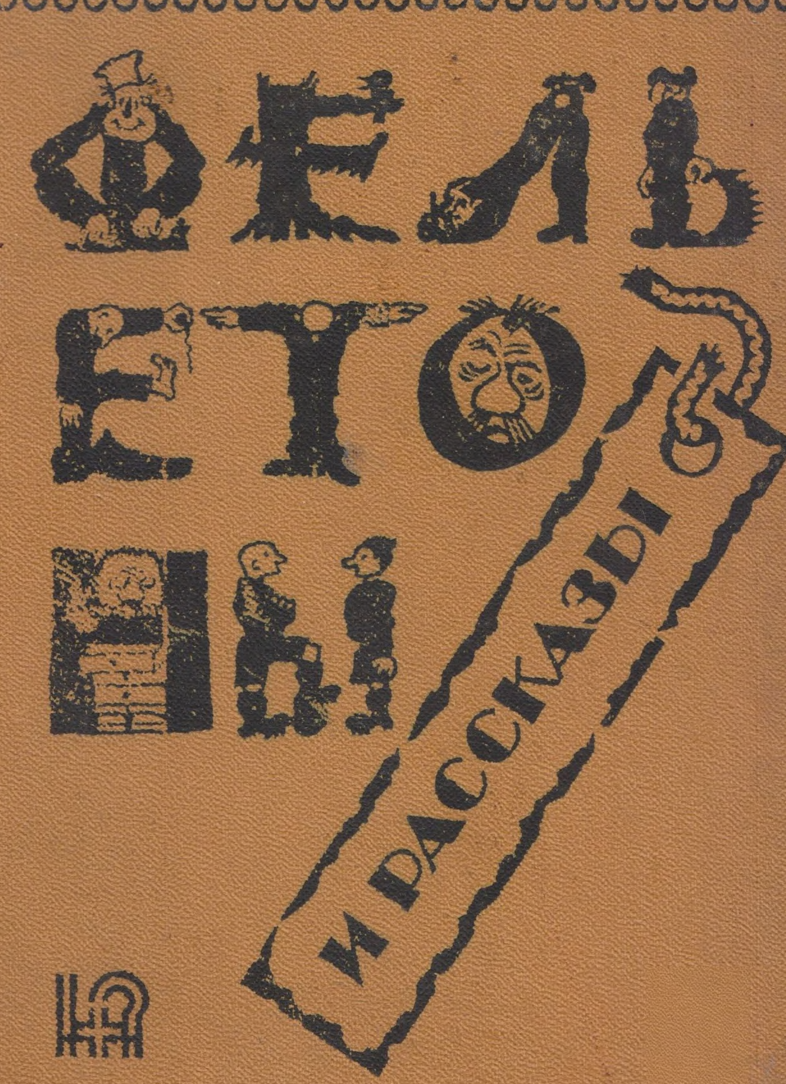
М. Кольцов



М. Кольцов

М.Кольцов

Фельетоны и рассказы



Надо уметь находить, отличать, беречь настоящего маленького строителя социализма. Надо поменьше швырять его, поменьше сбивать с толку. Он чаще всего – однолюб: осуществляет свое участие в великой перестройке через какое-нибудь одно близкое, понятное, зажигающее его дело. С этим надо считаться.







...Я чувствую себя легко у людского жилья, там, где народ, где слышны голоса, где пахнет дымом очагов, где строят, борются и любят. Я себя чувствую всегда в строю. Я себя чувствую всегда на службе. Отличное чувство...

М. Кольцов



М. Кольцов



Фельетоны и рассказы

Михаил Кольцов

Пермское
книжное
издательство
1987

ББК 84.Р7-4
К62

Художники:
В. Крючков,
А. Рюмин

Печатается по изданиям:
Кольцов М. Избр. произв.: В 3 т. —М., 1957; Кольцов М. Фельетоны и очерки. — М., 1956.

В книге использована газетная и журнальная графика 20—30-х годов.

К $\frac{4702010200-56}{М152(03)-87}$ Без объявл.

Москва-матушка

Высоко на холмах, в снеговом убранстве, в ожерелье огней и знамен стоит далеко видная сквозь пургу красная, молодая Москва.

Молодая, крепкая, новая.

Есть еще и старая. Простоволосая, затрапезная. Мы про нее совсем забыли. А она уцелела.

На нее навалили четыре года революции, коммунизма, тяжелые глыбы декретов, стреножили милицией и чекой. Прищемили, припрятали.

Думали, кончится. А она выкарабкалась, просунула голову, ухмыляется старушечьим лицом.

Думали, что конец, что совсем ступили твердой пятой на остатки старой Москвы. А она еще дышит и перекликается. Сначала тихо, потом смелей и громче, кривыми переулками и тупиками. Собачьими площадками, замоскворецкими, кузнецкими домами.

— Ау!

— Ау, аушеньки!

— Живы?

— Да словно что и живы...

— Перешибло малость дух, да ничего, очухаемся.

В больших особняках, у тузов и фабрикантов, давно стрекочут советские машинки. Но в стороне, где потише и поглуше, там сидят и румянятся у самоваров старые Кит Китычи. Уже выглядывают из окошек, ходят в гости, живут и надеются.

Первый и второй страх от большевиков проходит. Если всмотреться — люди как люди. Маета, конечно, с ними. Оголтелый народ — что говорить, углубляют. Но все же обернуться можно. Не так страшны черти, как малюют себя на плакатах.

— Вы как, капиталом все живете?

— Нет, куда тут... Служить начали, Митенька наш заведует складом в Главодежде. Вера во внешкольный приют определилась. И сам старик наш на советскую службу собирается. Горд был, не хотел путаться, да

скушно стало без дела сидеть. Все приятели служат. К тому ведь не скоро эта канитель кончится.

Сначала было страшно высунуть нос, открыть зажмуренные от страха глаза. А теперь, ей-богу, жить можно.

Взглянуть на Москву — конечно, не та. Но все-таки отошла, оттаяла. Если понатужиться — глядишь, подвинуться назад можно будет.

Закрыли Сухаревку—уже не очень страшно. Немножко приспособились, опайковались. Даже занимательно: кому какой паек по рангу полагается. Захар Иванович раньше в ситценабивной мануфактуре владычествовал. Теперь — спец. Совнаркомовский паек, выдачи. Индивидуальная ставка, автомобиль подают. Старик Червяков у него приказчиком служил — и теперь пристроен к хозяину: снабжением заведует при нем, тоже невредно — питается.

А там тебе — тыловой, красноармейский, вциковский, академический, медицинский, железнодорожный, артистический, музыкальный — какие угодно. Степан Степаныч ухитрился даже шахтерский заполучить.

Подошли праздники — тоже не в обиду. Шурин из Центробелуги икру получил, дочка в Центровоще — спаржу, из Внешторга — лимоны. Дядя принес подарок от бойцов Южного фронта — по целому гусю выдали, чудаки.

На пасху в Главаниле краски выдали — специально яйца красить. Из ТЕО — билеты на Шаляпина. Обо всем подумано. К святкам Москва-матушка повеселела, засуетилась. Извозчики везут, снуют. На салазках путешествуют пайки и выдачи.

В Большом театре собрался Съезд Советов. Матушка выглядывает из дыры.

— Что ж, пусть собираются, пусть потолкуют.

Горят фонари у подъезда, фыркают автомобили. В пурпурных ложах сгрудились строгие френчи, думают отчаянные большевистские головы. Гремит «Интернационал»; гудит смелый разговор про хозяйственную разруху.

Матушка слушает, с хитрой усмешкой поникла ушами переулков.

— Ишь задумали! Как же вам ее победить, разруху, без старой Ильинки с меняльными конторами! А впрочем, подождем — увидим. Про всякий случай — приспособимся, придвинемся ближе.

Интеллигенция — та уже вся наверху, на улице. Обсохла, расправила перышки, зашумела, забалаганила на тысячу голосов.

Все залы заняты под собеседования, публичные словоблудни с дорогими входными билетами.

Все стены заклеены пестрыми афишками.

Диспут! Словопря! Оппоненты!

«Поэзия и религия!» «Религия и любовь!»

«Путешествие в Иерусалим!» «Долго ли мы протянем без православия?»

Диспуты, диспуты! Нажива бездельникам, трибуна болтунам, базар дуракам, тоска взыскующим.

Конкурсы стихов, вечера поэтесс, вся шумная, суетливая дребедень старой многоумственной матушки-Москвы.

Раньше встречали Новый год с цыганами, с Балиевым, с румынским оркестром. А теперь, пожалуй, тоже весело:

«Встреча Нового года с имажинистами! Билеты продаются».

Появились и озабоченно бродят по делам советских учреждений джентльмены из кафе Сиу, седовласые отцы из «Русских ведомостей», томные символисты из Художественного кружка, либералы, идеалисты, рыхлые обломки бывшей разухабистой российской столицы.

Старожилы ухмыляются в усы:

— Сияли над Москвой сорок сороков церковных главок, и прибавилось к ним сорок сороков Главков. Тесно стало, конечно. Да ничего, стерпишь. Кланялись главкам, поклонимся и Главкам...

Хитрая салопница сбросила плюшевую ротонду, повязалась платком, нырнула в валенки. Москве-матушке это легко, совсем по нутру. Петроград — этот все еще шебаршит, сопротивляется, культурничает. Не хочет отдавать манишек и запонок. А Москва и сама рада пошмыгать в домашнем виде, похлопать на морозе варежками по-простому.

Подобралась матушка, подползла. Смотрит в очи новому миру, скалит зубы, хочет жить и жиреть.

— Брысь, старая!

Не уйдет, не спрячется. На все согласна, ко всему готова.

Целый день суетится, базарит, толчется по учреждениям, на площадях и уцелевших рынках.

Покрикивают автомобили, перекликаются красные часовые. С крыш домов строго мигают, пропадают и снова выстраиваются в небе огненные буквы:

«Будет транспорт — будет хлеб».

«Революция — локомотив истории».

«Коммунистическая партия — стержень Советской России».

Погоди, матушка! Электрифицируют тебя, старуху!

1921

Николай

1

Весна идет быстро, она всегда торопится. Она рушится, стихийная, радостная лавина. Быстро растают необъятные снеговые горы.

Половодье громадное. Грозит затопить целую окраину Москвы. Реки могучие подымутся, понесут усталую зимнюю грязь в моря. Россия в истоме потягивается, после многих зим отдохнувшая, отоспавшаяся, расправившая тело. Набухнут и с треском полопаются почки, смачно и одуряюще развернутся цветы, яростно врежутся сохи в земляную целину, будут лихо звенеть серебряные деньги, будут много и жадно любить девушки, будет навстречу пышному и жаркому лету подыматься жнивье, будут вызывающе трепаться на свежем бризе морей флаги Красного флота...

И перед такой же бурной и могучей весной растаяли однажды в Петербурге снега, растворив без остатка, без осадка самодержавнейших царей всея Руси. Октябрьская революция — суровый артиллерийский бой под сизой, металлической броней осеннего неба. Февральский переворот — радостное шипенье соды, брошенной в воду, публичное признание короля голым, безопасным, кавалерийский марш, рабочая потеха, когда хозяина с улюлюканьем и свистом вывозят на тачке, чтобы опрокинуть за тяжелыми заводскими воротами.

Кого же вывезли на тачке?

Запад и вместе с ним буржуазные и «демократические» Тартюфы и Маниловы говорят и пишут, что был низвергнут с трона император Николай Второй. Этот хилый и беспомощный исторический вариант случившегося 27 февраля не прожил в России и одного года. Этот миф перекочевал за границу, и только там догрызают его кадетские историки и американские бульварные газеты, выясняют ошибки и промахи царствования Николая, размазывают и обсуждают переписку последнего царя с женой, с Вильгельмом, со своими министрами.

Трудовые массы России знают, что свергли режим, а об остальном немедленно после февральского переворота забыли. Как человек, спросонья запустивший сапогом в крысу, чтобы, подняв сапог, взяться за настоящие свои дневные дела.

На другой день после переворота Демьян Бедный напечатал во втором номере маленьких «Известий» стихи о Николае. А через день и Демьян и его масса, настоящая, активная, революционная масса, уже забыли о Николае; только уличные газеты смаковали распутинские дела «царя Николашки и царицы Сашки».

Только за границей, вне советского воздуха могут еще идти споры и разговоры о царе, могут себя люди всерьез называть республиканцами, думая, что это что-нибудь значит.

А здесь, в России, стоя в трезвом виде на советской земле, о чем спорить, если ничего не было.

Был режим. А кроме режима? Ничего.

Прямо ничего. Нуль.

Как у Гоголя в «Носе» — «пустое, гладкое место».

Ведь недаром же покойный М. Н. Покровский писал фамилию «Романовы» в кавычках. Как не писать профессору-историку кавычек, если все Романовы двести лет назад повымерли, закончившись на дочери Петра Великого Елизавете Петровне!

Кавычки. В кавычках ничего. Пустые кавычки. Как шуба без человека. Как пустые шагающие валенки, приснившиеся Максиму Горькому.

Есть такая игрушка — «фараонова змея». Маленький белый конус. Подожжешь его спичкой — выползет и изгибается серая змея из пепла. Лежит совсем как змея.

Пока не дотронешься до пепла пальцем. Тогда вмиг рассыплется. И форточку надо открыть.

Россия — всегда страна изумительных эффектов. Ее пример — не только русская революция. Ее пример — и русский монархизм, в энергичном безостановочном процессе вырождения выветрившийся в игрушечную фараонову змею из пепла.

Судьба или случай сохранили нам абсолютные, документальные доказательства того, что ко дню февральской революции Романовых не было.

Царя не было. Николая Второго не было.

Вот уже подлинно:

«Тот, кого не было».

Совершенно безнаказанно можно было заменять тот икс, который заполнял собой материальное содержание понятия «император Николай II», любым другим игреком, любым другим гвардейским прапорщиком.

Среди неприличных, циничных, похабных анекдотов есть одна категория самых бессмысленных. Это так называемые офицерские анекдоты. Действующие лица в них всегда денщик и офицер. Оба идиоты. Офицер дает денщику два гривенника — купить на один булку, а на другой — табак. Денщик перепутывает гривенники. Или чаще наоборот: денщик при всей своей тупости все-таки хитрее своего шефа. Он обманывает свое начальство, живет с его женой, грубо околпачивает офицера в амурных делах, выставляет на позор офицерскую одураченную рожу...

Когда читаешь изящно изданные книги в красивых траурных рамках: «Дневник императора Николая II», «Переписка с Александрой Федоровной», торжественно и стильно выпущенные в Берлине книгоиздательством «Слово», с предисловием ученейшего профессора, когда просматриваешь бесчисленные записи, которые император с фанатической аккуратностью вел десятки лет, — все, даже самые критические представления о самодержавии и его представителях, отодвигается в туман. Налицо только одно: прапорщик из неприличных анекдотов.

Вот дневник наследника цесаревича накануне смерти отца перед вступлением на престол.

«12 января. Пятница. Встал в $10^{1}/_{2}$: я уверен, что у меня сделалась своего рода болезнь — спячка, так как никакими средствами добудиться меня не могут. После

закуски поехали в Алекс. театр. Был бенефис Савиной — «Бедная невеста». Отправились на ужин к Пете. Порядочно нализались и изрядно повеселились».

«22 января. Долго сидели с Георгием и Дмитрием у Вани, пили чай, похлыщили по набережной по дороге домой. Обедали у Черевина. Он, бедный, совершенно нализался».

«...Играл в рулетку».

«...Закусывал».

«Поехали на спектакль в театральное училище. Была небольшая пьеса и балет, — очень хорошо. Ужинали с воспитанниками».

«Катался с Ксенией, достаточно хлыщил по набережной».

«12 марта. Понедельник. Много читал. После одиночного завтрака поехал в Госуд. Совет. Заседание продолжалось $1^1/_2$ часа. Катался с Георгием по всей набережной. Работали с папа и тетенькой в саду. Пили чай с картофелем, была небольшая возня. Закусывали с Николаем (дежурный). В 9 часов было заседание Исторического общества. Поехал к Воронцовым. У них сидела Ольга. Закусывали по обыкновению».

Для расширения кругозора наследника Александр III отправляет сына в кругосветное путешествие. Вот типичные записи этого периода жизни:

«17 ноября. Суббота. На Ниле. В 6 часов пошли дальше и к завтраку, к 12 часам, остановились в Луксоре. После обеда отправились тайно смотреть на танцы альмей (египетские проститутки). Этот раз было лучше, они разделись и выделывали всякие штуки с Ухтомским».

«18 ноября. Осмотрев колосса Мемнона, вернулись на яхту в 4 часа. В 7 час. пошли к нашему консулу. Обедали у него по-арабски, то есть ели пальцами. Опять были у альмей. Немного выпили и напоили нашего консула».

Вот общение наследника с народом:

«Смотрели от скуки через забор на Невский».

И опять: «Пили дружно», «пили хорошо», «закусывали с Сандро и Котей Оболенским, играли, как малые дети, в прятки втроем». Каждому из игравших было свыше двадцати пяти лет.

Александр умирает, Николай на престоле. Но тщетно вы будете искать в его дневнике что-нибудь о работе. Все переполнено описанием обоев, диванов, устройства новых комнат, которые новый царь отделывает себе во

дворце. О делах, о событиях упоминается только в форме жалоб на необходимость читать. Прапорщик уделяет ежедневно пару часов на чтение присылаемых ему докладов. К этому сводится государственная его работа.

«Читал до обеда, одолевая отчет Государственного совета».

«Вечером кончил чтение отчета военного министра, — в некотором роде одолел слона».

«Опять начинает расти та кипа бумаг для прочтения, которая меня так смущала прошлой зимой».

«Принявши сына эмира бухарского, вернулись к себе в $3^1/_2$ в рамолисменте. Отправились с визитами по немногочисленному семейству. Опять мерзостные телеграммы одолевали целый день»..

Впрочем, Николай не только читает, но и пишет. Надписывает резолюции. Резолюции очень коротки, но зато содержательны:

«Прочел с удовольствием».

«Искренне всех благодарю».

«Ай да молодец!»

«Надеюсь, повешены».

«Вот так, так!»

«Неужели? Вот так здорово!»

«Царское спасибо молодым фанагорийцам» (на докладе о расстреле бастующих рабочих).

«Передайте извозчикам мою благодарность, объединяйтесь и старайтесь» (на патриотическом адресе от извозопромышленников 23 декабря 1906 г.).

«Молодцы, конвойные. Не растерялись» (о пытках и истязаниях революционеров в рижской тюрьме).

В редких, особо важных случаях царь изрекает и более обширные, более глубокие суждения:

«Евреи, покидающие черту оседлости, ежегодно наполняют целые местности Сибири своими противными лицами. Это невыносимое положение должно измениться».

Дипломатический такт и сознание своего достоинства тоже никогда не покидали прапорщика. Он охраняет свое достоинство чрезвычайно умно. Когда царица родила мертвого ребенка, цензуре отдается распоряжение немедленно вычеркнуть из оперы «Царь Салтан», шедшей в это время в Мариинском театре, слова:

«Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверушку». На другой

день полиция в Нижнем Новгороде конфискует календарь, на обложке которого была изображена женщина, несущая в корзинке четырех поросят. В этой невиннейшей обложке усматривается почему-то намек на четырех царских дочерей.

Во время всероссийской переписи 1897 года прапорщик заполняет анкетный лист. На вопрос о звании отвечает: «Первый дворянин». В графу «род занятий» вписывает: «Хозяин земли русской»! Профессия довольно редкая, но небезвыгодная.

3

Великолепная черная яхта с лепными золотыми орлами и императорским флагом, пересекая Финский залив, неожиданно повернула к маленькому заливу Биорке. И через несколько минут в тот же залив с другого конца вошло другое, стройное, разукрашенное судно под флагом другого императора.

Вильгельм Второй, хитрый берлинский маньяк, возмечтавший поднять мир на кончики лихо вздернутых усов, заманил сюда унылого недоросля, «молодого» русского царя, уже покрывшего себя славой японской войны и Девятого января. Свидание было сугубо секретным, о его целях не знали ни русский министр иностранных дел, ни германский канцлер.

Тайна событий осени девятьсот седьмого года в Биорке останется тайной навсегда. Последний оставшийся в живых биоркский лицедей, сам Вильгельм, молчит по непонятным причинам... Известно, что лакеи таскали в каюту, где заседали два императора, неисчислимые подносы питей и закусок. Обратно подносы возвращались, заваленные хрустальным щебнем разбитых бокалов и объеденными рыбьими хвостами. Временами до встревоженных конвоя и свиты доходили лошадиное ржание германского монарха и испуганное хихикание русского самодержца... Потом кто-то из двоих пробовал играть на рояле. Очевидно, Вильгельм... Наконец, после часовой паузы дверь раскрылась, и его величество воззвало нетвердым голосом:

— Адмирала Бирилева позвать!

Вошедший в каюту морской министр адмирал Бирилев так описывает свое участие в биоркском деле:

— Призывает меня государь в свою каюту-кабинет и говорит: «Вы мне верите, Алексей Алексеевич?» После моего ответа он прибавил: «Ну, в таком случае подпишите эту бумагу. Вы видите, она подписана мною и германским императором и скреплена от Германии лицом, на сие имеющим право. Германский император желает, чтобы она была скреплена одним из моих министров». Тогда я взял и подписал. Я не отрицаю, что подписал какую-то бумагу, весьма важную, но что в ней заключается, не знаю («Воспоминания» С. Ю. Витте, стр. 394).

Бумажка, которую немецкий император подсунул пьяному Николаю, была знаменитым «союзным договором в Биорке», потом вызвавшим смятение и переполох дипломатии империалистических держав Запада. Витте и русский министр иностранных дел Ламсдорф, энергично насев на Николая, заставили его сконфуженно отказаться от своей подписи на договоре, заключенном под высоким градусом.

Биоркское соглашение действительно было нелепостью в общем строе политических взаимоотношений царской России с западными державами. По его смыслу Германия и Россия обязывались защищать друг друга в случае войны с какой-нибудь европейской державой — значит, и с Францией. Но Россия имела действующий с 1880 года договор с Францией, по которому она обязана была защищать Францию в случае войны с Германией! С другой стороны, в войне России с Японией Германия оставалась безучастной, так как Япония не европейская, а азиатская держава.

Но при всем этом в договоре в Биорке был свой выдержанный, сильный вильгельмовский смысл. Германский карьерист на троне хотел возобновить заржавелую традицию Священного Союза, мрачного реакционного содружества прусского, австрийского и русского владык, цепко душившего Европу двадцатых годов прошлого века.

Прах одного из монархов развеян сквозняками Урала, другой сметен с престола тем же могучим русским ветром, залетевшим в Берлин. Но и обломки просят слова, и тлеющие кости хотят говорить. Через двадцать лет после Биорке мы прочли письмо Вильгельма Гогенцоллерна, написанное старому халтурщику, бывшему военному министру Сухомлинову. Извольте видеть:

«Договор, заключенный мною в Биорке с царем Ни-

колаем Вторым, заложил основы мирного и дружественного соглашения России с Германией — соглашения, к которому стремились оба монарха. Договор, однако, не возымел действия вследствие вмешательства русской дипломатии (Сазонов, Извольский), крупных русских генералов и влиятельных членов Думы и политиков. Мировая война, к которой они стремились, не оправдывала их надежд, опрокинула все их планы, и царь, равно как и я, потерял престол. Страшные последствия, которые имели для России нападение на Германию и все дальнейшие события, показывают, что обе страны найдут свое спасение в *будущем, как и сто лет тому назад, лишь* в тесном, взаимном единении и *по восстановлении монархий в обеих странах.* Спасибо за присылку ваших мемуаров.

Вильгельм II (император и король)».

Как он отстал, этот экс-рекс со своими биоркскими воспоминаниями и меттерниховскими проектами спасения Европы! Германские дворяне, консерваторы и националисты, далеко опередили своего бывшего повелителя в прыти и умении приспособляться. Они махнули рукой на Восток, покорно согнули выи и согласны получить уже от Франции, под звуки «Марсельезы», обеспечение своей целости, своих имений и капиталов.

Седые усы торчком. Отставной проворовавшийся военный министр. Шамкающие угрозы. Сердитая отрыжка бывшей двадцать лет тому назад попойки. Кнут над Европой, занесенный бессильной рукой... Барахло! Не этот — другой «священный» союз победивших революций плотно возьмет в руки Европу и мир к столетнему юбилею Меттерниха и Николая Палкина!

В феврале некоторого года растаяли снега, рассыпалась фараонова змея из пепла, и уже просто прапорщик без царской униформы бесславно добрел несколько шагов от трона до «стенки».

4

О конце романовской династии у нас в широких массах господствуют не совсем верные представления.

Дело рисуется так, что Николай совершенно безропотно подчинился первому мановению революции.

Что вышла чуть ли не ошибка, недоразумение. Опечатка, фокус, умело подстроенный Родзянко вкупе с

Алексеевым, в результате чего мертвецки пьяный царь подмахнул акт об отречении, как сонный кутила назойливый ресторанный счет.

Такие картины, имевшие особо широкое хождение в первые годы революции, нуждаются в существенных исправлениях.

Для рассказов об анекдотическом ничтожестве покойника-самодержца, правда, есть большие основания.

Нельзя опять-таки пройти мимо изумительных записей Николая в его личном дневнике:

«2 марта. Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем командующим. К $2^1/_2$ часам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России, удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переданный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена, и трусость, и обман».

«Нужно мое отречение. Я согласился...»

В самом деле, овечье смирение и безразличие.

Вы думаете, Николай, уступив трехсотлетнюю власть Романовых, пытался принять яд, раздирал на себе одежды, проводил мучительные, бессонные ночи?

Вот вам запись на другой день после отречения:

«3 марта. Спал долго и крепко, проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В $9^1/_2$ перебрался в дом. Алексеев пришел с известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выбора через шесть месяцев Учредительного собрания. Бог знает, кто надоумил его написать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось дальше».

«7 марта. После чая начал укладывать вещи. Обедал с мама и поиграл с ней в безик».

Спал долго и крепко! Оказывается, Миша отрекся. Оказывается, читал о Цезаре. И тем не менее, даже читая Цезаря, через пять дней после отречения играл с мамашей в карты. В самом деле, невозмутимость исключительная! Недаром кто-то из приближенных определяет отречение Николая:

«Отрекся, как командование эскадроном сдал». Конечно, полуторастамиллионная страна всегда была для Николая только огромным, молчаливым, послушным эскадроном, где всегда повиновались всадники и безысходно молчали лошади. Но расставание с властью было для царя не таким простым, каким оно кажется внешне.

В Николае Романове надо понимать его замкнутость и апатичность характера, не всегда прикрывавшие апатичность ума и воли. Очень часто под бесцветными изъявлениями у ничтожного офицера на троне весьма энергично шевелились чувства, диктовавшие немаловажные поступки, направленные к сохранению себя и власти своего класса.

Дворянство и придворные совершенно зря рисуют своего вождя в последние минуты его царствования как унылого кретина, непротивленца, безропотно сдавшего свой режим по первому требованию революции. Пожалуй, именно эти минуты, единственные во всей жизни, пробудили в «прапорщике» сознание его высокого положения.

Нельзя сказать, чтобы ближайшие друзья, неразлучные с Николаем, смягчали события или придавали им какой-нибудь преходящий, незначительный смысл. Любимец и собутыльник царя, адмирал Нилов, говорил и повторял свою обычную фразу:

— Все будем висеть на фонарях! У нас такая будет революция, какой еще нигде не было!

Николай в февральские дни особенно часто слышал от своего приближенного эти совершенно недвусмысленные и, как мы знаем, пророческие слова.

Другие придворные, штабные генералы, наконец важнейший и авторитетнейший советник императора — сама царица, — все в один голос подчеркивали грозное значение надвигавшихся событий и неумолимость народа к династии в случае ее падения.

В условиях военных неудач, при определенных признаках разложения армии на фронте, наконец после

смерти Распутина, в лице которого царская семья убежденно видела свою существенную опору, — при всем этом упавший дух царя должен был бы подсказать ему большие политические уступки.

На самом деле этого не было.

Царь Николай хорошо и твердо запомнил наставления отца и уроки воспитателя своего Победоносцева, умного и выдержанного идеолога самодержавия.

Он понимал и логикой и нутром, что режим может держаться только прежним, единственным средством: террором, полицейским зажимом, системой неограниченной дворянской диктатуры, не разбавленной никакими парламентскими лимонадами.

Первые же телеграммы в ставку из столицы, говорящие о волнениях в военных частях и массах, заставляют верховное командование и совет министров поднять вопрос об уступках, о компромиссах.

Последний царский премьер князь Голицын посылает паническую депешу о необходимости его, Голицына, отставки и образования «ответственного», парламентского министерства во главе с Родзянко или Львовым.

Командующий петроградским гарнизоном генерал Хабалов, военный министр Беляев, брат царя Михаил Александрович —все бомбардируют ставку страшными известиями, испуганными советами поскорей успокоить уступками разбушевавшееся море.

Генерал Алексеев берет на себя представительство всех этих людей и, кроме того, Родзянко и, кроме того, неведомых ему самому стихий, бушующих в Петрограде. Он просит царя согласиться на конституционные поблажки.

Царь тверд и непреклонен.

Нет.

Он не хочет. Он не согласен.

Наседают облеченные властью и доверенные люди. Волны революции уже заливают первые ступени трона. Самый близкий человек, жена, ужасается:

«Ты один, не имея за собой армии, пойманный как мышь в западню, — что ты можешь сделать?!»

И все-таки под таким натиском Николай не идет на уступки. Долго, категорически он уклоняется от согласия даже на создание «ответственного министерства».

После нового залпа телеграмм генерал Алексеев еще раз идет к Николаю для решительного разговора.

Выходит оттуда ни с чем, вернее — с повышенной температурой. Старик сваливается в постель — он ничего не может сделать с упорным своим монархом.

Где же тряпка? Где сосулька? Где слабовольное ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека — самого Николая. Ничтожество оказалось стойким, оно меньше всех струсило.

Что же выдвигает царь взамен голицынско-алексеевских компромиссов?

Одну простую, ясную, давно уже испытанную и оправдавшую себя вещь.

Николай снаряжает сильную карательную экспедицию на взбунтовавшуюся столицу.

Такие штуки не раз помогали короне. Так однажды Петербург расправился с революционной Москвой. Может быть, сейчас тем же способом ставка склонит к своим ногам взбунтовавшуюся в столице чернь. Может быть!

Шаг не оригинальный. Но исторически понятный и решительный.

Николай Иудович Иванов, старый вояка, выслужившийся из низов, крепкий, надежный бородач, с хорошим круглым русским говорком и солидными жестами — вот кто должен стать усмирителем петроградского восстания и военным диктатором в усмиренной столице. Староват, но коренаст. Неладно скроен, да крепко сшит. В толпе жидких штабных генералов Николай неплохо выбрал диктатора.

Иванов получает в свое распоряжение по два кавалерийских, по два пехотных полка и по пулеметной команде Кольта с каждого фронта. Целый корпус отборных войск, вооруженных до зубов, должен вторгнуться в Петроград и стереть с лица земли мятежников.

По инструкции в Петрограде ему должны подчиняться все министры!

Соответственно этому составлен и ответ князю Голицыну на его просьбы о конституционных уступках:

«О главном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск... Относительно перемен в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. Николай».

Вся ставка насмерть перепугана таким оборотом дела.

Опять убеждают царя смягчиться. Он непреклонен. И в своем положении — прав! Если уж гадать задним числом о том, что могло бы спасти положение монархии, то, конечно, это мог быть только шаг, сделанный самим царем: разгром революционного Петрограда.

Отдав свои распоряжения, Николай трогается в путь. Он хочет пробраться в Царское Село, к жене и больным детям. На станции Малая Вишера, уже почти у столицы, ехать дальше оказывается невозможным. Тосно и Любань уже заняты революционными войсками. Царский поезд возвращается, чтобы достигнуть цели кружным путем через Бологое, и застревает в Пскове. Царь ждет известий, он надеется на корпус Иванова.

Но за время почти суточного блуждания поезда события разворачиваются ужасающим темпом. В Пскове, в штабе северного фронта, у генерала Рузского, Николай застает уже готовую петлю для себя.

Рузский, частью спасовав перед неумолимостью революционной стихии, частью уже имея кое-какие виды при новом строе, объявляет, перед разговором с царем, его придворным:

— Надо сдаться на милость победителя!

Генерал Воейков, изнеженный полковник Мордвинов, граф Граббе и другие дворцовые салонные собачки в эполетах поражены и удручены.

Как так сдаться! Разве — уже?!

Начались возражения, негодование, споры, требования, наконец просто просьбы помочь царю в эти минуты и не губить отечества. Говорили все. Генерал Воейков предложил переговорить лично по прямому проводу с Родзянко, на что Рузский ответил: «Он не пойдет к аппарату, когда узнает, что вы хотите с ним беседовать». Дворцовый комендант сконфузился, замолчал и отошел в сторону. (Воспоминания генерала Дубенского.)

Рузский имеет решительный, решающий разговор по проводу с Родзянко. Оба собеседника обнаруживают в этом разговоре всю сумму лукавства. Каждый старается лично задобрить и умаслить другого в предвидении возможной своей неудачи. Однако же Родзянко дает понять Рузскому действительное положение вещей.

Рузский начинает твердо соображать, откуда ветер дует. Недаром он позволил себе через две недели так самодовольно рекламировать себя в газетном интервью.

— Ваше высокопревосходительство, — обратился наш

корреспондент к генералу Рузскому, — мы имеем сведения, что свободная Россия обязана вам предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил народу низвергнутый царь. Говорят, что Николай Второй приехал к вам с целью видеть вас, чтобы вы послали на восставшую столицу несколько корпусов.

Генерал Рузский улыбнулся и заметил:

— Если уж говорить об услуге, оказанной мною революции, то она даже больше той, о которой вы принесли мне сенсационную весть. По той же простой причине, что я убедил его отречься от престола в тот момент, когда для него самого ясна стала неисправимость положения.

Впоследствии, когда ветер подул совсем не в сторону Рузского, он стал иначе толковать свою роль в «трагедии отречения». Когда в Ессентуках, где он жил, водворилась советская власть, когда генерал стал ожидать ареста и готовиться к бегству, он передал доверенному человеку, некоему белогвардейцу Вилчковскому, свои объяснения, в которых горячо опровергал версию о том, что он «неприлично вел себя по отношению к государю...»

Так или иначе, Николай, видя предательство кругом себя и не находя ни в ком из окружающих опоры, наконец получив известия о неудачной экспедиции Иванова, склонился к отречению.

Он еще колеблется. Но его решение подстегнуто телеграммами от главнокомандующих фронтами.

Все телеграммы составлены в форме выражения горячих верноподданнических чувств, но все они без обиняков толкают царя на отречение. В этом отношении содержание депеш Николая Николаевича (кавказский фронт) мало отличается от брусиловской (южный) и эвертовской (западный фронт). Запоздала телеграмма Сахарова с румынского фронта. Видимо, долго трудился над ней почтенный генерал. Зато получилась она в своем роде шедевром по красоте стиля.

Начало такое:

«Генерал-адъютант Алексеев передал мне преступный и возмутительный ответ председателя Государственной думы вам на высокомилостивое решение государя... Горячая любовь моя к его величеству не допускает в душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения (об отречении), переданного вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а раз-

бойная кучка людей, именуемая Государственной думой, предательски воспользовалась удобной минутой для своих преступных целей... Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего державного вождя...»

Стали бы! Но не стали. И потому конец телеграммы загибается ловким крючком. Полюбуйтесь на этот блестящий спуск на деепричастиях!

«Переходя к логике разума и учтя создавшуюся безвыходность положения, я, непоколебимо верный подданный его величества, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешними врагами является решение пойти навстречу уже высказанным условиям».

Рыдая!.. Пожалуй! Да, умри, Денис, пожалуй, лучше не напишешь.

Что было делать Николаю с перетрусившим генералитетом?

Ни одной дивизии не нашлось, чтобы защитить обожаемого монарха.

Даже «собственный его величества» конвой, прослышав в Царском Селе о петроградских событиях, вышел с красными бантами и «Марсельезой» на улицу. Куда дальше!

Николай в западне. Делать нечего — он смиряется.

Составляет две телеграммы — Родзянко и Алексееву — о готовности своей отречься от престола.

Флигель-адъютант царя Мордвинов рассказывает:

«Не помню, сколько времени мы провели в вялых разговорах, когда возвращавшийся из вагона государя граф Фредерикс остановился в коридоре у дверей нашего купе и почти обыкновенным голосом по-французски сказал:

— Savez-vous, l'Empereur a abdiquo (Вы знаете, император отрекся).

Слова эти заставили нас всех вскочить. «Как, когда, что такое, да почему?» — послышались возбужденные вопросы. Со всех сторон сыпались возбужденные возражения, смешанные и у меня с надеждой на путаницу и возможность еще отсрочить только что принятое решение».

Кучка придворных чувствует, что почва уходит из-под ног. Они не верят, не могут примириться с таким шагом Николая, губящего себя, а главное, их.

Они бегут к Фредериксу, тормошат семидесятивосьмилетнего старика, убеждают эту песочницу отговорить царя от посылки телеграммы.

Фредерикс идет. И что же?

Николай берет назад свое согласие. Он приказывает остановить телеграммы Родзянко и Алексееву! Он не гордый. Он готов передумать. Ему не надоела власть. Ему не опротивела корона, даже после двадцати лет тяжелого, кровавого царствования, после трех дней катастрофического шатания трона. Он готов сидеть на троне дальше — даже если ножка надломана. Что ножка! Можно подвязать. Было бы только обо что ее опереть.

Николаю почудилась какая-то поддержка, какой-то проблеск героизма — нет, даже не героизма, а просто решительности, нежелания «пойти на милость победителя». И он уже готов опять упорствовать, опять сопротивляться, карать. Где же сосулька, где тупое безразличие к «командованию эскадроном»?

Поддержки нет. Она только почудилась. Никакой опоры. Нельзя же считать восьмидесятилетнюю развалину с орденами, лейб-хирурга, пьяницу-коменданта, начальника походной канцелярии. Жизнь показала, что уже через три дня тот же полковник Мордвинов трусливо сбежал с царского поезда, оставив Николая одного ехать в Царское Село.

Поддержки нет. Она только померещилась. Рузский наседает. Едут депутаты из Москвы. Уже появились на псковском вокзале красные банты. Дальше нет пути.

Николай уступил, он отрекся после решительной и стойкой борьбы в полном одиночестве...

Спасал, отстаивал царя один царь.

Не он погубил, его погубили.

Николая Романова увлек за собой, свалил и похоронил под своими обломками его же правящий дворянский класс.

5

Много ли и какие выступления и героические подвиги в защиту царя имели место в России после февраля 1917 года?

Подсчитывать... нечего.

Во всей необъятной стомиллионной России, триста лет

«благоденствовавшей» под славным режимом дома Романовых, не нашлось и ста человек, пожелавших за этот дом погибать.

Только и было, что покончил с собой после революции старый герой охранки Зубатов, да еще отказался присягать Временному правительству и ушел в отставку граф Келлер (впоследствии изменивший своим монархическим принципам), да еще отказался от сношений с миром генерал Мищенко. Поселившийся в Темир-Хан-Шуре старый генерал безвыходно проводил время у себя дома в полной генеральской форме с георгиевскими крестами на груди.

Впрочем, нашелся и еще один страстотерпец. Священник Алексей Васильев. В Тобольске, во время обедни, когда в церкви присутствовал низложенный царь, он вдруг возгласил многолетие царствующему дому.

Поступок священника Васильева произвел большое впечатление на подпольные монархические круги. К нему стали тайно стекаться денежные пожертвования для бывшего царя и на дело его освобождения. Стали направляться на его адрес и всяческие монархические агенты, прибывавшие в Тобольск.

Но... благочестивый отец Алексей Васильев все получаемые деньги аккуратно присваивал, а всех приезжающих монархистов не менее аккуратно передавал в ЧК.

В Тобольск прибывает организатор побега Николая, поручик Соловьев. За ним стоят «триста верных и отважных» офицеров. Заговор проваливается самым постыдным образом. Заговорщики-офицеры подняли скандал изза неуплаченного жалованья, тобольские купцы отказались ассигновать деньги, и отважные слуги царя разбежались кто куда.

Так и не нашлось героев для спасения самодержца. Так и погиб без всякой помощи приверженцев свергнутый с высокого места прапорщик.

Министр юстиции колчаковского правительства С. Старынкевич телеграфирует союзному совету в Париж результаты обследования гибели Николая и местонахождения его останков:

«В восемнадцати верстах от Екатеринбурга крестьяне раскопали кучу пепла, в которой оказалось: пряжка от подтяжек, четыре корсетных планшетки и палец, относительно которого доктора указали на особенную холеность ногтя и принадлежность его породистой руке».

Это все. От Николая. От Романовых. От символа, которым увенчивался трехсотлетний порядок невыносимого угнетения в великой стране.

В раннюю, мощную, пылкую весну — кто в России вспомнит о кучке пепла под Екатеринбургом? Кто задумается о Николае?

Никто. О ком вспоминать? О том, кого не было?

1924

Времена меняются *

«ШИНЕЛЬ» — СОЗВУЧНО ЭПОХЕ

«Дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и, наконец, сказал: «Нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь». *(Гоголь).*

Акт осмотра

«1925 года, марта 6 дня мы, нижеподписавшиеся, — комендант Государственного механического завода «Двигатель» Кулаков Алексей Максимович, швейцар правления Петухова Анна Григорьевна и следователь охраны Усков Николай Михайлович, — составили настоящий акт, согласно заявления, в 3 часа 45 мин. для помощника управляющего заводом по техчасти Степанова Александра Степановича о пропаже у него из кабинета пальто (на вате) с каракулевым воротником шалью, черного цвета, с вышивкой на левом боковом кармане фамилии портного латинскими буквами «Линдеман». Стоимость пальто, со слов т. Степанова, равняется от 150 до 180 рублей.

Следов хищения нет. Похитивший не обнаружен, в чем составлен настоящий акт. Комендант завода Кулаков, швейцар правления Петухова, следователь охраны Усков».

«— Полтораста рублей за шинель? — воскликнул бедный Акакий Акакиевич.

---

* Здесь, как и в других сатирических фельетонах, подлинные фамилии действующих лиц заменены вымышленными.

— Да-с, — сказал Петрович, — да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу да пустить капюшон на шелковой подкладке, так и в двести войдет!» *(Гоголь)*

«Управляющему заводом.

Прошу вашего распоряжения о выдаче мне в компенсацию сто восьмидесяти рублей за украденное из моего служебного кабинета в служебное время зимнее пальто. Такая стоимость пальто была указана мной в составленном акте о краже и подтвердилась справками, сделанными мной во время последней командировки *нашей* в Москву. А. Степанов».

Резолюция. «Оплатить. Кавгала».

«Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость... Впрочем, он был в душе добрый человек, услужлив; но генеральский чин совершенно сбил его с толку». *(Гоголь)*

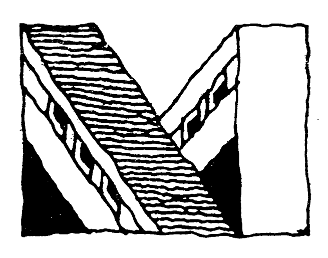
«Управляющему механическим заводом, тов. А. Кавгала.

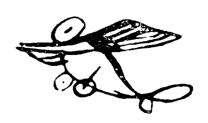
Руководствуясь § 3 данной мне вами инструкции, считаю служебным долгом доложить, что вами ошибочно отдано распоряжение сего числа об оплате помощнику вашему по техчасти Степанову компенсации за украденное у него пальто, ибо в основание его претензии положен акт осмотра, который на самом деле не акт *осмотра,* а просто протокол заявления Степанова, никаким расследованием не проверенный, и оценка пальто в 180 р. ничем документально не подтверждена. По существу и формально предприятие не обязано оплачивать стоимость утраченной служащими одежды, если она не была сдана под охрану швейцару.

Посему полагал бы правильным, если бы вы это распоряжение *отменили.* Юрисконсульт Тимошин».

Резолюция. «Для определения стоимости пальто, украденного у т. Степанова, назначаю комиссию из трех человек: Волошина зав п/отд. снабж. — председателем, членов — Губанина и Роллинг, а также комиссии определить стоимость украденной шапки у т. Волова. 28 апреля 1925 г. Кавгала».

«Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий





Мы, советские писатели,
те, кому выпала
удивительная и счастливая судьба
забежать в будущее,
жить и писать
в стране
осуществленных
социальных утопий,

можем
рассказать вам,
нашим друзьям,

что...

....сатира возможна,

она жива,
она процветает
в литературе
Советского
Союза,
принимая
все новые,
яркие и тонкие
формы.





Писатель и читатель в СССР (1935).

миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, что *тепло,* а другое, что *хорошо». (Гоголь)*

«Управляющему заводом. Рапорт.

Считая себя совершенно некомпетентным в определении стоимости одежды и не имея понятия о качестве и ценности похищенных пальто у А. С. Степанова и шапки у Волова, прошу освободить меня от участия в комиссии по определению стоимости похищенных вещей. Заведующий прокатным цехом Роллинг».

Резолюция: «Тов. Локширов вместо него. Кавгала».

«Строгость, строгость и строгость! — говаривал он обыкновенно и при последнем слове смотрел очень значительно в лицо тому, кому говорил, хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе». *(Гоголь)*

Из протокола № 1 заседания комиссии по определению стоимости пальто от 13 мая 1925 года:

«Постановили. Ввиду того что предприятие отвечает за сохранность только той одежды служащих, которая сдана под ответственное наблюдение швейцара, комиссия считает, что уплата А. С. Степанову за пропажу пальто из кабинета не может быть произведена заводом даже в том случае, если бы цена пальто и была установлена».

«Что, что, что? — сказал значительное лицо. — Откуда вы набрались такого духу?! Откуда вы мыслей таких набрались! Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?» *(Гоголь)*

Из протокола № 2 заседания комиссии по определению стоимости пальто... от 27 июня 1925 года:

«Слушали. Резолюция управзаводом о несогласии с постановлением комиссии *о неоценке несуществующих*

вещей. Тов. Волошин информирует, что управзаводом *вторично* предложил нам путем опроса оценить украденные вещи, так как потерпевшие являются ответственными работниками.

Постановили. Комиссия целиком и полностью поддерживает свое постановление от 13 мая».

«Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: «Как вы смеете! Понимаете ли, кто перед вами?» Если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело». *(Гоголь)*

Из дневника члена комиссии по оценке пальто тов. Степанова:

«Черт его знает, как тут быть! Техдиректор получил сто восемьдесят рублей, а тут вот ломай голову, чтобы помочь ему выйти из дурацкого положения. Этак, пожалуй, завтра заставят оценивать Луну, Марс, прошлогодние штиблеты, желтенький костюмчик, давно проданный на барахолку, медную кастрюлю, украденную накануне германской войны, и т. д.

Делов найдется, запишут в присяжные оценщики и откроют оценочное бюро. А когда же в цехе-то я стану работать? Придется в отставку подавать!»

«Но еще более замечательно то, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинель». *(Гоголь)*

1925

Миропольский правопорядок

Несколько раз пробовал состязаться на ристалище советской кинодраматургии. Но бросал за неимением подходящих сюжетов.

Мирополь помог мне. Вот сценарий для картины, с целой кучей достоинств!..

И занимательность сюжета, и бытовой советский фон, и нежный налет социальной грусти, и полная жизненность действия.

Не знаю только — комедия или драма. Впрочем, конец определит.

1. Возвращение Игольникова. Народный следователь с этой звучной фамилией торжественно возвращается домой, в Мирополь, из командировки, по начальству. Поцелуи, радость верной супруги, обед.

2. Всюду враги. Мадам Игольникова сообщает мужу, что квартирохозяйка, девица Ланге, ругала ее, мадам Игольникову, и обзывала нехорошими словами.

3. Приготовления знаменитого детектива. Сей столь же решительный, сколь правосознательный служитель миропольской революционной законности, заслушав доклад жены, принимает вовнутрь самогон.

4. Что было на площади. Сюда, шатаясь, приходит отягченный кустарным алкоголем следователь. Бабы с помидорами, частные предприниматели по колесной, керосинной и лапотной части заинтригованы необычным появлением и нетвердой поступью местной власти (массовая сцена). Игольников находит гражданку Ланге...

5. Сколько раз? Это в точности не выяснено. Показания очевидцев колеблются в пределах от двух до десяти пощечин. Точный учет затруднителен, так как Игольников сопровождал физическое воздействие на Ланге отборной матерщиной, отвлекавшей окружающих. В данном случае уместно сказать, что качество переходит в количество. Во всяком случае, после первых же следовательских пощечин гражданка Ланге упала в обморок, в каковом виде была отнесена на квартиру.

6. Преследование отступающего врага. Гражданка Ланге уже лежит в квартире, оттуда доносятся пронзительные крики. Толпа присутствовавших при избиении направляется к окнам, образуя нечто вроде мопровской демонстрации. Но Игольников ведет войну до полной победы. Вынимает револьвер и орет. Он — не кто-нибудь! Он — следователь! Всех в тюрьму загонит, кто супротив него осмелится! На шум и крики в квартиру проникают член РИКа Симяк и начальник милиции Ильин, друзья отважного следователя. Поговорив с воякой в тоне ласкового увещевания, начальство вежливо и

бесшумно исчезает. Стоит ли ссориться с народным следователем!

7. Чернь волнуется. Собственно говоря, в Мирополе никакой черни нет. Там есть тихие советские бедняки. «Чернь» мы позаимствовали из заграничного кинематографического боевика. Но, если хотите, миропольские очевидцы пока проявили себя не храбрее, чем толпы статистов из американских картин в четырех сериях. Постояли под окнами, втихомолку обругали грозного следователя, а заодно и советскую власть — разошлись. Ну его к шуту, впутываться в дело! Своя рубашка ближе.

8. Конечно, рабкор. Комсомолец Галунский, рабочий бумажной фабрики, присутствовал при избиении. Слышал возмущенные отзывы массы об ответственном Игольникове и его «организационных методах». Написал заметку в «Волынский пролетарий». Редакция же послала заметку на расследование губернской прокуратуры.

9. Какая умная прокуратура! Еще бы! Заметку о Игольникове она посылает на расследование той же миропольской милиции, которая находится под пятой энергичного следователя. Результаты не оставляют желать лучшего: дело об избиении Игольниковым Ланге, происходившем на глазах у целой толпы, прекращено за недоказанностью события. А Галунский?

10. Не будь рабкором. Галунский получает возмездие за заметку. Против него возбуждено дело о клевете.

11. Милиция тоже не зря существует. Вы спросите — почему? Да потому, что Галунский, само собой разумеется, вызвал ряд свидетелей и свидетельниц, присутствовавших при избиении Ланге. Но следователь пригрозил ряду свидетельниц, что, если только сунутся, он подвергнет их медицинскому освидетельствованию (?!) и отправит в больницу за онанизм (!!). Напуганные женщины стали исчезать с горизонта. Те же, которые не испугались бессмысленных угроз, получили повестки, но... после суда.

12. Судья — хороший человек. Мы имеем в виду не Ляпкина-Тяпкина, а миропольского народного судью Пушкова. Мудрость Соломона, гневный пафос Крыленко, революционная совесть Фукье-Тенвилля сочетались в этом скромном работнике уездного масштаба. На лбу у комсомольца Галунского авансом выжжена и сверкает сто семьдесят восьмая статья. Пушков предла-

гает гражданке Ланге, выступающей не в качестве потерпевшей, а в качестве свидетельницы по делу Галунского, «помириться с Игольниковым». Ланге просит отложить дело ввиду того, что не явились три главных свидетеля. Судья грозно вращает глазами: «Хорошо, но в таком случае я вас арестую до следующего разбора дела!» Запуганная обывательница соглашается на мировую, но отрицать факты избиения, как это нужно «суду», не может.

13. Все в порядке. Другую свидетельницу спрашивают, что она знает по делу Галунского. Отвечает: «Знаю только по делу Игольникова и Ланге, а по делу Галунского ничего не знаю». Народный заседатель, рабочий Почтовик, смущен и озадачен. Он хочет еще расспросить свидетельницу. Судья Пушков обрывает его грозным окриком: «Нечего там! Поговорим в совещательной». Рабкор Галунский изолирован. Ему предлагается просить извинения у Игольникова. Он отказывается. И тогда, конечно...

14. Рабкор наказан, «добродетель» торжествует. Комсомолец, осмелившийся написать заметку о хулигане-следователе, присужден к четырнадцати дням принудительных работ.

15. Интересно, что же будет дальше? Но мы прерываем первую серию миропольских приключений, рискуя опоздать на киноконкурс.

1925

Жара в милиции

Солнце, духота. Отличная погода — и как вовремя! В ласковом зное колосья вперегонку тянутся к небу, используя свои последние недели. Солнце и грозы. Быть урожаю.

В городе тоже припекает. Далеко не с такими отрадными результатами. Флора и фауна советских учреждений от жары киснет, увядает, предается блаженному оцепенению или обалделой потной суете. Что хуже? Трудно сказать, тяжело разобраться... Так же, как невозможно понять таинственное, противоречивое, но мудрое и точное

русское выражение: «Работает по-летнему, с прохладцей».

Энергичные мероприятия по рационализации работы в летнее время нигде не дали результата. Правда, я знавал стремительного в идеях и поступках управдела большого треста. Человек этот, не щадивший никаких усилий для блага государства, наметил устроить в совещательном зале правления треста бассейн со студеной проточной водой и мраморными ложами для членов правления в греческих хитонах. Этот же самоотверженный работник выписал по почте растения в кадках для превращения своего кабинета в прохладную апельсиновую рощу. Увы, люди не чутки! Управдела охладили извне. Теперь Нарым не затрудняет его жарой...

Нельзя сказать, чтобы приведенные ниже документы действовали на читателя как освежающий глоток холодной воды в раскаленной пустыне. Что поделаешь! Эти жаркие результаты именно от работы с прохладцей.

Во всяком случае, начальник красноярской уездной милиции нисколько не собирался веселиться, когда получил секретный пакет за сургучной печатью:

«Начальнику красноярской уездной СРК милиции.

Секретно.

Рапорт

Доношу до вашего сведения, что сего числа, в 12 час. ночи, я со своей женой имел сношение, причем я лично желал иметь сына; что же касается моей жены, то не знаю, чего ей было желательно. Донося о сем, прошу приготовиться к крестинам.

П. п. начальник 8 района

Кураковский».

27/V 1925 г.
№ 1 с/с

Когда у начальника милиции завертелись в глазах лиловые круги, и он, щупая себе пульс, стал сомневаться, не бредит ли, — в другом пакете оказалась другая бумага, от того же Кураковского:

«Начальнику красноярской уездной СРК милиции.

Рапорт

Настоящим довожу до вашего сведения, что со дня моего вступления в должность начальника 8 района красноярской милиции мною ни одной бумажки не прочитано; куда такие направляются, тоже не знаю; при подписи бумаг я их не читаю, ибо нахожу это совершенно излишним; переписки не имею ни одной на руках и не исполняю их, ибо некогда, так как я недавно женился.

П. п. начальник 8 района

Кураковский».

27/V
№ 2 с/с

Заявления столь трагически-сенсационого характера, конечно, не остались без отклика. Энергичным бумагам был «дан ход»: они пошли к прокурору Енисейской губернии.

Произведенное расследование (как приятно заниматься такими делами в жару!) выяснило, что гражданин Кураковский, опекающий вверенный ему восьмой район красноярской милиции, не дурак, не нахал, не сумасшедший, а всего только... не читает ни одной бумаги, но самым аккуратным образом подписывает их, не читая.

Подчиненные Кураковскому делопроизводители, видимо, не очень уважая свое начальство, вдобавок невзлюбили его. И устроили «восстание илотов» в очень ехидной форме, подсунув на подпись две «кое-какие» секретные бумажки.

Начальник восьмого района, наверняка, чувствительно переживает случившийся казус. Если бедняга нуждается в утешении, то вот оно:

В 1912 году чиновники канцелярии тамбовского губернатора таким же образом подсунули его превосходительству прошение в министерство:

«Прошу уволить меня от должности губернатора, так как я, старый дурак, ни одной бумаги не читаю и вообще ничего не делаю».

Прошение было уважено...

Но, может быть, Кураковский негодует? Возмущен? Жалуется на недостатки канцелярского аппарата, на невозможность оказания доверия низовым сотрудникам? Увы, мы почти готовы стать на сторону энергичных ми-

лицейских шутников. И только врожденная любовь к дисциплине удерживает нас от общего призыва к «канцелярским низам»:

— Товарищи! Время летнее! Читает ли ваше начальство бумаги? Или только подписывает? Если только подписывает, то...

1925

Обида на батарее

Дорогой товарищ Кольцов! Знаем вас как неизменного рабоче-крестьянского корреспондента, стоящего на посту против хулиганства, пьянства и мещанства; может быть, вы и осудите мое письмо в отношении тещи, потому что этот элемент не является культурной точкой опоры и не заслуживает вашего пристального внимания.

В мрачные годы царизма я читал в силу необходимости буржуазные журналы: «Будильник», «Веселая бабочка» и «Журнал-фарс», где производилась всяческая насмешка над личностью тещи: даже взрывали тещу бомбой, резали на кусочки и бросали с шестого этажа, вообще подвергали ее полной травле через все органы продажной капиталистической прессы тех фабрикантов и помещиков, которых и след простыл в девятом году нашей власти. И я лично считаю, что ничего смешного тут нет: теща как теща! Нам, простым людям, этой тещей только задурманивали головы царские прихвостни. Теща — не более она есть, как член семьи члена профсоюза, пользуется определенными правами по рабоче-крестьянскому кодексу. В новом быту она безусловно раскрепостилась от наглых издевательств, плевать она хочет на ложь и клевету белогвардейских и зарубежных кадет и меньшевиков!

Тем более тяжело мне, дорогой наш товарищ Кольцов, видеть и слышать те несправедливости. Я — маленький человек, но свою лепту внес в общее строительство, как участвовавший на фронтах с 1918 года на командной должности, член ВКП(б) с 1919 года, ныне Стефан Антонович Горский, командир первой батареи Керченской

группы береговых батарей, и мне чувствительно больно видеть незаметную обиду, касающуюся как старой женщины, так и честного члена семьи.

Ко мне в деревню Эльтыгень, где я служу командиром, приехала моя жена со своей матерью, а моей тещей. Теща вполне здоровый человек, около шестидесяти четырех годов, но горе, что у ней остались только три зуба, и те нездоровые. Пробыв же несколько дней, она меня спрашивает: «Дорогой сынок, попроси ты советскую власть, чтобы она мне зубы вставила, а то мне совершенно нельзя кушать. Конечно, раньше, когда я верила в бога, то я бы тебя не просила, потому что я думала, что это дело божие. Но теперь, когда от тебя узнала, что и бога люди сделали, то зубы тем паче могут сделать». Слыша такую наивную просьбу старушки, совершенно неграмотной гражданки, я, товарищ Кольцов, решил помочь ее горю. Воспользовался субботним днем, зашел в керченский здравотдел узнать, каким путем можно помочь. Рассказав заведующему здравотделом, он сказал: «Напишите заявление», — что я сейчас выполнил, написав заявление с просьбой представить тещу на комиссию о вставлении ей зубов.

Я обрадовался такой быстрой развязке, приехал домой и говорю: «Ну, мама, вам скоро присудят новые зубы». Старушка и жена обрадовались. Через три недели, не дождавшись извещения, едем в город и после четырехчасовой разведки обнаружили заведующего в керченской поликлинике. Я спрашиваю: «Как обстоит насчет вставления зубов моей матери?» — «О, ничего не выйдет, — говорит он, — потому что нет нижних зубов. Но ничего, дам вам записку к врачу, который освидетельствует и представит ее на комиссию».

Шестнадцатого января посылаю старушку к врачу вместе с женой за двадцать верст в город. Вечером приезжают; спрашиваю, что врач вам сказал. «Нехай ему грец! — говорит. — Он мне вытащил один зуб и сказал, что, если не дадите вытащить нездоровые зубы, новых нельзя вставлять. То я ему позволила вырвать, а он вытащил еще один и больше не хотел, а дальше, говорит, через неделю».

Через неделю я уговорил тещу опять поехать и вытащить третий зуб, а то никак не вставят новых зубов. И после того была комиссия, приезжает старушка из города после комиссии и сильно волнуется. Я прошу: «Ма-

маша, не волнуйтесь, успокойтесь, скажите, как дела». Она отвечает: «Дела тихие, вытащили последний зуб, а новых не дали. Хотела я, сынок, зуб этот утаить, а потом подумала, что у меня сын красный командир, стыдно мне от советской власти свой зуб прятать. Просила без боли тащить, но врач как вырвал, я чуть в обморок не упала. Пошла искать комиссию, жду, комиссии нет. Наконец, захожу я в комнату, сидит человек шесть и одна женщина, все похожи на благородных господ. Заговорились что-то между собой, и один седой такой, в очках, сказал: «Откройте рот, гражданка». Я открыла, он посмотрел, покачал головой, посмотрел другой раз и сказал: «Что, старая, хочешь помолодеть?» А я ему ответила: «Зачем мне уже молодеть, мне кушать нечем, а хочется кушать». Тогда он говорит: «Ишь ты!..» Дали мне записку в здравотдел, я пошла через весь город, а оттуда меня послали туда, где была старая почта, а оттуда обратно, где была комиссия. Потом опять послали в здравотдел, и попала к самому заведующему. Показала ему записку, он спросил: «Сколько тебе лет?» Я ответила, тогда он сказал: «У-фу-фу!.. Есть, гражданка, и помоложе вас, и то не вставляем, а вам, такой старой, вставлять, да еще так много зубов — о-хо-хо!.. Вот подождите, как-нибудь я поеду за зубами в Симферополь».

Дорогой товарищ Кольцов, мне теща говорит: «Вот, дорогой сынок, как относятся к нам, старухам, при вашей власти; ты — коммунист, и они — коммунисты, и так вам нельзя относиться к старым людям». Я дал высказаться старушке полностью и ответил ей: «Не волнуйтесь, мамаша, здесь коммунисты ни при чем; надо узнать, в чем дело». Но, дорогой товарищ, не могу я уже полгода добиться, в чем дело. Жене моей сказали: «Пускай ваш муж ходатайствует перед военным начальством, пусть оно мать вашу снабдит, пусть оно матери вашей зубы вставит».

Выходит, что мое заявление здравотделу выполнено в обратном смысле, то есть вместо вставления вытащили последние три зуба. Подобная волокита, да еще при сопровождении насмешек по адресу моего славного боевого начальства по военной линии, выводит меня из терпения, и я прошу только ответить вас на вопрос один: есть ли это достойное отношение советских органов, или же злая комедия для трудящегося из царского «Журнала-фарс» и «Веселая бабочка»?

В доказательство чего прилагаю в этом письме резолюцию товарища Антошенко, уполномоченного Керчотделом медпомощи застрахованным, и марку на ответ.

В город Москву, Тверская улица, дом 48, редакция «Правды», товарищу Михаилу Кольцову.

ОБИДА НА БАТАРЕЕ

(Маленькое послесловие)

«Здравствуйте, наш дорогой пролетарский писатель Мих. Кольцов! Сегодня мне принесли телеграмму, в которой вы спрашиваете, какие результаты получились насчет зубов в нашем керченском здравотделе. Вы просите, чтобы ответить вам телеграфно, и я получил от вас квитанцию на бесплатный ответ. Но я считаю, что такого ответа вам нельзя послать телеграфно, и я решил ответить вам письмом. И вот слушайте. После того, как я вам написал письмо, я еще кой-куда ходил и хлопотал, чтобы все-таки вставили зубы моей теще. Но так как мои хлопоты оказались безрезультатными, то старуха обиделась на меня за то, что через меня потеряла последние зубы, и настаивала, чтобы я ее отправил на родину, то есть на Украину, в Полтавскую губернию, г. Красноград. Но так как ей требовалось на дорогу двадцать пять руб., а у меня не было, то она пробыла у меня до мая 1926 года, а в мае я ее отправил. И после вашего фельетона, который наделал много шуму в нашей Керчи, так через непродолжительное время получаю от заведующего здравотделом отношение такого содержания: «Тов. Горский, срочно явитесь в здравотдел для переговоров относительно вставления зубов вашей теще». Вот тебе так! Старуха могла давно помереть, а они вдруг вздумали зубы ей вставлять. Конечно, я полагал, что вы, тов. Кольцов, получив мое письмо и увидев, что оно очень длинное и притом написанное довольно безграмотно, вы не стали читать. Я и положил крест на все это, тем более что и старуха уехала. А тут, на тебе, как гром с неба сваливается ваш фельетон, который взбудоражил не только здравотдел, а и нашу прокуратуру. Я пошел в здравотдел. Прежнего заведующего уже не оказалось, его за что-то сняли с работы, и на его месте сидел другой какой-то гражданин Харатариан. Как только я показал отношение, сейчас же

посыпались упреки, почему я писал Кольцову. Не могли ли вы пожаловаться местным властям, а не сразу в Москву и т. д. А после упреков говорит: «Так вот что, тов. Горский, нам необходимо вашей бабушке вставить зубы и то в срочном порядке». — «Как вы ей будете вставлять зубы, когда ее уже нет?» Все так и ахнули: «Как нет? Разве умерла?» — «Нет, еще не умерла, а, не дождавшись зубов, уехала умереть на Украину». Как видно, им легче стало, что старуха не умерла. «Ну, это ничего, вы напишите старухе, пускай приедет, и мы ей вставим зубы». Я протестовал, потому что на приезд надо опять посылать деньги, а вы хорошо знаете, тов. Кольцов, что их у нас весьма ограниченное количество. Я стал просить, чтоб здравотдел снесся с красноградским здравотделом, чтобы там вставили. Нет, она должна непременно сюда приехать! Я все-таки написал в красноградский здравотдел с просьбой вставить ей зубы за счет керченского здравотдела и в случае, если будет разница в стоимости между Керчью и Красноградом, я эту разницу беру на себя. Но мне через две недели ответили, что красноградский здравотдел вставлять не будет, а пусть вставляют там, где вырывали ей зубы. Ничего не сделаешь — хочется, чтобы старуха еще пожила, а еще больше хочется разубедить старуху в том, что она не права, когда меня упрекала, что при советской власти еще хуже нет порядков. Мне надо ей показать, что этот пустяк можно сделать, но вся проклятая волокита из-за того, что держим старых чертей, которые все время смотрят в старое вонючее болото, а нашими людьми заменить не можем, потому что их пока еще очень мало. Но разве словами убедишь старуху? Конечно, нет, ей нужны факты, а тут как раз их нет.

Я опять написал письмо, большое письмо, в котором убедил старуху, что зубы будут и что она должна приехать за зубами немедленно, а если не приедет, то меня будут привлекать к ответственности и т. д. Конечно, старуха неграмотная, но когда ей прочитали, что меня накажут, если она не приедет, то тут же согласилась, и я ей послал двадцать три рубля на дорогу. Она приехала и на другой день мы пошли в здравотдел. На третий послали еще раз на комиссию, которая признала необходимым вставить не двадцать четыре зуба, как прошлогодняя комиссия, а двадцать восемь зубов. Тут же выдали записку, и я со старухой пошли к зубному врачу — женщина-врач

Бакчи. Я торжествую — доказываю теще, как она была не права и т. д. А она мне говорит: «Хорошо, что ты знаешь какого-то там в Москве Мишу, который защищает наши интересы, и он все это взбудоражил, а не будь его, какого-то там Кольцова Миши, так я бы умерла из-за них, то есть без зубов». Да, и по правде говоря, и я согласился в душе со словами старухи. Не будь таких преданных нам людей, умеющих владеть таким сильным оружием, как печать, которая бичует всех гадов, засоривших наш советский аппарат, нам бы теперь туго досталось, потому что оружие, которым я работал на фронтах в 1918—1919 и 1920 годах, теперь оно не годится, лежит оно у меня в столике и ожидает, когда придется пустить в ход, но оно тогда пойдет в ход, когда ваше не выдержит. Хоть я, тов. Кольцов, уже демобилизовался как инвалид 3-й категории с пожизненной пенсией, но все-таки, когда на нашем фронте по борьбе с бюрократизмом через печать не поможет, тогда нас много таких, которые помогут испытанным оружием.

Ну, вот, пошел я со старухой к врачу Бакчи, которая сняла мерку и сказала, что зубы будут готовы через неделю-две или три, велела, чтобы старуха ходила к ней каждые три-четыре дня для примерки. Чего больше? Все будет в порядке. Прошла неделя, получаю письмо из Украины от сына моей тещи, который пишет, что через окно из хаты, в которой старуха оставила свои вещи, все уворовано. Хотя там и чепуха была, но все-таки пришлось молчать, чтобы не расстраивать старуху, а я ей решил сказать, когда ей вставят зубы.

Но в нашем гарнизоне, то есть в штабе береговых батарей, пришло приказание, которое сделало кое-какие изменения для нас, командиров; в том числе и меня назначить в Севастополь.

Ничего не сделаешь: приказ — надо ехать. Но как быть со старухой? Ведь зубов еще не вставили, хотя вместо двух-трех недель, как обещал врач, прошло уже шесть недель, а зубов все нет. Пошел я к врачу, спрашиваю причины медлительности изготовления зубов. «Да что вы думаете, зубы так делаются, как дрова рубить? Нет, здесь не такая работа, тут необходимо головой работать, чтобы зубы сделать, тем более в такой рот, как у вашей мамаши, которой никак не подберешь зубов...» Пришлось оставлять старуху в Керчи с моим сыном, который уже в седьмой группе второй ступени, хотя ему

всего тринадцать лет, все-таки парень сообразительный, и я ему поручил обо всем мне писать, а сам 22 октября 1926 года уехал с женой в Севастополь командиром одной из севастопольских береговых батарей. Прошел декабрь 1926 года, мне сын пишет, что с бабушкой врач не хочет говорить и зубов еще нет. Я пишу письмо врачу. Она еще хуже, и, наконец, в марте месяце 1927 года мне пишут, что зубы готовы, но бабушка говорит, что они не годятся, что верхняя челюсть не годится, совершенно не держится во рту. Я велел обождать ввиду того, что я должен был скоро демобилизоваться по болезни и ждал со дня на день приказа о демобилизации. 30 июня 1927 года я демобилизовался, приехал в Керчь и узнаю, что зубы бабушка получила, и красивые зубы, но никуда не годятся, так как в действительности при открытии рта верхняя челюсть целиком вываливается из рта, и теща их не носит, а держит их в ящичке. Что дальше делать? Старуха разочаровалась и настойчиво требует, чтоб ее отправить на родину; так и уехала, а теперь одна челюсть лежит у меня, а другая второпях завалялась в вещах и, наверное, уехала на Украину и там валяется без пользы. Увидев, что я бессилен что-нибудь сделать, я решил больше никогда не просить, хотя бы не только старухе это требовалось, но даже если бы самому пришлось умереть. Вот почему я вам не писал ничего, потому что не хотелось вас беспокоить такими мелочами, в то время когда у вас есть гораздо важнее дела. И я бы не писал, не получив вашей телеграммы, которая прямо меня поразила. И вот как так, чтобы человек, который имеет столь важные дела и так много, мог вспомнить о нашем маленьком, столь незначительном деле... Мой сын и жена, которым я прочитал вашу телеграмму, в восторге от того, что вы так долго не забываете обиженных, и примите от них пролетарский привет.

Я в настоящее время работаю ответственным секретарем Осоавиахима Керченского района. Уже год работаю. Работа очень трудная, в особенности для меня, малограмотного, но пока я справляюсь — военизирую массы.

Извини, дорогой товарищ, что так много времени отнял у тебя на разбор моей искренней беседы с тобой. С комприветом

Горский».

1926

Вошь победит социализм или социализм победит вошь! Сколько лет прошло от тех дней? Ленин, здоровый, кипящий энергией и волей, Ленин девятнадцатого года бросил вызов из самой глубины сдавленной врагами, болезнями, голодом, холодом страны... И на эти слова Большой театр, Седьмой съезд Советов, рушил гром аплодисментов.

Все дрожало от рукоплескания трех тысяч обмерзших, простуженных, сипло кашляющих большевиков в солдатских шинелях, в бараньих тулупах, в драных довоенных пальтишках, в кожаных куртках. Испуганно дрожала и вошь — она в большом числе присутствовала на съезде, цепко гнездясь в швах рубашек, в спутанных гривах и бородах, в штанах и папахах.

Вдали от первого, великого Октября милее писать об электрических бриллиантах Волховстроя. Но можно ли забыть и о ней, о вше, пытавшейся сразить революцию еще при живом Ленине, неугомонно стерегущей нас по сей день?

Ведь до сих пор каждый год вошь встает перед нами в новой своей ипостаси! Каждый год скопляется она, серая и ничтожная, несчетными тучами, преграждает своими фалангами дорогу к социализму, а для иных, слабых зрением, даже минутами заслоняет солнце.

Жалуется мне товарищ из Киргизии на чудовищную некультурность тамошних жителей.

«Врач читал в школе фрунзенского резерва милиции лекцию об устройстве человеческого тела. Когда дошел до объяснения, что такое печень, и сказал, что печень вырабатывает соки для пищеварения, — его решительно остановили:

— Неправильно! Чего нам голову морочите! Знаем мы, для чего она есть, эта самая печень!

Врач уставился на слушателей. Что за черт, мол, такое? Больше моего знают!

— Насчет соков там и тому подобное — это, товарищ лектор, чепуха. Н-да-с. И вовсе печень не для того. А есть она, печень, такое место, откудова вши рождаются.

— Вши??! — обалдело переспросил лектор.

— Да, вши. И для того она, печень, и устроена, чтобы вши из нее раз в году выползали на тело и пили лиш-

нюю кровь. А иначе бы каждый человек от лишней крови и помер.

— От полнокровия, — деловито разъяснили другие голоса. — Они из печени через горло выползают, когда человек, значит, спит.

Сколько ни бился лектор-врач — слушателей не переубедил. Так и ушел ни с чем. Может быть, плохой был лектор, не знаю.

Вас не стошнило? Из вшивого факта киргизский товарищ делает, однако, простые выводы. Он требует всего только увеличения сметы Наркомпроса по автономной Киргизской области.

...А может быть, и впрямь ученые врут? Может быть, вша действительно не размножается, а прет, как есть живая, молодняком из какого-нибудь укромного места?

У меня сохранился большой цветной плакат, на котором изображена эта героиня девятнадцатого года. Овальное брюшко, длинные тонкие щупальцы, маленькие близорукие глаза, мясистый хоботок. Где только ни висел этот портрет в военные годы, заменяя все прочие художественные произведения!

Потом вошь стала выглядеть иначе.

Двадцатый и двадцать первый года. Вошь одета по моде — по-военному. Она пожирает пайки. Она покрывает крепкой коростой государственный аппарат, окоченелую промышленность. Она копошится в Центроклюкве, в Главпухе, в Москводыме, в Уралмузыке. Она застилает жизнь пустословием, бумажным пометом, извержениями прямых, придаточных, косвенных и вводных предложений. Она движется по застывшим колеям железных дорог бесконечными караванами делегатских и командировочных вагонов. Она собирается несчетными ордами в столицах, гнездится на добавочных и сверхприбавочных площадях, охраняя спокойный сон грамотами, мандатами, удостоверениями, аттестатами.

Двадцать второй, двадцать третий года. Вошь вышла из подполья. Она пирует. Она забыла свое основное природное свойство — существовать потихоньку в складках и швах. Сейчас есть где разгуляться. Вошь — в черной паре и лаковых ботинках. Она знает, что значит валюта. Она знает, что такое товар. Она знает, что такое сделка. Она знает, что такое договор. Те, кто хочет строить социализм, еще не знают ни первого, ни второго, ни третьего, ни четвертого. Удивляться ли, что сделка с догово-

ром на товар дает вше валюту? Удивляться ли тому, что большевик, взявшийся торговать, очумело глядит на пустой склад, из которого между пальцев хлынул и сгинул товар?

Двадцать четвертый, двадцать пятый года. У вши — постные времена. Она прибеднилась, сменила кратковременную черную пару на скромную толстовку. Она опять не прыгает. Она ползает, спокойно бредет верными дорожками, по скважинам, щелям и швам. Сама от себя больше не действует. Она опять служит. Тихо и старательно ползает по телу советской страны. Совсем как в Киргизии, она пьет лишнюю кровь. Чтобы, боже упаси, мы не померли от полнокровия.

Двадцать шестой и седьмой года. Вошь жива. Она уже совсем приобвыкла. Прижилась. Обзавелась своим языком, философией, принципами, устойчивостью во взглядах. От десяти до четырех помогает строить социализм, вернее сказать, заботится о том, чтобы мы не страдали от полнокровия; от десяти до четырех она, затершись в толпах трудящихся, будет вприпрыжку праздновать который-то Октябрь.

А после четырех — дома, у самовара, среди своих — у вши полугрустная, понимающая ироническая усмешка. Она умеет острить вшивыми своими остротами.

— Вы знаете: советской власти осталось жить всего год!

— Почему?

— Как же? Ведь даже по кодексу высшая мера наказания — десять лет. Девять прошло, вот всего один год и остался.

Мы все, хорошие люди, каковыми себя считаем всегда, в любую минуту, сомкнутым строем, мерным шагом, грудью вперед, нога в ногу, рука об руку, плечом к плечу и прочее, готовы пойти на борьбу с бюрократизмом.

— Где он, этот бюрократизм подлый?! Подайте-ка его сюда! Задушим! Растерзаем! Живым от нас не выйдет.

Найти бюрократизм, обнаружить его, доказать — это значит убить.

Но как найдешь? Как докажешь?

У нас никто толком, ни в шутку, ни всерьез, не исследовал и не определял стихии бюрократизма самой по себе как социального явления.

Никто, кроме Ленина. Кроме него, который видел и ненавидел вшу во всех ее проявлениях:

«Формально — правильно. А по существу — издевательство».

Если вы добудете это «по существу», ваша задача разрешена. Вы убили бюрократизм.

Но попробуйте добудьте его!

Это большая ошибка — представлять себе бюрократа тупоумным быком, упершимся в письменный стол, в папки, в телефон, не понимающим дело, не способным разговаривать с посетителями, слепым рабом схемы.

Один работничек, ушибленный НОТ, переустроил свой дом согласно новейшей алфавитно-предметной системе. Для моментального нахождения всех предметов его домашнего обихода он разместил их по алфавиту. На букве «б» у работничка были расставлены и развешаны рядом: булка, банка, бритва, ботинки. На букву «р» — рубашки, резолюции партсъездов, рыба, речи вождей, резинка, рисунки, рябиновка и ручки. Перья к этим ручкам лежали отдельно, вместе с профбилетом, панталонами и плевательницей.

Вы думаете, это тип настоящего бюрократа?

Нисколько.

Настоящий бюрократ тот, которого не казнишь на ногте, — он развит и дальнозорок. Он умеет говорить, применять статьи закона, сожалеть, сокрушенно пожимать плечами; говоря о бюрократизме, возмущенно разводить руками; подавать стакан плачущему, любезно и предупредительно направлять в другую инстанцию.

Он умеет писать, отвечать на бумаги без промедления, вернее, перекладывать промедление от себя на соседа.

Он умеет оказывать содействие, любезно проталкивать человека... в пустоту.

Один немалого масштаба работник мне говорил с лукавой и нежной усмешкой:

— Я никогда не отказываю в рекомендательных письмах. Всегда даю — зачем огорчать людей! В пять мест людей направляю с письмами. Даю характеристики, прошу о содействии, настоятельно советую принять на службу. Уходят от меня с письмами, ног под собой не чуют! А к этому — маленькая подробность. Во всех пяти местах товарищи предупреждены. Если пришел с письмом от меня и в письме сказано «с товарищеским приве-

том», гонят в шею. Условный знак! Когда написано без товарищеского привета — это значит: я всерьез. А когда с приветом — в шею! У меня так второй год заведено. Сколько я народу осчастливил.

Лукавая и нежная усмешка. Снаружи правильно, а внутри — издевательство. Никому не отказывать. Не надо огорчать людей. Надо согласовать. Надо продумать. Надо проработать. Надо подработать вопрос. Надо выждать. Надо быть осторожным... Бюрократизм двадцать шестого года в нашей стране — уже немаленький. Он видал виды, знает, где раки зимуют, умеет прятаться в нору и выходит на добычу в подходящее время. Опасный зверь, хищный и ласковый.

У нас под каждую пакость умеют придумать обоснование. Вам даже октябренок толково, с аргументами обоснует, почему он пачкает штанишки.

Коммунист-фельдшер Стригунов в городе Шенкурске подал в уком заявление с обоснованием своего регулярного непробудного пьянства, от которого пошла прахом семья и разбежались больные:

«Ежедневная неурядица в семейной жизни, тяжелые условия работы без надлежащего отдыха, которым мог бы располагать в определенное время, постепенно вызывают утомленность и расстройство нервной системы и требуют периодического разряжения и временной отвлеченности от постоянной работы мозга в одном направлении, что при условиях работы в деревне можно достигнуть редкой выпивкой в кругу знакомых, после чего с наибольшей энергией берешься за исполнение обязанностей, возлагаемых службой и долгом и партией». Пьянство для выполнения долга перед партией — это обосновано. Но спросите товарища Стригунова, можно ли коммунисту бриться, каждый день чистить сапоги, нацеплять галстучек. Он повернет к вам суровую маску партийной неприступности:

— Бриться? Галстук?! Буржуазный, товарищи, уклончик! Сползание, дорогие товарищи! Гляди в оба!

Ходить после работы каждый день в пивную — в порядке вещей. Ходить после работы в театр, в кино — посмотрят косо.

В Москве тысячи пивных. На лучшие помещения налеплены желто-зеленые вывески, в них целый день до глубокой ночи остро пахнет блевотиной и огурцом, и бледные люди в грязных передниках протискиваются с

бутылками между столиков, под колокольный звон матерной брани.

В Москве ни одной приличной общедоступной кофейни, где можно тихо, без мата, посидеть, поговорить, прочесть газету, послушать музыку.

Что кофейня! Вот куда девалась старая московская чайная, где ласково сверкали полоскательницы, где бесшумно порхали белые усатые архангелы, где за восемь копеек, вместе с парою чая и огрызком сахара можно было обсудить все мировые вопросы! Где машина со степенным присвистом играла марши, где к крутому яйцу давали соль в бумажке?

Мы охраняем в ненужном избытке памятники искусства и старины, мучаемся над возобновлением штукатурки эпохи Александра Благословенного, а старинная московская чайная, самое мирное, хорошее наследие прежних времен, умирает. Ее домовитый гул сменил сумасшедший грохот самоновейшей пивной.

Строитель и жилец. Совсем нетрудно различить их, если не с первого взгляда, то с первого разговора.

Жилец чувствует себя повсюду хозяином положения. Он шныряет по учреждениям и фабрикам, одобрительно хлопает всех по плечу, поздравляет с удачами, огорчительно качает головой при известиях о неудачах, многозначительно подымает палец, подразумевая темные силы.

Он появляется в начале и в конце всякого дела. Он присутствует на организационных собраниях, на закладках, на открытиях. Здесь говорит он длинные речи о том, что надо не слова говорить, а дело делать, что необходимость давно назрела, что дальше терпеть нельзя.

Он сидит на видном месте при фотографической съемке, заслоняет своей тушей настоящих работников, он вытирает на лбу трудовой пот после торжественных обедов и товарищеских ужинов.

Если дела идут плохо, он появляется торжественным мрачным вороном. Он повышает голос, напоминает — ведь он всегда предупреждал, что дело гиблое, что не надо было начинать, теперь неизвестно, как выпутаемся. Тут же он приводит свой всегдашний двубортный довод: не в системе дело, а в людях. Или наоборот: не люди подвели, система подвела.

У строителя совсем другие глаза, совсем другая поступь.

Он боится.

Чего бояться? Мы строим социализм по всей стране, он строит социализм в своем уголке. Казалось бы, гордо поднятая голова, твердые движения, независимый вид.

Нет, мы еще недостаточно научились по-настоящему уважать и ценить настоящих отдельных строителей социализма.

Редко-редко они попадают в общее поле зрения. Не было бы счастья, несчастье помогает. Если очень ущемят человека — он кидается за помощью в газету, и газета вынуждена в защиту человека описывать его заслуги.

Что бы ни строил человек — кооператив, школу, совхоз, пожарную команду, клуб, — надо лишаться всякого сна, днем и ночью сторожить свое детище, оберегать его от липкой паутины бюрократического паука, от вездесущей, всепроникающей вши.

Человечек будет худеть и бледнеть, трястись из деревни в город за ассигновками или дрожать за свой хозрасчет. Он будет робко заглядывать в глаза каждому проезжему и прохожему: за или против? У него, у строителя, погруженное состояние. По ночам он бредит сметами, и от него отказывается жена. Если дела в клубе или кооперативе идут плохо, он перестает различать лихорадочными глазами, где клуб и где жена. А если потеряет их обоих, тогда приходят жильцы, галдят, осуждают, толкуют о людях и о системе.

Надо уметь находить, отличать, беречь настоящего маленького строителя социализма. Надо поменьше швырять его, поменьше сбивать с толку. Он чаще всего — однолюб: осуществляет свое участие в великой постройке через какое-нибудь одно близкое, понятное, зажигающее его дело. С этим надо считаться. Если человек хочет помочь социализму пожарным сараем и может это сделать — не заставляйте его тоскливо заседать в секции рабис!

В длинном, многоверстном пешем пути, какие бывают только в нашей необъятной советской равнине, есть у скромного путника маленькая дорожная радость.

Переобуться.

Домовито усядется путник на кочку. Оглядит по очереди обе ноги. Добродушно покачает головой.

Не спеша развяжет накрест связанные до колена оборы.

Снимет лапти, хорошенько вытряхнет их, отобьет землю, попробует пальцем, крепка ли подошва-плетень и обушники по бокам.

Развернет, растянет и хорошенько вытряхнет портянки — чего только не набьется в них в пути! И щебень, и щепочки, и хвоинки, и мошки всякие. Иной раз даже и ничего не набьется, но заляжет неудобной складкой завертка, трет ногу — пустяк, а идти трудно!

Переобулся путник, потопал ногами — как будто новые ноги. Хо-ро-шо! Идти можно.

Идем мы крепко, уверенно. Не сбились, знаем верную дорогу и не устали шагать. Что же с того, если грязь, щебень, всяческое насекомое набилось в обувь? Ведь можно почаще переобуваться!

1926—1927

Мое преступление

Об этом мы недавно спорили, долго и горячо, с видной советской писательницей.

Коротко остриженная и очень убежденная, она страстно, настойчиво, по-видимому, вполне искренне, доказывала:

— У нас теперь в СССР недопустимы никакие обряды! Стоило ли делать революцию, чтобы не подвинуться в этом ни на шаг? Разве что-нибудь меняется, если мы заменяем крестины октябринами? Ничего! Те же крестины, только в революционном облачении, по новой орфографии. Это линия наименьшего сопротивления! Нужно не опускаться до уровня темной суеверной деревни, а подымать ее до себя! Иначе мы никогда, никогдашеньки социализма не построим! И не приблизимся к нему никогда!

Долго спорила и бушевала честная моя «оппонентка». Была она горяча и неприступна. Все мои доводы отвергала, признавала мещанскими и отсталыми. Так и ушла в твердой глухой броне своей правоты.

А сегодня, когда она нужна для новой вспышки спора, ее нет и трудно найти даже по телефону.

Сегодня пришли ко мне два брата Каравайченковы, два великана в пимах и малицах, дышали на меня моро-

зом, здоровьем и волнением, донимали меня полтора часа, слушали мои заверения и не ушли, пока не выговорились и не доказали своей беды.

Приехали братья из Вологодской губернии по земельному делу судиться от деревни за очень нужные клинья с какими-то очень дерзкими выселками. А заодно зашли по точному адресу, на особой бумажечке за голенищем, к Кольцову Михаилу — получить от него список безбожной советской литургии для умерших честных беспартийных крестьян. А также полный порядок красных октябрин и наименование революционных вождей для крестьянских младенцев на каждый день в году.

Не знаю, какой шустрый селькор твердо убедил деревню, что у меня безбожная литургия есть и напечатана и продается за полтора рубля. Посланцы были тверды, настойчивы, совали полтора рубля, ввиду отказа предлагали пожертвовать полсотни на Красный Крест, а главное — доказывали безвыходность положения.

— Выручите, дорогой партийный товарищ! Нам ведь не зря адрес даден — толковый человек давал. В вас видим спеца по этому делу! Нам и на клинья наплевать, пропади они к черту, но только в сельсовет доставить красные списки на безбожные требы: вся деревня стонет. Поп — первейший спекулянт, без меня, говорит, не обойдетесь. Даже старики почти никто не верует, но все же литературка непременно нужна для помощи. У нас комсомол—сущие молодцы-пройдохи, за все ребятки берутся. Но сами поймите: без поваренной книжки — ни хоронить, ни октябрить. Дверь узка в могилу, а вот и той нет. Мертвым телом хоть забор подпирай. И в сороковины, когда поминать, — ни речей, ни песен не приготовлено: такая обида с пустыми руками возвращаться, прямо до слез. Поп засмеет, все каркал, что без него не обойдемся, вот и выходит правда!

Я убеждал Каравайченковых, что все это ерунда и сущие пустяки. Что не в обрядах дело, а в избе-читальне, в ликвидации неграмотности, в сельскохозяйственном кооперативе, в комитете взаимопомощи, в коллективной запашке, в борьбе с самогоном, в тракторе, в агрономе, в газете, в кино, в кольцевой почте. Гости мерно кивали маятниками голов, полностью подтверждали. Но младший не удержался и, потупив глаза, неспокойно перебил:

— Фабричных все-таки с похоронным маршем про-

вожаете. Крестьянство в полном тоже праве жить по новой форме. Обойдение в правах получается.

Ходоки вышли вместе со мной, и я, передовой, свободный от предрассудков и прочего такого человек, совершил акт мещанства и интеллектуальной отсталости в масштабе целого села. Помогал в писчебумажном магазине покупать портреты вождей, красные абажуры, ленты, лозунги, плакаты: «Соблюдай чистоту», «Кончил дело — уходи», «Все в Осоавиахим», заведомо зная, что названные предметы послужат для устройства каких-то безбожных литургий, советских отпеваний и красных поминок.

Может быть, картон «Кончил дело — уходи» будет колыхаться в головах у покойника. Может быть, затейливая картинка с самолетами и противогазами будет красоваться над почтительно склоненными головами новобрачных. Может быть, плакат «Просят не курить» будет торчать перед голубыми глазками неграмотного новорожденного младенца... Все равно! Пусть. Я пошел на преступление и пока не раскаиваюсь в нем.

Потому что братья Каравайченковы из вологодской деревни забирали свои самонужнейшие покупки со спокойной радостной твердостью.

Они знали, что делают, и не мне было смущать их ясные, обдуманные затеи.

Потому что мне казалось настоящим мещанством и настоящей интеллигентщиной отвращать людей от их безусловно революционных действий, конкретных поступков во имя далекой, пока бесплотной идеи.

Потому что, если затерянные лесные труженики хотят выбраться из ямы тьмы и суеверий, надо не приказать им прыгать, а подставить ступеньку или подать руку помощи.

1926

Хорошая работа

Мы наблюдаем плавание одного из кораблей нашего революционного флота по европейским портам. Кажется, никакое путешествие никакой морской эскадры не вызывало такого брожения умов, такого стечения публики,

как один-единственный «Броненосец Потемкин», объезжающий Запад.

«Броненосец» путешествует без капитана, без матросов, без руля. Он — просто-напросто целлулоидная лента, намотанная колесом и упакованная в железные банки.

Но какое смятение! Какой переполох! Какие предупредительные меры!

Наш ТАСС может разориться на одних только телеграммах о запрещении «Потемкина». Скоро для них придется завести специальный отдел с заголовком: «Кто следующий?»

В Берлине «Потемкина» запретили! Потом разрешили. Опять запретили и во второй раз разрешили.

Разные председатели кабинетов и министры «внудел» других стран тоже показали на советской фильме свою власть.

Затем знатоком по части советского кино выказал себя Бриан. Подавая в отставку по своему девятому совету министров и одновременно собирая десятый, великолепный Аристид на ходу приказал не допущать которые революционные картины.

В обязанности немецкого участкового надзирателя входят пятьдесят девять пунктов. Этот двужильный человек, обремененный многочисленными заботами, должен, между прочим, следить и за тем, чтобы в его районе не мылился в банных номерах мужчина с женщиной, чтобы на прохожих были застегнуты все пуговицы в соответствующих местах, чтобы студенты дрались на дуэлях строго по правилам и чтобы дети до четырнадцати лет не курили папирос.

Теперь к ночным кошмарам околоточного прибавился еще один, шестидесятый:

— А не ставят ли во вверенном мне районе преступную советскую киноленту «Броненосец Потемкин»?

Подобно этому некогда пристав Литейной части в Петербурге стонал, обращаясь к редакции дореволюционной «Правды»:

— Понимаете, господа, я не против вашей газеты. Но почему она в моем участке? Этакая революция — именно в моем участке. Если бы в другом участке — я бы не возражал.

...И все-таки, вопреки всему, несмотря ни на что — «Броненосец Потемкин» с большим успехом плывет и плывет все дальше по заграничным столицам и провин-

циям. Министры запрещают, пристава закрывают, городовые разгоняют, фашисты избивают, а картина идет, и публика валом валит.

Почему?

Простейший ответ:

— *Хорошая работа.*

«Броненосец» сделан так, что его невозможно запретить. Запад, буржуазный, ненавидящий нас Запад, который рад был бы не пускать нас ни ногой на порог, он знает цену хорошей работе. Склоняется перед ней, как побежденный.

Некоторые мало вдумчивые люди в СССР готовы расценить бурный успех «Броненосца», как чуть ли не начало мировой революции или чего-то вроде.

Но в Берлине на просмотре «Броненосца» присутствовал шведский король и так хлопал — чуть себе рук не отбил. По этому поводу правая «Дейтше Альгемейне Цейтунг» с отчаянием вздымала руки к небу:

«Если уж король хлопает революционной картине — что делать нам? Разве пулю себе в лоб пустить?»

Оба неправы. И легкомысленные советские фантазеры, и отчаявшиеся немецкие черносотенцы.

«Потемкин», конечно, — революционная картина. Безупречно революционная.

Но она завоевала Европу не благодаря, а скорей вопреки своей революционности.

Блестящее зрелое мастерство юных режиссера и оператора довели через все препятствия картину до европейского триумфа. Или, если вы любите привычные слова, *отличное качество продукции.*

В этом — гвоздь, и в этом большой политический, даже экономический урок такого с виду скромного события, как успех советской агитационной фильмы за границей.

Может быть, создатели этой картины делали картину специально для экспорта? Мы ничего об этом не слышали. Наоборот, делавшие картину были почти твердо убеждены, что ей не перескочить через границу. Они делали «просто хорошую» советскую фильму. И получили сюрприз — мировое признание. А между тем некоторые картины, специально уготовленные нашими киноорганизациями для заграничного зрителя и оказавшиеся сладенькой пошлой чепухой на фоне советского пейзажа, эти картины уже который год пылятся на складах.

На хорошую работу Запад падок. Это он понимает. Это он уважает. С этим он считается. Этому он даже подчиняется.

Раз даже революционную, ниспровергательную агитацию буржуазная общественность вынуждена, скрежеща зубами, допустить за ее блестящее качество — что говорить о прочем!

Когда наш лен, наше масло, наш лес, наша шерсть, весь наш экспорт будет качественно хорош — мы будем неуязвимы. Непобедимы.

Поскольку мы сможем производить вещи и товары не хуже заграницы, заграница нам не страшна.

Поскольку же нет, поскольку, как у нас случается, и тульские самовары будет за нас делать Финляндия — нам крышка. Если у нас будут скверно работать, производить дрянь — от нас к себе не пропустит Запад не только революционных картин — икон производства владимирских богомазов не примет!

Успех «Броненосца Потемкина» — это нисколечко даже не начало немедленной мировой революции. Это успех советской хорошей работы...

1926

Не плевать на коврик

В Москве есть много достопримечательностей. Они угождают на всякий вкус.

Поручик из «Дней нашей жизни» и тысячи ему подобных спешили осматривать соборы. Чуткий к богатствам культуры шкраб спешит с вокзала в Третьяковскую галерею. Иностранные корреспонденты требуют показать им детские дома, ГПУ и алмазный фонд. Женский пол пожирает изобильные театральные яства столицы.

Но есть достопримечательности, которые приходится заново ежедневно открывать. Перед их лицом и москвич пусть не задирает носа нахальным всезнайкой. Были ли вы в третьей галерее ГУМа? Не были...

К подъезду, к выходным плакатам и обычным красным полотнищам приходишь с волнением. Как на свидание к любимой женщине, которой дожидался восемь лет.

В третьей галерее ГУМа открылось нечто очень скромно озаглавленное:

«Выставка Центрожилсоюза по оборудованию рабочего жилища».

Еще более скромно, а для требовательного глаза даже убого, зрелище, следующее за вывеской. Так уж у нас водится, что какую-нибудь чепуху, халтуру окружают трескучей рекламой, колокольным звоном, проливным дождем газетных заметок. А важнейшее, серьезнейшее дело начинается втихомолку, в робких, захолустных формах.

В галерее ГУМа приютилось около двух десятков маленьких павильонов, где такое же количество государственных трестов выставило свои фабрикаты, имеющие отношение к инвентаризации рабочего жилища.

Идешь по павильончикам, смотришь. И радостно думаешь:

«Вот оно. Начинается!»

Оборудовать, устроить жилище — понятие весьма растяжимое. Поэтому не имеет определенных рамок и выставка. Здесь представлены элементы жилищной культуры от строительных материалов до антрацита, на котором выгоднее варить обед, чем на дровах.

«Асбстром» выставил красивые, манящие полированные плитки. Из них с волшебной быстротой делаются прекрасные несгораемые полы, которые стоит потереть суконкой, чтобы сделать чистыми и скользкими, как лед. Из них же буфеты, кабинки-души, ледники, шкафы и что угодно.

Институт силикатов предъявил чудесные гончарные и керамические изделия. «Взок» устроил целую пирамиду из пожарных рукавов и насосов, огнетушителей. Тульский завод показал замки, щеколды, дверные ручки, засовы.Roспромцветмет нестерпимо сверкает кастрюлями, чайниками, кофейниками, тазами, от блеска которых мутится в глазах и вожделение медленно подступает к горлу у всякой хозяйки.

А дальше... Дальше посетитель выставки попадает под свирепый артиллерийский обстрел «мещанских» благ и искушений. Советский трест выставил отличные эмалированные ванны, умывальники и даже писсуары. Советский писсуар — какое мещанство! Но чувства мои очень взыграли, когда я увидел сей необходимый предмет не

с клеймом кровожадной, империалистической английской фирмы, а со знаками честного советского завода.

Этого мало. Отправление естественных надобностей и даже ежедневное мытье в ванне еще не есть прямой признак мещанства. Но что бы вы сказали, увидев образец рабочей квартиры из трех комнат, выставленный ГУМом! Коврики! Буфет!! Занавесочки на окнах!!! Вышитый цветочками абажур!!

А я жадно бродил по закоулкам выставки и жалел, что она так скупа, и всматривался в чертежи рабочих квартир и в новые хлеборезалки для нарпитовских столовых, и меня толкали пролетарские посетители, также жадно разглядывавшие экспонаты, и над ухом работница недовольно говорила мужу:

— Тут корытце, ребенка купать, цена написана, а купить нельзя, и адрес не сказан.

Буржуазия говорила о большевиках:

— Они держались голодом. Сытость убьет их.

Но вот революция вошла в соприкосновение с ковриком и занавесочкой. И советская власть не гибнет, а только крепнет вместе с рабочим и крестьянином, крепнущими в своем материальном положении и жизненном самочувствии.

Центрожилсоюз сделал робко и скромно, но первый сделал важнейший шаг. Организовав выставку, он впервые *свел лицом к лицу промышленность пролетариата с рабочим-потребителем.* Историческая встреча!

Не вина организаторов в том, что огромное большинство наших промышленных предприятий, покрутив носом, отказалось от участия в выставке.

Хвала тем, кто пришел и дал себя проэкзаменовать потребителю.

В третьей галерее ГУМа сделана небольшая, но важная и заметная зарубка в истории нашей культуры, в строительстве того, что у нас огульно и бесформенно именуется «новым бытом», и это для нашей эпохи есть *улучшение и упорядочение условий жизни рабочего класса.* Сюда, пред его лицо, должны приходить наши промышленные предприятия сдавать публичный экзамен на качество.

Нужда, нищета часто являлись причинами многих наших добродетелей. Было время, когда кожаная куртка была предметом роскоши, и коммунист сдавал куртку на фронт, краснея от упрека в комиссарском аристократиз-

ме. Теперь кожаной курткой брезгуют, и секретарь завкома разгуливает в пиджачке с галстуком.

Наши газеты справедливо ругают сельский кооператив: есть мазь против веснушек, но нет колесной мази. Но упрек этот временный и условный. Если есть колесная мазь, то ничего худого нет в мази от веснушек.

С каждым годом, с каждым днем растет благосостояние рабочего класса и крестьянства, растут их требования к жизни, к удобствам и радостям бытия. Было бы глупо и преступно хватать пролетариат за рукав, уговаривая его не носить галстуков, не потреблять одеколона и презирать коврики. Это в наших условиях и было бы настоящим буржуазным мещанством.

Так не случится. Наоборот, советская промышленность должна и встретит грядущего к ней потребителя во всеоружии. Дешевизна, качество и, главное, чуткое приспособление к потребностям покупателя-хозяина — это должно быть и будет основой ее работы.

1926

В знак почтения

Когда паводком срывает и уносит целые дома, опрокидывает пристани, топит людей и скот, — кто видит мелкие щепки на гребне пенящейся волны? Их уносит вниз, далеко в море, откуда нет возврата. Ведь все, великое и малое, равноправно в бездне прошлого.

Альбом старорежимный, мещанский, провинциальный, уездный, настольный украшал скромным завитком под крышей низкорослое зданьице старой жизни.

Переплет — тисненого картона, под кожу и коленкор.

На переплете — идеологическая эмблема. Ангелочек трубит в трубу. Или голубь с письмом в клюве. Письмо перевязано голубой лентой. Или барышня, подпершись, строчит у открытого в сад окна. Или перевитая плющом лира. Или гусиное перо, распростертое на пергаментном свитке. Или так себе, просто луна на Адриатическом море.

Вместо передовой статьи — краткое указание на знаменательное происхождение альбома:

«Дорогой, нежной, свято любимой Наде от Пети, Шуры, Люды и Коки Л. в день ангела».

Дальше — серьезная, космически-философская часть, устанавливающая основы миросозерцания обладателей альбома:

Ах, тяжело мне житейское море,
В нем так много терзаний и слез,
Но, забывши про муки и горе,
Я унесусь с вами, Надя, в волшебное,
удивительное царство грез.

Отдельные персональные характеристики, хотя и страдают отсутствием серьезного социального анализа движущих сил экономики и политики, в которых развивался их объект, зато обладают другими вескими признаками:

Вы прелестны, словно роза,
Только разница одна:
Роза вянет от мороза,
Вы же, Роза, никогда.

Тут же находят себе место чисто идеалистические искания, явно телеологического характера:

Бим, бом, бом!
Пишу тебе в альбом.
Что писать тебе в альбом,
Право, я не знаю.
Разве счастья пожелать —
От души желаю.

Не обходится и без сотрудничества представителей различных классовых группировок, облеченного в самую поверхностную эстетическую форму:

«Милая Катя, как серьезный человек и к вам расположенный, даю вам в альбом совет — приходите завтра в восемь часов в камыши за баней. Ничего худого себе не позволю, но заработаете на перчатки».

Завершается альбом строками нежной заботы его участников:

На последнем на листочке
Пишу тебе четыре строчки,
В знак почтенья от меня,
Ох, не вырвало б тебя.

...Его, альбом, унесло в пучину прошлого. Жалкая щепка мещанской гордыни! Он там, в пыли, во прахе, где валяются ножки опрокинутых тронов, генеральские эполеты, акции Нобеля, чиновничий околыш, буква ять. И на смену ему пришел...

Вот, посмотрите, каков он есть, наш новый, молодой, свежий, ядреный советский альбом.

Облачен в кожаный переплет из отличного сафьяна, с серебряными надписями на всевозможных языках. Оборудован особым брезентовым чехлом с ременными застежками. Это вам не коленкоровая папка с ангелочками и голубком!

Размер: аршин на пол-аршина. Такой альбомчик в карман не спрячешь, а если девица, за блузкой не понесешь.

Весу в альбоме *три пуда.* Да, три пуда, да еще с фунтами и золотниками. Если кому-нибудь такой альбомчик подкинуть для автографа, нужно раскрыть обе половинки дверей и внести его двум здоровенным носильщикам. Хлопотно немножко, накладно. Зато солидно.

Цена такому альбому рабоче-крестьянскому нам точно известна. Изготовили ценители красоты и изящества из Иваново-Вознесенского треста их в количестве двухсот шести штук, и обошлись они всего *в пятьдесят семь тысяч* девятьсот одиннадцать рублей шестьдесят семь копеек. Разделив второе число на первое, желающий получит розничную цену на желаемый предмет.

Для чего же понадобились альбомчики правлению треста? «Бим, бом, бом» или «Роза вянет от мороза»?

Ни в какой мере. Красные иваново-вознесенские хозяйственники стихи в грош не ставят и вполне даже зачисляют их как мелкобуржуазный нарост на здоровом теле пролетариата.

Альбом заключал в себе рекламные образцы тканей хлопчатобумажных и льняных, изготовляемых на фабриках треста.

Отсюда — еще маленькое вычисление. На каждый альбом ушло по сто двадцать пять метров мануфактуры. Итого — около двадцати пяти тысяч метров. Считая в среднем по сорок копеек за метр, надо на альбомчики накинуть еще десять тысяч рублей. Итого — *шестьдесят семь тысяч.*

— Ага! — начнет думать вслух читатель. — Это рекламные альбомы, специально для коммивояжеров, чтобы легче было сбывать мануфактуру. Но ведь теперь мануфактурный голод! Теперь без всякого альбома мануфактуру с руками отрывают, в хвостах стоят. Какого же черта? И потом позвольте, позвольте! Как же это так может вояжер разгуливать по магазину с трехпудовым аль-

бомом под мышкой? Ведь это должен быть призовой силач из цирка! Или, может быть, тележки у них такие приспособлены? Идет вояжер и впереди себя, как мороженщик, альбом на колесах катит. Странно все-таки...

Ничего странного, и нечего ломать себе голову. Вояжеров у треста нет, да и не может быть. Девяносто процентов своего производства трест передает текстильному синдикату. Туда же послали ивановцы свои альбомы. И попросили денег за них.

В синдикате долго ходили вокруг альбомов. Ахали и ужасались. Наконец сжалились и предложили:

— По четвертной за штуку можем заплатить. В крайнем случае мы на них спать будем. Если на два альбома тюфяк положить, получится хорошая кровать для складских сторожей.

Трест реализовал альбомы. Выручили четыре тысячи.

— А остальные шестьдесят три?

Иваново-вознесенцам этот вопрос не нравится. Что за мелочные придирки к красным трестовикам!

— Хозяевы мы или не хозяевы? Ежели хозяевы, нраву нашему не препятствуй. Хозяйственник — он разгон должен иметь. Широту! Может, мы пять миллионов убытку в будущем году дадим. А вы шестьюдесятью тыщонками попрекаете! Альбом — от него душу греет. В альбоме — масштаб есть. Разве вам понять? Где вам!

Вкусы разные бывают. А то ведь еще можно шестьдесят три тысячи в прорубь сунуть. Сжечь. На водку подарить. Или — чем черт не шутит — рабочий клуб построить. Целый уезд электрифицировать. Рабфак открыть. Газету издавать. Хотя, конечно, на трехпудовый альбом тоже любитель имеется.

«На последнем на листочке...»

Писали еще когда-то:

Кто любит тебя более меня,
Пусть пишет далее меня.

Думаю, что любят ивановцев более меня. Потому вписали и дальше меня. Еще одну, добавочную, страницу. С выговором за бесхозяйственность.

1926

Если бы я был фельдшером

В раннем детстве я мечтал стать извозчиком. Все приятные стороны этой профессии были мне ясны. Оборотная же сторона извозчичьего ремесла моим аналитически неокрепшим умом слабо учитывалась. Едешь-едешь сколько душе твоей угодно — на козлах, кнутиком помахиваешь, а если захочешь — можешь покатать маму, папу и дядю. И никаких забот.

Позднее меня тянуло стать дирижером (я машу палочкой, а все играют), главнокомандующим (я иду, а все вытянулись во фронт), моряком и пожарным.

Однажды пришел к отцу фельдшер. Ставил ему банки, тыкал свечой в мокрые стаканчики, разукрасил спину багровыми кружками. Потом собрал весь инструмент в клеенчатый чемоданчик, получил тридцать копеек, буркнул «ваздровьице» и скрылся. Алчное воображение, гнавшее к занятию всех без исключения ответственных и безответственных постов, зажгло во мне зависть и к фельдшеру.

Теперь я стал скромнее в своих желаниях. Нисколько не стремлюсь к красочной карьере извозчика. Уступаю более достойным лавры дирижера, полководцев, адмиралов и брандмейстеров. И совсем уж не стремлюсь в фельдшера.

Какой из меня фельдшер! Банки на спины шлепать — это еще дело десятое. С этим справился бы. Вот попробовал бы в Купянском округе, в селе Верхняя Свердловка, поработать для смычки при содействии местных властей.

Верхнесвердловским крестьянам надоело ездить лечиться за пятнадцать верст. Они организовали комитет Красного Креста, собрали членские взносы, открыли амбулаторию, хотели раздобыть доктора, но разжились только на фельдшера.

Оказался фельдшер не хуже иного врача... Вересаев рассказывает, что бывают светила медицинской науки, что при виде падающего в обморок сами кричат: «Доктора, доктора!» А есть такие фельдшера, что делают больному перочинным ножом трахеотомию горла — и спасают человека.

Верхнесвердловский фельдшер поставил амбулаторию так, что впору любой больнице. Посетители съезжались из далеких районов. Стали щедро сыпаться членские

взносы. Организация росла с каждым днем. Верхнесвердловцы, особенно безлошадные бедняки, радовались тому, что можно полечиться, не таскаясь за полтора десятка верст.

Год продержалась амбулатория, окрепла, а на втором году постигло ее тяжелое... содействие местных органов власти.

Объявлено крестьянам, что, внемля их тяжелому положению и не желая вводить народ в расход, райисполком берет амбулаторию на свое содержание и освобождает сельский Красный Крест от финансирования оного учреждения.

— Кроме того, привезем врача, акушерку, заведем настоящую аптеку, разгрузим фельдшера от работы непомерной.

Месяц в радостном нетерпении ждало село содействия рика.

Через месяц содействие пришло.

— Предписывается закрыть амбулаторию.

— То есть как? Зачем же закрывать?

— Ясно зачем. Смета ваша не прошла в центре, не утвердили. Амбулатория распускается.

— Кто распускается? Там всего один человек и есть. Не человек — фельдшер. Его, что ли, распустить хотите? Ведь нам вашей помощи не нужно. Не просили мы ее. Сами продержимся! Распускать-то зачем! Для чего мы дело строили, последние деньги собирали?!

Крестьяне заволновались, засновали. Послали делегацию в Купянск, в окрисполком. Даже до ВУЦИКа добрались. Отстояли свое законное право содержать за свой счет для себя амбулаторию. Поголовно вступили в Красный Крест, собрали новые взносы.

Скрипит амбулатория дальше при неблагосклонном нейтралитете райисполкома. Среди зимы краснокрестные гроши иссякли. Дров на топку нет. Медикаменты в банках замерзают. Фельдшер три месяца без жалованья, тоже замерзает — на правах медикамента.

Зря в детстве хотел быть фельдшером. Ходил бы, может быть, как в Верхней Свердловке, по дворам, вымаливал бы по полену на топку, по картошке на пропитание.

Красный Крест взвыл волком в защиту замерзающего, нищенствующего фельдшера и болеющих крестьян. Стал молить рик о помощи. Зря молил.

— Помочь не можем! Закрывайте лавочку. Сами затеяли, сами и расхлебывайте. Говорили вам — обойдетесь без амбулатории. Нет, буржуи выискались, подавай им фельдшера. Выползайте, как знаете!

Фельдшер — человек двужильный. Вместо того, чтобы удрать из этаких мест (о фельдшерской безработице мы что-то не слышали), изловчился он, многострадальный, и сдал сарай при амбулатории под ссыпку хлеба за пять рублей в месяц. На эти капиталы стал раздобывать дрова, керосин для амбулатории, ржаные корки для себя. В таких условиях работал шестнадцать часов в сутки. И доработал до весны, до летнего тепла.

Лето — благодать; надо думать, тут кончаются фельдшеровы мученья. К лету, надо полагать, все устроилось. Поблагодарили, надо думать, стойкого медицинского работника на селе. Представили его, надо верить, и к ордену Красного Знамени за беззаветную трудовую деятельность по смычке города с деревней... Может быть, стоит все-таки быть фельдшером?

Нет. Если в Верхней Свердловке — не стоит. Насчет благодарности и ордена — неизвестно. Но точно знаем только то, что фельдшера привлекли к суду, к уголовной ответственности за незаконную сдачу сарая внаем и за присвоение для неизвестных целей в пользу амбулатории арендной платы по пяти рублей в месяц.

Говорят, все село пошло на суд отбивать своего фельдшера зубами. Может быть, это представляло собой яркую назидательную картину. Но все-таки взвесьте, прежде чем мечтать о фельдшерской карьере.

Главнокомандующим — это еще туда-сюда. Наркомом — пожалуйста. Дирижером — можно. А фельдшером? В Верхней Свердловке? О-го-го!

1926

Даешь тюрьму

История о трех бандитах проста, как лист бумаги, свежа, как глоток воды, красива, как легенда, правдива, как плач ребенка.

Она может быть разучена как стихи, положена на музыку или выбита золотом по черному мрамору.

Говорят, будто в Исландии или где-то еще на Гавайских островах тюрьмы пустуют, потому что все население состоит поголовно только из омерзительно честных людей.

Говорят, будто в Вест-Индии или где-то рядом, на Новой Зеландии, преступность пала вконец, и дети старика городового воруют только для того, чтобы их бедный папаша мог арестами своего собственного потомства оправдывать черствый кусок трудового банана.

Говорят! Мало ли что названивают буржуазные книги о якобы прелестях и достоинствах капиталистического мира. Послушайте, что происходит не в книжках, а наяву, не за тропиком Рака, а под Самарой. Пожалуйте-ка сюда, милостивые государи, профессора, человеколюбцы, соглашатели, примиренцы, щелкоперы из всех заграничных стран. Любуйтесь, как смирились в Мелекесском уезде, в Чердаклинской волости, люди и звери!..

Был и поныне здравствует начальник уголовного розыска.

Встал он единожды с постели, попил чайку и пошел на службу. С уголовными бороться. Сел, начал бумаги читать и видит: в Чердаклинской волости обнаружены и пойманы три кровожадных бандита.

Задумался начальник. А подумав, сказал:

— Напишите в Чердаклы, что хочу я этих бандитов увидеть. Чтобы живыми или мертвыми! Пусть он, бандит, мне в глаза посмотрит. Желаю его бандитскую душу до дна понять. Это для меня первейшее дело, на то я и начальник уездного уголовного розыска.

В селе Чердаклы, само собой, есть волмилиция. И вообще насчет власти на местах все в порядке. Начальник волостной милиции пошел в ВИК и требует соответственно сути дела:

— Прошу мне отпустить наличную сумму, четыре раза на билет по девяносто одной копейке, итого — три рубля шестьдесят четыре копейки, потому что у меня есть необходимость отправить путем железнодорожного транспорта трех уголовных бандитов в уезд и — плюс к тому — одного милиционера для охраны от побега и защиты безоружного населения.

Но председатель ВИКа тоже не дурак: свое дело знает и стоит на страже народных финансов.

— Вы, дорогой товарищ, обязаны знать, что подобный расход местным бюджетом не предусмотрен, и я его

могу провести исключительно путем донесения в Совет труда и обороны по согласованию оного с Госпланом. Во избежание таковой волокиты советую вам: гони, дружок, своих бандитов пешаком через сельских исполнителей, от села до села.

Так и решили. Сельский исполнитель повел бандитов из села Чердаклы до села Уреньбаш. Там оставил арестованных, а препроводительную бумажку... принес назад.

В уреньбашской темнице три кровожадных бандита томились сутки. За это время новый сельский исполнитель отмахал в Чердаклы и назад.

Приволок бумажку и повел преступников дальше, в село Озерки.

Привез в Озерки, сдал, а пакет снова унес назад в Уреньбаш. Тут повторилась история посылки за пакетом...

Затем бандитов переотправили в село Мулловку. После чего пакет опять вернулся в Озерки, и за ним опять пришлось посылать.

Честное слово! Так именно и было.

Мулловские власти, получив из Озерков препроводительный пакет, глубоко вздохнули и раздобыли от кровожадных бандитов официальную подписку:

«Пред. Мулловского сельсовета, от бандитов Горева, Нитина и Сомова. Даем настоящую подписку в том, что мы представлены в Мулловский сельсовет безо всяких оснований и должны быть на то препровождены, к чему и подписуемся. Горев, Нитин, Сомов».

После этого слушайте! Мулловский сельсовет, глубоко проникнутый верой в лучшие чувства человека, отпустил кровавых бандитов на все четыре стороны.

И бандиты не обманули доверия сельсовета. Они взяли в Мулловке новую препроводительную бумажку и отправились — слушайте, слушайте! — и отправились дальше, в уезд, на предмет самоопределения в тюрьму.

В Мелекесе усталые, изнемогающие, кровожадные бандиты, спотыкаясь, добрели до дома заключенных.

«При заходе солнца наша тюрьма прекрасна», — писал Андреев в «Моих записках». Я не видел мелекесской тюрьмы. Но убежден, что в тот вечер и это скромное уездное узилище было прекрасно в глазах трех усталых сельских бандитов, честно приползших за много верст исполнить свой последний бандитский долг.

Тюремщики были холодны. Они были также тверды. Должен быть холоден и обязан быть тверд всякий тюремщик в любой стране. Сговорчивый тюремщик — что чайник изо льда. Оба рискуют упустить свое содержимое, если потеплеют и смягчатся...

— Мы не можем вас принять! На вашей бумажке нет печати. Идите назад.

— О господи! — взвыли бандиты (по роду своей деятельности они были религиозны). — Куда же мы пойдем?!

— Не наше дело. Принесите печать, тогда впустим.

Но бандиты были тверды, как рыцари в легендах времени мрачного феодализма. Они поставили вопрос принципиально:

— Бандиты мы или не бандиты? Если бандиты, то наше место в тюрьме. Если советский аппарат в этом городе работает, мы добьемся справедливости. Даешь тюрьму!

Еще два коротких путешествия предприняли честные бандиты, стремясь обеспечить торжество советской революционной законности.

Они отправились в милицию, где тоже были отвергнуты.

И наконец — добродетель торжествует! — добрались до начальника уездного уголовного розыска.

Встреча носила совершенно потрясающий характер. Усталые странники плакали счастливыми слезами на груди у бравого мелекесского начугрозыска. Обласкав и приободрив, гостеприимный хозяин отправил всех троих в обетованную тюрьму.

С разрешения мелекесской прокуратуры я вывел на прогулку троих удивительных бандитов, чтобы утереть нос Новой Зеландии...

Виват! Гип, гип, ура!..

— Видите ли, — пробубнит читатель, — бандиты-то они, конечно, хорошие. Золото, а не бандиты. Но можно ли сказать то же и о властях? Если у нас так повсюду будут относиться к бандитам — радости будет мало.

Оно, пожалуй, так. Но об этом — особо как-нибудь в другом месте. Давайте не портить трогательную самарскую быль!

1926

Цветы и социализм

Кто в Ленинграде, подъезжая ко дворцу Урицкого, не оглядывался на громадное здание, очень высокое, все из стекла? Кто хоть на миг не задумывался: что там, под смело вознесенными вверх стеклянными сводами?

Первый раз я близко столкнулся со стеклянным домом в дни февральской революции. Попал вместе с группой рабочих под обстрел откуда-то сверху, из-за угла, укрылся в воротах. Оказался стеклянный дом петроградскими таврическими оранжереями... Через минуту побежал дальше, слабо отчеркнув в памяти, а потом забыв мимолетный приют.

Второй раз всплыл стеклянный дворец в двадцать четвертом году. Мы осматривали в Лондоне Кью-Гарден, лучший в мире ботанический сад. Когда я спросил, какие оранжереи считаются первыми после Кью-Гардена, старичок надзиратель пожал плечами и изумился моему невежеству:

— Неужели вы, русский, не знаете? После нас первые оранжереи, конечно, в Петрограде. Таврические. Особенно по пальмам.

А еще говорят: дурная славушка по свету бежит!

Вот и в третий раз довелось встретиться со стеклянным дворцом. Неужели в последний?

Через самые тяжелые годы революции и гражданской войны ленинградские оранжереи прошли целы и невредимы, хотя это кажется чудом. Совершил это чудо, одно из многих маленьких чудес советского трудового героизма, которыми мы так звонко гордимся, показывая их иностранцам, главный садовод оранжерей Отто Прейс.

Тридцать два года — не тридцать два дня — работает Прейс в оранжереях. Это он, скромный человечек, выходил, выносил на руках чудесный цветочный дворец, который соперничает с пышными лондонскими садами. Это он создал в гнилых петербургских туманах драгоценнейший в мире пальмовый питомник.

Когда пришли годы потрясений, суровые и страшные для стариков революционные годы, Прейс не закупорился в себе подобно инженеру Клейсту из «Цемента» Гладкова. Он понял и поверил, что революция — не враг его творчества. Пути к социализму часто обрызганы кровью. Но на них же растут цветы. Пролетариат взял и присвоил своей жизни их — единственное изо всех украшений бур-

жуазии. Мы видели цветы вокруг гробов умерших вождей и в руках маленьких резвых детишек революции в первомайский праздник. Мы привыкли к ним и любим.

Прейс пошел с революцией. На своем «оранжерейном фронте» он оказался ее, революции, достойным солдатом. Трудно поверить, — это кажется невероятным до нелепости, — но в голодном, вымерзающем Петрограде, когда лопались от холода железные котлы, Прейс отстоял свои тропические пальмы! Бегал в лес, сам рубил деревья, сам, заменяя иссякший штат, топил и, сам живя в холоде, спасал тропические растения. Он увлек своим энтузиазмом окружающих. Начальник Петроградского укрепленного района, покойный товарищ Авров, даже в дни боев с белыми под самым городом заезжал на минутку навестить осажденные холодом пальмы и их пестуна.

Как выдающийся художник-садовод Прейс принимает участие в украшении главнейших исторических мест и празднеств Ленинграда. Он произвел все посадочные и садовые работы на Марсовом поле, он своими руками отбирал каждый куст, каждое деревцо, каждый цветок на могилах жертв революции. Он обрамлял цветами все ленинградские торжества, и он же одно время руководил всем садово-парковым управлением северной столицы и ее окрестностей.

Летом 1924 года Прейс, работая в саду, упал с дерева, повредил ногу и на полгода слег в больницу.

В постели, в жару, старик бредил пальмами. Заведующий откомхозом, навещавший его, т. Иванов, успокаивал:

— Лежите тихо, пальмы и цветы целы. Они останутся за вами!

Не зря, оказывается, бредил Прейс. Пальмы не остались за ним. Ни за кем остались пальмы. Они и большая часть всемирно известной оранжереи замерзли, сгнили, погибли. Можно считать, что почти разрушена и вся сокровищница садоводства, которой мы гордились перед Европой.

Началось с нового начальства. Попал в главковерхи по садовой части некий Гусаков. Впрочем, не некий, а тот самый, который заведовал ленинградскими похоронными бюро в период знаменитого процесса об «омолаживании покойников». Работнички на кладбищах, хороня взрослых людей за пятишницу, записывали мертвецов в книгу как младенцев и сдавали в кассу полтора рубля. Они же,

при помощи несуществующих загадочных «хулиганов», сдирали с могил свежие венки, чтобы продавать их очередным неутешным родственникам.

После омоложения покойников Гусаков стал возглавлять состаривание цветов. Чуть ли не первый день своего вступления в должность он ознаменовал распоряжением столь же бессмысленным, сколь беспрекословным:

— В недельный срок ликвидировать орхидейное хозяйство и освободить оранжереи от орхидей!

С величайшим трудом, с большими скандалами удалось Прейсу отвоевать гордость стеклянного дворца — орхидеи — от бессмысленного разгрома. Но ждала оранжереи новая беда.

Гусаков категорически отказался произвести ремонт оранжерей, на который требовались ничтожные суммы.

Результат: часть растений замерзла, убытка на двадцать пять тысяч рублей. И это именно тогда, когда у нас вдоволь угля, дров, когда цветы могли бы по-настоящему отогреться!

Видимо, отогреваются в хорошие времена не только цветы, но и тупые вредители их...

Прейс потребовал ревизии в связи с гибелью растительных культур и убытками. Ревизия назначена. Но во главе ее... тот же Гусаков.

Прейс отказывается объясняться со столь странной «саморевизующей» комиссией. По его настоянию назначается новая ревизия, без Гусакова. И тогда Гусаков вынужден оставить оранжереи, он переходит работать на транспорт. Транспорт, мы тебе сочувствуем!

Начальство у Прейса сменилось. Как шило на швайку. Опять бюрократизм, опять бессмысленное распорядительство в оранжереях, опять разрушения и убытки. Прейс обращается в профсоюз работземлеса, членом которого он состоит, с просьбой выяснить возмутительные факты и определить виновных:

«По чьей вине замерзли растения зимой 1926 года?!»

«Куда делись двести саженей труб водяного отопления?!»

«Почему присланные из елагинских оранжерей растения ценою в три тысячи оценены в тридцать шесть тысяч рублей?!»

Вместо ответа на эти вопросы Прейс дождался... *увольнения.*

За что?

За критику действий садового управления. За невыполнение трудовой дисциплины.

Утром этого дня, в субботу, старый Прейс получил из-за границы личное почетное приглашение принять участие на всемирной выставке садоводства в Дрездене. А под вечер к нему прибежал, запыхавшись, делопроизводитель. Вынимает из кармана деньги.

— Получите выходное пособие, пятьдесят рублей двадцать пять копеек, и распишитесь.

— Что за спешка такая? В понедельник получу и распишусь.

— Никак нельзя! В понедельник придется заплатить вам за два лишних дня.

Это после тридцати двух лет славной, героической работы!

Прейс, конечно, не остался без дела. В день увольнения он получил приглашение главным насадителем во Всесоюзный институт новых культур и прикладной ботаники в Сухуме, на важную и ответственную работу. Но состояние старика можно себе представить!

А стеклянный дворец?

Половина растений замерзла. Пальмы растащили куда попало. Много их свезли в Ботанический сад, хотя вовсе не дело Ботанического сада быть специально пальмовым питомником. И, вывозя пальмы, точно на смех, забыли взять два редчайших экземпляра, из которых одному триста лет. Оставили их на погибель.

Хорошо наши работники помогли старому Прейсу украшать цветами путь к социализму! Хорошо, удобно, легко с ними самими этот социализм строить!

1926

Кинококки

Началось все очень просто. Секретарь правления «Ленземлота» Яушев пришел на службу и, конфузливо улыбнувшись, сообщил товарищам:

— А я, братцы, сценарий написал! Честное слово. Для кино! И сам не знаю, как это вышло. Пришел как-то раз после «Красавицы авантюристки» домой, чаю выпил, разморился, и — можете себе представить, ка-ак накатит

на меня. Себя не помню! Шесть частей, с прологом и эпилогом!

Когда с человеком случается невольная промашка, ближние, — если это действительно ближние, — обязаны дружески пожалеть его. Помочь. Не дать поскользнуться. Не подвести, а выручить.

Узнав, что Яушев, работник «Лензолота», заболел писанием киносценариев, товарищи должны были успокоить его, послать к доктору, дать кратковременный отпуск, за время которого он отошел бы и избавился бы от пагубной напасти.

Вместо этого сотрудники, особенно подчиненные Яушева, подняли восторженный визг:

— Сценарий? Да не может быть! Да что вы! Для кино? Как это восхитительно! Вы, оказывается, у нас писатель, товарищ Яушев. А мы не знали!

Машинистки влюбленно оглядывали Яушева, словно видя его в первый раз:

— Нет, вы пишете? Нет, да что вы! Нет, в самом деле для кино? Нет, это безумно интересно! Нет, вы обязательно должны поставить и снять этот сценарий. Нет, вот если бы нам удалось тоже посниматься!

Яушев уже не смущался этих похвал. В его уже чем-то зараженных глазах мелькали новые огоньки.

— Настоящие киноработники говорят не «снять», а «заснять». Вот я решил, э, гм... заснять свой сценарий. Кстати, ведь он у меня написан на канве исторических событий. Я вот и думаю, не помогут ли мне товарищи?

Когда-нибудь, в свободное время, мы займемся бактериологией и точно изучим новейший бич человечества, могучую бациллу, заражающую миллионы мозговых полушарий, — *кинококку*.

Пока же установим без подробностей: кинококки перекочевали из головы секретаря правления «Лензолота» в головы окружающих его с быстротой разлива Волги.

Вскоре по правлению «Лензолота» разнеслась сенсационная весть:

— Киноэкспедиция едет на Лену снимать яушевскую картину! И сам Яушев отправляется уполномоченным по съемке.

Общий восторг. Общее ликование. Проливной дождь газетных заметок. Снимки в журналах: режиссер Икс, актриса Игрек и оператор Зет перед отправкой в киноэкспедицию на Лену. Автор сценария, уважаемый това-

рищ Яушев, перед отъездом. Режиссер Икс и товарищ Яушев. Оператор и сценарист за обсуждением картины. Актриса Игрек в своем рабочем кабинете. Товарищ Яушев с актрисой Игрек за работой. Собака уезжающего режиссера Икс грустит о разлуке о хозяином. Участники экспедиции за товарищеской закуской...

Рекламный дождь хлещет, экспедиция отбывает на Лену. Словно вымпел на адмиральском судне, величественно реют над ней указания, предписания. Лена трепетно ждет высоких гостей.

«Лензолото» из Москвы предписывает главному промысловому управлению в Бодайбо:

«Предоставлять экспедиции квартиры, разъезды и все необходимое по выбору реквизита и материалов. Предоставлять снабжение за счет управления четырнадцати человек актеров, режиссеров и прочих членов экспедиции. Предоставлять в пользование экспедиции материалы, инструменты и другое имущество. Предоставлять рабсилу для инсценировок».

В дополнение к этой общей директиве правление предписывает помощнику главного управляющего Гонцову забронировать для четырнадцати артистов Пролеткино всяческие товары и припасы по приложенному списку. Весь список вместить здесь мы не можем — он состоит из пятидесяти одной статьи. Но кое-какие статьи мы можем привести, клятвенно сославшись на официальный акт за подписями и печатями.

За четырнадцатью артистами были, между прочим, забронированы:

Полушубков	14 штук
Муки крупчатки	100 пудов
Масла	50 пудов
Крупы рисовой	100 пудов
Крупы манной	50 пудов
Мясных консервов	5000 банок
Сапог	110 пар
Батиста	500 метров
Простыней	250 штук
Стаканов стеклянных	1000 штук
Кальсон	500 пар
Рыбы соленой	50 пудов

Нужно ли добавлять такие пустяки, как двадцать пар брюк, десять пальто, двадцать пудов махорки, пятьдесят поясов, сорок штук каких-то неведомых мне «надевашек с брюками» и пятьдесят одеял... Даже сухой, без улыбки,

акт ревизионной комиссии не может не отметить, что «забронированных товаров и припасов хватило бы для четырнадцати человек артистов на всю их жизнь от рождения до смерти». Экспедиция же была рассчитана на два месяца.

Кроме самонужнейших стаканов и «надевашек», экспедиция предъявила к управлению приисков требования и более тонкие. Заведующий бодайбинскими лесозаготовками, запуганный приездом важных представителей центра, припертый к стенке, в отчаянии срочно докладывает по начальству:

«...Сорока оседлых лошадей у меня тоже не найдется. И к тому же у меня во всей команде *нет ни одного бородатого человека. Прошу срочно дать указания.* Посылаю нарочного ввиду спешности вопроса, которому и вручить ответ».

Экая незадача для товарища Яушева! Написал сценарий с бородатыми людьми, а именно на них-то сейчас в Бодайбо главный товарный голод! Рабочие почти все поголовно бреются. Не захотели отпускать бороды для правленских съемок. И даже наоборот — спешно сочинили в рабочих клубах зловредные частушки:

Он был председателем треста,
Она же — актриса кино.
Для встречи веселой им место
Судьба избрала Бодайбо.
Ах, любовь, как ты зла,
Не даешь доходов,
Много делаешь собой
Накладных расходов.

— Ну и что ж! — восстанет читатель с крепкими нервами. — Ну и несознательные. На сюжет о Лене можно сделать второй «Броненосец Потемкин»? Можно, это ерунда, что пятьдесят пудов масла и двадцать пар брюк! В Америке для больших исторических картин пароходы топят, целые поселки сжигают, поезда с рельс сводят. Искусство, кино — оно требует, чтобы не щадя затрат!

Насчет Америки и нашего кино — как-нибудь в другой раз. Не в этом дело. Семьдесят тысяч были затрачены, а картина *не была снята.*

Собственно, что-то такое режиссер Икс и оператор Зет снимали. Что-то такое актриса Игрек перед аппаратом изображала. Но, когда снятая лента была привезена в Москву и рассмотрена, обнаружилась такая белиберда и чепуха, что Пролеткино постановило *считать картину*

не снятой и использовать из нее только несколько кусков с видами Лены — для хроники.

...Примечательная телеграмма Яушева из Бодайбо. Какие переживания! Какой пафос мятущегося духа!

«Возвращаюсь горьким чувством неудовлетворения тчк Постановка безалаберностью превращалась халтуру тчк Картина не снята причине неработоспособности экспедиции тчк Правление «Лензолота» предоставило исключительное всесодействующее внимание экспедиции, упрекая таковую только конкретных проявлениях бесплановости бесхозяйственности двоеточие рабочие также лошади пятьдесят процентов не использовались».

Н-да, товарищ Яушев. Стоило писать сценарий, если даже бородатых людей на Лене нельзя достать? Горькое чувство неудовлетворения. Безусловно.

Отойдем в сторону: человеку тяжело. Автор плачет.

И семьдесят тысяч — тоже.

1926

Судья с достоинством

Вид у нашего советского суда — совсем не тот, что у заграничного.

На Западе судьи заседают большей частью в черных мантиях, на головах у них парики и средневекового покроя черные треухи или ермолки. Облик у западного буржуазного судьи весьма торжественный и уважительный, пока он не шевелится. Только если судье становится жарко, он почесывается или расстегивается, и тогда из-под мантии высвобождается жилет с золотой цепочкой, галстучек с булавочкой и желтые ботинки с пестрыми носочками. В этих случаях подсудимый начинает чувствовать к судье, кроме обычного страха, еще и раздражение.

В советском суде обстановка тоже достаточно солидная, но ни мантии, ни прочего балагана у нас не полагается. Организаторы судебной процедуры справедливо решили, что пролетарский суд сможет снискать себе уважение и авторитет и без подобных мелких ухищрений.

Все-таки попадаются у нас этакие жрецы «красной Фемиды», которые, по всему видать, ужасно скучают по

мантиям и парикам. Судебное действие кажется им чем-то вроде всенощной в кафедральном соборе, нарушить которую может только отъявленный нечестивец, достойный самой суровой кары.

Мы стоим за то, чтобы давать ход таким искусникам по части советского судебного благолепия. Надо отправлять их за границу — пусть приучаются к тамошним юридическим церемониалам и... пожалуй, пусть там и остаются.

В частности, если где-нибудь состоится международная выставка судей, обязательно надо послать, как красочный экспонат, народного судью из Новой Праги. Пристроить ему парик и мантию, нахлобучить треугольную шляпу, и получится вполне экспортный продукт, по качеству не уступающий заграничным.

В Новой Праге есть очень хорошая больница, при ней родильное отделение, пользующееся отличной славой у всего окрестного населения. Сколько существует «родилка», — в ней не было ни одного смертного случая.

Недавно в больнице начались роды с очень сильным осложнением. К роженице пришел врач. Женщина задыхалась, у нее начала синеть кожа по всему телу, пульс становился все хуже с минуты на минуту.

Беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, в чем спасение для матери и плода. Нужна была срочно хирургическая операция.

Но главного врача-хирурга в больнице не оказалось. Его вызвали по какому-то вопросу в народный суд.

Врач послал своему товарищу записку в суд и начал спешно приготовлять к его приходу все нужные инструменты и медикаменты.

Прошло томительно много времени. Посланец вернулся из зала в единственном числе: врача не отпускают.

Жизнь женщины висела на волоске. Доктор опрометью выскочил и сам кинулся бежать в суд.

Народный судья вел заседание по всем правилам искусства. Он с величественным недоумением поднял брови, когда в камеру ввалился взъерошенный, запыхавшийся человек из больницы.

Еле переводя дух, глотая слова, доктор заявил судье, что жизнь больной в опасности и что хирурга нужно сию же минуту отпустить на операцию.

И народный судья — этот великолепный «рабоче-крестьянский» Соломон — он оказался на высоте. Первого

врача, хирурга, не отпустил. А второго врача, прибежавшего за первым, оштрафовал на двадцать рублей за вторжение в нормальный ход судебного заседания.

...Хирург вернулся в больницу только после конца разбирательства, через два часа. Больная уже почти не двигалась, пульс замирал. Ее судьба была решена. Операцию все-таки начали, пытаясь спасти ребенка. Но было уже поздно. Новорожденный, задохнувшийся в теле матери, после извлечения его оттуда прожил только несколько минут. Еще через два часа испустила последний вздох и мать.

Судья в Новой Праге выдержал свою линию до конца. Он не возбудил против самого себя дела по обвинению в пособничестве смерти. Наоборот, когда к нему пришел оштрафованный врач и начал просить о сложении с него ввиду трагических обстоятельств двадцатирублевого взыскания, очень чувствительного при скромном докторском окладе в семьдесят пять рублей, — он сурово и бесповоротно отказал. Несомненно, новопражский судья — человек, знающий цену своему слову и не склонный отменять его из-за пустяков.

1926

Медвежьи услуги

Угождать начальству — сложная, тонкая, нежная наука. Она становится небесполезной в круге практических знаний, необходимых иным преуспевающим в советском аппарате личностям. Теория этого дела совсем не разработана. Практика угождения робко и слепо продвигается вперед, вне всяких законов, вкривь и вкось, часто принося угождающему совершенно обратные результаты.

Учебники нужны! Книги, многие томы!

Ведь не только техника — сама основная методология угождения еще совсем не разработана. Простейшие вопросы не решены. Драгоценнейшие руководства по угождению Гоголя и Щедрина — увы! — устарели.

Как угождать — тонко или грубо?

В каких случаях тонко, а в каких — грубо?

Поди-ка, разберись. Иной ревностный чин и рад бы

угодить и старается изо всех сил, а все мимо. Перелет или недолет.

А вот недавно при мне редактор губернской газеты взял трубку и позвонил председателю губисполкома:

— Товарищ Гвоздилин! Говорит Угождаев! Статью вашу, товарищ Гвоздилин, получили. Сегодня печатаем. Но только должен вам, товарищ Гвоздилин, сказать прямо, откровенно, как партиец партийцу, невзирая на то, что вы по положению меня выше: вас, товарищ Гвоздилин, надо расстрелять!

Телефонная трубка заверещала, по-видимому передавая недоумение. И Угождаев немедленно мотивировал:

— Да, товарищ Гвоздилин, расстрелять! Непременно расстрелять за то, что вы не пишете нам статей в газету ежедневно. Такой талант в вас пропадает, а вы — хоть бы хны. Вот вы и тему взяли скучную: «Надо упорядочить хлебозаготовки». А какой стиль! Какие мысли! Какие образы! Марат плюс Плеханов, плюс Анатоль Франс, плюс Пильняк и Грибоедов! Стыдно, товарищ Гвоздилин, зарывать талант свой в землю! Нам нужны крупные организаторы, но мы не можем терять в вас и газетного мыслителя! Простите, что говорю прямо, хоть вы и начальство...

Это был ни перелет, ни недолет. Это было в точку. И я нисколько не удивился, когда вечером на пленуме Гвоздилин указал мне на Угождаева с искренней симпатией и разъяснил:

— Редактор наш. Хороший мужик. Прямой, резкий, правду-матку в глаза режет — и тем хорош. В людях умеет разбираться!

...Трудная штука — угождение, слов нет. Но — хвала судьбе! — есть пути, которыми всякие трудности можно преодолеть. По мере сил мы придем на помощь читателю, в ближайшее время укажем ряд простейших приемов угождения, которые можно запатентовать как безусловно действующие.

И первая, самая надежная подмога для угождения горячо любимому начальству кроется в природных богатствах нашей страны.

Есть ли в вашем ведении, дорогой читатель, хороший бор, где можно выследить медведя?

Или несколько озер? Тихих заводей, заброшенных болотец, нежно пахнущих зеленой гнилью, где режут тину утки, сжимая охотничье сердце сладкой дрожью?



Найти бюрократизм, обнаружить его, доказать —

ЭТО ЗНАЧИТ УБИТЬ.






У нас никто толком,
ни в шутку,
ни всерьез,
не исследовал
и не определял
стихии бюрократизма самой
по себе как социального
явления.
В дороге (1926 – 1927)

Вы работаете в степи? Но разве нельзя снарядить таратайку, пошарить перепелок? Поискать в небе дроф, жирных дудаков тож?

Вы служите у моря? Но разве у берега перевелись дикие гуси, бакланы?

Вы заброшены в горах? А козы? А кабаны? А фазаны?

У вас ничего нет, кроме паршивой речки? Но и на паршивой речке гостеприимный хозяин устроит хорошую ловлю, даст гостю повыдергать окуней, ершей, налимов!

Любите природу, дорогие товарищи, и она отплатит вам сторицей! Ваше начальство, посетив вас и будучи угощено хорошей охотой, переживет в вашем обществе такие минуты, после которых всякое понижение вас по службе будет казаться ему диким нарушением здравого смысла и товарищеской солидарности.

Пример одного из уральских металлургических трестов говорит о том, как много может сделать в области угождения прямому начальству умелое использование животного мира.

Приехало ревизовать трест московское центральное ответственное лицо. И только началась ревизия, как в лесничество на Чусовую полетела телеграмма:

«Ввиду приезда центра ответственного работника ВСНХ немедленно проследите медвежьи берлоги приготовьте все для охоты медведя тчк Подпись номер».

Ответственное лицо могло лично убедиться в том, насколько четко и быстро работает ревизуемый аппарат. Немедленно по получении директорской телеграммы лесничий сообщил по куреням:

«Срочно проследите медведей и берлог тчк Будет ответственная охота».

И курени двинулись. И поперли в лес. И взялись за трудное дело без промедления. Ибо какие тут могут быть шутки, ежели ответственная охота и товарищ из Москвы!

Аппарат прекрасен. Медведь обнаружен. Но разве мало сообщалось у нас о несознательности медведей? Мишка — он что! Не член профсоюза, начальства не боится, дожидаться его не хочет. Ждать не станет, уйдет дальше в лес, подведет лесничего и многих других членов профсоюза. А посему вполне естественны принятые меры, о коих сообщено в дирекцию треста телеграфом:

«Медведь найден тчк Берлоге посменное дежурство рабочих три смены тчк Подпись номер».

Всадил московский гость пулю меж мишкиных глаз? Или пропуделял? Нам точно неизвестно.

Все равно, каков ни был исход охоты, придумано было хорошо. Пусть послужат уральские трестовики образцовым примером умелого угождения. В наше время «медвежью услугу» в советском учреждении надо понимать не как услугу медведя, а как услугу медведем. Не зря да будет сказано:

— Если у тебя есть тетерка — уступи ее начальству. Если у тебя есть заяц — уступи его начальству. Если у тебя есть тигр — уступи его начальству. Пусть оно, начальство, стреляет. Ибо ему, начальству, виднее.

1926

В самоварном чаду

Богат наш русский язык. Сочен. Говорят, нет ему равного по богатству образов, по неисчислимости словесных оттенков для каждого понятия, для каждого тончайшего изгиба мысли.

Богат. А иногда бывает и беден. Иногда в самом нужном месте вместо нужного громкого звука — слабое, вялое дребезжание. Клавиша онемела.

Опытные ученые в таких случаях оправдывают язык. Объясняют, что не язык виноват, а жизнь, выметающая вместе с отмирающими понятиями и их словесные обозначения.

Может быть. Но очень это грустно.

Попробуйте выразиться:

— Он ударил его по лицу.

Эта фраза покажется вам не по-русски звучащей. Словно перевод из немецкого учебника.

Почему? Потому что ухо привыкло и покорно приспособилось к другому:

— Ударил по морде.
— Дал в морду.
— Съездил по морде.
— По роже!
— Дал по уху.
— В рыло.

О лице нет разговору. Не скажете же вы «съездил по лицу»!

Даже говоря о себе самом, о своем собственном лице, которое, естественно, признается вами человеческим лицом, вы машинально скажете:

— Он дал мне по морде.

— Он может мне по роже закатить.

Мы строим новую жизнь, воздвигаем высокие сваи новых дворцов коммунистического будущего. А пока, не замечая того, сидим иногда по уши в бытовой грязи, почитая за нечто привычное неуважение к человеку, к его достоинству, к его облику, даже к его лицу, в котором мы видим только морду. Или рожу, или рыло.

Наши газеты тревожно пишут о хулиганстве. Предлагают всем благонамеренным и пристойным гражданам не водить знакомства с хулиганами, не считать их за порядочных людей, даже не подавать им руки. Ах, как это будет обидно для хулиганов, когда им перестанут подавать руку!

Они изойдут слезами и, не в силах будучи дальше жить без вращения в порядочном советском обществе, немедленно раскаются.

Но ведь хулиганство образуется не сразу. К нему есть ряд промежуточных ступеней. И все они твердо упираются в разнузданный старый будничный быт, заквашенный на неуважении к человеку.

Вход в пышное здание 176-й статьи, карающей за хулиганство, — через ряд прихожих: статей об оскорблении и о побоях. Наша жилищная теснота, перенаселенность и переуплотненность городской жизни, сварливость усталых людей — сделали так, что в преддверьях к 176-й статье толпится не меньше народа, чем под знаком ее самой.

...Мрачный герой 176-й статьи орудует палкой, ножом, громадным жилистым кулаком. Тихий житель читает об этих похождениях со страховитой дрожью губ. Но тот же тихий житель у себя на дому, как показывает судебная статистика, подбрасывает соседу в суп сор, кошачий помет, подливает в самовар керосин или скипидар, кладет испражнения в карманы висящих на общей вешалке пальто, как бы невзначай обливает соседских детей кипятком, опрокидывает на голову помои, измазывает непотребными словами соседские двери.

«Выживают», не отпирают дверей по вечерам, выкуривают самоварным угаром, выбивают пыльные ковры под дверью. И ругаются! От ругательств дело по большей части переходит в драку. Бьют всем, что попадет под руку. Телячьей ногой, клеткой с канарейкой, балалайкой, топором, кочергой, утюгом, поленом... Бьют в одиночку, бьют скопом, бьют на общем собрании, бьют втихомолку, где-нибудь на лестнице. Бывает и так, что в потасовке участвует жилищное товарищество целиком — человек восемьдесят, как это было в одном из домов на Симоновском валу, где затеял и распоряжался дракой сам председатель жилтоварищества.

И суды изнемогают. Горемычные наши суды и судьи. Как они не оглохнут от этого беспрерывного дождя мелкого сутяжничества, кухонных склок, оголтелой суеты людей, желающих во что бы то ни стало насолить друг другу! Всеобщая сутяжная страсть овладела обывателем как безумие. В эту страсть втянуты все, от чернорабочих до изысканных интеллигентов. Не так давно в районе целых семь дней, с участием лучших столичных адвокатов, слушалось дело об «оскорблении действием» актером рецензента. Дело, на которое стоило потратить самое большее полчаса.

Всего судами за три месяца осуждено за побои и ругательства больше, чем за хулиганство. Вот они, ступеньки, которых мы так тщетно ищем!

Если лицо перестанет быть мордой в самом нашем домашнем быту, если в сварливом домашнем мире наступит или будет создано успокоение — этим будет ослаблено и ликвидировано важнейшее звено, незаметно, но крепко связывающее наш «мирный» быт с хулиганством. Писатели, журналисты, агитаторы, прокуроры, судьи сделают полдела, если будут заниматься только хулиганством в тесном смысле. Вредителям внутридомашнего быта, участникам коридорных драк и скандалов должна быть объявлена та же беспощадная борьба, что и «рыцарям улицы». Относиться к ним иначе — значит вести всю борьбу впустую.

1926

Дети смеются

1

В Москве есть театр, который не боится и даже не замечает никаких репертуарных и прочих кризисов.

В этом единственном театре публика всегда одна и та же, всегда в отличном настроении. Сотни раз, всегда внимательна и чутка к автору, пьесе, декорациям, к исполнителям и к музыке.

Сотни раз в начале спектакля появляется перед занавесом женская фигурка и вступает в переговоры с дружественной державой зала.

— Тетя Наташа! Здравствуй! Урра-а!

— Здравствуйте, дети! Ну-ка скажите, что я люблю?

Иногда свежие, звонкие голоса отвечают из глубины зала с уверенностью, искушенной на опыте:

— Знаем! Ты любишь разговаривать.

Наталья Сац, директор Московского театра для детей, отвечает на эту обиду вполне миролюбиво.

— Да, дети, я люблю разговаривать. А еще что люблю?

— А еще любишь, чтобы была тишина.

— Верно, ребята. Я люблю, чтобы была тишина. Вот теперь, когда тихо, я вам расскажу про наш сегодняшний спектакль.

Публика слушает настороженно и нетерпеливо.

— Знаете вы, дети, что такое консервы?

В ответном хоре господствует звук «не». Значит, консервы еще мало знакомы аудитории детского театра.

— А знаете ли вы, дети, что такое режим экономии?

Весь театр грохочет стройным единодушным «да». Публика детского театра твердо знает о режиме экономии.

В отдельных, частных вопросах, особенно связанных со своими текущими делами, маленькие театралы обнаруживают значительно меньшую проницательность.

Шестилетний обладатель кресла в партере, когда наступил маленький антракт после пятиминутного вступления к двухчасовому спектаклю, посопел носом и хмуро спросил:

— Уже кончилось? Уже домой идти?

Другой, счастливый обладатель входного билета, ни-

сколько не подозревая, что человек есть животное общественное, требует на свой билет совершенно неслыханных удобств:

— Тетя Наташа, посади меня к себе на колени!

Колен у директора детского театра — раз-два и обчелся, а зрителей — шестьсот человек. Но маленький посетитель-тиран обижается даже на самый мягкий отказ. Приходится посадить...

Третий посетитель театра считает необходимым сообщить в письме к дирекции важные биографические данные о себе.

— Когда я был маленький, мне было три года.

Они знают о режиме экономии, но не знают очень многого другого, что могло бы сузить и омрачить их жизнь. Когда в середине акта смотришь в слабо освещенный зал, на ряды зрителей, раскинувшихся в креслах просто, задумчиво и величественно, как сидят только дети, видишь ясно, убедительно, волнующе, радостно, вне всякой агитации: они, наши дети, живут сейчас хорошо.

Когда в стране неурожай и голод, есть одна страшная забота и тревога, еще большая забота и тревога, чем об умирающих людях. Забота о посеве будущего года. Если посев уцелел — беда кончится в одном году. Если посев пропал, съеден — нет конца беде!

Не зря все иностранцы, приезжавшие к нам после засыпанных снегом тяжелых годов, смотрели прежде всего не на лица взрослых, а на лица детей. И всегда с внутренним изумлением под маской бесстрастия отмечали:

— Дети Советской России выглядят хорошо.

— У них сытый вид.

— Они веселы.

— Они хорошо одеты.

— Они не в худшем состоянии, чем наши дети!

Это правда. Сколько страданий ни перенесли у нас дети, мы их сберегли гораздо лучше, чем стариков.

Всегда человек заботится больше о сыне, чем об отце.

И здесь, в театре, в единственном в мире специальном театре для детей, созданном Советами, и за его порогом, на улицах, в скверах, на площадях, и в первый майский день, на разукрашенных, по обычаю, грузовиках, видя несчетные гирлянды живых, здоровых, смеющихся детей, мы ясно ощущаем: основной золотой детский фонд спасен.

Дети смеются. Они почти все здоровы. Они почти все целы. Посев сохранен!

Почти...

А беспризорные, эти жуткие кучи грязных человеческих личинок?

Ведь они еще копошатся в городах и на железных дорогах.

Ведь они еще ползают, хворают, царапаются, вырождаются, гибнут, заражая собой окружающих детей, множа снизу кадры лишних людей, вливая молодую смену преступников!

Может быть, скинуть их со счетов? Остаться только при золотом фонде крепких, чистых, смеющихся детей, при основном детском капитале, который удалось сберечь пролетариату и крестьянству?

Нет! Мы не смахнем эти черные костяшки на наших счетах. Мы их посветлим.

Это возможно, вполне достижимо при упорной, настойчивой борьбе. Нет ничего невозможного в работе над человеком.

Посмотрите, что можно сделать. Взгляните, как чекисты переделывают и воспитывают людей из безнадежных юношей-уголовников.

Да, чекисты... Именно они, которым надлежит заниматься уборкой из жизни всяческого вредного и социально опасного человеческого мусора, — они осторожно, тщательно, чутко расправляют сломанные молодые человеческие стебли. Выпрямляют, подвязывают к крепкому стволу труда, внимательно, почти нежно выхаживают, пока они не распустятся в здоровые, цветущие ростки нормальных пролетарских жизней.

В свое время раздавленная белогвардейщина за рубежом и испуганная обывательщина внутри страны приписывали всякому чекисту обязательное, непременное человеконенавистничество и страсть к разрушению. Когда стало известно, что Дзержинский любит детей и возится с ними, враги и просто клеветники истерически посмеивались:

— Скажите пожалуйста, какие сентиментальности! Столько людей загубил, а детишкам — отец родной! Вы только подумайте, какое лицемерие!

Жесткий, но не жестокий Феликс был глух к этим смешкам. Он любил детей, думал о них и проявлял себя в этом, как и во всем другом, только одним: фактами.

Факты же говорят о том, что этот всегда смертельно занятый и смертельно переутомленный человек находил время для детей.

Не для рассуждений о них, а для живых, конкретных дел, следы которых остались на долгие времена в виде множества детских учреждений, домов, фондов, колоний.

После смерти Дзержинского Совнарком отметил его память среди прочего большой ассигновкой на детскую колонию его имени.

Мы еще не знаем, что сталось с этой колонией. Но задолго до нее, еще при жизни своего руководителя, работники ГПУ по собственной инициативе создали дело, которое смело может носить имя Феликса.

Дзержинский, одной рукой уничтожая врагов социализма, другой рукой создавал социалистическую промышленность. Его смерть праздновали хищники нашего хозяйства, но вместе с массами искреннейше оплакивали все работавшие с ним честные инженеры и ученые.

Знает ли широкая масса, на что тратят помощники, сотрудники его свои досуги?

Знают ли любители вкусных яичниц и свежих цыплят, что это добро выведено в чекистских совхозах?

Самое большое и единственное инкубаторное хозяйство в СССР организовано и развито инициативой работников ГПУ, без всякой помощи от государства.

Энергичные добровольцы того же происхождения, связавшись с окружным крестьянством, помогают ему вводить новейшие системы птицеводства, заводить племенной скот, улучшать землепользование...

Но мы не о том. Мы о Болшеве.

2

Запрятано в густом лесу под Москвой, в бывшем имении фабриканта Крафта, в Болшеве, то, что приходится назвать «человеческой расправилкой». Не исправилкой, а расправилкой. Разница огромная.

Это так легко себе представить: густой лес, глушь, конная охрана, колючая проволока и внутри ее «колония малолетних преступников».

Ерунда! Проволоки нет. Охраны нет, колонии нет, преступников нет.

Когда два с лишним года назад первую партию жильцов из Бутырской и других тюрем привезли сюда, они всю дорогу внимательно запоминали местность, на случай если удастся бежать.

Прибыв на место, нахмуренные молодые уголовники, выйдя после завтрака во двор, начали осторожно прогуливаться, чтобы нащупать уязвимые места в ограде. Идти до ограды пришлось очень долго. Ограда все не появлялась. Ее попросту не было. Можно было свободно, без всякого надзора пройти полторы версты до станции, сесть на поезд и беспрепятственно уехать в Москву.

Это удивило недавних узников. Ведь они, оказывается, на воле! Что-то смутило. Озадачило. Все решили повременить с побегом. Пока подождать. Посмотреть, что все это значит.

Они повременили — и остались совсем. Так началась свободная трудовая коммуна ОГПУ, знающая на сотни своих членов единичные, редчайшие уходы от трудовой жизни.

Сейчас, въезжая в настежь раскрытую чугунную арку крафтовского имения, вы чувствуете себя попавшим не то на заграничную ферму, не то во двор какого-то своеобразного, «облегченного типа» завода.

В парке прихотливо разбросаны каменные и деревянные строения. Дымят трубы. Издали повизгивают машины.

Небольшой новенький корпус. Вход — табельная, маленькая контора. Дальше — большая механическая обувная мастерская. Вернее — маленькая обувная мастерская.

Болшевские коммунары изготовляют самую заправскую механическую обувь, мало уступающую «Скороходу». Они даже укрепились на своей особой специальности: пусть знают футболисты всего Союза, что серые футбольные бутсы марки «Динамо», самые у нас распространенные, делаются в Болшеве — и чьими руками!

Руки некоторым образом золотые в особом смысле этого слова.

Приятно смотреть на этих здоровых, чистенько побритых, по-американски подстриженных парнишек с умными лицами, сосредоточенно снующих у шеренги машин.

Губы крепко сжаты, все внимание собрано, вся фигура замерла в привычной позе старого рабочего.

— Давно он здесь?

— Вот этот? Только третий месяц. И уже отлично квалифицировался.

— А раньше что делал?

Ответ дается прямо по существу:

— Что раньше делал? Червонцы раньше делал. Липовые, конечно.

Невероятно! Этот? Червонцы? Тихий, скромный, сосредоточенный, не обернувшийся на наш приход, перепачканный маслом, настоящий честный пролетарий, отличная натура для картины «Комсомолец у станка»!

Другой корпус. Большое, правильно налаженное производство коньков и других металлических спортивных предметов. Здесь проходят все процессы, от ковки железа до окончательной изящной никелировки под заграничный стиль. Коммунары здесь сами даже маленькие шурупы нарезывают, чтобы не переплачивать за них восемь копеек на штуке. Нужна экономия, надо снизить себестоимость, идет борьба с кустарем-конькоделом, надо победить!

Молодая брюнеточка в синем халате, насупившись, штампует на огромном станке какие-то алюминиевые штуковины.

— Она здесь третий день. И, как видите, молодцом.

— Третий день? А раньше что делала?

Заведующий коммуной улыбается и показывает пальцами два вершка.

— Вот такое толстенное дело. Чего только хотите.

Но все дела, и толстые и тонкие, остаются там, за порогом коммуны. Сюда ее обитатели приходят без всякого дела. Они могут называть себя, как хотят. Хоть совсем не называть. Так многие вначале и делают. И только через несколько месяцев, обвыкнув в Болшеве, новый коммунар может добровольно заполнить краткую анкету о себе.

Анкеты — как смутные, полустертые воспоминания о тяжелом, почти забытом сне.

«Число судимостей?»

— Четыре раза. Пять раз. Восемь. Двенадцать...

«Число приводов?»

— Десять. Двенадцать... Двадцать... Очень много... Не сосчитать... Двадцать восемь...

«Сколько раз сидел в тюрьмах, сколько провел в них?»

— Всего не припомню... Много... Пять раз... Всего около семи лет... Восемь лет...

«Был ли в ссылках, сколько, какие сроки?»

— Три раза... Пять раз... Все время бегал из ссылки... Бежал на ходу поезда из арестантского вагона... Шесть раз...

«Что заставило воровать?»

— Жили в таком районе, где много воров. Начал с папирос, затем по сачкам, карманам, магазинам, вагонам. Стал карманщиком, кличка моя была «Ханжа-Васька».

— Избаловался, ушел от матери, на рынке познакомился с ребятами, начал красть мешки и корзины. Потом по карманам, потом вместе со взрослыми. Назывался «Чинарик».

— В деревне показалось скучно, уехал в Москву, имел копеечную торговлю. Под влиянием уличных ребят бросил торговлю и начал воровать.

— Дома было голодно. Ушел в беспризорники и остановился в Харькове. До тысяча девятьсот двадцатого года воровал понемногу, а потом начал и серьезные кражи. Назывался «Петруся».

— В приюте начал таскать платочки и с них пошел дальше. Назывался «Хаджи-Мурат».

— Будучи юнгой на корабле, имел пример разгульной жизни матросов и сам не хотел отставать. Украл одежду у матроса и с краденым бежал с корабля. Был доволен, постоянно при деньгах...

Вот деревообделочная мастерская. Весеннее солнце припекает головы. Свежая пахучая стружка нежно липнет, путается в волосах у молодых столяров. Делают диваны, стулья по большому заказу для санаториев. Чинят колеса.

И тут же, в яростном упоении, кроют черным лаком коммунальные дрожки.

Солнце обижено. Его не хотят замечать. Все глаза ушли в стамески, в податливую белизну гладкого дерева. Как будто ничего нет и ничего не было, кроме этого опьяняющего трудового неистовства.

«...Как ты смотрел на коммуну первое время?»

— Сначала хотел бежать. Но потом прижился и свыкся.

— Хотел бежать с «Чушкой», но посмотрел немного и остался, решил навсегда.

— Шел в коммуну с намерением бежать. Увидел, что здесь хотят перевоспитать, решил остаться, но все-таки долго не доверял, думал, что приедут из ГПУ и расстреляют.

— Жить не думал, но увидел, что жить хорошо, и решил остаться.

— Пришел сюда добровольно. Узнал от одного товарища-вора, что здесь можно исправиться и работать. Вот пришел, и приняли.

— Бежать не хотелось, так как конвоя не видел.

Конвоя никакого в самом деле в Болшеве нет. Но дисциплина самая строжайшая. Та единственная дисциплина, которую можно считать вытекающей из человеческого естества: дисциплина круговой поруки.

Бывшие уголовные преступники, а теперь честные члены болшевской коммуны, неумолимы друг к другу в страстном поклонении своему новому идеалу — честности.

Они оказались в этом отношении последовательнее даже самих своих руководителей.

Вскоре после своего прибытия парни пошли к администрации и сказали:

— Не будьте наивными людьми. Отдайте нам все ключи от всех кладовых и шкафов.

Администрация сначала смутилась. Потом сообразила и немедленно согласилась. В самом деле, любой из молодцов легко раскрывал простой щепкой всякий замок в коммуне. Когда в конторе испортился несгораемый шкаф, один из мальчиков открыл его без труда в пятнадцать минут... Какой же смысл, от кого запираться! Ключи были отданы, и за три года ничего не пропадало в коммуне.

Был, правда, случай, когда один из парней исчез, обокрав своих товарищей. Болшевцы попросили разрешения отправить экспедицию из трех человек за беглецом.

— Где же вы его найдете среди двух миллионов населения?

— Найдем...

Экспедиция отправилась после обеда, а к одиннадцати часам вечера вернулась из Москвы с найденными вещами и распиской в том, что вор уже доставлен в милицию.

Теперь администрация спокойно посылает в город бывшего уголовника с восемью — десятью судимостями по хозяйственной надобности. Ему дают пять тысяч руб-

лей, он прячет деньги за голенище и к вечеру приезжает назад по железной дороге, исполнив поручение и отчитавшись.

Недавно болшевцы постановлением своего высшего органа — общего собрания — судили своего товарища, заподозренного в уголовном преступлении на территории коммуны.

Неслыханное событие взбудоражило парней.

Сгоряча они постановили: направить обвиняемого к властям с ходатайством о возвращении его в тюрьму для отсидки там положенного по судебному приговору срока.

Член коммуны, выслушав постановление, заявил, что хотя и невиновен, но подчиняется. Получил на руки бумагу, один, без провожатого, сел на поезд, приехал в Москву, явился в соответственное учреждение под арест для отправки в тюрьму. Впоследствии дело было расследовано более тщательно и хладнокровно, невиновность доказана, и парень возвращен назад в коммуну.

Так довлеют над Болшевым добровольные суровые законы самих его обитателей.

В зелени парка — летняя сцена, скамейки, кинобудка. Сюда в болшевский клуб сходятся в гости к коммунарам крестьяне окружных деревень.

Вначале возникновение коммуны из клиентов ГПУ вызвало протесты в селах. Ходоки отправились в Москву жаловаться и просить о переводе болшевцев в другое место. Мужички боялись за имущество, за скот, за самих себя. А теперь охотно выдают за подрастающих коммунаров своих дочерей.

Вот и зимний клуб, в помещичьем доме. Рядом, в маленьком домике, в угловой комнатке как-то зимой прожил несколько месяцев Владимир Ильич. Болшевцы бережно охраняют комнатку, скудную мебель в ней: они устроили здесь ленинский уголок.

Двое возятся над стенной газетой. Она называется «К новой жизни». Горячая, боевая газетка прямо зубами отгрызается от старой жизни, вгрызается в новую. Воюет за чистоту, за вежливое обращение, за улучшение производства в мастерских, за тишину и дисциплину на заседаниях ячейки, за всяческие добродетели своих читателей.

Какому беспощадному разносу подвергнут незадачливый любитель голубей, продавший за несколько турманов свои брюки! Прямо страшно делается за беднягу...

А местный поэт, Автомов, говорит о пути к новой жизни и в стихах обращается к прежним своим коллегам:

Прощай, шпана родная,
В «шалмане» мне не жить,
А «фомочка» стальная,
Тебя мне не носить.

Теперь живу я честно,
Не буду воровать.
И вам совет мой: нужно
Жизнь новую узнать.

Как хороша жизнь эта,
О, как легко живешь.
Теперь при виде «мента»
Уж не бросает в дрожь.

Хочу я быть поэтом,
Но вас мне не забыть,
Жизнь вашу новым светом
Стремлюся осветить.

Одна будет отрада
В стихах своих мне петь,
Не презирать вас надо,
А только лишь жалеть.

Он и сам, вероятно, не понимает, этот Автомов, всего полного и решающего смысла своих строчек. Понимаем ли мы с вами до конца, что значит величайшее, чудеснейшее из всех исцеляющих на земле средств — труд?

И каково наше будущее, если мы сможем доставить это лекарство всему молодому человечьему сору, еще беспризорно разбросанному по всей нашей стране?

Понимает, не понимает — не беда. Он весел, этот юнкор газеты в коммуне ГПУ. Он и друзья его провожают нас дружелюбно, со смехом, блестя зубами. Они веселы, радостны, как дети, они и есть дети, только пережившие мучительный сон и с опозданием, но начисто, по-здоровому, по-веселому, с улыбкой начинающие свое трудовое детство, юность.

1927

Воронежские пинкертоны

Мы не знаем, как провела последние минуты своей жизни Фекла Волосова.

Кричала она?

Звала на помощь, сбившись с тропы и занесенная метелью?

Или просто молча опустилась в сугроб, не имея сил бороться с морозом и безнадежным простором русской равнины?

Никто ничего не слышал, кроме ледяной январской ночи.

Знаем мы только, что вышла Фекла из Березовки под вечер, а утром нашли ее совсем окоченевшей невдалеке от хутора Артамонова.

Крестьяне артамоновские — серьезные, деловитые, обстоятельные. Взяли мертвую Феклу в сани и привезли в Березовку. Родные сразу опознали покойницу, собрались хоронить. Все-таки для порядка переправили мертвое тело в сельсовет, впредь до распоряжения.

Чудаки березовцы! Милые люди. Хорошие, старательные середняки. А недалекие. Влипли в историю.

Не знали березовцы, что с мертвым человеком возни не меньше, чем с живым. Как-то замнарком в речи приводил анкету, какая у нас во многих местах заполняется на покойника для загса и кладбищенской канцелярии. Там есть пункты: «Что делали до «февральской и между февральской и Октябрьской революциями?», «Занимали ли выборные должности, а если нет, то почему?» Читатель, если вы чуткий человек, заполните посмертную анкету заранее, чтобы не утруждать родных!

Председатель Березовского сельсовета, получив труп, срочным отношением известил начальника милиции четвертого района Россошанского уезда.

Начальник милиции в свою очередь отправил бумагу народному следователю.

Народный следователь...

Для того чтобы полюбоваться блестящей розыскной работой, любители этого дела читают похождения буржуазных сыщиков Шерлока Холмса и Ната Пинкертона. Какая несправедливость к нашим отечественным героям! Вот вам: красный народный следователь в Россошанах блестяще утер нос иностранным сыщицким знаменито-

стям. В один присест, не вставая с места, только игрой ума раскрыл он страшную тайну смерти гражданки Феклы.

Фекла Волосова умерла... за границей. Выяснено.

Это поразительное открытие, достойное лучших рассказов Конан-Дойля, наш простой, родной, доморощенный советский нарследователь не только совершил, но и доказал.

В самом деле, Фекла умерла за границей. Она замерзла *за границей Россошанского уезда,* Воронежской губернии, на исконной территории *Богучаровского уезда,* той же губернии. Ибо граница между обоими названными уездами проходит в точности между хутором Березовым и хутором Артамоновым, причем Фекла Волосова, сбившись перед смертью с дороги, сама того не зная, перешла границу и испустила дух именно в Богучаровском, а не в Россошанском уезде!

«Все присутствующие в комнате с немым восхищением глядели на гениального детектива, а он в это время как ни в чем не бывало закурил свою трубку, взял с письменного стола старую скрипку и начал играть на ней мазурку Венявского, божественные звуки которой сопровождали все победы великой проницательности аналитического ума».

Виноват, это я из Шерлока Холмса...

Россошанский же следователь сопроводил свое открытие другими поступками.

Ехидно улыбаясь, он взял белый лист бумаги и в тоне нежной укоризны сообщил простоватому начальнику милиции, что на основании статьи 92-й уголовного кодекса следствие должен вести следователь *другого уезда* по месту обнаружения преступления.

Выдающиеся способности россошанского следователя вскоре испытали на себе березовские крестьяне. Через шесть дней после находки трупа они получили резолюцию из уезда. Фекла признана заграничной покойницей. Россошанские власти от нее отказываются.

Двинулись березовцы к милиции Богучаровского уезда...

На седьмой день районный начальник милиции сообщил Березовскому совету, что им «поставлены в известность соответствующие органы. Вам же надлежит охранять труп до приезда властей».

Тот же начальник милиции проявляет и некоторую распорядительность. Он посылает вдогонку своей первой бумаге вторую, с категорическим распоряжением:

«...чтобы труп был внесен в теплую хату, так как 20 января будет произведено вскрытие трупа судмедэкспертом».

Березовцы — народ исполнительный. Перенесли труп в избу, протопили ее честь честью. Фекла оттаяла.

Лежит оттаявшая Фекла в теплой избе день.

Лежит второй день.

Лежит четвертый день.

Властей не видно. Ни суд, ни мед, ни эксперт, ни одна вообще собака не приезжает в Березовку.

Лежит Фекла шестой день.

Седьмой лежит день Фекла.

Лежит восьмой день — в теплой избе, попахивает. А всего лежит уже Фекла *восемнадцать* дней.

На девятнадцатый день не выдержал сельсовет: расхрабрился и послал в милицию бумажку. Скромную, но настойчивую: если через три дня не будут приняты меры насчет трупа, сельсовет вынужден будет «поставить в известность вышестоящие органы».

Кого запугивать вздумали! Богучаровцы устроили у себя совещание, пораскинули мозгами и в свою очередь утерли нос россошанским. В ответ на свою слезницу сельсовет получил бумагу за номером 604:

«На основании ст. 244 УПК, вскрытие трупа должно производиться судмедэкспертом Россошанского уезда, о чем ему сделано распоряжение через органы прокуратуры».

Узка дверь в могилу, а и той нет! О чем думали односельчане Феклы Волосовой целый месяц, держа ее останки в избе? Последнее обращение сельсовета в ВИК призывает «скорее выехать, *вопреки всем статьям уголовного кодекса*, так как население начинает проявлять недовольство и труп разложился».

Дальше... дальше есть материал для новой ноты Чемберлена. О вмешательстве коммунистической партии в государственный аппарат. 9 февраля на пленуме россошанского укома был обсужден вопрос о заждавшейся Фекле Волосовой. И только после этого уисполком послал к ее смертному ложу судебного врача.

1927

Красавица издалека

Не все новые советские слова в нашем языке одинаково благозвучны.

Иное сокращенное учрежденское название уныло скрипит в ушах, как старая телега...

Наряду со словами неуклюжими есть, однако, множество названий красивых, нежных, мурлычащих, ласкающих слух, как мандолинная трель.

Например:

— Туркменцероз.

Разве не изящное слово?

Туркменцероз, Туркменцероз, Туркменцероз... Хочется повторять без конца, и перед глазами сказочные просторы Средней Азии, и плоские крыши, и яркие халаты, и персидская лирика, и пряное, всепроникающее благоуханное цветение пышных цветов.

Туркменцероз! Как прекрасно твое имя! Приподыми, восточная красавица, чадру, предстань пред восхищенными нашими очами.

Не хочет... Приподымем сами.

Туркменцероз есть трест по переработке... не роз, конечно, хотя розовое варенье очень вкусно и очень дорого ценится.

Трест ставит себе целью переработку озокерита в церезин.

А это что за кушанье?

Озокерит есть минерал, из которого путем химического процесса получается особое, довольно ценное жировое вещество — церезин. Нечто вроде парафина. Применяется это вещество в электропромышленности, в текстильном производстве, для разных сапожных мазей и для машинных смазок.

Месторождения озокерита были в свое время найдены на острове Челекене, на Каспийском море. Добыча шла кустарным способом, занимались ею артели туркмен.

Года три назад поехал на Челекен знаменитый некогда в эпоху керенщины инженер Галчинский. Посмотрел, что-то подсчитал, долго шевелил губами про себя и наконец выразил вслух:

— Определяю залежи минимум в двадцать пять миллионов пудов.

Хотя мистические сказки о скатерти-самобранке и наливном яблочке у нас упразднены, однако волшебные

явления в советском быту еще, как говорится, не изжиты. Не успел Галчинский договорить своих слов, как из-под земли возьми и выскочи целый готовый трест с председателем и членами правления, с секретарями, машинистками, инженерами — со всем, что полагается. И даже с красивым названием.

Избрал себе трест местожительством Москву, хотя принадлежал он к Туркменскому совету народного хозяйства.

Почему Москва, а не столица Туркменистана — Ашхабад?

— Странное дело! В Ашхабаде нет ни одной даже пивной приличной, а в Москве даже негритянская оперетта из Парижа гастролирует. Москва — ведь это же город! Можно ли сравнивать?!

К тому же с начальством тресту весьма удобно. Трудно даже придумать удобнее.

Скажем, захочет ВСНХ Союза предписать Туркменцерозу что-нибудь не вполне желательное для руководителей поэтического учреждения. Сейчас же московские туркмены с обворожительной улыбкой объясняют:

— Ведь мы, товарищи, собственно говоря, трест местного значения. Непосредственно сноситься с вами не можем. Это даже незаконно будет. Благоволите через Туркменский совнархоз.

Согласно указанному пути бумага Туркменцерозу должна из Москвы идти в Москву же через Ашхабад. Ответ от Туркменцероза столь же аккуратно идет из Москвы через Ашхабад в Москву же, в ВСНХ! И тихо, и без спешки, и удобно, и беспокойства нет...

Треста без производства быть не может. Поэтому Туркменцероз забеспокоился насчет постройки завода. Надо же что-нибудь во что-нибудь из чего-нибудь перерабатывать — иначе какой, к лешему, трест!

Завод по производству церезина лучше всего было бы построить на самом острове Челекене, у сырья. Но это, пожалуй, было бы хлопотно ввиду пустынности острова и прочих неудобств.

На худой конец завод можно бы создать вдали, в Баку. Помогло бы делу наличие в Баку дешевого нефтяного топлива.

Трест долго раздумывал, взвешивал, выбирал и наконец выбрал. Завод твердо решено было построить... в Москве.

— Позвольте! Почему же в Москве? При чем здесь Москва?

— Странное дело! Баку, конечно, город неплохой, даже трамваи электрические и прочее благоустройство. Но Москва! Где вы найдете такие обеды, как в «Савое»? А сардинки у Елисеева! А вступительные слова Луначарского! А катанье на Воробьевы горы!

— Но помилуйте: пуд озокерита на Челекене обходится в два с полтиной, до Баку его можно было бы доставлять за трешницу, а с доставкой в Москву пуд обходится до восьми рублей! Какая же может быть кальку...

— Какая калькуляция, вы хотите сказать? Ну что ж, здесь можно будет поднажать. Экономию какую-нибудь навести, штаты сократить, на вентиляторах урезать, на баках с кипяченой водой или других каких-нибудь излишествах. Это можно.

— Но ведь из пуда озокерита получается только полпуда церезина; значит, вам придется зря возить через всю Россию миллионы пудов отходов. Ведь это выбрасывание денег на ветер!

— Ну, уж вы скажете, хе-хе! Не так страшен черт. Что-нибудь придумаем. Зато Москва — ведь это же город! Разве можно сравнивать с Баку!

Решили — и начали строить.

Напрасно инженеры из ВСНХ и просто грамотные люди отговаривали Туркменцероз, доказывали преступную глупость затеи с заводом, объясняли нелепость его нахождения в Москве. Увлеченные строители отмахивались, отшучивались, а если им очень надоедали — сердились и в сердцах направляли назойливых указчиков... в Ашхабад.

Правление озабоченно ездило за границу, проводило там многие месяцы, закупало лучшую, самую дорогую аппаратуру. О том, как строился завод — без всякого плана и даже без рабочих чертежей; о том, как заказан был подъемник для сырья в верхний этаж, а потом оказалось, что сырье будет подаваться в этаж нижний и подъемник (четырнадцать тысяч рублей) не нужен; о том, как заказали большой котел, а потом передумали и заказали два маленьких котла, и оказалось, что все три не нужны, и все-таки котлы поставили; о том, как ломали в стене огромные дыры для балок, и оказалось, нужно ломать в другом месте, и ломали в другом месте, и опять ломали неправильно; о том, как поставили какую-то ма-

шину наоборот и пришлось разбить стену, — обо всех этих историях мы рассказывать не станем. Могут об этом рассказать возмущенные и огорченные до боли рабочие постройки, пытавшиеся прекратить эти безобразия и лишенные всякого голоса, пока в дело не вмешался Сокольнический районный комитет партии.

Но завод все-таки строили, и, как говорят, получился шикарный завод.

А за это время, чтобы не сидеть без дела, красавица Туркменцероз несколько раз посылала своих послов на славный остров Челекен — туда, где инженер Галчинский открыл двадцать пять миллионов пудов озокерита.

И поехал на Челекен в 1925 году инженер Матушкин. Посмотрел, обследовал и сообщил новость:

— Озокерит, конечно, есть. Но ни о каких двадцати пяти миллионах пудов не может быть и речи. На самый крайний конец, может быть, десять миллионов набежит. Никак не больше.

Возмутилась красавица Туркменцероз, обругала своего посла, отправила на славный остров Челекен новую комиссию.

Вернулась новая комиссия, смотрит кисло.

— Ну как? Ведь, правда же, наврал Матушкин?

— Пожалуй что наврал. Никаких десяти миллионов нет. Самое большее, что есть, — это пятьсот тысяч пудов озокерита. Да и залегает он, черт, на глубине от двадцати до девяноста шести метров. Выцарапывать оттуда обойдется никак не меньше четырех рублей за пуд.

...Теперь стоит красавица Туркменцероз посередь Москвы, с заводом, на который ухлопано около миллиона рублей и для которого сырья — года на два, если даже заняться идиотски дорогой добычей и перевозкой с Челекена в Сокольники.

Что можно к этому добавить?

Выходит, что как будто добавить нечего.

Все-таки мы добавляем еще два слова.

Первое слово: на Украине есть совершенно готовый, еще от мирного времени оставшийся, не нагруженный озокеритово-церезинный завод. Его с избытком хватило бы на все производство церезина во всесоюзном масштабе.

Второе слово: приехавший из Америки инженер докладывал в Москве о новом способе получения церезина из парафинистой нефти. При этом способе церезин можно

по дешевке добывать в Баку, на наших нефтяных промыслах, и совсем оставить в покое озокерит...

Скорее, красавица Туркменцероз, накрой свое лицо! Противно смотреть.

1927

В большой московской гостинице

Голубые глаза, широкие плечи, крепкие руки — высокие, молчаливые, чистоплотные карелы. Они валят столетние сосны в верховьях северных рек. Бросают белые от снега стволы на землю, по берегу. Бросают — и рубят дальше, бросают — и рубят дальше.

Весной полая вода добирается до самых высоких мест — тяжелые трупы сосен сами собой всплывают и легко движутся вниз. Они кружатся в водоворотах, наскакивают друг на друга, отталкиваются и опять мчатся вперед широкой, разбросанной бестолочью, как горсть спичек, брошенная второпях.

Так плывут стволы в одиночку, молевым сплавом, пока не достигнут до устьев притоков, до плавного течения большой реки. Здесь встречают их суровыми заграждениями — запанями. Быстрый ход дерев остановлен. Их прыть укрощена. В запанях бревна, скопившиеся огромными массами, вяжут в плитки — маленькие плоты. Дальше плыть—куда медленнее. Сосна связана в плитке с десятками других, она плетется по течению, подчиняясь длинной очереди, покорно примирившись со своей участью, робко дожидаясь конца далекого пути.

Внизу у большой реки становятся ничтожны и плитки. Их выравнивают бесконечной чередой, связывают в длинные паромы и тянут совсем медленно, еле слышно, почти незаметно. На плотах люди ходят, гуляют, строят избушки, варят обед, ссорятся, пьянствуют. Отдельное бревно затеряно в бесконечной остановившейся массе. О нем забыли. И уже само оно хочет забыть весеннюю скачку по бурным потокам, свои желания, требования, самого себя.

Из леса делают бумагу. Не потому ли и исписанная деловая бумага движется в наши дни теми же путями и скоростями?

Бумага уходит с места, имея в себе смысл, содержание, устремление и скорость.

Дойдет бурным молем до первой уездной запани — там ее свяжут, увяжут, опутают вместе с десятками других и пустят тихим ходом до губернии.

Здесь задержат и пустят, только когда накопится много пачек для целого бумажного парома.

А там, у пристаней столичных канцелярий, где чередой стоят нескончаемые плавни дел, где часто из-за невыносимых заторов закупоривается всякое движение, там кто вспомнит о притихшей, забывшей о самой себе бумаге!

Карельские лесные учреждения раньше входили в Северолес. Потом был выделен из Северолеса самостоятельный Кареллес. Остались незаконченными взаимные расчеты.

Пока доспевали всякие предварительные расчеты и балансы, прошел со времени выделения Кареллеса целый год. Только в октябре 1925 года начала по-настоящему работать разделительная комиссия. В нее от Кареллеса вошел член правления Валле.

Велик бумажный затор у столичных пристаней. Трудно добиться толку в бумажных омутах. Надо действовать решительно. Валле перед отъездом объяснил в ярких красках своему правлению, как обстоит дело, и получил полномочия действовать с нажимом.

Для начала Валле вручил в Северолесе тысячу двести рублей на «экстренные расходы» по ускорению баланса. Северолес, которому бухгалтерия обходится в миллионы рублей, не погнушался принять эту странную взятку от учреждения учреждению. Впрочем, деньги пошли не самому Северолесу, а главному его бухгалтеру Маврову и еще бухгалтеру Ершову. Это уже понятнее.

Но, конечно, расходы и в Северолесе были только на затравку. Разве же можно продвигать в Москве какие-нибудь расчеты без надлежащих «данных»! Надо взяться за данные вовсю.

Где-то на заседаниях пригляделся Валле консультант Наркомфина Золотов. Человек солидный, на заседаниях держится серьезно, хотя пьет учрежденский чай как насос и бутерброды со стола таскает сразу по две штуки, якобы по рассеянности.

Золотов приглашен к представителю Кареллеса для разных частных консультаций. Гонораром щедрый каре-

лец не поступается. За первый же визит Золотову перепадает шестьсот рублей.

Затем за заключение — еще четыреста рублей.

Затем за анализ и заключение — еще тысяча четыреста рублей.

К чему такие частые анализы и заключения? Ни к чему. Но нужно, чтобы Золотов был в хорошем самочувствии. Это пригодится.

В августе 1926 года происходят генеральные междуведомственные заседания по расчетам Кареллеса. В них участвует как представитель Наркомфина Золотов.

Откормленный Валле, как гусь к рождеству, почтенный консультант превосходит самого себя. Участники заседаний с удивлением несколько раз переспрашивают Золотова: чьи интересы он представительствует — Наркомфина или Кареллеса? На подобные бестактные вопросы Золотов не считал нужным даже отвечать. Ведь все мы служим общему делу, какие тут могут быть придирки? Только хрустение червонцев в боковом кармане у Золотова при особенно энергичных его жестах могло бы кое о чем сказать. Но люди не наблюдательны — разве что в ГПУ...

Междуведомственная комиссия собралась, но не договорилась. Перед вторым заседанием Золотов почувствовал себя переутомленным. Валле заморил золотовского червячка — дал еще четыреста рублей, и еще шестьсот, и еще что-то. Золотов готовился, пил сырые яйца для голоса. Комиссия собралась вторично. Но представитель Наркомфина в речах своих был бледен, комиссию не убедил.

Перед третьим заседанием Валле подкрепил консультанта еще четырьмя сотнями и еще чем-то — всего не упомнить. Но на третье заседание Золотов совсем не пошел. Хорошо сделал! Наркомфин опротестовал поведение своего представителя и заменил другим. В комиссии Кареллес не имел успеха. Вопрос о расчетах не решен до сих пор.

...Одновременно с Валле приплыл в Москву на бумажных плотах Александр Сидорович Берман. Тоже из Кареллеса. Заведующий экономическо-плановым отделом. К чему в провинциальном тресте экономическо-плановый отдел? Как же! Нужен!

Берман приехал продвигать в Москве промфинплан Кареллеса. Продравшись сквозь несколько маловажных

инстанций, план вместе с Берманом вплыл в лесобумажный директорат ВСНХ и тут грузно засел.

План затерло. Предложили его пересоставить. Берман не стал ни одной минуты спорить. Пересоставить так пересоставить. Куда спешить! Северные путешественники, затертые льдами, не спешат, не суетятся, а спокойно остаются зимовать вдали от дома, пока лед опять не пройдет. Карельского гостя не испугала первобытная природа неведомой ему Москвы. Он остался зимовать...

Для переделки плана Берман приглашает работников из того же директората. По одному из каждого отдела. А всего — пять человек. Зато будет в порядке и производственная часть плана, и экспортная, и строительная, и импортная, и финансовая. Особо, за отдельную плату, так сказать, в виде закуски к обеду, Берман заказывает разные бухгалтерские разносолы на самый тонкий вкус: «главные элементы производственных операций», «средневзвешенные калькуляции», «комментарии к финансовому анализу». Говорят, старые бухгалтера любят этакие штуки брать с собой домой и читать, смакуя на сон грядущий, как стихи Блока. Берман решил угостить лесобумажный директорат на славу.

Кроме пищи, так сказать, духовной, Берман не обижает работников директората и прочим. Заседания и разговоры о стоимости экспортных стандартов и других премудростях неизменно кончаются угощением, выпивкой, танцами и другими штуками, могущими привнести ясность ума. На них Берман отпускает шестьсот рублей из средств Кареллеса.

По инструкциям ВСНХ, промфинпланы должны представляться в лесобумажный директорат в семи экземплярах, с объяснительной запиской и приложениями. Нам такая инструкция кажется зверской. Вдобавок, директорат, нарушая инструкцию, потребовал у Бермана восемь экземпляров.

Но опытный путешественник по канцелярским дебрям взял иной размах работы.

К чему обижать, скажем, Госплан? Там плана хоть не просили, а с удовольствием прочтут. А если и не прочтут, то, получив, поблагодарят. А Экспортлес — разве плохое учреждение? Вот Госбанк тоже. Наркомторг, Наркомфин... Всем ведь надо же. Берман взял твердую линию, наметил *двадцать шесть* экземпляров плана и *пятьдесят шесть* комплектов приложений.

В олонецких лесах серьезные, сосредоточенные карельские мужики врубаются в столетнюю мраморную твердь высоких сосен. В Москве, защищая их, карелов, интересы, Берман командует *двенадцатью секретарями* и *двадцатью восемью* машинистками, размножает промфинплан.

Вот он, путь сосны от верховьев до устья рек.

Бумага, излишняя отчетность — мы боремся с ней, как можем. Но еще плохо ее себе представляем.

Нам кажется, что бумажная волокита — это сидит старый-старый чиновник, архивная крыса, что-то сонно скребет по листу, а кругом — паутина, грязь, скука, мерзость запустения.

И вовсе это не так! Бумага, отчеты — как это иногда бывает весело! Как приятно!

Валле и Берман не зябли у подъездов учреждений, дожидаясь результатов своих поручений. Они сняли роскошные номера в Большой Московской гостинице, там открыли свой штаб. Иначе как же можно! Ведь и сплавщики делают себе на плотах избушки, чтобы пережидать непогоду. В Большой Московской избушки стоят по пятнадцати рублей в день, и живется в них много удобнее, чем в худых деревянных срубах.

Пылкий Берман требовал от сотрудниц и машинисток, переписывавших промфинплан, горячего отношения не только к работе, но и к лицу, ее возглавлявшему. Выпивки, катания и денежные взносы помогли ему добиться кое у кого взаимности. Появились и «подруги» и просто «знакомые», остававшиеся в номерах до утра. Это было бы не так интересно, если бы раскаленные страсти Бермана не оплачивались карельскими лесорубами.

Рассудительный немолодой Валле был равнодушен к московским дамам. Его спокойной натуре, тосковавшей от нечуткости междуведомственных комиссий, были ближе цветы жизни — дети. Он, коммунист, в промежутках между консультациями, обзаводился беспризорными подростками-проститутками, находил в кино одиннадцатилетних девочек с пионерскими галстучками и оставлял их у себя ночевать, изучая в постели психологию детской души...

Не мудрено, что в таких условиях Берману и Валле незачем было торопиться, что они «продвигали» свои планы и расчеты с чувством, толком и расстановкой.

Не мудрено, что командировка Валле из Петрозаводска в Москву обошлась в пятнадцать тысяч рублей, а бермановская — в семь тысяч рублей.

Не мудрено и то, что ГПУ, заинтересовавшись, в силу врожденной любознательности, пребыванием карельских гостей в Москве, нашло их личные отчеты грубо раздутыми и фальсифицированными.

Дожидаться в Большой Московской гостинице утверждения промфинплана — много удобнее, чем, скажем, ездить за справкой семьдесят верст по болотам в волость. Чего же удивляться тому, что Берман, как выяснилось, изготовил не двадцать шесть, а только десять отчетов, и одна только *разница в количестве переписанных экземпляров* дала несколько тысяч рублей — достаточно денег для трехмесячных кутежей в Москве.

Впоследствии «увязаны» были не только вопросы, связанные с Берманом и Валле, но некоторым образом сами они.

Валле пришлось обменять свой партийный билет на повестку в уголовный суд. Все же летопись путешествий обоих есть источник для тягостных и еще долгих размышлений.

Любую, самую мощную, четко работающую машину легко застопорить и остановить, если разбросать по зубчаткам, клапанам и передачам полведра обыкновенного, ничтожного рыхлого песку. Коварно и прилипчиво завладеют слабые частицы земли крепким стальным механизмом, свяжут его движения, нарушат их мерность и, невыносимо обволакивая, заставят постепенно, но быстро, в тяжелых судорогах, затихнуть в неподвижности.

Что, если в поршни паровоза начать долго, безостановочно, ехидно совать бумагу? Комками, листами, тетрадками? Проникнуть к котлу и вместо воды сознательно напихать бумажную кашицу? Пробраться к свистку и его тоже, чтобы не кричал о помощи, заткнуть маленькой бумажной пробочкой?

Революции, паровозу истории, бумажная каша объективно заносит путь, связывает колеса. Но зря исписанная бумага, мы видим, вредна даже субъективно. В ее нескончаемом тексте заводятся жирные, противные черви. Без всяких прямых товарных и финансовых хищений, на *одной только лишней отчетности,* на пыльных листах «анализов» и «соображений» — только на них! — можно

кутить, покупать женщин и детей, хлобыстать вино, давать волю самым низким и омерзительным сторонам неисчерпаемой человеческой натуры.

1927

Свежие воспоминания

Наши дураки без пастуха бродят.

Русская пословица

Когда-нибудь на досуге мы расследуем загадочную и жуткую историю, участники которой еще до сих пор не освещены в достаточной мере. Мне кажется, в ней кроется несправедливость.

Это о дураке, которого заставили богу молиться, а он и лоб расшиб.

Здесь нужен объективный анализ. Действительно ли был дураком оный, скрытый туманами веков человек из старой пословицы?

Что владело им, когда он расшибал в кровь, а может быть, насмерть, отчаянную свою голову об угол стены или каменные плиты пола? Какие социальные, экономические, политические условия привели его к кровавой развязке?

Ведь не сам он молился, не хотел молиться. Ведь *заставили его!*

Может быть, это был первый богоборец, первый безбожник, замученный неумолимым церковным законом? Может быть, это была жертва клерикальной тирании, поповского гнета, безысходной реакции?!

Надо оправдать бедного молельщика с рассеченным лбом. Вытереть с его чела кровь, обогреть и приласкать на груди. Ведь его заставляли! Заставляли же его!

Надо нам понемножку пересматривать пословицы, освежать, дополнять и их. В частности, надо бы создать пословицу о людях, выражаясь мягко, не очень одаренных и проявляющих чрезмерное усердие без *всякого принуждения*.

Ну, скажем так. В некотором городе — забыл в каком — довелось нам недавно видеть, как ездят по ули-

цам огромные грузовики, и с них люди лопатами снег на мостовую сбрасывают.

Трудятся что есть силы. В поте лица. Снег набросают, с грузовиком отъедут и давай этот снег лопатами и ногами ровненько уминать. Потом озабоченно свою работу осмотрят, рукавом оботрутся и дальше — следующий участок засыпать.

Спросил прохожих:

— Зима здесь, что ли, была бесснежная? Из-за границы снег выписывали? Почем, интересно, платили? Векселями или за наличные?

Улыбаются.

— Отчего же. Снега в эту зиму было, пожалуй, поболее, чем в прошлую.

— Ага... Так они, может быть, для мускулов упражняются? Физкультура?

Опять улыбаются.

— Какая там физкультура! Тут дело много хуже. Коммунхоз постановил очистить мостовые для уличного движения и оставить снега на два вершка высоты. Но кому-то понадобилось, кому-то было выгодно счистить снег совсем, на нет. И очистили. Теперь по улицам ни одна лошадь не может саней протащить. Вот и приходится заново тому же коммунхозу возить грузовиками снег, по дорогам укладывать. В какую это копейку вскочило — можете себе представить!..

Пошел дальше. Опять грузовик стоит. У подъезда. Уже не со снегом, а с книгами. Много книг! Еще кипы какие-то, вороха бумаг, штабеля папок. На всем этом старуха сидит. Мерзнет и испуганно озирается: найдется ли еще место для книг и кип бумажных.

В подъезде вывеска. Трест какой-то, забыл название. Сотрудники суетятся, все выносят новые пачки книг.

— Переезжаете, что ли?

Махнули рукой.

— Не спрашивайте. В суд едем.

— В суд? С этакой библиотекой?! Наделали делов, нечего сказать.

Измученный бухгалтер поднял хмурое лицо и рассвирепел.

— Делов! Всего-то на тринадцать рублей разговора, а должны тут светопреставление устраивать. Мы из этой перевозки в две недели не вылезем!

— В чем же дело?

Дело оказалось вполне ясное. Гораздо яснее, чем случай с принудительным молением легендарного дурака.

В народном суде, не помню сейчас точно в каком, трест взыскивал со своего бывшего шофера какие-то спорные тринадцать рублей. Предоставил соответственную выписку его личного счета.

Судья трестовой выписке не поверил.

И распорядился, чтобы трест из-за тринадцати рублей доставил в суд в доказательство своей выписки все документы, что относились к задолженности этого шофера, начиная с первого дня его службы и кончая днем ухода.

Проследил я экспедицию всю до конца.

Наблюдал погрузку многопудовой отчетности, слышал напутственную речь главбуха, ответное приветствие представителя отъезжавших сотрудников, прощальные объятия, поцелуи, напутствия.

Пережил прибытие каравана с отчетностью и сотрудниками в нарсуд, выгрузку книг и связанные с этим заботы.

Приготовился смотреть, как народный судья будет проверять по грузовику трестовскую справку...

Но не увидел.

Судья, вынесший на прошлом заседании мудрый свой приговор, на сей раз заболел.

Новый же судья в тихом благоговении, как октябренок смотрит на Казбек, оглядел книжные горы и приказал отправить их назад.

Он решил, другой судья, что нет оснований не доверять справке государственного треста и незачем просматривать все документы.

Погрузились обратно. Старуха курьерша опять вскарабкалась на верхотуру. Завели машину. Двинулись. Впереди грузовики коммунхоза посыпали дорогу снегом...

Вспомнил, вспомнил! А ведь совсем выпало из памяти! Трест этот самый, который книги возил, назывался «Первое Льноправление».

Судья... Судья, если не ошибаюсь... Нет, не ошибаюсь. В третьем участке Рогожско-Симоновского района судья выносил свой приговор.

А город, где снег посыпали... Постойте, постойте, какой же это был город? Ну и память! Вспомнил! Москва был город.

1927

Путешествие в Душанбе

Четыре счастливчика выиграли по лотерее Осоавиахима право на кругосветное путешествие.

Можно представить себе все изумительные впечатления и радости, какие доведется испытать обладателям четырех выигравших билетов. Хватит вспоминать на всю жизнь! Еще и детям и внукам останется дорассказывать, довирать про их кругосветного дедушку.

Лично мне из трех замечательных моментов и переживаний выигравшего кажется самым сладостным именно первый момент.

Сидит человек за столом, ничего не подозревая, ест редиску со сметаной, и вдруг в распахнутую дверь вваливается целая орда людей.

— Вы гражданин Птицын?!

— Я.

Представитель Авиахима вытягивается как на параде, фотографы спешно раздвигают костлявые ноги аппаратов, председатель жилтоварищества растроганно сморкается, случайные очевидцы восторженно аплодируют.

— Разрешите, гражданин Птицын, уведомить вас, что в силу выпавшего на вас счастливого жребия вам предстоит вполне неожиданно совершить кругосветное путешествие с полной бесплатной доставкой вас через Авиахим на дом.

И это все за полтинничный билет! Э-эх... Сердце разрывается от зависти.

Не хотел бы я сказать, что можно на старый номерок от вешалки выиграть сто тысяч. Тут без облигации не обойдешься. Но все же бывают случаи, когда выиграешь далекое путешествие и даже без полтинника и без билета. Как кому свезет! Недаром же в старых оракулах и сонниках объяснялось, что все в жизни — лотерея.

Рабочий Иван Самойлов города Лукоянова Нижегородской губернии никакого билета Осоавиахима не покупал. И все же в одно замечательное утро к нему в распахнутую дверь ворвалась орда людей во главе с должностными лицами.

— Вы гражданин Самойлов?!

— Я.

— Григорий Васильевич?

— Никак нет, Иван Алексеич.

— Знаем мы, сукин сын, какой ты Иван Алексеич. Сматывай барахло, поедешь в Душанбе.

— Ка-ак?!

Взяли Самойлова Ивана Алексеича под микитки, потащили в милицию. А там, размахивая кулаком, разъяснили: в далекой Таджикской республике, в столице тамошней, в городе Душанбе, скрылся кассир Наркомзема Григорий Васильевич Самойлов, упер с собой семь тысяч рублей. Власти разослали по всем милициям бумагу о поимке Самойлова. И выходит, что обнаружен и пойман растратчик — доблестной лукояновской милицией.

— Товарищи! Так ведь то — Григорий Васильевич, а я — Иван Алексеич! Да ведь я отродясь ни в какой Таджикии и во сне не бывал! Я и в Нижний-то два раза в жизни своей ездил! Не тот же я, товарищи!

— Врешь, гадюка. Семь тысяч прожрал, а отвечать не хочешь? Боком они тебе, деньги, выйдут. К таджикам назад поедешь, там отведаешь лиха.

Клялся, бил себя в грудь, умолял Самойлов. Приходили со всего Лукоянова свидетели-рабочие, заверяли, что знают Самойлова с малых лет, что никогда не был он кассиром и никогда не уезжал ни в какую Таджикию.

Милиция заколебалась. Отдали самойловскую судьбу в руки прокурора.

Прокурор же, великий чтец в сердцах людей, едва взглянул на Самойлова, познал его насквозь.

— По глазам вижу, что тот самый. Растратчик до мозга костей.

Видя, что дело плохо, уцепился Самойлов за последнюю соломинку.

— Ладно, товарищи. Если не хотите верить мне и рабочим, буду сидеть за решеткой, пока правда не выяснится. Снимите с меня фотографическую карточку, пошлите в Душанбе. Пускай там увидят, что не тот, пусть сюда ответят — и тогда вы меня выпустите.

Прокурор был неумолим.

— Предлагаю немедленно отправить и прекратить волокиту.

Отправили...

От Лукоянова до Душанбе — пять с лишним тысяч верст. Если ехать скорыми поездами и пароходами, можно добраться за пятнадцать дней.

Но разве же можно много разглядеть вокруг себя при

торопливом путешествии? Самойлова везли по этапу медленно, с чувством, с толком, с очень большой расстановкой. Всего пробыл в дороге счастливый путешественник восемь месяцев.

В каждой тюрьме свой уклад, свои обычаи и нравы. Хватит Самойлову рассказывать на всю жизнь — и детям останется. В одном месте Ивану Алексеевичу «ставили жучка»; в другом же, наоборот, разыгрывали между собой в карты его вещи. И говорят всюду тоже по-разному, по-особенному. К примеру: «Гришка» значит гривенник, «костер» — город, «рыба» — барышня, «сверкальцы» — брильянты, «волосатик» — крестьянин, «тыхтун с вертуном» — автомобиль с шофером. Всему учился Иван Алексеич — чего уж тут. С волками жить — по-волчьи выть.

Протащился Самойлов с этапа на этап через всю Россию до Баку; миновал Каспий-море; миновал Арал-море; пер по песчаным пустыням; задыхался; исходил пузырями от жары; обовшивел и отюрьмел, не то что как растратчик, а впору и доброму старому убийце целой семьи с детьми.

Приволокли Ивана Алексеича на восьмой месяц в Таджикскую советскую республику, в столицу — город Душанбе.

Приволокли. Посмотрел на него тамошний таджикский прокурор; перелистал бумаги, повел слегка плечами и тут же, в день приезда, освободил. Не тот...

Не тот — и крышка. О чем говорить!

А возвращаться как?

Ни от кого не мог получить Самойлов ни копейки. Двинулся назад, через пустыню, пешком.

В Авиахиме с путешественниками обращение иное...

Через восемь дней до города Термеза добрели, спотыкаясь, растерзанные остатки человека. Термезские партийцы и рабочие, подобрав Самойлова полуживым на улице, в складчину, по грошам, собрали ему на билет и пропитание.

Н-да! Путешествие по розыгрышу лукояновской милиции — сюрприз, конечно, интересный. Но я предпочел бы все же розыгрыш Авиахима. Хотя бы и с затратой полтинника.

1927

Скушная история

Волков бояться — в лес не ходить.

Это отлично в теории и на практике всегда знали работники затерянной в могилевских лесах сельскохозяйственной коммуны имени Либкнехта.

Либкнехтовские коммунары не боятся ни леса, ни поля. Они работают уже девятый год и — чтобы долго не распространяться об их работе — признаны лучшей коммуной по всей Белоруссии.

Но одно дело — лес из деревьев, а другое дело — густой дремучий лес канцелярий, где на каждом шагу за письменными столами вразвалку сидят матерые волки в пиджаках.

Пьют эти волки чай с лимоном, властно рычат в телефоны и щелкают зубами на случайного робкого посетителя. Если забредет к ним человек невзначай в глухую позднюю пору — после четырех часов дня, тогда и совсем загрызть могут.

Заблудилась бедная Красная Шапочка, то бишь, либкнехтовская коммуна, в учрежденской чаще. Подает оттуда отчаянные стоны. Безнадежно взывает о помощи:

— Ау, добрые люди!

— Помогите выбраться!

— Покажите дорогу!

— Хоть голос подайте!

В марте 1926 года понадобились коммуне кое-какие части к трактору. Сущий пустяк, на несколько десятков рублей.

Пустилась она, коммуна, вплавь за частями тракторов. Вот вам точный маршрут блужданий низового коллектива трудящихся в поисках нескольких болтов, гаек и шатунов.

12 *марта* коммуна запрашивает правление синдиката Сельмаш о наличии имеющихся у него частей к тракторам.

22 *марта* Сельмаш отвечает, что требуемых частей не имеет.

Надо бы черкнуть хоть два слова о том, где есть тракторные части. Но о такой вежливости чиновники Сельмаша никогда и не слыхивали.

Коммуна удивлена. Как это так: Сельмаш, а не имеет частей к трактору? 27 *мая* запрашивает Сельскосоюз.

Сельскосоюз любезен приблизительно так же, как

Сельмаш. Коммуне отвечают, что «выполнить ваш заказ ввиду незначительности суммы его мы не можем, так как отпускаем запасные части только на сумму не менее ста рублей».

Коммуна обрадована. Быстро подбирает заказ на сто двадцать семь рублей и 7 июня отсылает его Сельскосоюзу вместе с задатком. «Просим выполнить заказ поскорей...»

Ждут, ответа нет. Время летнее, рабочее, жаркое.

23 июня коммуна пишет Сельскосоюзу просьбу поторопиться с заказом.

Ждут, ответа нет.

9 июля коммуна не своим голосом взывает к Сельскосоюзу:

«Скорей пришлите части к трактору! Стоим в разгаре полевых работ второй месяц! Отстаем! Гибнем!»

Ждут, ответа нет.

24 июля коммуна молит Сельскосоюз:

«В последний раз, дайте окончательный и определенный ответ на наш заказ!»

Ждут, ответа нет.

30 июля коммуна посылает напоминание через земляка-студента с просьбой сообщить хоть результат запросов.

Ждут, ответа нет.

Коммуна посылает всю переписку с Сельскосоюзом в Центральный дом крестьянина с просьбой воздействовать на сельскосоюзовских бюрократов. Кооперация же ж! Крестьяне же мы! Хоть ответьте! Хоть одно слово!

Получив, видимо, нагоняй от Дома крестьянина, Сельскосоюз снизошел до ответа. Но, вместо того чтобы оправдываться, он сам переходит в наступление и обвиняет коммуну в том, что она не по инстанции обратилась. В том, что встала на «неправильный путь».

Пока Сельскосоюз, не давая частей к трактору, наставляет ее на путь истины, белорусские коммунары кинулись по другой тропке в заколдованном учрежденском лесу.

Написали в краевую контору Госторга в Ростове-на-Дону. Ростов отвечает, что «за пределы Северо-Кавказского края запасные части мы не отпускаем, почему ваш запрос удовлетворить не можем».

Но...

«Но по получении от вас суммы в размере одного руб-

ля вышлем вам каталог запасных частей к трактору «фордзон».

Кто сказал, что советский бюрократ — бездушное, тупое существо? Разве обыкновенному человеку придет в голову такое тонкое бумажное издевательство: частей не давать, но каталог выслать?!

Коммуна обращается дальше:

В Ленинград — к Севзапгосторгу.

В Минск — к Госторбелу.

Ленинград по существу запроса не отвечает.

Минск отвечает, что частей нет, а когда придут — будет сообщено.

Ждут два месяца — ответа нет. Лето давно миновало. Поздняя осень. Еще страшнее в глухой учрежденской чаще.

30 октября коммуна опять напоминает Госторгбелу:

«Нет ли уже частей к трактору?»

Госторгбел лениво:

«Обратитесь в Белсельтрест».

Опупелые коммунары — в Белсельтрест:

«Есть ли части к трактору, а если есть, то можно ли их получить?»

Одновременно коммуна пишет могилевскому отделению Центроземсклада:

«Есть ли части к трактору, а если есть, то можно ли их получить?»

Вам, читатель, уже скучно стало? Погодите, я вас не отпускаю. Сидите смирно, читайте дальше. Не скучно же было быховским коммунарам проделывать на самих себе эту нудную, омерзительную сказку про белого бычка.

Дальше...

Центроземсклад в Могилеве ответить не соизволил ничего.

Белсельтрест сообщает, что частей нет. Но если они и будут, то будут они, эти части, распределяться по совхозам.

Коммуну это глухое заявление будоражит. Ей мерещатся какие-то надежды на избавление.

27 декабря она запрашивает Белсельтрест, имеет ли она, лучшая коммуна Белоруссии, право получить на несколько десятков рублей принадлежностей для трактора?

Белсельтрест сурово отказывает. Он снабжает частями только совхозы. Коммуна пусть снабжается как знает.

Центроземсклад, не могилевский, а минский, внезапно уведомляет коммуну, что хотя частей у него нет, но он берется купить их в Москве комиссионно, если коммуна пришлет заказ и задаток.

Совсем отчаявшаяся, заблудившаяся Красная Шапочка радостно бежит на живой голос. 11 января 1927 года просит Центроземсклад сообщить размер комиссионных.

Центроземсклад гордо сообщает, что комиссионных не берет. Однако о том, когда наконец будут части, ничего не говорит.

4 февраля коммуна посылает буквально дрожащими руками заказ и задаток и робко просит Центроземсклад поторопиться, чтобы не сорвать вторую полевую кампанию.

23 февраля Центроземсклад отвечает, что «частями к трактору коммуну должен снабдить Белсельтрест, куда и следует обратиться».

Просвет только померещился. Красная Шапочка опять вышла на старую, уже протоpенную, загаженную тропку. Уныло, с опущенными руками, опять 26 февраля запрашивает Белсельтрест:

«Есть ли части к трактору, а если есть, то можно ли их получить?»

Ждут, ответа нет. Впрочем, можно догадываться, какой он будет, ответ, когда придет. Смотри, как говорится выше...

Мы уже сами выбились из сил рассказывать столь однообразную, унылую историю.

В старой сказке волк загрыз-таки Красную Шапочку и был за это примерно наказан. В нашей сказке — конца не видно. Потому она такая нудная.

Надо двинуть сказку повеселей!

Мы видим в истории с быховской коммуной ярчайший образчик самого кристального, чистой воды, бездушнейшего бюрократизма. Все советские адресаты, к которым тщетно обращались быховские коммунары, должны предстать перед суровым судом и понести суровую ответственность.

Вот другой факт...

20 марта 1926 года коммуна послала в агрономический институт Вайбульсголь (Швеция) свои семена ов-

са для анализа. И уже 9 апреля (того же года, того же года, советские чинушки!) институт отвечает коммуне, что семена уже подвергнуты анализу профессором Нильсоном. Прилагает результаты анализа! С тех же пор коммуна регулярно переписывается с институтом и ведет опыты под внимательным наблюдением из Стокгольма.

А могилевские бюрократы не считают нужным даже ответить лучшей в республике коммуне в своем же, Могилевском, округе!

1927

Иван в раю

Красноармеец Гусев, перескочив с земли на планету Марс, устроил там революцию и провозгласил федеративную советскую республику. Описано сие у писателя Алексея Толстого, а также было показано в кинематографе.

Но и без Марса, без Толстого и без кино в настоящей, подлинной жизни советские работники и деятели, очутившись среди необыкновенных обстоятельств, ведут себя почти всегда вполне достойно и невозмутимо.

Далеко, у черта на куличках, на заброшенном во льдах, около полюса, острове Врангеля сидят четыре человека советских работников. Пароход с едой и газетами приходит к ним раз в два года. Сообщения по радио нет. Но, оторванный от всего мира, председатель островного совета работает спокойно, как под Москвой. На столах папки, на дверях и стенах надписи, специально для медведей и моржей: «Прием от 12 до 3», «Кончил дело — уходи»... Пользуюсь случаем передать на остров Врангеля привет — только когда он дойдет до адресата вместе с этими страницами?

Видел я и заседание РКК у берегов Африки, в палящем полуденном зное, в матросском кубрике советского парохода, терпеливо резавшего лиловую жижу Средиземного моря. Судомойку из буфета не удовлетворила уступчивость рабочей части перед капитаном, она грозно метнула глазами на портреты вождей в углу и пригрозила, что пожалуется в союз. Где на Средиземном море союз? Куда бежать? Кому жаловаться? Однако же все мы, при-

сутствовавшие, судомойкиной угрозе поверили. Найдет судомойка союз. Доплывет до него! Нечего обманываться африканской панорамой! Нечего терять почву под ногами, если даже стоите на воде!

Вот о товарище Голубеве мы всего вышесказанного повторить не можем.

Утерял Голубев перспективу. Валяется она, перспектива, где-то далеко позади Голубева, как ночью на снегу шапка загулявшего человека.

Послали Голубева на работу не на Марс, и не на полюс, и не к африканским берегам. Место службы — в центре. Москва, чего уж центрее! Но почувствовал себя командированный на новом месте службы сразу и как на Марсе и как в Африке. Правда, хотя назначение голубевское было и в Москву, но считать его вполне обычным нельзя. Ибо был назначен Голубев заведовать... пятьюстами женщин. Нет слов, вещь не шуточная.

Назывались все пятьсот женщин вместе «Первые госкурсы машинописи» и помещались на Каретно-Садовой. Но Голубев, Иван Петрович, заделавшись руководителем курсов, быстро перестал соображать, что находится на Садово-Каретной улице, а почувствовал себя в самом заправском раю, и даже не в православном, а магометанском. Соответственно и устроился.

Служебный кабинет нового заведующего машинными курсами надо было бы показать на всесоюзной выставке НОТ. Полное совмещение элементов работы и отдыха! Максимум удобств! Минимум лишних движений! Все на месте, все всегда в полной готовности!

Письменный стол в кабинете у Голубева был в довольно-таки порядочном запустении. Зато стол другой, всегда накрытый, всегда с выпивоном и закусками — прельщал глаз пестротой и богатством выбора.

За накрытым столом сидит в учебные часы заведующий, весьма под парами и в тесном обществе кого-нибудь из учениц, заслуживающих внимания машинописного педагога.

Официально называлось это «играть в шашки». Тут же среди бутылок красовалась и шашечная доска. Почему игра в шашки является важным предметом для квалификации машинистки — неизвестно. Но дело не в том. Когда шашки заходили далеко, дверь кабинета средь бела дня запиралась, и ученицы, пытаясь по делу достучаться к начальству, не могли рассчитывать даже на то

скромное внимание, какое уделяется медведям на острове Врангеля.

Картина столь странного и непрерывного медового месяца на курсах машинописи, в центре столицы, сама по себе вызывает соответствующие чувства. Но Голубеву и этого показалось мало. От тихой лабораторной работы заведующий бюро перешел к публичным демонстрациям.

Сначала на курсах состоялось несколько солидных выпивок Голубева и его помощников, причем ученицы, по требованию шефа, проявляли, как могли, свои личные таланты, которые, видимо, должны сопутствовать самой машинной технике.

Затем, 8 марта, в Женский день, после проведенного в школе вечера самодеятельности, директор пригласил особо отобранных слушательниц в ленинский уголок, где, широким жестом указав на накрытый стол, объявил:

— Теперь прошу принять участие в моем вечере!

Подробностей собственного голубевского вечера 8 марта передавать не стоит. О них можно судить по счету за разбитый бюст и раздавленную мандолину, который Голубев предложил оплатить из культфонда.

И бюст и мандолина безвинно погибли, растоптанные ученицей М. при сопротивлении... Впрочем, сопротивление было, видимо, не так уж велико. М. в своей жалобе заявляет, что «наутро проснулась у него в кабинете, не помня себя».

Однако и в раю не без склок.

Выражаясь ученым языком, на базе голубевского райского поведения выросли соответствующие надстройки. У учениц начались богатые нравственные переживания, в связи с этим — аборты и на основе их борьба за гегемонию над Голубевым. Впрочем, назвать последнее борьбой было бы не точно, так как били по физиономии главным образом одного Голубева.

Дальше — заседания исполбюро, учениц, разбор всех накопившихся мелких недоразумений, площадная брань заведующего и перенос всего дела на общее собрание.

Даже и в этой стадии разомлевший «Иван в раю» остался верен себе. Какие могут быть в раю общие собрания! Голубев послал исполбюро «к чертовой матери», объявил общее собрание закрытым и выгнал его в полном составе на проливной дождь.

Дальше... Хватит. Дальше — попросим кого следует вернуть увлеченного своими приключениями героя с неба

на землю. Кстати, и партийный билет дан вовсе не для входа в рай. Во всяком случае, не в такой, какой организован на Садово-Каретной.

1927

Зверский случай

Этой теме может быть отвод.

Стоит ли, мол, говорить о зверях, если у нас с людьми неблагополучно? Есть и бюрократизм, и безработица, и безграмотность, и хулиганство...

Отвод неправильный. Если вовремя и толком не поговорить о зверях, от этого самим людям очень худо будет.

Как-то жаловались нам крестьяне одной из центральных губерний. Их и их скотину буквально средь бела дня загрызают волки. А местные власти, под страхом тюрьмы, запрещают охотиться тем, у кого просрочены охотничьи билеты... Ружье есть, патроны есть, а билет не продлен — и волк спокойно уносит телку в лес. Говорят, волки поинтеллигентнее специально взялись за охотников, у которых документы не в порядке. Задрали у них и скот и детишек...

Мы скажем сейчас о других зверях, в другом далеком месте. О зверях, возле которых капают безысходные горькие человечьи слезы...

Есть на Байкале, в Котах, в глуши, в горах, в тайге, питомник пушного зверя. Драгоценнейший питомник, равных которому, по пальцам перечесть, во всех странах нет. Во всяком случае, по соболям байкальский питомник считается первым в мире.

В Котском питомнике разводят черно-бурых лисиц. Голубых песцов. Золотых соболей. Разводят осторожно, внимательно, трепетно, нежно. Вывели ценнейшие экземпляры этих редких, драгоценных, на большое золото обмениваемых зверей.

Руководит питомником известный профессор Стайский. Сознайтесь, вы ничего до сих пор не слышали о Котском питомнике, если только не живали на Байкале. А известен этот питомник во многих странах, в Европе, в Америке.

Одна из германских рабочих делегаций, попав в Сибирь, специально заинтересовалась Котами, съездила туда, наблюдала великолепных зверьков, любовалась знаменитым Уркой — ручным соболем, наплодившим в Котах уже целое поколение совершенно ручных соболей.

В питомнике профессор Стайский производил интереснейшие опыты. Скрещивал красную лисицу с черно-бурой. Разводил пятнистых оленей. Отдался этому делу с головой, потратил на него десять лет своей жизни. В голодные двадцать первый — двадцать второй годы сам недоедал, но уберег зверей от лишений.

Наступили хорошие времена. Жатва засеянного многолетнего труда должна взойти. Питомник готов стать центром для снабжения других советских питомников, для вывоза своей живой валюты в обмен на валюту золотую.

Уже посыпался град телеграмм с заграничными запросами. Уже из Канады поступают настойчивые повторные предложения купить котских зверей за любую цену.

И тогда...

И тогда, именно в этот самый момент, питомник подвергается полной блокаде со стороны опекающих его учреждений.

Сибирское земельное управление, за которым числится питомник, не только не посылает ему денег — оно оставляет без ответа все отчаянные запросы с Байкала.

Когда заведующий питомником дорвался до начальства, стал чуть ли не на коленях выпрашивать деньги на кормежку зверей и свою собственную, он получил поистине римский ответ:

«Продайте питомник и получите сами себе зарплату».

В Сибири шуток не понимают.

Заведующий питомником взял да и продал его всерьез. От Сибзема все дело со всеми зверями перешло к Иркутскому университету.

Легче от этого не стало. Полученные от университета пятьсот рублей исчезли, как мечта. А больше... больше в университете денег не нашлось.

Профессор Стайский не в силах был смотреть, как голодали звери. Он, частное лицо, скормил четвероногим государственным пенсионерам личных своих четыреста рублей. Пожалуй, надо привлечь Стайского за превышение власти. Как это он, такой-сякой, смеет нелегально кормить казенных животных на свои деньги!

Жена заведующего, бросив все, стала ходить каждый день рыбачить и улов делила между семьей и песцами.

Такого снабжения оказалось мало. Звери прибегли тогда к древнему, но надежному способу пропитания.

Они стали поедать друг друга. И в первую очередь задрали знаменитого соболя Урку, того самого, из которого мы только собрались доить валюту, того самого Урку, которым любовались иностранцы.

Не стало лучших экземпляров лисиц, соболей, песцов. Не стало и не стало! Кому какое дело?

Университет и Биолого-географический институт бомбардировали Москву, Главнауку. И слышали в ответ великолепное молчание.

А нужно было на спасение питомника меньше десятка тысяч рублей. Приблизительно столько, сколько уходит у нас иногда на две хорошие удобные, интересные... и бесцельные командировки.

1927

Долг чести

Для господина Геккеля мы — варвары. Но и господин Геккель для нас тоже варвар! Он называет бесстыдной неблагодарностью, если мы не целуем руку, нас ограбившую и избившую. Мы же называем бесстыдным пресмыкательством, когда наука на рыночной площади в Иене униженно преклоняет колени перед отцом закона против социалистов и распорядителем рептильного фонда.

Так писал Франц Меринг, борясь против идеи о единой этике, и нисколько при этом не представлял себе, что через сорок три года комсомолец Витя Птицын в селе Бырке оставит меринговские строки без всякого внимания, хотя аргументы против внеклассовой морали очень пригодились бы Вите Птицыну в селе Бырке...

Вокруг самого села, находящегося очень далеко от меринговских мест, а в частности в Забайкальской области, водятся обильно соболь, лисица, белка, медведь и волк, а равно кабарга, косуля, барсук и хорек. Общаться с этими живыми созданиями можно только при помощи ружья, но никак не живого слова. Разводят еще вокруг Бырки маралов, из-за драгоценных мараловых ро-

гов. Но и с маралами много не наговоришься. Если же обратиться к группе человекоподобных, то и с ними все умные разговоры давно исчерпаны. Поэтому в длинный зимний вечер Витя Птицын делал единственно разлюбезное в Бырке дело. А именно — играл с Николаем Сапоговым в «очко».

В «очко»? Да, в «очко»! Вы не слышали о таком виде культурно-просветительной работы?

Может быть, вы и о «железке» не слышали? О «девятке» не знаете? И не подозреваете всемогущества, сокрытого в этой скромной карте? Один неудачник, почесывая затылок, говорил мне недавно зловещие слова:

— Овечку волк загрызет, волка человек застрелит, а человека холера возьмет. Но только вы мне скажите, дорогой товарищ, что может девятку побить? Ничто ее, сукину дочь, побить не может! Главнейшая карта все покрывает, и я через нее третий месяц домой без получки прихожу.

«Очко» и «девятка» отнюдь не значатся в списке рекомендованных комсомольских игр. Но сколь они распространеннее даже знаменитой «игры в полит-фанты»!

Да, Витя шпарил в «очко» и густо проигрывался. Руки его вспотели, под сердцем что-то смутно колотилось, перед глазами расплывались языки от керосиновой избяной коптилки, а в новых сапогах пальцы в беспокойных предчувствиях налезали один на другой.

Кругом же стояли вожди из бырковской комсомольской ячейки, вздыхали, восторгались и сожалели. На их глазах отважный представитель ВЛКСМ сражался не на живот, а на смерть с темными силами забайкальского кулачества и — терпел поражение.

Николай Сапогов прижал комсомол к стене. Судьба издевалась над Витей. Туз, валет — и к ним десятка! Десятка, дама — и к ним девятка! Семерка с королем — и к ним туз! Ну, что вы скажете!..

Уже из рук комсомола перешли в кулацкое владение перочинный ножик, семь рублей, новая кепка, чернила, леденцы, веревка, свисток и клеенчатый бумажник. Витя еле успевал слюнить пальцы, чтобы разнимать грязные слипшиеся карты.

— Ставь союзный билет! — разъярился кто-то за спиной.

Пренебрежительным смехом Сапогов отвел безынтересное для него предложение.

— Ставлю сапоги! — хрипло возгласил Витя Птицын.

Комсомольская общественность замерла в сладостном трепете. Кто-то вывернул коптящий язык в лампе: лучше видеть.

Николай Сапогов безжалостно ухмыльнулся. Он взял восьмерку с валетом и твердо, не спеша, прикупил туза.

— Очко. Разувайсь.

Чудак Витя! Он должен был опереться на предсказания Лафарга: «Коммунистическая революция, уничтожая частную собственность, возвращает человечеству свободу и вновь создает дух равенства... Понятия справедливости, господствующие над умами со времени появления частной собственности, исчезнут навсегда, как мрачные духи, посещавшие и мучившие несчастное человечество».

Не знал Витя Птицын этой цитаты из Лафарга. Да и кто такой Лафарг — тоже не знал. А если бы и знал Лафарга и цитату, все равно не огласил бы ее, боясь, что Николай Сапогов откажется стать на лафарговскую точку зрения. Да и комсомольская ячейка в Бырке — кто знает, за кого она? За Лафарга или за Николая Сапогова?

Витя хмуро спасовал:

— Погоди. Доберусь домой — пришлю с Сенькой сапоги.

Все-таки нелегко в декабре в Забайкалье без сапог. Витя стал оттягивать возвращение карточного долга. Вступил в переговоры о возмещении эквивалента сапог восемнадцатью рублями или сеном.

Переговоры тянулись долго. В них неофициально участвовали комсомольские быркинские деятели.

Но кончилось плохо. Николай Сапогов, как полноправный гражданин СССР, подал в ячейку официальное заявление. Пусть ячейка взыщет со своего члена причитающиеся по долгу чести проигранные сапоги. Иначе он, Сапогов, за себя не ручается и обещает — в порядке бесспорного взыскания — содрать с Вити на улице сапоги!

Ячейка в Бырке заседает. Трудный вопрос. Конечно, мораль давно расшифрована, как классовые нормы. Но ведь все видели, что у Николая к восьмерке с валетом был туз. Настоящий трефовый туз! Долг чести! Надо разобраться. Бедные головушки в Бырке! Снег. Тайга. Волки. Глушь.

1927

Устарелая жена

Гость из Военной академии горько огорчен. Хмуро его хмурое лицо. Сжаты крепко его крепкие челюсти. Покраснели его красные обветренные скулы. Он возмущен возмутительными поступками.

Он смотрит на меня. Но что я могу сделать?

Что я могу сделать, — ведь это обычная история!

Что обычно, то не потрясает. История о том, как один Евгений Онегин не любил Татьяну Ларину, а потом полюбил, но уже было поздно — она, взятая в отдельности, превращена гениальным поэтом в классический роман. А сотни тысяч жестоких бытовых драм, несчастных браков, загаженных жизней ложатся удобрением в века, выбрызгиваясь мелкими строчками в хронике происшествий об убийствах из ревности, о брошенных в колодцы младенцах, о криво обрезанных собственной рукой жизнях.

Пришелец из Военной академии разгорячен подлым поступком товарища. Подумаешь, удивил!

Ну, есть слушатель в военном университете. Ну, зовут его, скажем, Кружкин. Могло это быть и не с Кружкиным, мог это быть и не военный.

Человек, по беглому взгляду, — неплохой. Вообще они все совсем неплохие парни, эти Кружкины. Часто они — боевые революционеры, хорошие партийцы, иногда по заслугам занимают ответственные посты. Они вполне искренне и с большим чувством своей правоты обижаются: какого дьявола люди со стороны вмешиваются в их личную жизнь!

Участвовал Кружкин в движении и до революции. Кой-чему подвергался. Кажется, был в ссылке. И тут, то ли на пути в ссылку, то ли на пути из нее, женился. Так называемая «ссыльная жена»...

Они сейчас не очень в моде, ссыльные жены. Сейчас гвоздь сезона — это автобусы, комнатный теннис, пестрые вязаные жилеты, оркестры без дирижера, бой часов Виндзорской башни по радио из Лондона, воздушные мотоциклетки. Но никак не «ссыльные жены».

А было время — был спрос. Превышал предложение.

«Ссыльная жена» Кружкина была не последней в своем роде. Помнят ли все революционеры со стажем, не без достоинства заполняющие в анкетах графу «подвергались ли... до февральской революции», что их жены

состоят не в ничтожной доле пайщиками своих мужей по этой графе?

Разве не они, «ссыльные жены», верные подруги, провожали далеко и бодро близких им людей? Разве они не делили с ними сибирскую тоску, этапы или голодную эмигрантскую жизнь?

Революция тоже далеко не сразу передвинула стрелку на хорошую жизнь. Жена Кружкина, из простых крестьянок, не расставалась с мужем во всех походах гражданской войны. При отступлении, в критические дни, рискуя жизнью, прятала его в погребах, спасла от расправы белых.

Конец гражданской войны. Командиры и комиссары меняют наганы на портфели мирных государственных работников и красных директоров. Кружкин идет в академию. Там он станет из просто коммуниста образованным военным человеком, красным маршалом в будущей войне. Жена может тоже отдохнуть, собраться с мыслями, подучиться, получить малую толику осмысленного быта и для себя от жизни, для которой она сберегла мужа.

Нет, еще рано складывать руки.

Кружкин болеет, упорно, злостно, длительно. Жена должна за ним ухаживать. Что значит — должна! Никто не говорит о долге. Долг сам повелевает, он в крови. Не должна, а хочет, сама хочет, сама бессонными ночами ухаживает, разъезжает, сопровождает, сбивается с ног... Отходила Кружкина.

И тут... ну кто этого не знает? Обычная же история.

Кружкин вполне здоров. Он показывает приятелям, как пружинятся у него мускулы на руках и ногах. Подбрасывает в воздухе стулья. Приятели одобряют. Жена, похудевшая, постаревшая, но счастливая, из угла заботливо оберегает:

— Федя, не увлекайся. Ведь ты только-только поправился!

Куда там! Федя ходит орлом. Наконец-то все тяжелое за плечами. Можно мало-мало и пожить. Но прежде всего надо жену отправить на отдых.

Жена, собственно, не прочь остаться в Москве. Она и здесь отдохнет, раз уж прекратились тревоги и бессонные ночи. Нет, нет. Пусть съездит в деревню, к своим. И не очень пусть торопится. Надо встряхнуться, освежиться обоим. Жене в провинции, мужу в Москве.

Парикмахер так ловко подбрил усы — пятнадцать лет с плеч. Старые товарищи встречают — руками разводят: «Молодеешь, Федя! Совсем комсомольцем заделался, старый ты черт!» Федя торжествующе улыбается на завистливые насмешки. Он и сам чувствует в себе новые геройские силы: игривые помыслы на крылышках порхают в голове. Жизнь улыбается и подмигивает искристыми глазами нескольких занятных москвичек. И только жена — э-эх, жена! — затрапезным своим образом напоминает, приглушает, отяжеляет.

Ведь уже народилось замечательное поколение женщин, от которых все чувства у Феди играют, как нарзан. Они, эти энергичные девочки, не могут толком объяснить, где были и что делали раньше, в те годы, когда козы дохли. Но ведь они тогда были совсем маленькие, — что с них возьмешь. Зато у них шов серебристого чулка так ловко обрисовывает сзади линию ноги... И они очень даже революционные. Возмущаются казнью Сакко и Ванцетти, умеют долго и притихше слушать о военных подвигах Феди, подсев к нему на колени и поскребывая розовым ноготком эмаль на ордене.

«Ссыльная жена» — она как-то от всего отстала. Ворчит на дороговизну, по утрам долго рассказывает сны, ссорится с детьми, одевается черт знает как. В свое время, когда стрижка была не в моде, остригла волосы, а теперь, именно теперь — косится на стриженых!

Только иногда, на вечеринках, в компании старых друзей, когда звенит гитара и без конца льются хоровые песни и она вдруг начинает кружиться с платочком посередине круга, муж с удивлением смотрит на ее раскрасневшееся, совсем молодое лицо и одобрительно делится с товарищами:

— Смотрите, старуха-то моя какова! Прямо молодец!

Но это — редко. Очень редко это бывает.

Жена в деревне, и там, — ну, конечно, ведь это же обычная история, — там получает письмо.

«Мы с тобой стали совсем разные. Пойми меня, ведь ты всегда говорила, что умеешь меня понимать. Я женюсь. Не приезжай, все равно ничего не выйдет, одна мука».

Товарищ из Военной академии волнуется:

— Вы понимаете, она все-таки приехала, и Кружкин даже не захотел с ней говорить! Через чужого человека заявил, что будет ей платить в течение года по тридцати

рублей в месяц, а потом перестанет. У нас все товарищи возмущены. Мы ее знали, любили, а теперь он женился на какой-то московской брихиндейке, черт знает на ком. Что вы посоветуете сделать?

Ничего не могу посоветовать. Разве что — пристыдить. Хотя... Когда у Кружкиных начинают бурлить их омоложенные чувства, стыд поспешно удаляется от них.

1927

Обстоятельства

Ивановская жизнь зимой прежде всего бесшумна. Улицы густо и мягко покрыты снегом, весь город ходит в валенках, сани стараются не скрипеть, и даже несколько автобусов — новая европейская деталь Иванова, — опасаясь вспугнуть деловую тишину, делают свое дело елико возможно тихо и скромно. Публика снует проворно и неслышно, совсем как на экране. Когда на кинофабрике вчерне просматривают картину, всегда хочется музыки, которая сглаживает темп кинематографического действия, придает ему плановость и округленность. Музыкой для будничной жизни Иваново-Вознесенска служит гул фабрики — ровный, негромкий, ласковый текстильный гул. Под фабричную музыку подравнивает свои шаги каждый ивановский прохожий, под него вышагивают лошади, припрыгивают детишки, присвистывает резкий ветер.

Ивановец патриотичен и горд своей родиной совершенно необычайно. Равных по патриотизму и гордости людей можно найти разве только среди английских лордов, отрицающих даже теоретическую возможность существования лучших мест на земле, чем несколько сырых, плаксивых улиц в западной части Лондона. Разница между британскими и ивановскими лордами та, что первые неподвижно застыли в обожании своего квартала еще четыреста лет назад, в то время как иваново-вознесенцы с истинно революционной подвижностью беспрерывно передвигают свою гордость с одного объекта на другой.

Еще недавно главной красой Иванова была знаменитая нарпитовская фабрика-кухня. Затем местные патриоты, не забывая о кухне, перенесли свою плановую гор-

дость на автобусы. Потом и кухня, и автобусы были далеко превзойдены новой прядильной фабрикой имени Дзержинского. А теперь — еще большая гордость — новейшая, почти уже готовая фабрика на Талке.

Но кроме всего этого, весь город утыкан множеством опорных пунктов для будущей гордости. Всюду строятся и достраиваются дома, отличные большие здания. Заканчивается в последних мелочах второй большой рабочий поселок с театром, кино, больницей, клубом и пр. На каждом шагу из-под снега алеют груды кирпича, дразня ивановцев аппетитными предчувствиями нового строительного сезона.

Иваново-вознесенский хозяйственник-строитель, крепкий настой из полусотни обыкновенных ивановцев-патриотов — существо совершенно особенное. Ежели такую личность в полушубке, с портфелем в руке и мандатом за пазухой увидел и послушал бы кто-нибудь из бывших здешних фабрикантов, он лишился бы языка и памяти, увидев своими глазами свою смерть.

Ивановский рабочий, получив портфель и мандат, сразу лишается сна и покоя, а жена его — всех полагающихся ей удовольствий. Бедной подруге жизни приходится по ночам слышать лишь горячечные разговоры о балансе, о ремонте дизелей, о заготовке лесоматериалов, о заявках на нортропы. Если красный директор и задремлет на часок, то во сне будет скрежетать зубами, требовать от синдиката пряжу и несвязно бормотать про кубофуты.

Если ивановцу нужно строить фабрику, а средств из столицы не дают, он втихомолку возводит один-два этажа, а потом начинает ужасать и жалобить центр:

— Что же, по-вашему, без крыши здание оставлять?! Чтобы его дождем размыло?! Чтобы оно по кускам развалилось? Звери вы, а не люди, дорогие товарищи! Плевать вам на индустриализацию страны!

Люди в центре считают себя именно людьми, а не зверями, они полагают, что и им дорога индустриализация страны. Деньги на достройку появляются...

Если ивановец ведает кооперативом, то он искренне, по чистой совести не понимает, что тут плохого в больших прибылях, а главное, какого черта их надо лишаться, распыляя на сторону. Ведь из прибылей можно строить склады, хлебозаводы, на них можно открывать новые магазины, ремонтировать старые, их можно, наконец, со-

хранять в банках, грозно потрясая текущими счетами и требуя себе увеличенных кредитов! Зачем выкидывать деньги на мороз, если их можно и должно, тщательно обмусолив каждую копеечку, применять во славу и на процветание несравненного, любимого, единственного в мире города Иваново-Вознесенска?!

И рабочий-кооператор хмуро переносит всякие кары, получает выговоры за искажение баланса, терпит жаркие головомойки на всевозможных пленумах — лишь бы припрятать и отстоять кооперативные накопления.

Иваново-Вознесенск, как и полагается пролетарскому городу, «третьей рабочей столице», проделал при революции высокое восхождение. Царское правительство, по весьма понятным соображениям, держало Иваново в черном теле, числило его даже не уездным, а заштатным городом Шуйского уезда. Теперь Иваново — центр большой и важнейшей индустриальной области. Но местные патриоты еще никак не удовлетворены. Постоянно толкуют они о прирезках, размежеваниях, отмежеваниях, а в припадке откровенности излагают свою заветную кровожадную империалистическую мечту:

— Э-эх, хорошо бы Костромскую губернию поделить! Ярославцам отвалили бы кусочек, владимирцам кусочек, а себе остальное. И чего она только, Кострома, под ногами путается? Мост через Волгу построили бы мы ей, фабрички обновили... право слово!..

В водовороте созидательных стремлений забывают ивановцы, что и без Костромы забот у них вдоволь, что строительство получается пока клочковатое, чересполосное, что, обладая фабрикой-кухней, какой нет в Москве, Иваново не имеет еще канализации, что в городе еще редкостью представляется теплая уборная, что мостовых почти совершенно нет, что «Рабочий край» не может дальше печататься на ветхой машине, что городу не хватает электрической энергии, что в уездах — тьма-тьмущая в смысле освещения и тьма-тьмущая работы.

В Ивановской губернии, может быть, больше и нагляднее, чем где бы то ни было, можно наблюдать весь размах и многообразие социалистической стройки, всю сложность встающих каждый день вопросов и противоречий, все обилие самых пестрых и попутных обстоятельств. Их много, этих обстоятельств, на них уходит вся энергия.

Ивановский партиец, медлительный, тяжелодумный, но крепкий и бесконечно напористый человек — весь по

уши в обстоятельствах. Одолевает одно, наталкивается на другое; одолевает другое, берется за третье, в то время как сбоку выскакивает четвертое, пятое обстоятельство, а сзади дразнит, показывает язык шестое. С ними, с обстоятельствами, вся возня. Не было бы обстоятельств, социализм можно было бы ввести по телефону.

Текстили Иваново-Вознесенской губернии перешли на семичасовой рабочий день. Это напоминает приятный, хотя и довольно суетливый переезд на новую квартиру. Переезжать приходится пока со старым барахлом, то бишь целой кучей всяческих обстоятельств. Какое из обстоятельств надо уничтожить, как старое, никуда не годное? Какое надо приспособить к новой квартире? Какое совершенно новое обстоятельство надо учесть и примостить?

Хорошо, просто и весело состоялся переход к семичасовому дню, трем сменам и уплотненной работе на прядильной фабрике имени Дзержинского. Фабрика-красавица, иначе ее в Иванове не называют, да и трудно иначе назвать. Прекрасные просторные залы ожили в день десятилетия Октября. Все машины новенькие, сверкают. В тех же помещениях, где на других фабриках трудно дышать, здесь воздух, как в чистой проветренной комнате. У ста́нков — молодежь, фабзайчата, обученные в ЦИТ. Они так сразу и начали работу по уплотненной системе, при семи часах, не имея в прошлом ни одного дня работы по-старому. Начать дело на новой, современной технической и человеческой базе, без всяких старых обстоятельств — что может быть чище, легче, красивее!

Другое дело — строить новое там, где старые обстоятельства не выкорчеваны, где о них спотыкаешься на каждом шагу. Сядемте в поезд, проедем тридцать километров на север, в засыпанную снегом Середу!..

Сейчас, волей революции, Середа состоит в ранге уездного города. Раньше она числилась в селах, да, собственно, и сейчас осталась большим фабричным селом. В Середе — две большие текстильные фабрики, одна из них переведена на работу по-новому. Но нельзя сказать, чтобы переход совершался гладко.

Прядильщики на мюлевых машинах — те, хотя и с возражениями, но перешли к уплотненной работе. Они стараются примениться к новому порядку, освоиться с трудностями и овладеть преимуществами семичасовой работы.

— Мы только на первых порах побаиваемся. Как деревенская лошадь, когда в первый раз увидела автомобиль. Но ничего, привыкнем, нам же ведь лучше будет.

Очень одобряют мюльщики введенное для них разделение труда. Для выработки пуха, подвозки и выкладки на рамы, ровницы, для смотки с катушек и прочей подсобной работы представлен специальный штат рабочих. Это позволяет мюльщикам целиком сосредоточиться на своем основном деле, дает возможность успеть за семь часов больше, чем раньше за восемь. Вместо шести человек на паре мюльщики работают по девяти человек на двух парах.

Рационализация работы порождает массовое выдвижение рабочих с низких ступеней на более высокие. Уже вместо избытка ощущается недостаток в квалифицированной рабочей силе. Только для одной Верхне-Середской прядильной спешно нужны четыреста новых рабочих. Их не хватает на бирже труда, спешно надбавляют сверхброневых платных учеников, но и с ними мало. К машинам сознательно ставят почти неквалифицированных работников, пусть обучаются на ходу. Старые семейные текстильщики сверх меры довольны, видя свое потомство неожиданно устроенным у станка.

Принцип правилен. Мешают, как всегда, только обстоятельства. В данном случае обстоятельства двоякого рода.

Прежде всего — бестолковость и нечуткость фабричной администрации. Здесь, на Верхне-Середской прядильне, хозяйственники с организацией перехода поистине сели в лужу.

Надавали рабочим обещаний по части мелких улучшений условий труда и ни одного обещания не выполнили.

На все вопросы работниц, какие же будут расценки при уплотненной работе, отвечали загадочным молчанием.

В понедельник совершился переход, а рабочие даже в пятницу не имели еще никакого понятия о том, как же все будет.

Чистку машин, которую полагается делать каждые пять дней, администрация откладывала на целых две недели. Машины начинали рвать, сорить, облипать пухом, увеличивая раздражение рабочих от обращения с ними, как с маленькими детьми.

Вероятно, и у администрации были какие-нибудь свои трудности, способствовавшие проявленной бестолковости. Мы о них точно не знаем. (Главный инженер Верхне-Середской фабрики, к которому мы пришли за справками, очень корректно отказался от каких бы то ни было разговоров с нами.) Но, даже если руководителям фабрики где-нибудь и жал сапог, можно было бы проявить больше расторопности, живости и чуткости в трудный для рабочих переходный момент. Если на всех советских предприятиях хозяйственники будут при переходе к семичасовому дню вести себя так же вяло, как в Середе, — это будет чревато рядом лишних и совершенно ненужных трудностей.

Другое обстоятельство, не менее важное, более коренное и еще более интересное, лежит в самих рабочих, в бытовой обстановке, их окружающей.

Текстильщики работают на ватерных машинах помногу, иногда по нескольку десятков лет. Сноровка и привычка к работе есть, но получены они не шестимесячным курсом в ЦИТ, а бесконечной, изнуряющей морокой в старом «институте», кратко именуемом русским капитализмом. Выучка шла годами, она прибывала по мере того, как убывали у работниц силы, притуплялось внимание, зрение, уставали руки.

Законное право стоять у машины куплено расстроенным здоровьем. Еще несколько месяцев назад ватерщиц перевели с двух сторонок на три. Еле приспособившись к новому порядку, женщины должны теперь переходить уже на новейший, на четыре сторонки. Справиться очень трудно, а тут прет новая, молодая, свежеобученная, полная сил смена, готовая хоть на пять сторонок. Конкуренция получается опасная. Возникает страх быть опрокинутой молодым половодьем, лишиться честно завоеванного права на труд.

К тому же много ли значит для середской старухи-работницы лишний час свободного времени, лишние тридцать процентов жалования! Быт в большом селе, хотя и переименованном в город, еще ползет по старинке. Пойти развлечься, отдохнуть, позаниматься? Для этого в Середе пока самые качественно скудные и количественно жалкие возможности. В кино — непротолченная труба народа, в клубе — неуютно, тесно, с шумом заправляет молодежь. О чистой чайной, где можно бы спокойно посидеть и поболтать лишний часок, пока здесь только меч-

тают, читая «Правду». Шить себе наряды, чтобы вести «светский» образ жизни, — об этом думают только фабричные девушки. Пьянствовать? Это не по адресу. Не лучше ли спокойно, по-старому покорпеть лишний часок у ватерной машины, твердо отгородивши свои права от всяких новшеств и беспокойств?

В результате в ватерном отделении молодежь и фабзайцы перешли на четыре сторонки, старые же работницы канителятся с переходом и сильно ворчат.

Никак нельзя сказать, чтобы ватерщицам не нравился семичасовой день, в части положительной они уже приняли его и уже уходят с большой охотой на час раньше с фабрики. Но перейти на уплотненную работу, на четыре сторонки — не особая охота. Рабочим других отделений приходится уламывать старух...

Обстоятельств много, они возникают, предусмотренные и непредусмотренные, на каждом шагу. Раз идет работа в три смены, круглые сутки, — нужно таким образом перестроить ясли для детей работниц. Уже образованы новые ясли. А библиотека? Устраивается ночная библиотека. А партийная работа? Организуется по-новому ночная цеховая партийная работа. А как быть с кружками? А как быть с работой учреждений?

Ведь все эти обстоятельства надо приспособлять к семичасовому рабочему дню. Чем дальше в лес, тем больше обстоятельств. Преодоление всех обстоятельств, касающихся бытовых и просветительных нужд рабочего класса на новой ступени к социализму, — оно и называется культурной революцией.

Скорей, культурная революция! Уже все звонки для тебя пробили. Ты почти запаздываешь, без тебя становится трудно двигаться дальше!

Ведь это при другом строе можно укреплять отдельные опоры, махнув рукой на промежуточные скрепы — мол, сами как-нибудь дорастут. При создании социализма на нас лежит забота буквально обо всех звеньях. Ни одна в мире цепь не может быть сильнее своего самого слабого звена. Рядом с могучим золотым звеном — семичасовым рабочим днем — поместилось старое, слабенькое, нуждающееся в замене, в переливке, — старый быт рабочего, скудость его культурных возможностей, неумение использовать лишний освобождающийся каждые сутки час. Все силы на этот час!

Ведь, помноженный на весь советский пролетариат, он становится чудовищно огромным фондом времени, энергии, вместилищем всех возможностей улучшения жизни трудящихся! Если откинуть часы на нормальный отдых и сон, у рабочего прибавляется целая треть ко времени на культурные нужды. Чем мы заполним все четыре трети? Что дадим для них?! От этого зависит многое.

Надо позаботиться и о прыгающей козлом молодежи, и о старой ткачихе, для которой лишний час тоже должен стать ценностью, достойной тех или иных жертв.

Направо от мостика вытянулась новая улица Середы: совсем свежие домишки, еще недоконченные срубы. Это строятся, по бревнышку, по щепочке, середские текстильщики. Строятся в одиночку, без кооперации, стихийно, как вьют гнезда птицы. Для этих лишний свободный час и уплотнение работы подоспеют верными помощниками: лишнее время для возни со своим жильем, лишний заработок для постройки его. Но разве это путь?! Не лучше ли объединить все отдельные клопиные усилия и капельки денег в большие потоки, построить в той же Середе несколько хороших, по-новому устроенных домов, столовых, чайных, клубов, кино? Тогда лишний час почувствовался бы сильнее, светлее, ярче.

Да, обстоятельства! Их много, всяких сортов и величин, приятных и печальных, обыкновенных и весьма странных, очень смешных и весьма трагических. А все они сводятся к одному, очень внушительному и совершенно недвусмысленному обстоятельству: новое перерастает старое. Новая жизнь через все поры растет и кудрявится на обломках и огрызках прежней жизни. Ломается быт, летят в стороны щепки, дым коромыслом стоит над великой и торжественной строительной кутерьмой. И сквозь этот дым, вылупляясь из временной шелухи лесов, с каждым днем все более четко встает новая постройка.

1928

Пустите в чайную

Этот заголовок мы могли бы под чьим-нибудь настоянием без особых препирательств изменить. Он мог бы выглядеть и иначе...

Вы рабочий или служащий, вы устали. У вас есть два свободных часа. Вы хотите отдохнуть, спокойно поговорить с приятелем.

При этом у вас на себя и на семью есть четыре сажени комнатной площади, из которых три сплошь заставлены мебельным хламом и только одна сажень, посредине между вещами, «пустует под пар» и на ней толчется все население комнаты.

Вы хотите освободиться хоть на сто минут от воя примусов и детей, от запаха кошек в коридоре, от ругани за стеной. Вы хотите отойти, успокоиться, сосредоточиться, понять, что старость еще не пришла, что работать еще можно, что вся жизнь впереди... И ваш приятель тоже.

Натянули пальтишки, вышли за ворота, нырнули в морозную тьму. Слева, за углом, помаргивают желтые светляки фонарей. Здесь — заводской клуб. Зайти, что ли?

В клубе сегодня общественно-показательный суд над бациллой никотина. Будут выступать — сначала оратор от Наркомздрава с большим вступительным докладом на тему «О вреде курения в разрезе пятилетки Госплана», затем — общественный обвинитель, доктор Моисеенко с цифрами в руках и с заспиртованными препаратами прокуренного и непрокуренного легкого. После него — защитник, инженер Халтуркин, со своими тезисами о пользе курения, подымающего благодаря возбуждению организма производительность труда. Затем будет допрошена сама «бацилла», роль которой, в порядке оживления клубной работы, поручена хорошенькой конторщице из правления, с директивой подкраситься и навести шик. Дальше — свидетели, курящие и некурящие. Первые будут сообщать, что вследствие многолетнего курения их организм разъеден никотином до основания, что материальное положение их плачевно, культурный уровень низок, что дети у них рождаются все сплошь идиоты и дегенераты и что просвета в жизни никакого они не видят. Другие, некурящие, будут рассказывать о том, что в первые же две недели после прекращения курения жизнь

вывернулась наизнанку: жилищный кризис перестал ощущаться, аппетит улучшился, выпадавшие волосы стали с шумом и свистом расти, дети в школе начали обнаруживать гениальные способности, а заработок повысился настолько, что дает возможность ежедневно вкладывать крупные куши в сберегательную кассу. Последняя деталь заранее внесена в показания свидетелей для того, чтобы заведующий мог отметить в отчете, что «клубом за текущий месяц выполнена не только антинаркотическая, но и трудсберкассовая кампания».

Во время показаний последнего свидетеля председатель приподымется и, прочищая забитое густым дымом горло, будет робко упрашивать:

— Товарищи, вы хоть во время суда над папиросным ядом не так сильно курите. Дышать ведь нечем!

После этого — опять прения сторон, заключительные реплики, затем обвиняемая исполнит последнее слово в виде куплетов с музыкой и танцами — «я папироска и тем горжусь!» (оживление клубной работы). Потом перерыв, опять совещание, вынесение приговора и наконец около полуночи — кино.

Все это в сущности очень хорошо. Но вы отродясь не курите, а приятель ваш отродясь курит и неподатлив на подобную агитацию до такой степени, что научил курить самого доктора в антиникотинном диспансере.

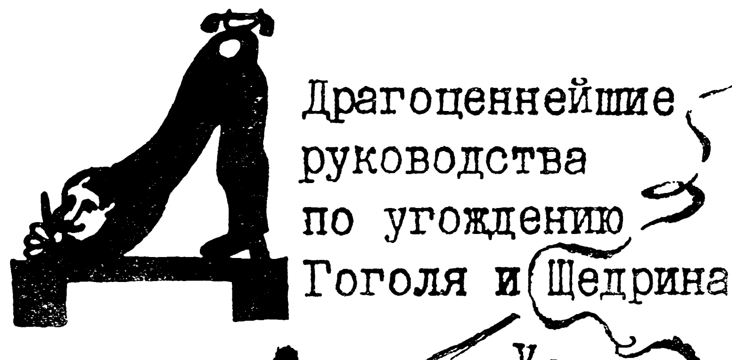
К тому же из ворот непрерывно выплывают кучки рабочих. Видно, затянувшийся диспут инженера с доктором слушать попросту скучно. Да еще вдобавок вот точная информация:

— Васька, дурак, идем с нами. Слышал ведь, кина не будет, аппарат сломался.

Рабочие группками отделяются от тротуара, идут наперекоски через пустынную площадь к плюгавой лампочке под желто-зеленой вывеской, между двух окон, изнутри залитых слабым масляничным светом.

К измызганной дверной ручке пивного заведения лучше не прикасаться. Надо просто толкнуть, как все это делают, локтем или ногой обитую драным войлоком дверь. Она распахнется, и вас охватят гулкий шум, густой горячий тошнотный пар, совсем как в бане. Проходить здесь надо осторожно — пол омерзительно скользкий от пролитого пива и щедрой блевотины. Мокры и все доски столиков — остерегайтесь класть на них что-нибудь. Шапку храните на коленях, придерживая рукой, не



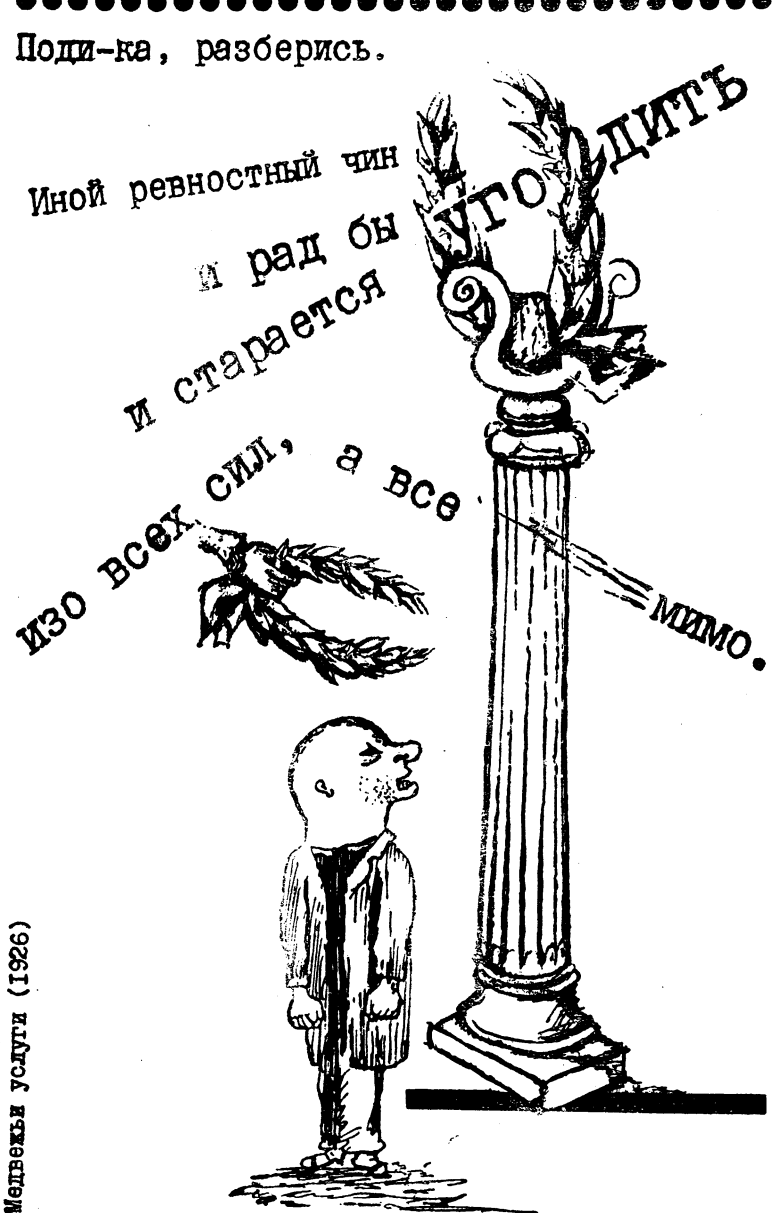


увы! устарели.



тонко или грубо?

Поди-ка, разберись.



Медвежьи услуги (1926)

то она свалится на загаженный пол или ее ловко упрет проходящий удалец. О том, чтобы раздеться, отдать куда-нибудь верхнее платье, — не может быть и речи. Как вошли, так и сидите, подложив под локти два обрывочка принесенной с собой газеты.

Если вы сейчас же не напьетесь настолько, чтобы все поплыло рыжими пятнами перед глазами, сидеть вам будет беспокойно. Двенадцать раз вас заставит подняться со стула и освободить проход официант — изнуренный человек с землистым лицом, нанизавший на каждый худой грязный палец по стакану. Оцепенелой куклой, во сне, проделывает он свои быстрые движения: хватает на бурую ладонь моченый горох, клочки гнилой воблы, швыряет на блюдечки, сдает буфетчику засаленные марки, откупоривает бутылки, выдает сдачу... Двое мрачных личностей, упершись друг в друга лбами, воют без передышки на одной и той же ноте. До самой середины комнаты доходит хвост нетерпеливо перемежающихся кандидатов в уборную. Молодой красивый парень с задумчивыми голубыми глазами и нежным девичьим цветом лица смотрит на плакат «Просят не выражаться» — и поливает его отборной, ядреной матерной бранью. Целая компания пьяниц кокает бутылки о стол и бережно, отдельной грудкой, складывает горлышки — для счета при расплате. Огромный плечистый бородатый машинист визгливым детским голоском плачет о неизвестных обидах, кулаком размазывая вместе со слезами копоть по лицу. Старая толстая проститутка, оглушая непристойными словами двух подростков с кругами под глазами, уговаривает пойти с ней.

Сколько из сидящих здесь пьяных людей являются настоящими алкоголиками? Наверняка не больше пяти процентов.

Остальных пригнали в склизкую шумную яму пивной совсем другие причины.

Одиночество или, наоборот, желание побыть одному.

Прямая бездомность, нужда посидеть в светлом теплом помещении.

Усталость от квартирной тесноты, кавардака или, наоборот, желание посидеть на людях, в человеческом обществе после монотонной дневной работы.

Люди у нас выросли, определились, за десять лет революции перешли в новую ступень сознательности, они хотят расти и углубляться дальше, они, новые пролетар-

ские слои, хотят находиться в порядочной, приличной обстановке, сидя где-нибудь, уважать окружающих, чувствовать уважение к себе, не терять зря времени и не страдать по этому поводу. Но вместо этого они получают скучную, устаревшую, покровительственно-примитивную агитку в клубе или грязное чистилище в пивной. Хотят, но не получают.

И одинокий человек, пришедший подбодриться меж людей, здесь озлобляется на них, еще больше замыкается в свою скорлупу.

И ищущий уюта беглец из тесной квартиры валяется здесь, уткнувшись бессмысленным лицом в плевки на полу.

Пришедший за тишиной обалдевает от пьяного гама, тоскующий по тихой задушевной беседе слышит от своего же перепившегося друга матерные слова. Выйдем наружу. У двери сутулые женские фигуры в платках. Они льнут к оконным стеклам — разглядеть на пивной свалке знакомое лицо. Вековая участь пролетарской жены — уводить пропившегося мужа из пивной!

Дальше, в поисках отдыха, спокойного и мирного времяпрепровождения!

Вот театральная афиша. В городе есть хорошие театры, играют неплохие пьесы, в зрительном зале чисто и порядливо. Но вы уже были в театре, нельзя же сюда таскаться каждый день, этого не выдерживают ни карман, ни даже нервы.

Вот кино, у входа ребятишки клянчат гривенник на билет, бабы торгуют яблоками, на плакатах зверского вида мужчина в маске наклонился над бездной, угрожая маузером кому-то внизу. «Тайна голубого скелета, или белокурая мерзавка с гардеробом, роскошные картины разложения буржуазии, две серии в один сеанс...» С завтрашнего дня здесь пойдет хорошая советская картина, сегодня идти не стоит.

Да и вообще не о театре и кино идет сейчас речь. Это — само собой. А вот просто хочется провести час, другой, третий спокойно и легко, отдохнуть, размяться, расправить какие-то лепестки в мозгу.

Если в кармане шелестит месячная получка, тоска по уюту и теплу может толкнуть вас с приятелем в дорогой ресторан. Конфузливо одергиваясь в прихожей перед зеркалом, оглядываясь, не заметил ли вас кто-нибудь из знакомых, из завкома или ячейки, вы проплывете в зал,

причалите к свободному столику и робко застрянете на этом крохотном островке в буржуазном окружении. К вам подойдет член союза работников нарпита во фраке, обменяется с вами враждебными взглядами и вынет из-за обшлага карту кушаний. Посмотрев на колонку цифр справа, вы убедитесь, что весь ваш заработок поставлен на карту, без всяких шансов на выигрыш. Тогда, переглянувшись с приятелем, вы с видом до отвалу сытого человека закажете на двоих один омлет и один стакан кофе. Увидев холодное презрение в глазах официанта, вы непродуманно добавите к заказу бутылку пива.

Бутылка не спасет положения. Она будет сиротливо маячить на пустом столе. Прихлебывая пиво пополам с кофе, двое за столиком будут сумрачно оглядывать окрестность. Хилая советская буржуазия веселится более чем бледно. Оркестр играет фокстрот, но вместо танцев посетители только воровато подергивают плечами и сидя притопывают ногами. Пожилой растратчик обреченно уписывает зернистую икру. Девицы с Тверской алчно переглядываются с иностранным инженером. А на другом конце зала — тоже советский островок и тоже две скромные толстовки, тоже случайно сюда забредшие, уныло склонились над одним остывшим омлетом.

Нет, ничего не выйдет. Надо выкатываться и идти дальше — неизвестно куда. По вполне точным сведениям, у вашего знакомого сегодня вечеринка. Но вы туда не приглашены.

Вас не пригласили не потому, что вы плохой человек, не потому, что о вас плохо думают или вас не любит хозяин дома. Попросту потому, что... нельзя же всех приглашать! У «хозяина дома», как и у вас, только одна комната. Даже если вытащить оттуда всю мебель в коридор, можно набить в комнату десять, ну двенадцать, ну, как сельдей в бочке, пятнадцать человек. Печально, грустно, но факт, вы по самым строгим подсчетам оказались шестнадцатым. И потом, если уж пригласить вас, надо непременно пригласить еще троих, иначе будет смертельная обида. Потому решили пожертвовать вами. Устроителю вечеринки стыдно и неудобно перед вами. Завтра, на работе, он будет сторониться вас, избегать, потом, из дипломатических соображений, подойдет и заведет разговор о посторонних вещах, а вы будете делать вид, что ничего не знаете, и вдруг он с перепугу скажет, что, мол, вчера заходили к нему товарищи, было доволь-

но весело, искали вас, но не нашли, а вы тоже с деловым видом скажете, что, мол, уходили по делу на кружок, и он будет знать, что вы врете, а вы будете знать, что он врет и вы будете друг на друга злиться, подозревая друг друга в интригах и не подозревая, что оба вы хорошие люди и вина не в вас, а в тесноте и бытовой неорганизованности нашей жизни.

Ах, теснота. Не будь ее, может быть, отпали бы очень многие явления, которые кажутся нам весьма глубокими, загадочными и сложными. Имей каждый студент хоть плохонькую комнату для жилья и занятий, не спи он вповалку со своими однокурсниками обоего пола — может быть, не было бы истошных разговоров о падении нравов современной молодежи, может быть, модные беллетристы не пожинали бы скандального успеха половых проблем, «черемух» и «лун».

Но жилищный кризис, теснота, скученность еще велики и рассасываются медленно. Надо найти кроме прямых мер еще и косвенные, вспомогательные для борьбы с этим величайшим злом.

У нас в городах есть уже довольно достаточное число клубов, где можно прочесть и прослушать лекцию, сыграть спектакль, посмотреть фильм.

Но у нас отсутствует нечто не менее, а, пожалуй, более важное для устроения и улучшения быта трудящихся.

У нас нет места, где, спасаясь от жилищной тесноты, можно было бы спокойно и приятно посидеть несколько часов, выпить чайку, почитать газетки, отдышаться.

Такое место надо придумать, создать, изобрести...

Изобрести! Некий ученый долгие годы трудился над сооружением придуманной им замечательной машинки, которая соединяла в себе часы и звонок и должна была, по замыслу ее творца, звоном будить людей в любое назначенное время. Но когда машинка была готова, младший сын сказал многодумному изобретателю:

— Папа, ведь это будильник!

Если я буду долго расписывать требуемое учреждение, где можно было бы попить чайку, погреться, почитать и прочее — сотни тысяч взрослых детей скажут мне басом:

— Дядя, ведь это чайная!

Да, чайная. Старая русская чайная, которую мы начинаем забывать, которую задушила самоновейшая бле-

вотная пивная. Всякую дрянь от старых времен мы в наследство получили, а чайная при передаче наследства куда-то запропала и по сей день. Теперь старуху надо омолодить, оживить, вставить чайную, как необходимейшее звено в цепи культурных учреждений, обслуживающих новый, советский быт.

В нашем «чайном лозунге» нет ничего от истинно русских традиций, от националистической старины. При наличии нужных технических предпосылок, мы повторяем, могли бы спокойно изменить:

— Дайте нам кофейную.

— Дайте нам молочную.

— Дайте нам нарзанную, лимонадную или что-нибудь в этом роде.

И даже:

— Дайте нам винный погребок — если бы у наших масс была бы, подобно каким-нибудь южным народам, веками выработанная привычка сидеть за стаканом легкого вина и, не перепиваясь, не пьянея, спокойно беседовать о своих делах.

Мы берем за основу чайную, потому что нам ее легче всего без особых сложных приготовлений организовать и поставить по-настоящему. Функции же советской чайной должны в очень многом совпадать с теми функциями, какие имеют на Западе столь широко распространенные там кофейные и отчасти винные погребки.

За границей настоящая буржуазия имеет очень мало общего с кафе. Она проводит свои досуги в особняках, дорогих шантанах и шикарных отелях. Кофейная заполняется демократической массой, от мелкобуржуазного обывателя до бедного студента и пролетария. Есть страны (Франция, Чехословакия, Австрия), где люди наполовину заменяют свои маленькие, тесные квартирки пребыванием в кофейной. Здесь они встречаются с друзьями, ведут все деловые беседы, прочитывают газеты, пишут письма. Студенты круглый год целыми вечерами готовятся в кофейной к экзаменам, готовят письменные работы, делают рисунки. В кофейной за неимением клубов собираются кружки, ведется политическая работа, создаются и раскалываются партии, редактируются газеты, замышляются и пишутся книги. Если в пражской кофейной вы заказываете одну чашку кофе за гривенник, кельнер приносит вам даже без вашей просьбы три-четыре сегодняшних газеты и два даровых стакана воды, для

того чтобы вы, выпив кофе, могли запивать водой ваше дальнейшее пребывание. Не может быть и речи о том, чтобы вы, расплатившись, должны были уходить. Вы полный хозяин своего столика на целый вечер, разве только при большой тесноте к вам присоединится еще кто-нибудь.

Но ведь это нам еще в десять раз нужнее. Надо же иметь какую-нибудь отдушину при тесных, скученных общежитиях, при конурах с фанерными перегородками, при еще неискорененной домашней грязи, вони, духоте!

Театр, кино, спортплощадка, клуб — ведь это еще не все. В частности, мне представляется бессмысленной установка нашей нынешней борьбы клуба с пивной. За последнее время клубы наши сильно подтянулись, стали уютнее, получили более жилой и привлекательный вид. Но ведь и самый лучший клуб не сможет конкурировать с пивной, потому что это не конкуренты. Рабочий клуб в нынешней стадии отвечает пока лишь одной человеческой потребности — жажде культуры, образования, совершенствования умственного и физического. Пивная же эксплуатирует другую, не менее коренную, не менее законную потребность — отдохнуть и освежиться от всего, в том числе и от умственного напряжения.

Грязная, уродливая пивная захватила у нас не принадлежащие ей функции общественного центра. Клуб отважно борется с пивной, отчасти успевает, но, по самой природе своей, не сможет победить полностью. Он ототрет пивную до определенной ступени, а дальше остановится. По-настоящему поставит пивную на свое место лишь новая, культурная советская чайная.

Очень многие из работающих в области культуры забывают о самом важном, уподобляясь водовозам, льющим воду в дырявую бочку. Нельзя хлопотать о быте рабочего, упуская из виду его семью!

Рабочий приводит жену и детей в клуб в очень редких случаях. Клуб просто не может вместить всех своих членов вместе с семьями. В пивную брать с собой своих стыдно и противно. А чайная, чистая, опрятная, с назидательно белыми скатертями, с ласковым блеском фаянсовых полоскательниц, с пятью сортами варенья, со свежими фартуками служащих, с легким оживленным гулом посетителей, с ярким светом, с музыкой, с громкого-

ворителем (радио в чайной гораздо нужнее и уместнее, чем в клубе, где оно всем мешает говорить, а потому большей частью выключено), чайная гостеприимно уместит все семейство, приютит его, успокоит, даст отдохнуть, отдышаться. И рабочая жена, возвращаясь после нескольких часов из чайной, освеженная, взбодренная музыкой, чистотой, обществом, будет иными глазами, глазами своего мужа, смотреть на жизнь.

А студент, рабфаковец, красный командир, приезжий экскурсант — неужели им, каждый вечер бездомным и неприкаянным, вечно будет предоставлена только перспектива хулиганского галдежа пивнухи? Вечерняя бесприютность, отсутствие угла, где бы культурно приткнуться, — разве это не одна из причин, разъедающих паршами быт рабочей и учащейся молодежи?

Конечно, о, конечно, на пути создания новой, советской чайной немедленно встанут пятьдесят тысяч препятствий. Сведущие люди сейчас же придут и разъяснят, что для чайных нет помещений, нет мебели, нет посуды, нет квалифицированного персонала.

1928

Люди с размахом

1. В девятнадцатом году в Киеве, в аристократических Липках, в реквизированном особняке одного из сахарных королей, мы, взломав одни очень непокорные двери, замерли в изумлении на пороге.

Посредине большой высокой комнаты стоял самый настоящий, даже кое-где с наружными следами сухой дорожной грязи, международный спальный вагон. Не декорация, не модель, а настоящий вагон, в котором, взобравшись по ступенькам внутрь, мы нашли в полном порядке все купе: большие чемоданы на медных сетках, свежезастланные постели, увядший цветок в хрустальном стаканчике, кожуру апельсина и потухшую сигару в тяжелой металлической пепельнице. Вагон стоял на настоящих рельсах, в его зеркальных окнах отражались стены комнаты, безвкусно расписанные под речку, и холмистый пейзажик с блеклыми пегими коровами.

Единственный из уцелевших слуг со сдержанной гордостью рассказал, что хозяин, тронутый в уме прогрессивным параличом старичок, за бешеные деньги купил, втащил в дом по частям, собрал и установил сию современную скинию (в библии — переносный храм) богатых путешественников. Приговоренный врачами к покою и неподвижности, он на целые недели переселялся в вагон, в нем пил, ел, спал, принимал гостей, делал дела. Под конец, однако, жизни Красная Армия переменила в богатом паралитике представления о нынешних видах транспорта для богачей и о медицине. А именно: старичок проворно эвакуировался от большевиков в теплушке и до сих пор энергично торгует газетами на бойком перекрестке в Белграде.

2. Фридрих-Вильгельм IV, король прусский (сын и наследник другого Фридриха-Вильгельма, сына и наследника еще одного Фридриха-Вильгельма, всех же Фридрихов-Вильгельмов не сочтет и ЦСУ), однажды, придя в театр, приказал вывести всю публику и единолично, в августейшем одиночестве, прослушал и просмотрел весь спектакль от начала до конца. Король был очень доволен, собственноручно хлопал, заставлял повторять на бис те места, когда на сцене идет настоящий дождь и актеры мокнут.

Об этом выдающемся событии летописцы отмечают в сборнике «Слова и деяния великих людей».

3. Выдающиеся поступки имеют свое повторение в истории. Как мы слышали, для трехсот богатых аргентинских туристов, прибывших 25 августа 1926 года на пароходе «Кап-Полонио» в Ленинград, был, по их заказу, поставлен специальный балетный спектакль в Мариинском театре. Вместимость Мариинского театра — три с лишним тысячи человек.

4. Как сообщается в одних воспоминаниях о персидском фронте, во время империалистической войны одна маленькая казачья часть, оцепив курдский город, сняла со всего города крыши, продала и пропила. В этом деле следует отметить широту размаха не только продавцов, но и покупателя. Где он, этот скромный, безвестный человек, заключивший без всякой регистрации такую смелую сделку? Мы не знаем его имени. Впрочем, неизвестен нам и тот выдающийся залогодержатель, которого нашли вдохновленные Козьмой Мининым нижегородские купцы, закладывая на благо отечества жен и детей.

5. Не известное мне лицо в расстегнутой шубе, без шапки, с нетвердым упором ног, в одной калоше, прошлой зимой, на рождестве, тщательно уложило на снегу, посредине Тверской, обслюнявленный окурок и со злорадным предвкушением объяснило мне, прохожему:

— Ж-ж-желаю а-становить уличное движение! П-потому и положил. Что, братцы, застряли? То-то! Будете помнить Мишу Мастакова!

6. Славная Таманская дивизия! Твои старые бойцы вспоминают перед лицом молодежи, как пробивались они железным потоком с Северного Кавказа на Астрахань, перелистывают великолепные страницы гражданской войны. А капельмейстер Собко наводит тень и смущает умы! Собственно, виноват не только или не столько капельмейстер, сколь гражданин Мухин, человек с большим размахом. Собко поддался размаху — и пострадал.

Оркестр Усть-Лабинского полка играл в некотором городе в пивном баре, и именно тут, в пивном баре, предстал перед капельмейстером соблазнитель — гражданин Мухин. Был соблазнитель слегка выпивши, помаячил перед оркестром и предложил десять рублей, если оркестр во главе с капельмейстером проводит его, Мухина, с музыкой до самого дома. Собко был прельщен широкой натурой посетителя пивного бара. Музыканты тоже. Вышли все на улицу. Мухин стал впереди, капельмейстер позади него, а оркестр и мальчишки с торчащими из штанишек рубашонками замыкали шествие.

Что играл оркестр, провожая Мухина? Суждения очевидцев расходятся. Одни называют марш «Верный друг», надоевшие «Кирпичики» и матчиш довоенного времени. Другие уверяют, что Мухин двигался домой под революционную музыку.

У самого дома, под своими окнами, гражданин Мухин совсем расчувствовался. Он прибавил оркестру пять рублей и попросил сыграть еще что-нибудь похлеще. И оркестр опять покорен был размахом гражданина Мухина, и пошел в полном составе во двор, и сыграл не то «Светит месяц», не то «Раз красотка молодая». Тут из окна высунулась жена гражданина Мухина и стала обвинять мужа за то, что семья сидит голодная, а он, гражданин Мухин, ходит по улицам с оркестром. И еще стала упрекать капельмейстера Собко, как это можно брать деньги и ходить за человеком, который выпивши и плохо соображает.

Тогда гражданин Мухин обиделся на то, что дома не понимают его размаха. И он, как беспристрастно сообщают очевидцы, начал поджигать свой дом. А оркестр, видя, что все идет правильно, ушел вместе с капельмейстером в лагеря.

Пятнадцать рублей, а равно крупная сумма, полученная от игры в пивной и от похорон сотрудника местной страхкассы, были поделены в оркестре по раздаточной ведомости. На долю капельмейстера Собко досталось, кроме денег, пять суток ареста.

1928

Вторая Москва

Конечно, можно доказывать, что Москва есть только одна и не имеет себе конкурентов. Но если допустить возможность существования «Москвы номер два», право на такое наименование пришлось бы несомненно отдать скромной, заброшенной в далеком уголке Донбасса Андреевке. Оттуда подана была заявка!

Председатель Андреевского исполкома Михайлов выступил на состязание с товарищем Ухановым энергично и смело. Видимо, из газет узнал он о подготовке к созданию нового московского водопровода. И решил пойти столице наперерез.

— Товарищи, поскольку Андреевка есть вторая Москва, нам необходимо сейчас же построить свой водопровод. Чтобы, значит, каждый дядько имел в горнице воду!

Пленуму райисполкома ничего не оставалось делать, как только покрыть слова председателя шумными аплодисментами. Всякий из нас сделал бы на месте адреевцев то же самое. При шумных аплодисментах Михайлов начал соревнование с Москвой.

Для водопровода перво-наперво понадобился артезианский колодец. Михайлов своим природным умом определил место, где его строить: на высокой горе, чтобы напор по трубам был больше. Андреевские крестьяне предупреждали, что добыть воду на горе будет трудно. На это хладнокровный председатель исполкома ответил, что воля рабочих и крестьян побеждала не такие препятст-

вия, особенно если вспомнить блестящие победы Красной Армии и успехи СССР на дипломатическом фронте.

Колодец начали копать. Копали месяц, до воды не дошли. Копали полтора месяца, воды все не видно.

Колодец продолжали копать. Копали год, до воды не дошли. Копали полтора года, воды все не видно.

Утекли, как вода, десять тысяч рублей субсидии на водопровод от округа. Разбрызгались еще три тысячи из местных средств. Но в колодезной яме все безысходная сушь.

Пока рыли колодец, райисполком спешно закупил трубы, раздобыл американской системы турбину за восемнадцать тысяч, изрыл всю округу канавами. Турбина ржавеет на исполкомовском дворе, в трубах флиртуют птички, а в канавах по вечерам ломают колеса и ноги те самые дядьки, по горницам которых благодетель Михайлов взялся провести сладкую водичку...

Почему же колодец взялись рыть в самом неподходящем для этого месте? Где был технический надзор? Чего смотрели инженеры?

Все эти вопросы в отношении Андреевки хождения не имеют. Инженеры ничего не смотрели, потому их никто не звал смотреть. Только после полутора лет бессмысленного зарывания в землю Морозов как-то случайно узнал, что существует специальная техническая сила для изыскания подземных вод и что без этих изысканий никаких колодезных работ начинать нельзя.

На глубине двухсот пятидесяти аршин воды не оказалось. Работу надо начинать сначала, где-нибудь в другом месте. Но товарищу Михайлову уже не до того. Он решил утереть нос Москве на другом поприще. Андреевская власть решила построить селянский будынок — дом крестьянина.

Крестьяне очень рады. Но они чего-то смущаются и перешептываются, глядя на решительные движения председателя исполкома.

Почему же Михайлов выбрал такое странное место для новой постройки? К чему строить будынок именно на развалинах старого помещичьего дома? Неужели не нашлось никакого другого места?

Чудаки! Не понимают глубины революционного замысла андреевского Петра Великого:

— На развалинах старого гнета построим новый быт!

Но символику постройки постигла та же печальная судь-

ба, что и великий водопроводный замысел. Под помещичьим домом оказались большие просторные подвалы. Пышный будынок оседает в подвалы, он дал уже больше тридцати трещин, стены отходят, здание валится. Есть опасение, что на развалинах старых развалин лягут новые развалины.

Два опыта устроить в Андреевке вторую Москву не удались. Что из того! Михайлов добьется своего. Если не большими делами, то малыми.

Для подправления пошатнувшегося авторитета работников исполкома для них изготовлены отличные именные блокноты с указанием чина и звания. Такие блокноты и в столице не у каждого вождя встретишь.

А сам председатель, чтобы ослепить величием вверенных ему граждан, завел себе из убогого дефицитного бюджета трехтысячный выезд с хорошим рысаком и единственными на всю Андреевку фонарями у козел.

Фонари в самом деле слепят глаза среди темной андреевской ночи. Жители очумело шарахаются в стороны и проваливаются в канаву, которую председатель вырыл для грядущего водопровода. Потирая ушибленные бока, они провожают благодарным взором пару морозовских огней, в темноте похожих на хороший столичный автомобиль. Если бы еще к этому милиционера с красной палочкой, регулирующего движение, — чем не Москва! Чистая Москва.

1928

Современники

Сегодня мы достаем из ящика и перелистываем записки двух живых, невыдуманных людей — Андрея Романова и Андрея Шмелева.

Оба находили время каждый вечер перед сном заносить в тетрадь события прошедшего дня.

Похвальная привычка! Если каждый человек делал бы то же самое, принуждаемый к тому законом, в стране изводилось бы немного больше бумаги, зато мы имели бы точные слепки сотен миллионов человеческих жизней, могли бы по ним отлично изучать эпохи, человеческие

страсти, страдания, раскрывать преступления и опасные тайны.

Конечно, дневники резко отличались бы друг от друга. Записки вора заменяли бы бульварный роман. А дневник, скажем, мелкого чиновника — ну что в нем особенного! Сидел в канцелярии, обедал, отдыхал, сидел в канцелярии, обедал, отдыхал, играл в стуколку, пошел в баню. Куда там среднему человеку изумлять мир загадочными приключениями, высокими переживаниями! Где там!

Дневник Андрея Романова попал к нам в руки после длинных и сложных историй, о которых можно было бы написать особую книгу. Дневник Андрея Шмелева просто принес к нам его сын, Иван Андреевич. Принес и сдал: может быть, пригодится. Два дневника пылились где-то под спудом, и как-то, накануне январской годовщины, мы с трудом разобрали два почерка, сверили две тетради по одним и тем же дням.

У обоих Андреев записки по содержанию довольно однообразны. Изо дня в день повторяются одни и те же строки.

Вот май у Андрея Шмелева:

«6 мая 1904 г. Встал в 5, немного занялся по дому с Катей, потом на завод. Уже очень жарко становится. На обеде читали газету, новостей мало. Вечером гулял с детьми у Нарвских ворот. В 9 лег спать».

«7 мая. Встал поздно — $6^1/_2$ ч., еле поспел на завод. Рабочие у нас опять говорят о забастовке. Говорят, будут прибавки. У ворот стоит полиция, конная. Вечером ко мне приходили Алексеевы. Лег в 10».

«8 мая. Сегодня воскресенье. Хотел пойти в город гулять, но Ванька заболел, у него лихорадка. Хотели позвать доктора, но решили с женой подождать до завтра. Вечером вышли, гуляли до Измайловского проспекта. В городе сегодня совсем тихо».

«9 мая. Встал, как всегда, но чувствовал себя плохо, может быть, от Ваньки заразился. Работать было тяжело, да еще порезал палец. Вечером смотрели иллюминацию. Говорят, рабочие хотят опять образовать союз, но без социалистов и революционеров. Я решил пойти, если пойдут».

«10 мая. Встал рано, читал одну книжку, которую дали товарищи. Удивляюсь, как правильно напечатано. Описание нашей жизни верное; я как рабочий полагаю,

что списано прямо с жизни. Днем на заводе говорили, что может быть вскоре конституция. Лег спать в 10».

«11 мая. Сегодня с утра лил очень сильный дождь. У нас рабочие на дворе баловались и пускали кораблики по большим лужам. Вечером приехал дядя Антон из Курской губернии, привез сала очень хорошего. Он надеется поступить на завод. У них в деревне крестьяне хотят пожечь помещиков и помещичий хлеб. Дядя Антон уговаривал многих и боится возможной мести со стороны управляющего».

«12 мая. Сегодня у нас на заводе опять была полиция. Арестовали 12 человек. После работы мы собрали деньги для них. Собрано было довольно много. Ваня еще хворает, но думаем обойтись без доктора. Где-то около нас начался большой пожар, но не удалось узнать — где».

Те же дни у Андрея Романова, по записям его, кажутся столь же однообразными, хотя и совсем в другом роде:

«6 мая 1904 г. В 10.20 все семейство покатило к обедне. В 2 был дома и затем на автомобиле поехал к Мише и вместе в Красное Село, осмотрели свою дачу и назад в Царское Село. В 5.36 в город. В 8 обедал с мамой и Кириллом».

«7 мая. В $8^1/_2$ встал, в $10^1/_2$ поехал к папá и мамá, а затем в академию. В 12 у меня завтракали мои товарищи по академии, ныне окончившие курс. После завтрака сидели наверху и пили вино. Было довольно весело. В 3 ч. разъехались. В 5 Кирилл пил у меня чай. В 8 я обедал у папá и мамá. В 10 был дома, в 12 лег спать».

«8 мая. В $8^1/_2$ я встал, в 10 был у меня Жюль, брил и чесал. В $10^3/_4$ был генерал-адъютант Дубасов. В 11 я отправился к обедне. Завтракали дома. В 1 часу дня вся академия с профессорами собралась сниматься. Снялись 2 группы с профессорами и 2 без них. Затем я пошел к своему катеру, и мы покатались по Неве. В 3 я был дома, в 8 обедал с папá и мамá, в 10 был дома, в 11 Маля была у меня, в 12 я лег спать».

«9 мая. В 9 я встал и пошел гулять. В 12 у меня завтракала часть выпуска, 19 человек. В 4 уехали, в $4^1/_2$ я был у Воллесона, затем катался на катере по Неве, в 6 был дома, в 8 обедал с папá и мамá, в 11 лег спать».

«10 мая. В 9 я встал и чувствовал себя весьма плохо, зуб страшно болел. В 10 я пошел гулять, гулял целый

час. В 12 завтракал с папа́ и мама́. В 2 часа был на панихиде по младенцу Наталии Константиновне. В 3 был дома и лег спать. В 8 обедал Кирилл. До 10 был дома, в 11 лег спать».

«11 мая. В $8^1/_2$ я встал, в 10 час. пошел гулять, в 11 был дома, потом поехал к своим по случаю именин. Затем был завтрак. В 2 я был дома. В 1 часу был Чарторийский. В 5 пошел гулять. В 6 был у Воллесона. В 7 брал душ. В 8 обедал с папа́ и мама́. В 9 поехал домой. До 12 читал, а затем лег спать».

«12 мая. В 8 час. я встал, в 10 был у мама́. В 11 поехал в Мраморный дворец наведать младенца Наталью Константиновну. Я повез Мишу на катере в собор. Там отслужил литию. В 1 часу я завтракал дома. В 6 был у Воллесона. В 7 с Кириллом обедал в ресторане Эрнеста с товарищами по выпуску. В $10^1/_2$ был дома. В 12 лег спать».

В одном и том же городе, в одном году, в одни и те же дни движутся жизни двух Андреев. Оба они не в центре событий, оба как-то сбоку, в стороне. Но на календаре жгучая цифра — 1905. Ее отсветы падают на тетради двух современников. Падают по-разному. Оба автора записок — заурядные, второстепенные люди. Но все-таки Андрей Романов «рядовой» великий князь, мало заметный, но член царствующего дома, а Андрей Шмелев — рядовой рабочий Путиловского завода.

В майское воскресенье, когда Андрей Шмелев сидит у постели больного сына, не имея лишнего рубля на доктора, Андрей Романов катается в великокняжеском катере по Неве.

А в Кровавое воскресенье девятого января ближайшего года?

Вот опять фотографические снимки двух жизней, снятые при вспышках январских залпов, при блеске казачьих шашек, под стоны умирающих и музыку придворных балов:

«6 января 1905 г. в 9 встал. В 10 поехал к обедне к папа́ во дворец, а затем завтракал дома один. На выходе я не был, потому что инфлуэнца еще не совсем прошла. В 3 часа я поехал к папа́, который мне рассказал странный случай, бывший на Иордани. Подробности неизвестны. В 4 я был у Мали, в 6 дома, а в 7 пообедал. У Мали было много народа. В 12 часов лег спать».

«7 января. В 10 часов я поехал в академию. Г. М. Кузьмин-Караваев в нескольких словах разъяснил нам предстоящие практические занятия. Затем поехал домой. В 12 часов завтракал у папа́ и мама́. В 4 я был у Гриппенберга. Забастовка рабочих лишила меня электричества. Шумная толпа прошла по Галерной, требуя прекращения работ в типографиях министерства финансов и сената. Обедал, а затем домой».

«8 января. В $9^1/_2$ я встал, а затем занимался. В 12 завтракал с папа́ и мама́. Газет и афиш уже больше нет, все забастовали. Черт знает что за времена: ни один завод, ни один ремесленник не работает, все бастуют! Завтра Петербург объявляется на военном положении! Гарнизон Петергофа уже прибыл. Вызваны Псков и Новгород. День прошел спокойно. Обедал с папа́, мама́ и Борисом. В 9 — в Михайловский театр. Давали бенефис балета. Очень хорошо. В 11 часов Маля у меня ужинала. В 1 часу лег спать».

«9 января. В 9 часов меня разбудили и доложили, что пришел караул от гвардейского экипажа для охраны моего дома. Я живо встал и пошел его навестить и разместить. На Замятинском переулке стояла целая рота гвардейского экипажа. Я туда пошел приглашать офицеров кушать. Весь город в охране. На мостах караулы. На углах тоже. В 11 я поехал к обедне. Весь Зимний дворец был окружен войсками. На Набережной у Дворцового моста стояла рота и у Троицкого — рота. На площади — около двух полков бивуаком с кавалерией. Рабочие должны были к 2 часам собраться у Зимнего дворца и просить государя их принять. Для этой цели со всех концов города двинулись густые массы народа. Их просили разойтись, они отказались, дали залпы, до 10, перебив многих. Толпа разбежалась. На Невском, Морской и Гороховой шла тоже толпа и была тоже встречена залпами. У Александровского сада тоже толпа не желала уйти — стреляли. Но пришлось прикладами еще раз отбивать их. Залпы продолжались до поздней ночи. Затем все улеглось. Цель была достигнута — рабочие до Зимнего дворца не дошли и отдельные массы не соединились. Общее число жертв установить трудно, ибо трупы и раненые уносились толпой. Но приблизительно расчет такой: всего было дано свыше 40 залпов; считая по 40 убитых и раненых, получим около или даже более 1600 человек. Но говорят, что число гораздо больше. Днем я

был у папа́. Обедал дома с командиром второй роты. Вся рота разместилась у меня в сарае и конюшне, 130 человек и мой караул 22, итого 152. Да 4 офицера и командир Федоров. В 11 часов поехал к Мале. В 12 вместе к Трефиловой ужинать. Очень мило провели время, в 4 уехали домой, в 5 лег спать».

«10 января. С утра все спокойно. Войска поубрали на отдых. Говорили, что будет движение, но ничего не было. 8-я рота гвардейского экипажа осталась у меня. Завтракал дома с офицерами, и Миша приехал, потом ходили по дому. День прошел спокойно, но нервно. На ночь $^1/_2$ роты отправили на главный телеграф. Ходили слухи, что грабили, но неизвестно, верно ли. В 11 лег спать, все спокойно».

«11 января. Третий день все спокойно. Караул и 2-я рота гвардейского экипажа стоят все еще у меня и не собираются уходить. В 10 у меня собрались мои товарищи по академии, и мы провели «пробное заседание». Не особенно хорошо шло, больше болтали. В 12 мы все поехали завтракать, мои офицеры и полицейский офицер, который тоже примостился кушать. Не успели мы съесть и второго блюда, как доложили, что на Замятин переулок прибыли конногренадеры. Я их пригласил завтракать; оказалось, что их вызвал пристав. Но их скоро отпустили, так как оказалось, что никакой нужды в них не было. Днем был у папа́ и мама́ и узнал, что московский полицмейстер назначен с.-петербургским генерал-губернатором, а Фуллон в свиту, т. е. по шапке. Я видел Трепова — очень симпатичное производит впечатление, с твердо установившимися взглядами и убеждениями. Обедал с папа́ и мама́ и в 9 домой. Немного позанялся, а затем к Мале... После того еще посидел, поболтал с ней, и в 1 часу дома был. Все спокойно».

«12 января. В 9 я встал, брал ванну, а затем пошел навестить своих офицеров. Они уже четвертый день у меня живут. Они отлично выспались и чувствуют себя бодро. В 11 я поехал к мама́, а в 12 завтракал дома. В 3 поехал к папа́. В 4 был дома. В $6^1/_2$ моя рота ушла. Офицеры были страшно довольны и команда тоже. В 7 я обедал у мама́, в 10 был дома, в 11 лег спать. Все спокойно».

В те самые дни, когда великий князь Андрей Владимирович, под охраной ста пятидесяти двух солдат, пяти офицеров и одного пристава, коротал свои досуги с Ма-

лей, Андрей Шмелев тоже по-своему переживал события. Его записи тоже уцелели и через двадцать три года встретились на столе с великокняжеской тетрадью:

«6 января 1905 г. Мы уже бастуем четвертый день. Вчера стали Семянниковский завод, Штиглиц и на Охте бумагопрядильня, также Обуховский завод и многие фабрики — всех не перечесть. Вчера Творогов и Андрианов, как было условлено накануне, пошли в правление получать ответ. Сказали, что должны еще посоветоваться с другими владельцами, а что касается прибавок, то будто бы можно будет сделать. Говорят, сегодня уже выдавали в союзе по 70 копеек на душу всем семейным. Мы с Катей ходили весь день по улицам, а вечером пошли на собрание у Нарвской заставы, но не могли пробраться. Дядя Антон прошел, он говорит, что там читали просьбу к царю».

«7 января. Встал в 6, и мы все вышли; до самого вечера ходили, чуть ноги не отнялись. Уже стачка на газовом заводе и электрическая станция стоит на Васильевском острове. Вечером было темно. Многие конные ездили с факелами. Уже получил сегодня пособие».

«8 января. Из вагонной мастерской приходили и рассказывали, будто обратно принимают Сергунина и Субботина, а Уколова и Федорова решено не принимать. Но дело не в этом. Завтра решено пойти к Зимнему дворцу с царскими портретами и с манифестом. Идут все рабочие, впереди же всех батюшка Гапон. Некоторые агитаторы выступали, что будет стрельба, но все наши говорят, что это только для испуга. Мы все решили пойти, хотя бы даже что могло случиться. Алеша был у Гапона; тот сказал, что если не пойдут все с женами и детьми, то ничего не выйдет. Царь, увидев, что мало народу, может повернуть назад всех, сказав, что мало пришло. Мы берем с собой Ванюшку. Легли спать очень рано».

«9 января. Не могу сегодня писать, но все же напишу, хоть сколько смогу, потому что какой же смысл было писать для Ванюшки мою жизнь, если такие дни пропущу? Встали в 6 час. и пошли с Катей, дядей Антоном и Ванькой к Нарвскому отделу. Пришли около 7, и уже было много народу, но ждали свыше чем до 10 час. Затем принесли царские портреты, иконы и хоругви. Приехал и отец Гапон. Он спрашивал, у кого есть оружие, и велел некоторым, каковые были с револьверами, уйти. Затем построились в ряды и пошли с пением духовной

песни. Все шли, снявши шапки, я только надел свою шапку на Ваньку, чтобы он не простудился. Многие прохожие тоже снимали фуражки, а также сам видел городовых и околоточного, снимавших шапки на хоругви и народное шествие. Не доходя Нарвских ворот прибыла конница и начала скакать насквозь через толпу, а толпа все пела духовную песнь и шла вперед; затем конница пустилась скакать назад и тоже почти никому не повредила. Дядя Антон взял Ваньку на руки, и мы хотели уже сойти на тротуар, как в это самое время был дан залп, и Катя упала мне прямо под ноги, в то время как кругом началась свалка и ужасные крики умирающих людей. Я начал подымать Катю и кричать: вставай, не бойся, но она молчала, почему я понял, что она или ранена, или убита. В это время в толпе была полная каша, и я еще боялся за дядю Антона и Ваньку, которые как в воду канули; совершенно нельзя было разобрать в этой каше, где кто. Но наконец еще с помощью двух рабочих, прямо не знаю как, потащили Катю в сторону; в то же самое время выстрелы продолжались, и прямо на глазах умирали люди; это забыть невозможно; вот так царская милость! сколько буду жив — не забуду. Затем отнесли Катю в нарвскую аптеку, там было что-то ужасное, я кинулся и прямо-таки умолял помочь женщине, причем Катя все молчала, и это меня особенно пугало. Затем оказалось, что она ранена в живот, и отвезли в больницу на Новосивковскую улицу. Там было тоже переполнено, и прямо ужас какой-то. После чего у меня спросили в конторе фамилию Кати; я сказал, что я муж, но велели немедленно уйти и явиться за справкой только завтра. Причем я был в надежной уверенности, что у меня также убит сын или потоптали во время выстрелов. Но, придя домой, застал дядю Антона и Ваньку совсем невредимыми. Оказывается, дядя Антон кинулся к воротам, и хотя были заперты, но прижался с мальчиком и уцелел. Опасаюсь за Ванюшку, как бы не заболел от страха или, может быть, простудился. При этом должен не забывать, что жена, тяжело раненная, находится в больнице в неизвестном положении. Вот таким образом мы встретили сегодня царский день».

«10 января. Утром сегодня более спокойно. Говорят, что на Петербургской стороне стрельба продолжается. Убит Николай Кузьмич Лаврентьев, а также из нашей мастерской Брандуков, Кузьмин, Константиновский. Пе-

тя Виноградов убит вместе с женой и еще многие товарищи. Теперь еще трудно узнать про всех. У меня свое горе в дому. Меня сегодня в больницу к Кате не пустили, только сказали, что очень тяжелое положение. Вечером мы сидели дома. Ванька держался молодцом. Я с ним играл в чурки. Легли в 10 час.».

«11 января. Сегодня с утра было все довольно спокойно. Затем я пошел на Новосивковскую улицу и явился в контору, где я недолго ждал, после чего доктор сообщил, что Катя умерла сегодня в 3 часа 40 минут утра, будучи смертельно ранена в живот. Теперь вопрос с похоронами. Говорят, будут хоронить всех вместе, но я не знаю, как мне поступить. Сказал Ванюшке, что мать уехала к бабушке в Лугу. Ребенок совсем спокойный, но часто пугается, особенно когда спит, кричит. В городе все спокойно».

...Дневники Андрея Романова и Андрея Шмелева продолжаются дальше. За январской неделей девятьсот пятого года пошли новые недели, месяцы и годы. Великий князь Андрей заседал в правительствующем сенате, ездил к Мале, командовал лейб-гвардии полком. Андрей Шмелев просто не отлучался от станка на заводе, воспитывал своего осиротевшего Ваньку. Шмелев умер пожилым человеком в двадцатом году от сыпного тифа, оставив сына-коммуниста. Романов, недострелянный, как его некоторые родственнички, удрал за границу и прозябает там, содержа большую мастерскую модных туалетов. Он состоит в братьях у эмигрантского «императора» Кирилла Владимировича, мечтает о прогулках на катере по Неве и безупречных пулеметах для рабочих.

От обоих современников сохранились для нас только тетради — замусоленная, слипшаяся записная книжка Шмелева и роскошный, в переплете синего сафьяна, с еще свежим золотым обрезом альбом Романова. Но история твердо и памятно рассудила двух Андреев, вернее классы, породившие их. Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Этот приговор — беспощадный разгром русского дворянства и буржуазии, навсегда стертых с лица некогда подвластной им земли; этот приговор с суровым торжеством повторяет про себя каждый старый рабочий в годовщину черного дня — девятого января девятьсот пятого года.

1928

В монастыре

Повелись эти мощные крепостные стены еще от Дмитрия Донского. Возвратясь после Куликовской битвы домой, великий князь всея Руси заложил здесь, в пятнадцати верстах от Москвы, Николо-Угрешский монастырь как памятник и как подарок богу за победу над татарской ордой. Других видов капитального строительства в то время не имелось, зато обители божьи строились так основательно, как нашим жилстроительным кооперативам и не мечтать.

Николо-Угрешский возвышается среди полей и рощиц высоким неприступным каменным утесом. Он устроен как обособленный укрепленный военный форт. Здесь монахи могли выдерживать и выдерживали месячные осады, угощая неприятеля с высоты стен расплавленным свинцом и кипящей смолой.

Монастырь молча и без больших потрясений дряхлел. Зимой тысяча девятьсот двадцать восьмого года завладела им полуторатысячная орда. Правда, не татарская, но не менее шумная, никак не менее воинственная, чем боевые полчища Мамая и Тохтамыша.

Мы осторожно подбираемся к монастырю, но нынешних хозяев нелегко застать врасплох. Над широко раскрытыми воротами Николы-Угрешского полощется алый лоскут:

«Привет нашему другу Максиму Горькому».

Адресат приветствия огорчен и даже раздражен. Ему приелись парадные встречи, мешающие разглядеть жизнь в обычном, невзболтанном виде. Он неспокойно прищелкивает пальцами и ругается:

— Ну, на кой черт это нужно? Ну, на кой черт! Неужели же без этого нельзя? На кой?

Несколько десятков пар ног с предельной скоростью мчатся к гостям. Несколько десятков пар рук начинают свое оглушительное дело. Горький ликвидирует парад на корню:

— Что, у вас руки казенные, что ли? Бросьте, ребята, эту суетню.

Лед торжественности разодран в куски. Алексею Максимычу деловито представляют последнюю николо-угрешскую достопримечательность — Леньку.

Ему десять лет, а он уже не перечесть сколько раз за решетку попадал, всю Россию на буфере изъездил,

чуть ли не Госбанк обворовывал, отсюда из коммуны два раза бегал. Когда ему уж совсем скучно, очень любитель всякие памятники с места сворачивать, кресты с могил упирать.

Горький озабоченно упрашивает Леньку:

— Там, в Москве, на Красной площади, есть памятник Минину и Пожарскому. Так ты уж, пожалуйста, его оставь на месте. Ладно?

Хитрый Ленька насупился и побагровел, в натуге своего десятилетнего мозга избирая способ поддержания разговора. Этих способов беспризорная практика знает только два: нахально-задирающий и жалобно-несчастный. Ленька понимает, что оба тона сейчас не к месту. Он еще больше багровеет и совсем безыскусственно огрызается:

— Сказал же, больше из коммуны бегать не буду. Слово же я дал, чего ж старое поминать! Что, я слова не давал, что ли?

Ленька убежал, толпа быстро разошлась. Здесь у каждого свое место, свои обязанности, болтаться в рабочие часы больше нескольких минут неудобно и неприятно. Орда, занявшая каменные громады Николо-Угрешского монастыря, работает как на заправской фабрике, где производительность труда не нуждается в агитационных кампаниях.

В старых стенах прорублены широкие светлые окна. Сюда вторглись солнечные снопы, лязг и свист металла, гудение моторов, скороговорка ручных молотков.

В кузнице, у красных наковален, сосредоточив глаза и мускулы, размахивают тяжелым железом молодые парни. Вот у этого при каждом ударе все больше проступают мелкие капельки пота на открытом, честном, прирожденно трудовом лице. А сопровождающий наклоняется к нам и шепчет:

— Восемь судимостей! Одно убийство! Несколько вооруженных налетов. А теперь смотрите, как из него все это выходит! Молот — хороший педагог, не хуже, чем иные профессора!

Да, здесь кишат яркие биографии. Здесь не буржуазные школьники на летних упражнениях. Здесь пристань маленьких, но бывалых и смятых ураганами жизненных кораблей. Писатель Гектор Мало прославился на сто лет романом «Без семьи» из жизни ребенка-сироты. Сколько сюжетов, жестоких и трогательных, фантастических и

притом безупречно правдивых, содержат жизнеописания тысячи членов этой неслыханной республики здесь, в Николо-Угрешском монастыре!

Полтора года назад мы рассказывали в «Правде» («Дети смеются») о коммуне ГПУ в Болшеве, где в обстановке свободы, труда, выправленного человеческого достоинства живут и воспитываются для иной жизни бывшие юные обитатели уголовных тюрем. Тогда мы получили много недоверчивых откликов и в том числе несколько даже с примесью обиды: как это можно расписывать, да еще печатно, такие невероятные вещи, как это может существовать подобное сверхъестественное учреждение, да еще попечением такого неласкового учреждения, как ГПУ.

С тех пор Болшевская коммуна не только ничего не потеряла в своей реальности, но еще родила дитя. Здесь, у Николы Угрешского, в присутствии такого нелицеприятного свидетеля, как Горький, мы имеем радость наблюдать вторую коммуну, тоже созданную ГПУ, в несколько раз бо́льшую, чем первая, и в несколько раз быстрее растущую на уже полученном опыте. Несколько окрепших болшевских птенцов даже работают здесь инструкторами!

Те же простые и свободные порядки, та же несокрушимая дисциплина, какая бывает только при полном самоуправлении и железной круговой поруке. То же яростное упоение трудом, подмывающее перегнать быстро мчащие станки. Все как в Болшеве, только больше, гуще и бурнее. Мы бродим по мастерским, слесарной, сапожной, столярной, и, вбивая в себя на слух деловую горячку, Горький молодым, колющим своим взглядом снует по углам, по лицам, по затылкам, по кучам стружек, по масляным пятнам на фартуках. Как он повсюду чувствует себя дома, этот мировой гражданин с грязных пустырей Канавинской слободы, одинаково желанный и почитаемый в кабинетах величайших европейских ученых и на скользком каменном паркете грязных ночлежек! Рослый парень в пекарне замешивает огромную, на двадцать пудов, квашню, и знаменитый писатель, пощупывая пальцами рыжее месиво, профессионально усмехается:

— Дельце знакомое... И техника все та же, не подвинулась вперед.

Да, мы печем хлеб еще по-старому. Но едят его уже новые люди. Разве не странно должно быть Горькому,

человеку предреволюционного поколения, видеть эти сотни молодых, проворных рук, забывающих дорогу в карманы прохожих и ловко мастерящих предметы необычного вида.

— Что это вы производите?

— Железные зажимы для пинг-понга.

— А это?

— Туфли для баскетбола. Футбольные мячи. Башмаки для велосипедистов.

— И что же, хорошо они идут?

— Ого!

В стране открылись новые невиданные рынки потребления. Нужны сотни тысяч туфель для крепких ног сотен тысяч пролетарских спортсменов. Нужны вагоны мячей, штабеля шахматных досок, тысячи километров беговых дорожек. С мусорных свалок, с грязных фабричных задворков несусветные толпы народа поперли на стадионы. Слыханное ли дело, Россия, кислая, почечуйная, невыспавшаяся старуха, теперь, омолодившись, требует коротких трусов, теннисных ракет, шведских коньков, разноцветных вязаных «маек». В спортивных магазинах не протолкаться, и вот тут тоже приходится зимний инвентарь заготовлять с апреля, а летний с октября.

Здесь все работают, но здесь не дом принудительных работ. В свободной трудовой республике, захватившей Николо-Угрешский монастырь, можно себя проявить не только обычным рабочим. Здесь не глушат художников, чудаков, поэтов.

Оттого так широко разрослась николо-угрешская «скульптурная студия». Широко, хотя и не больно художественно, не очень педагогично. Держа курс на обязательный повсюду «хозрасчет», ребята без конца раскрашивают линючих гипсовых кошечек и зловещих настенных девиц с фиолетовыми гроздьями винограда. Впрочем, тут лепят и «для души», изваяли даже лихо всклокоченного молодого Максима в косоворотке, с огромной, похожей на гусли чернильницей на коленях.

Как вежливый гость, Горький сдержанно одобряет свое изображение. Измазанный красками малыш дает точную информацию об авторе:

— Это пьяница лепил.

Горький заговорщически делится своими сведениями и об оригинале:

— Вот этот... которого, значит, лепили... он тоже в свое время... насчет рюмочки любил побаловаться.

Обе стороны расстаются, довольные взаимным осведомлением.

Молодого любителя птиц, ящериц и прочей зоологии в коммуне прозвали Шаляпиным. Он соорудил целый зоопарк в четыре квадратных аршина и страдает общей болезнью всех подобных учреждений — нехваткой в деньгах. Он взывает о субсидии или хотя бы о помощи машинным оборудованием:

— Товарищ заведующий, ведь если бы вы сказали на кузнице для меня капканчик сделать, э-эх, что я бы вам тут развел!

Совы и сычи в клетке, заслышав горестные ноты хозяина, проявляют сонное беспокойство. Удрученный Шаляпин тычет им пальцем в клювы клочки мяса. Горький обещает прислать Шаляпину книжек насчет зверей. Горький хлопочет за Шаляпина насчет капканов. Как всегда — и сейчас Горькому приходится опекать Шаляпина.

Поэзия совсем не в загоне в Николо-Угрешском монастыре. На нее не косятся, ее поощряют. Конечно, сегодня стенная газета вся посвящена знаменитому гостю. И местный поэт, приспособив для торжественного случая стихи Бориса Ковынева о Пушкине, обращается к писателю с рифмованной декларацией:

Не шумит Садовое кольцо,
Голоса все медленнее глушатся.
И сказал я Горькому в лицо:
«Алексей Максимович, послушайте,

Ваша жизнь была не пир горой,
Отчего ж гремит, не умолкая,
Ваше сильное и звонкое перо,
Отчего же выправка такая?

У меня в груди невольный гнев.
Ты попробуй босый в эту стужу
Воспевать, четыре дня не ев,
Хоть не море, а простую лужу.

О, клянусь огнями фонарей,
Что бывает — лев сидит забитой клячей,
Накорми меня и обогрей,
И тогда поговорим иначе».

Так я и не кончил говорить
(На бульваре ветер был унылый).

Заалели кровью фонари,
Улыбнулся мне Максимыч ясно.

И на все обидное в ответ
Беспризорнику и жулику, как другу,
Алексей Максимович, поэт,
Протянул мне дружескую руку.

...Торжественная встреча почетного гостя была сорвана им самим. Николо-угрешские коммунары возместили себя торжественными проводами. Длились проводы только четверть часа, но вышло совсем как у людей, даже адрес прочли и музыка играла.

Совсем как у людей. Можно ли представить себе, не видев воочию, этот огромный, в пять этажей вышиною, гулкий сводчатый колодезь пышного собора, размалеванный снизу доверху аляповатой церковной живописью, и дощатую эстраду перед алтарем? И духовой оркестр на эстраде! И застрявшие на подмостках после спектакля декорации, и картонный гроб с надписью «капитал», и бутафорский мусорный ящик с надписью «спальня беспризорного»!

И партер из скамеек посреди собора, и тысячу лиц, полудетских, но осмысленных, тронутых страданиями и голодом, нищетой, овеянных скитаниями, опасностями, бодрых и гордых возвращением к честной жизни.

И преображенное волнением лицо мальчика, читающего им самим написанное обращение к знаменитому писателю, поднявшемуся со дна.

Уже кончалось все, мы покидаем Николу Угрешского; вновь избранный почетный член коммуны, не в силах будучи сразу опомниться, то теребит усы, то хрустит пальцами:

— Нервы надо, чтобы все это здесь сразу пережить и перечувствовать...

Добавочные проводы устраивает маленький Ленька, ниспровергатель памятников. Закаленный в хитростях деляга окончательно понял, что имеет дело с безобидными и даже хорошими людьми. Он решил угостить не совсем понятного, но большого и, по всему видать, хорошего Максима своим лучшим произведением. Нагоняя нас, исполняет лучший номер, ужасно жалостную песню, которой хорошо кормился он в дачных поездах и на трамвайных остановках, — «Позабыт, позаброшен с молодых юных лет».

Солнце, буйная зелень и само Ленькино лицо, расплывшееся и радостно оскаленное, противоречит грустной песне.

И умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

Трудно поверить песне Леньки. Она получается совсем неубедительной. Никакой грусти нет, скорее похоже на марш. Да и сам Ленька, позабыв первоначальный смысл того, что поет, весело марширует, размахивая рукой и поматывая головой, как лошадка.

1928

Волга вверх

Астрахань простерлась в сухой истоме, зноем греет разбитые кости. Пыльным струпом пролегла Московская улица — челюсть выбитых артиллерией домов. Их скелеты плавятся в небе, злая тишина гонит шаги прохожих прочь, дальше, вниз к реке, где проросшая жизнь ворочается потным клубком у пристаней и на рейде. Война измочалила город, мир еще не залечил ран.

Не свой и не чужой азиатский порт в устье европейской реки, ошибкой выдвинутый не на том берегу самого странного на свете моря-озера, город-вопрос, город-спор, город — недосказанное слово, город — невыполненное обещание, город — непонятное решение. Ему быть второй Одессой, восточной Пальмирой, а он окаменел в скучном недоумении, принять чей цвет: сизую сталь низвергающейся русской реки, персидскую голубизну Хвалынского моря, желтую тоску калмыцких песков, убогую пестрядь татарской орды?

Спор не решен, солнце сушит противоречия, революция перечеркнула их красной вывеской, русские бородачи дремлют в татарских кумыснях, калмыки дружно с татарами тянут пильзенское пиво, персы пьют сельтерскую воду, на черной бирже все четыре нации, дополненные евреями, со стройным шумом устанавливают неписаный закон астраханского валютного обращения.

Астрахань вернулась к мирным промыслам. На узенькой речке Кутум не видать воды — вся поперек заставлена лодочной рванью, старыми суденышками, перекрыта драными парусами, засеяна фруктовой шелухой, перевита восточным галдежом. И опять громоздятся на серых палубах выше человеческого роста горы сухой сельди; запах — не бодрый морской соленый бриз, а прогорклый, тяжелый дух рыбного кладбища, мешаясь с тучами высохшего, летающего конского помета, с дымом низких труб, с махоркой, сверлит горло континентальной среднеазиатской сушью.

На Братской улице, у магазина дамских шляп, напротив дощатой будки с надписью «Лотерея деткомиссии», в самом шикарном месте города, стоит триумфальная арка.

Колоннами арки служат две деревянные фабричные трубы, разделанные маляром в вафельные кирпичики. Наверху — путаница из сосновых планок, выкрашенных в сизый цвет и изображающих индустриальный мотив. Вниз по трубам спускается широкая красная лента.

Арка ветошится здесь в облаках пыли от самых перевыборов Советов. Жалко снять это мощное сооружение, зловеще трясущееся при проезде извозчичьих дрожек. Арка, если на то пошло, удалась лучше, чем сами перевыборы. По активности избирателей Астрахань с достоинством заняла последнее место во всем Нижневолжском крае.

После пулеметов и штыков, после речной артиллерии рыба опять царит над Астраханью. Она опять на первом месте в городских складах, в пирамидах новеньких берестяных бочек, ржавеет селедками на лотках и в руках у нищих, висит солдатскими рядами под стропилами рынков, янтарится в душистых ресторанных селянках, пучится колоннами цифр в докладах губисполкома и экономсовещания. Но плохи дела, тихи прохладные рыбные корпуса на Малых Исадах, жирные слезы каплют на железный пол с нежнейших, деликатнейших осетровых балыков.

Наш рабочий класс добился вынужденного признания величайших капиталистических государств. Самые надменные враги советских пролетариев, скрепя сердце, признали непоколебимую твердость этого стойкого племени, его таланты к творчеству и управлению, его неисчерпаемые силы.

А вот глубокомысленные астраханские вожди и теоретики не признали. Не поверили в силы астраханских рабочих и в их способность овладеть своим хозяйством.

Можно ли самим, без посторонней помощи и тем более классово-чуждой поддержки, без иностранца и нэпмана подняться на ноги, построить и пустить свое, ни от кого не зависящее хозяйство?

Партия и вместе с ней рабочий класс, властно отодвигая в сторону назойливые сомнения, отвечали:

— Можно! Хотя и трудно, но можно. Мы можем, мы делаем, и мы сделаем.

Знатоки политической экономии и классовой борьбы из астраханского губкома и губисполкома на тот же вопрос отвечали, скорбно склонив голову набок и столь же безвыходно разводя руками:

— Одним, без помощи — нельзя. Кишка тонка. Без участия капитала и инициативы со стороны нам Астрахань не поднять.

Как же так не поднять? Почему рабочему классу под руководством партии удалось поднять, пустить и включить в общую систему социалистического хозяйства такие громадные и притом хитроумно-тонкие организмы, как бакинскую нефтяную промышленность, как «Алданзолото», как «Югосталь», с их сложнейшими проблемами производительности, рентабельности, набора рабочей силы, технического руководства? Неужели же астраханская селедка — более тонкая и более таинственная материя, которую не дано осилить и покорить рабочему классу после опыта нескольких лет обобществленного хозяйствования?

— Не сможем, — авторитетно заявили астраханские вожди.

И в этом ответе, в одной только этой отрицательной оценке сил и возможностей рабочего класса, в ней одной — политические корни всего того, что потом вздулось уродливым бугром пресловутой «астраханщины».

Мы слишком часто повторяем это омерзительное слово: гнойник. Но не надо забывать, что даже самый отвратительный гнойник может образоваться из безобидной, нисколько не гнойной занозы. Там, где ткань правильно растущего тела рассекается, неправильно искривляется, туда сейчас же устремляются болезнетворные бактерии и создают воспалительный процесс. И подходя политически — в создании общих условий для «гние-

ния» в астраханской организации прямые преступники, вмазавшиеся в советский аппарат и в ряды партии, сыграли меньшую роль, чем юридически невинные люди, своей политической беспринципностью и оппортунизмом, своим пренебрежением к силам и возможностям рабочего класса давшие тон и направление для сползания и перерождения.

Астрахань все-таки борется за восстановление своего рыбного могущества, борется успешно. Промыслы возрождаются, вывоз и транзит рыбы растут с каждым месяцем.

До вечера возня, в восемь умирает город, а через час опять живет музыкой в пивных и кабаре, шарканьем астраханских щеголей в «губернаторском» саду. В чернилах южной ночи блестят ярче огней на рейде голодные глаза женщин — персиянок, татарок, русских, — зовущих за гроши прилечь тут же, в теплой пыли, где сопят истуканы изнемогших до утра грузчиков.

— Какие газеты здесь больше идут?

— Да больше... никакие. Плохо тут летом и газеты, и журналы читают. К тому же дорого. Публика сейчас больше насчет арбузов и дынь интересуется.

И в самом деле. Столичная газета в Астрахани — гривенник (берут с надбавкой), журнал — тридцать копеек, а за три копейки продают арбузище, которым убить человека можно и насытить четверых. Впившись мокрым ртом в красную мякоть арбузятины, прильнув к душистой прохладе ананасной дыни, народонаселение отводит душу от жары и плохих рыбных дел.

И еще развлечение: провожать почтовый теплоход. Собраться толпой, висеть гроздью на перилах восьмой пристани, махать платками, кричать до хрипоты и завидовать вслед уходящему вверх по реке лучистому сонму огней.

Почтовые паро- и теплоходы, как всегда, — украшение Волги, ее мундир, главная связь на реке, носители городского европейского начала, представители цивилизации и государственности. К ним больше всего приноровлены дела и передвижение волжан, на их расписание «сделана установка» волжской жизни.

На теплоходе четыре этажа. В первом — товарный трюм и машины, во втором — палубные пассажиры, в третьем — «первый класс» и салоны, в четвертом — командование волжского дредноута. Самые важные по

количеству ценности и весу — нижние два этажа, но они больше молчат, а форс, как всегда бывает, делают два верхних этажа, «первоклассные» пассажиры фланируют и зубоскалят, помощник капитана в белых штанах кланяется пристаням и кричит: «Отдай кормовую!»

Они мало изменились, каютные пассажиры волжских кораблей. Время и бури над Россией только пригнули их к земле, умерили квалификацию, сузили пошиб. Вместо крупного купца потребляет буфетную стерлядку волжский нэпман, существо замкнутое, неболтливое и слабо выявленное. Петербургскому с бакенбардами чиновнику на Волге, в Крыму и на Кавказе наследует розовый упраздел с тонкой женой-полудевой, изнывающей от желания загореть на солнце. Генерала с белыми подусниками сменил крепкий пожилой военспец, отчетливо помнящий «мирное время», и лишь легкокрылый феникс из пепла старого мира, мотылек-актер, душка-актер, птичка-актер, герой-любовник, уцелел невредимо, орет на официанта за теплое пиво, щебечет сомлевшей астраханочке полуприличные стихи, несет околесицу о триумфах, о золотых портсигарах от камышинского наробраза, о корзинах цветов от симбирского финотдела. Да персы с грустными глазами все по-старому порочно и детски улыбаются на женскую публику. Они едут на ярмарку, везут горы сушеных фруктов, сабзы, кишмиша, урюка, кураги, чувствуют себя уверенно и только чуть-чуть беспокоятся насчет валюты:

— Персия советски деньги не ходил. Персия золото ходил. Персия доллар, фунты принимал.

— А червонцы вам годятся? Червонцы, вот такие...

— Покажи. О, такой принимал! Хороший деньга — как фунт хороший. Давай больше — все возьмем.

Узнают о посещении персидским послом Нижнего и очень довольны:

— Мы с Советскай Рассиям будем шибко торговат. Наш посоль дружбы будет делат.

Внизу же, между палубами, под жирным теплом машины, в полутьме, на двухэтажных нарах, на железном полу едет настоящая Россия, Расея, РСФСР. Перемешанная, заквашенная в трех неравных долях, еще не перебродившая, не выстоявшаяся, запыленная, в пегой пестроте. Лежат плотно сбитым зигзагом, как костяшки домино на столе, — голова в живот соседу, ноги к голове, живот к ногам соседа.

Молодой красноармеец переобувается, растягивает и мнет белые мягкие портянки, потом раздумчиво всматривается в жаркую тесноту, во всеобщее отсутствие обуви и решительно откладывает портянки в корзину.

Пожилой старообрядец, долго разглядывая во взятом у красноармейца журнале портрет бритого мужчины со сверлящим взглядом и твердым ртом, по складам читает:

— Наркоминдел Эм Эм Литвинов — это кто же будет по прежним чинам? Вроде министра, что ль?

— Дипломат советский, дедка. Важнейший спец по энтой части. Переговоры различные ведет, чтобы войны никакой не стряслось.

— Ну, дело другое. Нешто переговором войну отведешь? Война от бога, в наказание за грехи нам ниспосылается.

Рабочие-отпускники, в кружке уписывающие арбуз с хлебом, дают отпор:

— Эта, старый, брось! Бога твоего отменили. Расчет выдали и пачпорт. Чуешь? На-ко, читани «Безбожник», там все расчесали, язви их!

«Безбожник» при общем хохоте летит через головы. Старик плюется и отсаживается от места, где упал журнал.

— Татарам покажите, татарам! Ихнего попа там тоже извели.

Татарин рассматривает в «Безбожнике» муллу, долго ржет и спрашивает, где купить журнал. Рабочие торжествуют:

— Развезло татара! Еще в коммунары запишется!

На корме сушат белье, играют в карты, кормят грудью детей, ссорятся, и громадная больная женщина, молочным лицом к небу, рассказывает тихо и медленно:

— А Царев курган будет дальше, повыше Самары. Значится, как помер Стенькин товарищ, он, Стенька, велел каждому молодцу на могилку земли горстки три бросить, а народу у него была гибель, вот как бы гора и получилась. «Пускай, говорит, дружба наша как гора возвышается». Только как все большевики были, Стенька с товарищами, так они, значится, курган, чтобы уберечь его, Царевым назвали. Правительство тогдашнее обманули.

— Не худо бы теперя прозвище поменять.

— Не худо...

Теплоход режет Волгу вверх, идет отлогими песчаными берегами. До Сталинграда безусловно лучшая часть волжского пейзажа. Наименее шаблонная, наиболее характерная, наименее ценимая. Прославленные Жигули — в сущности, заурядные холмы, бледное повторение много раз уже виденного в разных местах. Здесь же — широчайшая вода под синим небом, нигде не обрывающимся, африканские пески на много километров, желтое плоскогорье низвергается вертикальными стенами ассирийских крепостей, тонкие, нежно обманчивые дюны, величие пустыни без ее тоски. И редким пятном — верблюд, калмык в китайско-готической шляпе, башни-углы буддийского хурулла, оазисы лугов. От лугов этих, когда кончается день, несет невыразимо тонким, невыразимо острым духом травы, едва приправленным теплой горечью песка, — никакой фабрике не подделать этого запаха, расправляющего грудь.

Теплоход — вне луговых ароматов, он движется независимо, прямо «вещь в себе», живет своей четырехэтажной рапсодией запахов, звуков, интересов. В салоне объявлен концерт «при участии известных артистов Бредунова и Башиловой и товарища Чудинова», отчисление в пользу водников. Зрители набили зеркальный салон, пианино сдвинуто на середину, дымно, душно. Двое из артистов оказались слепыми, а третий — местным матросом-танцором. Пианист в черных очках громит клавиатуру, маленькая женщина в белой косынке, мертво уставясь белыми глазами на лампу, поет тяжелым ртом:

Ей граф с утра фиалки присылает.
Он знает, что фиалки — вкус мадам...

Потом товарищ Чудинов пляшет русскую со стаканом воды на голове и «американскую барыню» с тремя стаканами. Публика хлопает, палубные пассажиры снизу просятся посмотреть хоть через стекло, но контролер с пробором отказал, и с горя все залегли спать.

Только один грузчик с моржовыми усами тужился попасть в концерт, и долго чей-то писарский голос язвительно упрекал его:

— Грузчик, а порядку не знаешь! Разве можно тебе в первый класс ходить?

Он не имел доводов для ответа, ушел на корму и только позже сказал очень громко, обращаясь к пустому берегу, уверенным голосом пролетария:

— Власть теперь наша, а в первый класс не пускают. Малость еще подождем, повоюем еще.

Наверху не слушали, гуляли парочки, герой-любовник курил из мундштука, уныло цедя студенистые фразы:

— Сказать вам, что мне в вас нравится? Но разве это можно выразить словами? Это можно только чувствовать.

Московская управдельша затеяла легкий флирт с персом и сама не рада. Франт в шелковой черной феске-персиде и лакированных башмаках опасно настойчив.

— Я ведь вам сказала, что нет. Нет и будет нет. Пожалуйста, оставьте.

Но Волга спит ночью, спит и днем, она все еще наполовину в невосколебленном сонном забытьи, таком безбрежном, что иногда не знаешь, то ли тормошить могучими тумаками застывшую реку, то ли на цыпочках уйти, не тревожа сонного царства.

Спускаются навстречу пароходы и баржи, но их еще мало. Ползут плоты «Средне-» и «Верхневолголеса», но скупо. Довольно часто попадаются буксиры с огромными железными наливными баржами, низко сидящими в воде. Это госпароходство тянет нефтяные грузы Азнефти.

Выше Астрахани оживляется выгрузка и нагрузка на суда. Толпами возятся разгоряченные в трудовом раже грузчики. Следовало бы работникам НОТа понаблюдать их единственный в мире метод работы, где главную долю энергии отнимают песня и матерная брань. Бочку сельдей из трюма без особой натуги молча выкатывает один человек, но тут же рядом такую же точно бочку с ревом «Дубинушки», уханьем и матерщиной тянут на веревке человек десять.

Прилаживают канат, ухватываются за него, набирают полную грудь воздуха — не для тяги, а для песни:

И-эх, дубинка, да ухнем!
Зеленая сама пойдет,
Вери, пойдет!
Идет, идет!
Вери, пойдет!
Идет, идет!

И лишь к концу песни бочка лихо вздергивается вверх. Поют до сипоты, до изнеможения, оглушая и изнуряя криком друг друга и самих себя.

Честно и лояльно, не уклоняясь от прописи чеховского учителя, Волга все впадает и впадает в Каспий-

ское море. Но разве не революция, не мы вдунем новый грандиозный смысл в медленный ход серых вод, не мы разбудим их сон, не мы заставим бурлить кровь самой большой и самой важнейшей артерии оживающего тела страны, не мы нагрузим сотнями миллионов пудов клади, обратив одичавшую степную кобылицу в степного битюга-тяжеловоза, в африканский Нил, в американскую Миссисипи?

Сюда, партия и профсоюз, сюда, ударные бригады и НОТ, и ЦИТ, и все благие затеи Москвы!

Сюда из столицы, на одичалые просторы великой реки, к мириадам заново расплодившейся рыбы, к едва расковыренным пластам мела и алебастра, к окаянной дикариной возне грузчиков, ко всем неиспробованным, неизведанным возможностям в центре России, к ненадеванным рукавицам за поясом!

1923—1928

Расспросы с участием

Вы не знаете Чепухевича? Не может этого быть. Вы, вероятно, забыли.

Вспомните: вы несли на спине тяжелый мешок. Тащить было трудно, приходилось одной рукой тянуть сверху, а другой, вывернув ее, поддерживать снизу. Вы дошагали до большой, окованной железом двери, которую трудно отворить даже свободными руками, с занятыми же руками — совершенно невозможно. И в эту самую минуту появился деловитый, общительный Чепухевич.

— А-а... наше вам, с пальцем девять, с огурцом пятнадцать! Как живете-можете?

— Здрсте.

— Что слышать, как жизнь?

— Да вот... пффф...

— Вы что это, мешочек несете? Нагрузился, хе-хе. Чистый верблюд. И не тяжело вам?

— Да... Трудновато. Будьте так добры, дверь приоткройте.

— Дверку приоткрыть — это можно. В самом деле, как вы ее откроете, если у вас руки заняты. Ногой не

очень-то откроешь. Только разве же так мешки носят! Ведь это курам на смех такая носка.

— А что?

— В наше время, милый, так мешки не таскают. Это в старину, при экстенсивном отсталом хозяйстве, при дешевой рабочей силе, при полном отсутствии каких-либо намеков на охрану труда, ибо нельзя же было считать царскую фабричную инспекцию защитником интересов трудящихся; это, говорю я, в старину можно было так хаотически, нерационально, с дико непроизводительной утечкой энергии и времени перетаскивать тяжести. Мы, милый, сейчас должны и можем работать по-иному. Да зачем общие фразы! Вы сами можете служить себе ярким примером. Вам так стоять здесь тяжело ведь?

— О-очень!

— Тяжело. А почему тяжело? Потому что вот вы мешки таскаете, а все кругом на вас плюют. Нет того, чтобы подойти, заинтересоваться, выяснить, помочь. Ну, что у вас в мешке?

— Торф.

— Резной, наливной, машинно-формовочный, гидравлический, в брикетах, в порошке?

— Машинный.

— Тэк-с, машинный. Где куплен? В Москвотопе, у частника, у кооперации?

— В кооперации.

— В кооперации, тэк-с. По мелочам покупаете или крупными заготовками?

— По мелочам.

— Почему же это по мелочам? Какой в этом смысл? Ведь если бы вы заготовляли топливо большими партиями, вы могли бы транспорт переложить на заготовляющую организацию. В крайности могли на разнице между оптовой и розничной ценой окупить тот же транспорт. Теперь скажите... гм... Мешок этот типовой или случайного размера?

— Случайный, из дому взял.

— Случайный, угу. Это и видно. Будь мешок подлиннее, вам было бы гораздо удобнее прихватить свободную часть мешка рукой. При данном же размере мешка у вас масса лишних мышечных усилий. Вы совершенно зря и бесцельно утомляетесь. Ведь вы могли бы ту же энергию использовать гораздо более выгодно для своего организма.

— Товарищ Чепухевич, откройте дверь.

— Сейчас. Я говорю — более выгодно использовать. Вы физкультурой занимаетесь? По лицу вижу, что нет. А между тем, уделив всего каких-нибудь там сорок минут в день, вы совершенно преобразитесь. Вас узнать нельзя будет!

— Товарищ Чепухевич!..

— Да, нельзя будет узнать! Ведь сколько вы теперь весите? Весите вы много, допускаю. Но что входит в ваш вес? Жир, милый мой! А должны входить мускулы!

— Това...

— Мускулы, милый человек, мускулы! Физкультура! Рационализация! Бюджет времени! Мобилизация широкого общественного мнения вокруг наболевших вопросов! Широкая разъяснительная кампания! Конкретный подход! Участие местной печати! Производственно-просветительные уголки! Механизация отдельных процессов!

У вас совершенно онемели руки, вы опустили мешок на землю, открыли дверь, придерживая ее ногой, опять взгромоздили мешок, побороли в себе жгучее желание двинуть Чепухевича по голове и шагнули вперед. Он же, преграждая вам дорогу, не спеша перешел к вопросу о возможности устройства сквозного конвейера для доставки мешка в ваш дом, при условии пролома стены и превращения дверей в окна.

Люди, работающие в соответственной области, вряд ли найдут терпение читать дальше подобный злобный пасквиль на такое важное дело, как рационализация.

Не злобный, и не пасквиль, и не на рационализацию. Не меньше многих других понимаем мы всю необозримую важность и неоспоримую необходимость рационализировать нашу промышленность, торговлю, сельское хозяйство, быт. Бороться со всеми врагами рационализации — наш общий долг.

Но среди врагов до сих пор — еще и еще! — продолжают занимать видное место Чепухевичи. Многодумные чиновники в погонах рационализаторов и с функциями дезорганизаторов.

Чепухевичи не переводятся! Они работают, рассуждают, надоедают, загаживают дорогу для настоящей, реальной жизненной рационализации. Они гораздо опаснее в роли друзей, чем в настоящем своем облике врагов.

Последняя гастроль Чепухевичей — на торфе. Работники-торфяники Московского района волками взвыли, столкнувшись с новыми ухищрениями бюрократов от рационализации.

На торфоразработки МОГЭС явились представители союза горнорабочих проверить рационализацию. Рабочие обрадовались — свои, союзовские пришли, не какие-нибудь там спецы.

Свои, явившись, расстегнулись, отфыркались, откашлялись, вытерли подледеневшие на морозе усы, полезли в портфель и преподнесли торфяникам тетрадь.

— А это что будет?

— Программа обследования. Так сказать, списочек вопросов.

В списочке — девять разделов. Пятьдесят вопросов. А что Чепухевичи считают одним вопросом, можно судить хотя бы по пункту сорок третьему:

«43. В чем выразилось участие низовых профорганизаций (общих и делегатских собраний, производственных совещаний и контрольных комиссий) в работе по рационализации:

а) На каких собраниях обсуждался план рационализации в целом и ее отдельные части, укажите важнейшие изменения плана по предложениям рабочих и были ли эти предложения проведены.

б) На каких собраниях обсуждались основные рационализаторские мероприятия кроме плана, наиболее важные предложения рабочих, были ли они приняты и проведены.

в) На каких собраниях и комиссиях обсуждались наиболее важные мероприятия в области улучшения условий труда в связи с рационализацией, какие предложения внесены рабочими и какие из них приняты и осуществлены.

г) На каких собраниях обсуждались вопросы сокращения и использования рабочей силы, предложения рабочих по этим вопросам и их осуществление».

Рационализация на торфяных разработках идет. Может быть, есть ошибки в работе. Наверняка нужна помощь. Но долго ждать этой помощи от Чепухевича. Он держит торфяника за пуговицу и нудно, без конца выспрашивает. Торфяник хмуро отбивается.

— А какова динамика удельного расхода топлива и энергии на силовых станциях?

— Такая-то.

— А какова стоимость тонны пара и киловатт-часа?

— Столько-то.

— А... гм... а... гм... а в каком объеме и по каким линиям возможно проведение дальнейшей рационализации производства? Возможны ли, скажем... ну... более или менее крупные достижения в отношении увеличения производительности труда?

— Возможны.

— Ага. А... э... скажем, н-ну... экономия, снижение себестоимости без крупных денежных затрат, это тоже возможно?

— Тоже возможно.

— Угу. А возможно ли... что я такое хотел спросить... Возможны ли... э... какие-нибудь серьезные препятствия на пути рационализации?

— Возможны.

— Более серьезные или менее серьезные?

— Более или менее серьезные.

— Угу. А... что предпринято в отношении нейтрализации и устранения вредных моментов в рационализаторских мероприятиях?

— Ничего не предпринято. Хотя кое-что следовало бы предпринять.

— Что же?

Торфяник угрюмо молчит. Чепухевич выжидательно замирает с записной книжкой в руках.

— Что же следовало бы предпринять? Для вредных-то этих моментов?

— В шею бы вас следовало погнать, чтобы не мешали работать. Для вредных-то этих моментов...

Чепухевич обиженно отворачивается. Людям добро делаешь, участие в них принимаешь, вопросы задаешь — а они тебя в шею. Э-эх, народ.

Да, Чепухевич, не понимает вас народ.

1928

Даже как-то странно

Говорят, теперь по случаю культурной революции учителя и прочие просветители будут носить шикарную форму. Обыкновенные шкрабы — малиновые рейтузы,

мундиры в талию и медные цилиндры с вензелем. Научные сотрудники, преподаватели и профессора — полосатые штаны, меховые горжетки и каски с петушиными перьями.

Всем им, а также студентам будут навешены на шею особые бляхи:

«Освобожден от бюрократизма до окончания культурной войны».

Вузовцев перестанут обкармливать тухлой рыбой. Перестанут писать о безнравственности молодежи. Начнут топить в школах, писать на классных досках мелом вместо известки и перестанут сводить детей с ума перевранными таблицами умножения.

Говорят еще всякие вещи, но не всяким же вещам можно верить. Вот, например, союз работников просвещения уверяет, будто в Калужской губернии плохо относятся к учителям. Разве же это возможно! Товарищ Костин, и не стыдно вам и вашим сотрудникам возводить этакие напраслины на калужские власти? Ах, как нехорошо.

Происходит дело в Спасо-Деменском. Есть там двое учителей второй ступени, муж и жена Максимовы. Работают пятнадцать лет.

На шестнадцатом году уездное ОНО внезапно решает: снять с работы обоих Максимовых, как не имеющих достаточной квалификации.

Почему это на пятом, на седьмом, на двенадцатом, на пятнадцатом году квалификация была, а на шестнадцатом вдруг иссякла? Да еще сразу у обоих Максимовых, и у мужа, и у жены? Непонятно.

Ну и что же, если непонятно? Не все на свете понятным может быть. Надо было снять, вот и сняли. Баба с возу — кобыле легче.

А учителя Максимовы, вместо того, чтобы подчиниться, начинают шум и хлопоты. Не понравилось им, чудакам, оставаться на шестнадцатом году работы без куска хлеба.

Уволенные преподаватели собрали отзывы о своей работе, педагогической и общественной, от всевозможных учреждений и инспектур. Упрос, губпрос и губернское ОНО нашли действия унаробраза неправильными, предложили ему исправить свою явную ошибку.

УОНО — у! Оно хитрое. Оно, УОНО, упрямое. Даже не почесалось на указания свыше, сбоку, со стороны. На-

оборот, подтвердило снятие с работы, да еще задним числом: уволило с первого сентября, уведомив об этом десятого.

Идет время, УОНО не сдается. Максимовы — тоже. Уже вопиющее дело доехало до Москвы. Уже Наркомпрос предлагает УОНО восстановить обоих учителей на работе. А Цекпрос предлагает губпросу воздействовать на упрос все о том же самом, о восстановлении неправильно уволенных.

УОНО и в ус себе не дует.

Подымает голос в защиту Максимовых «Учительская газета». Шлют новые грозные бумаги губоно, губпросу.

УОНО с вызывающим ехидством молчит.

Губпрос передает дело в суд. В суде Максимовых восстанавливают школьными работниками второй ступени, предлагая уплатить им за прогульное время. Судебный исполнитель вручает Спасо-Деменскому исполкому исполнительный лист. Ура, ура, и еще разик ура.

...Ничего подобного. УОНО — у, оно твердое. Оно, УОНО, от своего ндраву так просто не отступится. Спасо-Деменский исполком отказывается выполнить постановление суда.

Опять мечет громы и молнии «Учительская газета»: в калужских уездах не выполняются судебные приговоры! Опять в дело вмешиваются все высшие инстанции. Опять летят телеграммы, грозные приказания, запросы.

Вокруг УОНО столпились: Наркомпрос, ЦК работников просвещения, прокурор по трудовым делам при Верховном суде, губисполком. Рабкрин... Все стоят и уговаривают спасо-деменцев, наконец, подчиниться.

Не хотят спасо-деменцы. Не сдадутся так скоро. Ведь это только в переносном смысле высшее начальство столпилось вокруг начальства уездного. На самом же деле в обыденной жизни высшее начальство завалено до ушей миллионами всяких прочих дел. Некогда ему отдаться целиком, бросив все дела, защите двух учителей. Постоят, пошумят наркомы и верховные прокуроры, да и отвернутся куда-нибудь в сторону. Именно на это и рассчитывают уездные бюрократы: победит тот, у кого больше терпения. Измором надо брать! Измором! Ежели его, учителя, измором не возьмешь, он и на своем может поставить, права свои защитить!

Спасо-деменцы, укрыв голову под мышки, выдерживают общий напор. И сами со своей стороны полегонечку

переходят в наступление. Добиваются постановления кассационного отдела калужского губсуда о новом пересмотре дела, иными словами, о новой оттяжке.

Теперь-то дело замнется. Ну-ка, доставай, Наркомпрос и Верхсуд, Максимовых из новой трясины!

Как на грех, супруги-учителя оказались тоже не из последних трусов. Видно, такая уж порода крепкая спасо-деменская — что шкрабы, что исполкомщики. Максимовы решили биться дальше за свое правое дело, биться, не боясь ничего, даже нового модного бюрократического обвинения — в сутяжничестве.

Калужская РКИ, спасовав перед упрямством спасодеменцев, пошла именно по такой скользкой дорожке. Она усмотрела в деле Максимовых... элементы протекционизма свыше! И просит Москву... принять меры — не дать Наркомпросу вмешаться в уездные безобразия. Невероятно, но так.

Не всегда центр доводит дело до конца. На этот раз, по-видимому, все-таки взялся довести. Прокурор Верховного суда предложил калужскому прокурору вновь поставить максимовское дело. Новый пересмотр опять вернул Максимовым их права. Но конец ли уже это? Дело прошло пока всего только тридцать одну инстанцию. Спасо-Деменское УОНО еще не устало, оно, УОНО, еще совсем свеженькое, готово резвиться дальше.

Нет, товарищ Костин и иже с вами! Мне кажется, в калужских краях очень даже хорошо относятся к просвещенцам. Спасо-деменские вожди обожают супругов Максимовых. Они прямо-таки готовы задушить обоих учителей в своих объятиях.

Вопрос надо ставить немного иначе. Есть ли в Спасо-Деменском уезде в двадцать восьмом году советская власть?

Если есть — наглых, совершенно зарвавшихся волокитчиков надо взять за шиворот и встряхнуть покрепче, вернуть к сознанию действительности.

Если нет... Пожалуй, советская власть там все-таки есть. Калужская ведь губерния триста всего верст от Москвы!

1928

Все, как принято

— Заседание возобновляется, — сказал председательствующий, — слово для доклада о работе фракции райисполкома имеет товарищ Долотов.

Партийная конференция поудобнее уселась на стульях, кто-то цыкнул на шумевших у двери делегатов, в задних рядах делегаты приложили к ушам самодельные, из газетной бумаги, рупоры — лучше слышать.

— Интересно, как повернет! — шептались в зале.

— Тсс!

— Площадь района в его установленных границах, — начал докладчик и прокашлялся, — составляет 50 105 квадратных километров, или 5 010 500 гектаров, или 4 586 500 десятин. По своей обширности он занимает второе место в округе и составляет 33,8 процента общей площади нашего округа. По приблизительным данным, среднюю температуру зимы следует считать минус 5 градусов, лета плюс 16 градусов.

— Ишь ты, с цифр начинает! — многозначительно перемигнулись слушатели.

— Температуру вегетационного периода надо в среднем считать 13 градусов. Продолжительность его — 135 дней. По количеству осадков, исчисляемых в 400 миллиметров, наш район надо относить к сухому поясу. Вообще же большая часть района северной параллели может быть охарактеризована как область с очень волнистыми местами, с высоко поднятым над уровнем моря рельефом.

— Намек, — шепнулись в президиуме. — Определенно намекает, неизвестно только на что.

— Тут мы имеем, — с подъемом продолжал председатель исполкома, — тут мы определенно имеем большое обилие каменистых подзолистых почв, чрезвычайно развитых мховых болот и сильно заболоченных раскисленных луговых почв. Это следует подчеркнуть гораздо меньше в отношении южной части района, где почвы встречаются почти те же, но по рельефу ниже над уровнем моря, однако они менее скелетны и не так заболачиваемы.

— К чему это он? Наверное, неспроста!

— Да, уж наверно...

Докладчик, точно упомянув о том, что в районе име-

ется девять почтово-телеграфных отделений и пять радиоустановок, перешел к путям сообщения.

— Водных путей на территории района исчисляется 486 километров, трактов, подъездных путей и колесных дорог — 1198 километров, причем они распределяются следующим образом...

Тут оратор хлебнул воды и, набравши полную грудь, начал с неумолимой фактической точностью сообщать, сколько в районе есть железнодорожных станций и какая станция от какой отделена сколькими километрами. Далее товарищ Долотов подробно рассказал, сколько на реках имеется перекатов и мелей и какая глубина воды исчислялась в них по данным 1909 года. Указал далее в точных цифрах количество лесных насаждений, сколько из них приходится на хвойные и сколько на лиственные.

Конференция встревоженно загудела. Ясно было, что председатель исполкома задумал сделать грандиозный доклад и что географическая часть есть лишь скромное вступление к дальнейшему.

— Здесь, в лесах, — заливается докладчик, — встречаются козули, сохатые, изюбр, белка, лисица, горностай. Также и рысь, но редко, не говоря уже о птице.

«Сам ты птица хорошая, — уныло думали свою думу делегаты, — пока ты до дела доберешься, засохнем мы тут».

Но Долотов продвигался довольно быстро. Уже с трибуны журчали новые цифры и данные.

— В нескольких словах коснусь истории приисков на реках Джалинде, Уркане и Ольде. Впервые промыслы возникли здесь в 1866 году по инициативе инженера Абросова... Оборот Винторга равен 319 210 рублям и составляет 14 процентов к общему обороту... Овец и коз имеется 79, свиней 624.

— Пожалуй, скоро и до дела доберется!

Долотов действительно начал переходить к советскому строительству.

— Аппарат нашего исполкома подразделяется на три отделения. Общее отделение, где сосредоточена работа президиума, политпросветработа, народное образование, вопросы военные, земельные и здравоохранения. Затем — налогово-финансовое отделение и административное отделение.

Далее председатель исполкома с очевидным знанием

дела перечислил комиссии и секции, состоящие при общем и налоговом отделениях. Что же касается отделения административного, то товарищ Долотов с сожалением указал на отсутствие при нем комиссий, за исключением одной — бюро принудительных работ.

Упомянув также о том, что в сельсоветах имеются женщины, и о том, что в комитетах общественной взаимопомощи состоит 2325 членов, докладчик вытер пот со лба и начал укладывать бумаги в портфель.

В зале прошел легкий ропот. Попросили слово к порядку.

— Товарищи, я предлагаю товарищу Долотову продолжать доклад, не делая обеденного перерыва. Тогда он сможет уложиться в сегодняшний день, и уже завтра с утра мы откроем прения.

— Вы не поняли, — сказал, усмехнувшись, председасель. — Товарищ Долотов доклад свой кончил полностью и добавить больше ничего не имеет. Прошу записываться в прения по докладу.

Зал облегченно вздохнул. Упревший докладчик весело раскланивался с делегатами.

Никто не оспаривал данных председателя исполкома о расстояниях между железнодорожными станциями. Никто не критиковал рельеф местности, никто не возмущался по поводу того, что в районных лесах водятся белки, а не жирафы.

Ораторы не спорили. Они лишь дополняли. Вносили отдельные детали.

Деталь: исполком продал частникам дома, заселенные рабочими, и зимой выгнал рабочих на улицу.

Деталь: исполком получил семь тысяч бревен для дорожных мостов. Оставил их лежать без присмотра, и бревна сгорели.

Деталь: у одного исполкомовского милиционера участок тянется 250 километров по линии железной дороги. Когда милиционеру надо прогуляться по участку, он садится зайцем в поезд, из поезда его гонят в шею, и он не знает, что делать, денег на билет не отпускают.

Деталь: школьная сеть работает отвратительно, нет ни учителей, ни пособий.

Деталь: райисполком совершенно не интересуется работой сельсоветов. Председатели пьянствуют и хулиганят, граждане боятся входить в советы, чтобы их там не побили.

Деталь: исполком ничего не сделал, чтобы получить семенную ссуду для района.

Деталь: все комиссии и секции никакой работы не ведут, существуют только на бумаге.

Деталь: на селе идет ожесточеннейшая классовая борьба, дикая эксплуатация батраков, ни к чему этому исполком никакого касательства не имеет.

Деталь: когда председатель исполкома решил прочесть отчетный доклад перед железнодорожниками, клубное помещение было занято под театральную постановку. И авторитет председателя был настолько велик, что... он клуба так и не получил.

Прения кончились. Докладчик получил заключительное слово. Он с удовлетворением отметил, что выступавшие товарищи в общем не возражали по существу доклада и тем самым подтвердили правильность линии исполкома. Что касается сообщенных в прениях деталей, то, само собой, работа исполкома была не без недостатков, и это совершенно естественно, ибо не может же работа давать одни только достижения! Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Приняли резолюцию на двух страницах. В ней подчеркнуто было удовлетворительное политическое и экономическое состояние района, активное участие трудящихся в мероприятиях партии и советской власти — за вычетом частичного выступления кулацко-зажиточной части деревни, направленного к срыву этих мероприятий советской власти. Что касается работы самого исполкома, то и тут был отмечен «ряд достижений в работе комфракции» и выражено три пожелания для дальнейшей ее деятельности. Во-первых, пересмотреть состав медработников и упорядочить выписку медикаментов. Во-вторых, улучшить снабжение школ учебниками. И, в-третьих, больше обратить внимания на инструктаж в области секционной работы.

— Будут ли какие замечания по резолюции? Нет. Кто за, против, воздержался? Нет. Принято единогласно. Заседание считаю закрытым, предлагаю спеть «Интернационал».

Делегаты встали и, осторожно разминая затекшие ноги, сначала тихонько, но затем все громче, стройным хором запели.

1929

Избирали президиум, избирали почетный президиум.

Избирали мандатную комиссию, избирали редакционную комиссию. Просили избранных товарищей занять места. Занимали места. Оглашали приветствия. Пели «Интернационал». Просили в зале не курить. Делали обеденный перерыв. Обедали. Опять заседали. Слушали приветствия. Принимали подарки. Ораторы, разгоряченные, в мыле, опустошали графины. В президиум стрелой летели озабоченные записки: «будет ли кино»; «отчего у оратора зуб со свистом»; «объявите перерыв — оратор очень скучно говорит»; «я третий раз прошу слова, а вы меня затираете»; «почему не избран в почетный президиум Анри Барбус?»... Словом, сыр-дарьинская окружная партийная конференция заседала.

Тов. Ушаков, ответственный секретарь и руководитель организации, зорким оком опытного лекаря наблюдал за пульсом, температурой и общим состоянием своей паствы.

Несколько раз закоченевшие от сидения и речей делегаты взывали о закрытии прений. Сыр-дарьинский вождь делал из этих записок кораблики и окунал их в чернильницу.

— Еще пусть потреплются. Не взопрели еще. Сок из них не вышел.

— Устали все очень. Смотри, многие уже второй день на конференцию не приходят. Надо бы кончать.

— Никак нельзя. Худо-бедно, а еще день-полтора пусть помусолят.

— Так ведь потом еще с резолюциями возня!

— Ерунда, дело знакомое. Резолюцию тогда надо вынимать, когда народ в последнем издыхании. Тут еще человек двадцать совсем свежих, вот один, стерва, даже смеется. А этот яблоко грызет как ни в чем не бывало! Пусть их укачает дотошна, тогда можно и с резолюциями.

На седьмой день конференция была совсем готова. Половина делегатов позеленела от слушания речей, как от морской болезни. Другая половина нейтрально дремала или делала покупки по чимкентским магазинам.

И тогда мудрый товарищ Ушаков встал, небрежно держа на ладони толстую пачку листов.

— Товарищи! Тут вот у меня резолюции... О задачах парторганизации, о конфискации имущества у баев-полуфеодалов, ну, там и о работе окружкома... Я думаю, народ устал, вопрос ясный, так что разрешите не оглашать? А?

Конференция встрепенулась. Измолоченные делегаты хмуро переживали внутреннюю борьбу.

— Надо бы все-таки, того... прочесть. Неудобно как-то — не читая.

Ушаков игриво сощурил глаза.

— Собственно говоря, читать особенно незачем, одна формальность. Все всем известно, притом публика тут вот жалуется — очень устала. Так, может, не читать, а?

— Может, прочтем, товарищ Ушаков? Уж все равно, столько сидели — посидим еще...

— Если хотите, прочту, пожалуйста, мне что... Только уж не пеняйте, они у нас во какие!

Окружной секретарь угрожающе взмахнул стопой густо замаранной бумаги. По рядам прошла опасливая дрожь.

— Ладно, чего там; пожалуй, не стоит, Ушаков, читать.

Руководитель торопливо спрятал бумаги в портфель.

— Дело ваше, уговаривать больше не буду, не хотите читать и не надо. Считаем резолюции в основе принятыми.

— А как же с поправками быть? С дополнениями?!

— Это, пожалуйста, вносите.

— Как же вносить, если мы резолюций не слышали? Товарищ Ушаков!

На это председатель окружной конференции, уже сходя с трибуны, иронически улыбнулся:

— В газете резолюции прочтете, тогда и присылайте поправки — по почте. У нас ведь демократия!

В зале испуганно захихикали.

По справедливости вовсе не следует обращать все громы и молнии и скорпионы на голову одного сырдарьинского окружного секретаря.

По Сеньке и шапка, по сенькиной матери и кафтан. Попробовал бы Ушаков устраивать свои фокусы в другой организации. Наломали бы бока.

А в сыр-дарьинской — прошло.

Почему?

Казахский краевой комитет, прослышав о том, что у нас показано выше, созвал новую, чрезвычайную партийную конференцию, заставив тех же делегатов, в том же составе, но по-настоящему, без халтуры, обсудить свои дела.

И тогда выяснились веселые дела.

Тогда рассказано было, что в некоторых районах введены любопытные дополнения к нашему партийному уставу. В партию принимаются только сыновья баев, торговцев, да и то не моложе тридцати лет.

В других районах бай (полупомещик) приглашает к себе закусить весь партийный актив, и актив является и смирненько ест из баевых рук.

В третьем месте совет при обсуждении всех дел вызывает баев и муллу для консультации. Вместо Госплана — Магомет-план!

В четвертом месте совет предлагает мулле совершить молебствие по случаю открытия партийного собрания...

А в общем выяснилось, что в райкомах, в советских органах, в ячейках Сыр-дарьинского округа густо сидят просто жулики, настоящие мошенники, подлинные воры, прямые разбойники и что с этим добром партия должна пойти на перевыборы советов.

Партия готовится к чистке. Подход к ней — осторожный, спокойный, без излишней торопливости.

Самая чистка пройдет последовательно в разных частях Союза. Но такую организацию, как сыр-дарьинская, можно было долго не держать в ожидании. Товарищи, пропустите сыр-дарьинцев вне очереди. Им очень нужно!

1929

Условия Берестова

Инженеры не сходят с порядка дня.

Всесоюзный съезд инженеров и техников прошел с большим подъездом и блеском. На партийной конференции говорили об инженерно-технической силе, ее считали одним из важнейших устоев пятилетки. На той же конференции выступали Вавилов и Тулайков, инженеры полей, беспартийные ученые-агрономы. Встретили отличный прием.

Инженер по-прежнему в центре внимания — дружественного и доверительного.

Белорусский деревообделочный трест «Лесбел» не хуже других. Ему тоже нужны инженеры. Трест искал специалиста и нашел его в лице московского инженера Берестова.

В ответ на предложение «Лесбела» инженер Берестов прислал письмо:

«Являясь широким специалистом-производственником, настоящим сообщаю, что я могу принять на себя организационную, контрольную и отчетную техническо-хозяйственную работу на заводах треста с полной ответственностью за положительные достижения...»

— Можете принять, очень хорошо.

«На следующих условиях»...

— Пожалуйста.

«1) По должности технического руководителя комбината с производством текущего и капитального ремонта существующих оборудований и зданий: а) наличие готовой квартиры в непосредственной близости к заводу; б) оплата труда — 300 рублей в месяц за основное производство и по 50 рублей за каждое подсобное; в) капитальные новостройки и дооборудование тех же производств оплачиваются дополнительно в размере 2 процентов от сметы; г) тантьемы за достижения по нормам треста».

Условия не то чтобы очень уж робкие. Для Минска это даже весьма и весьма. Правда, инженер Берестов предлагает другой вариант условий, но и они мало меняют дело:

«По должности строителя в г. Гомеле ввиду существующих в настоящее время условий работы по оборудованию заводов, требующих особого напряжения и большой ответственности: а) наличие помощника по политической части, закончившего политкурсы (администратор работ), с начала подготовительного периода; б) процент на технадзор не ограничивается определенной суммой и расход производится в размере действительной надобности по моему решению; в) время окончания подготовительного периода и начала работ определяется мною; г) полное содействие местных властей, обеспеченное моей ответственной работой в г. Гомеле в 1920 году; д) оплата труда — 800 рублей в месяц».

Не станем вмешиваться в тарифные дела белорусских трестов. Если есть расчет платить ценным специалистам хоть пять тысяч в месяц, пусть платят.

Однако инженер Берестов на этом не унимается. У него есть еще третий пункт, и в нем тоже четыре литеры:

«а) четкое персональное подчинение по техническим вопросам производственно-техническим отделам треста; б) наличие узких специалистов по моему усмотрению; в) опровержение каждой неправильной статьи в газетах, касающейся работ, оплачивается в размере 25 рублей. Время состояния под судом с оправдательным приговором оплачивается как работа; г) жалование считается со дня выезда к месту службы. Переезд двух членов семьи с 25 пудами багажа из города Ленинграда и самого работника из г. Москвы с суточными оплачивается трестом».

Вовсе не следует подымать крик по поводу условий московского инженера и удивленно возмущаться. Человек он не сумасшедший, а вполне нормальный и рассуждает по-своему тоже вполне нормально.

— Время теперь горячее, — полагает гражданин Берестов, — время такое, что без неприятностей никакой работы вести нельзя. Угодишь тресту — не угодишь профсоюзу; угодишь Рабкрину — не угодишь рабкору. Человек я честный, а запутаться и попасть под суд даже без всякой вины очень даже могу. За такие треволнения, за риск и за ответственность — нисколько не много будет спросить себе восемьсот рублей, с казенной квартирой и с прочим.

С Берестовым можно не согласиться. Можно спросить его:

— В чем же ваша ответственность? И в чем напряжение? Ведь технический персонал в помощь себе вы, гражданин Берестов, по вашему договору можете приглашать в любом размере. Ведь политический помощник будет ограждать вас от всяких контрольных и трудовых органов. Сами эти органы, согласно литере «г» вашего второго пункта, обязуются ни в чем вам не перечить и лишь почтительно оказывать вам полное содействие. Наконец неограниченный, оговоренный вами подготовительный период страхует вас от всяких необдуманных шагов во время самой постройки. Со всех сторон обложились вы мягкими предохранительными по-

душками и гарантиями, во всем вы избавили себя от всякого риска. В чем же ценность вашего инженерного авторитета? За что же платить вам сверхставку?!

На это инженер, нимало не смутившись, сейчас же ответит:

— Ну, знаете, гарантии... Знаем мы эти гарантии. Чуть что будет неладно — измерзавят тебя в газетах, посадят за решетку, а уж потом доказывай, что ты не верблюд. Опыт, друзья мои! Трезвый учет обстоятельств!

Такой ответ огорчит нас по-человечеству. Со вздохом мы скажем:

— А у нас, партийцев, вы думаете, гарантии есть? Только попробуйте напутать в работе — сейчас же начнут глушить тебя по темени тот же профсоюз, и тот же Рабкрин, и те же рабкоры. С работы снимут, под суд отдадут. Почему же мы, партийцы, не просим никаких гарантий?

На эти простодушные слова инженер Берестов уже рассердится. Побагровев, он воскликнет:

— Ваше дело, ваше дело! Вы люди идейные, вы соль земли, вы весь мир переворачиваете, всем хозяйством заправляете, вот вы будьте любезны и разделываться. Командуйте, говорите речи, делайте что хотите. Я человек вне политики, семейный, вперед не лезу, ни на что не претендую — так будьте же любезны хотя бы оплатить прилично мой труд и мои знания!

Вот это будет самый важный довод инженера Берестова. Самый важный, самый правдивый и самый на его устах правильный.

Нам нечего было бы ответить на последний довод старого инженера. Но очень кстати подоспел другой старый инженер. В заключительном слове на партийной конференции товарищ Кржижановский сказал:

— К концу пятилетки нам нужно иметь пятьдесят тысяч инженеров. Продукция вузов будет поднята так, что она даст нам недостающих тридцать четыре тысячи инженеров.

Вот в чем соль, гражданин Берестов. Вот в чем ответ. Тридцать четыре тысячи новых. Вы слышали?

Вы улыбаетесь на это. Вы знаете себе цену.

— Пусть-ка попробуют эти молодые тягаться со стариком! Понатужатся и лопнут. Кишка тонка!

Это, конечно, верно. Но не так уж страшно. Неужели на тридцать четыре тысячи молодых инженеров не

найдется хоть несколько сотен выдающихся работников, которые нагонят квалификацию Берестовых? Найдутся! Не может быть, чтоб не нашлись. А если квалификация новых будет отставать, то и ваша, инженер Берестов, квалификация в очень важной части отстает от многих ваших собратьев, и старых и молодых.

Смелость, умение дерзать и отвечать всегда, во всех странах были неотъемлемым признаком выдающегося инженера. У Вавилова крепки связи с советской общественностью, у Берестова они порваны. Вавилов чувствует себя дома, он рискует на все и отвечает за все. Берестов не смеет ничего, он не отвечает ни за что, он только усиленно требует дипломатической неприкосновенности на работе. А если так, грош цена познаниям Берестова. Мы уважаем старых инженеров, предпочитаем их молодежи — если только они инженеры, а не безличные чиновники с молоточками на фуражках. Новорожденные тридцать четыре тысячи пойдут не в Берестова, а в Вавилова. Чувствуя себя не чужими, а своими, смелые, а потому и сильные, они будут настоящими инженерами, достойными командирами социалистического производства.

1929

Те, кто угощает

Я близко знаю одного поистине счастливого, с антиалкогольной точки зрения, человека.

Человек этот не таит в себе громокипящего гнева против пьяниц. Он не считает пьющих людей исчадием ада. Он не уходит демонстративно из-за стола, если увидит на нем бутылки вина и графинчики водки. Он не покрывает своим негодующим рыком подымаемые в его присутствии тосты. Он сам, может быть, не прочь выпить в хорошей компании с хорошими людьми. Но...

Но он не пьет.

Вы думаете, врачи?

Нет, врачи не запрещали моему человеку потребление алкоголя. По той простой причине, что он к врачам не ходит. Человек мой вполне здоров.

Человек не может пить. Ему противно.

Какое-то особое устройство вкусовых центров. Какое-то механическое сопротивление организма. Идиосинкразия — называют врачи это явление.

От капли алкоголя мутит — даже когда она не в желудке, а на языке. Не то, что противно выпить рюмку водки — неприятно даже съесть шоколадную конфету с ромом. Спиртовой привкус убивает удовольствие даже от легких виноградных вин — тех, что кажутся такими приятными и безобидными на вид.

Человек садится вместе с друзьями за накрытый стол. Он оживлен, у него хороший аппетит. Ему предлагают выпить — отказывается. Еще раз предлагают — еще отказывается.

Пьют без него. Веселеют. Человек веселеет вместе с компанией, хотя не пил. Его только всегда удивляет: как они могут все это пить? Неужели не противно? Ведь это все равно что касторка!

Бутылки с разноцветными этикетками, и в них касторка. Графинчик, и в нем касторка. Еще — большая чаша, и в ней в касторке плавают куски льда, ломтики апельсина. Касторка со льдом и фруктами — это крюшон. Такая вкусная вещь — ломтики апельсина; но в касторке — это противно. Если очень хочется апельсина — человек вылавливает из чаши ломтик плода, дает ему обсохнуть и съедает.

Человека, которому противно пить, можно поистине считать счастливым. Но это имеет и кое-какие обратные стороны. Главное — это пререкание с окружающими.

— Да выпейте немножко, будет вам ломаться!

— Уверяю вас, не могу. Рад бы, честное слово. Но не могу.

— Врач запретил? Да бросьте вы, батенька! Вот тоже врач сидит — он вам разрешает. Сам, видите, как хлещет.

Врач, запихивая в рот кильку с хлебом, беззвучно кивает и глазами одобряет. Перед ним самим ассортимент всяких рюмок.

Человеку, который физически не может пить, — и ему иногда приходится, чтобы прекратить приставание, поднести стакан к губам, дотронуться до вина и, не глотнув, поставить на место.

А что делать в таких случаях тому, кто не испытывает врожденного отвращения к вину? Тому, кто только принципиально против алкоголя, но органически приемлет и даже тянется к нему?



Любите природу,
дорогие товарищи,
и она
отплатит вам сторицей!

Ваше начальство, посетив вас и будучи угощено хорошей охотой, переживет в вашем обществе такие минуты, после которых всякое понижение вас по службе будет казаться ему диким нарушением здравого смысла и товарищеской солидарности.

Пример одного из уральских металлурги-ческих трестов говорит о том, как много может сделать



Медвежьи услуги (1926)

Такой человек, конечно, беззащитен. Придя в гости к товарищам с самыми трезвыми намерениями, он, поддаваясь уговорам, пьет. И еще пьет. И напивается. И часто сам превращается в пьяницу, который пропагандирует других.

Одинокое пьянство распространено. Но это все же редкое явление рядом с основным видом потребления алкоголя — компанейским.

Пьяный коллективизм, взаимная алкогольная пропаганда — вот что самое отвратительное и опасное в вине! На самую интересную беседу трудно собрать даже близких людей. А для выпивки объединяются самые далекие. Классово чуждые. Разноязычные. И агитируют друг друга — знаками, жестами, восклицаниями!

Как ни далеко пойдет агитация антиалкогольная — она будет слаба, пока не будет нанесен серьезный удар агитации встречной, алкогольной. Мало агитировать за революцию — надо бить контрреволюцию.

Короче говоря — нам надо создать новую традицию, новую моральную этическую норму, согласно которой подговаривание на выпивку, индивидуальная агитация соседа, друга за рюмочку — общественно осуждались бы и карались сильнее, чем самое запойное пьянство.

Если алкоголизм — болезнь, как можно равнодушно относиться к активным распространителям ее и обращать свой гнев только на зараженных?!

Надо покончить с симпатичной разновидностью «хорошего человека», который угощает водкой своих знакомых налево и направо. За «хорошим человеком» спрятан либо карьерист, спаивающий нужных ему людей, либо опустившийся, которому тоскливо гибнуть одному в вонючей спиртовой луже... О женщине, бескорыстно, но слишком часто дарящей свою благосклонность мужчинам, холодно и враждебно говорят: «проститутка». Почему о милом хозяине, у которого вечно валяются под столом пьяные гости, не говорят в сто раз более враждебно: «кабатчик! притоносодержатель! шинкарь!»?

Новую сильную ветвь должно теперь пустить антиалкогольное движение. Нужно объявить священную войну всем, даже мелким, индивидуальным бытовым агитаторам за водку и вино, всем этим тароватым и веселым угощателям.

Объявить их поведение аморальным!

Преследовать их, беспартийных — в общественном, профессиональном, корпоративном порядке, партийных — по контрольным комиссиям.

Перейти на них в наступление. Запугать, обезоружить, обезвредить!

1930

Очень злая прореха

Так всегда бывает в жизни — он и она расходятся не сразу.

Пусть разрыв всегда кажется неожиданным. Пусть чудится, будто близость нарушена внезапно. На самом деле это не так.

На самом деле он и она уже давно незаметно отходят друг от друга, отодвигаемые равномерной, но неумолимой сутолокой будней.

В непроходимой житейской слякоти, в ледяном ненастье ослабевают тесные узы, сковывавшие его и ее. И тихо, безмолвно между ними что-то встанет.

Что именно встанет?

Очень часто — нечто постороннее. Если угодно — грубая «третья сила».

А иногда встает просто мертвая, холодная пустота. И встает она, и врывается только потому, что где-то внутри порвались невидимые нити, что ослабели те скрепы, какими были некогда соединены впервые увидевшие друг друга он и она. Если только скрепы и нити надорвались, тогда уж ничто, ничто не в силах помешать этому непреклонно идущему разрыву...

Кто она?

Подметка.

Кто он?

Ну, ясно же, кто. Сапог, конечно.

Скажите, пожалуйста, чего стоит близость сапога с подметкой, ежели эти самые невидимые нити или дратва уже порвалась, а деревянные шпильки, хотя бы в одном месте, повылетали!

Вы ответите, что теперь механическая обувь шьется большей частью проволокой.

Ну, а проволока, какая ей цена, если после первых дождей она начинает ржаветь, перегорать или так въедается в слабую подошву, что проходит сквозь нее, и дальше уж подошва сама по себе, а сапог с проволокой сам по себе!

Вы скажете, что можно носить резиновые подошвы, что с ними ничего не случается.

Как же ничего не случается! Резиновая подошва, она, правда, держится долго. Зато уж если один раз отдерется, — тогда прощай весь сапог. Шина резиновая — это дело. А на подошве резиновой далеко не уедешь.

Тут вы скажете, что вообще не желаете разговаривать о подметках и сапогах, да еще в таком дурацко-лирическом тоне. На повестке дня — пятилетка в четыре года, колхозы и совхозы, промфинплан, — стоит ли тут распространяться на подметочно-каблуковые темы!

Нет уж, извините. Распространиться придется. Сто миллионов рабочих и крестьян прилежно строят социализм. Но вовсе не было такого уговора, чтобы непременно строить босиком. Он, социализм, от этого лучше не станет.

В 1926—1927 году наша государственная промышленность изготовила 15 миллионов пар обуви. В следующем году — 23 миллиона пар. В 1928—1929 году — 39 миллионов пар. В 1930 году (по плану) — 62 миллиона пар. 1930—1931 год должен дать нам около 100 миллионов пар обуви.

Как видите, по части производства сапог мы растем достаточно быстро. Но мы не сразу добираемся до одной пары обуви в год на человека в среднем. До Америки еще тоже далековато. Там в среднем на человека приходится три пары обуви в год.

Впрочем, эти средние цифры мало что объясняют. Американец, купивший три пары сапог в год, сбрасывает их в таком виде, что после него можно бы два года носить.

У нас же добрая треть, а то и больше народу ходит в лапотках. А с другой стороны, люди, нисколько на миллиардеров не похожие, заменяют башмаки через месяц после покупки.

Отчего так? От роскошной жизни?

Нет, не от роскошной. А оттого, что сапоги у нас часто, простите, дерьмо. «Он и она», связанные невидимыми нитями, в житейской слякоти быстро разлучаются.

И она, то есть подметка, быстро идет ко всем чертям, потому что она — картонная. А он, то есть сапог, как принято выражаться, просит каши. Вот тебе и лирика.

Но мы сейчас не об улучшении качественных показателей в обувной промышленности. Об этом в другой раз и в другом месте. Важно сейчас другое.

Плохо то, что, если даже наше производство обуви будет идти семимильными шагами и догонять Америку, — этим еще ничего не будет сделано. Ибо мало уметь делать хорошую обувь. Надо уметь хорошо и быстро ее починить. К плохой обуви это относится втройне.

Если уж говорить об Америке, то там даже состоятельные классы не брезгуют чинить сапоги. Одна только обувно-починочная промышленность имеет годовой оборот в 300 миллионов долларов. Починочные мастерские иногда вырастают в большие фабрики по нескольку сот рабочих, со специально приспособленными машинами.

Американская починочная промышленность потратила немало сил и средств на одну только пропаганду. Выработался тип бойкой мастерской на перекрестке улиц с зазывающими вывесками и всяческими удобствами для клиентов. Починку здесь производят в пятнадцать — двадцать минут, причем и за этот срок посетителя не оставляют томиться. Ему продают мороженое, прохладительные напитки, журналы. При некоторых мастерских бывают даже маленькие почтовые отделения. Все ради того, чтобы затащить клиента, сделать для него починку.

У нас, как известно, агитировать за починку сапог не приходится. Рабочий часто тратит весь свой выходной день на то, чтобы высунув язык бегать по городу, ища, в какую бы ему клинику отнести раненые подметки.

Рабочий волком воет над своими порванными подметками. Мы делали вид, будто что-то предпринимаем в мировом масштабе по части починок. На самом же деле ковырнули и отошли прочь.

Начали обобществлять починочное дело. Очень хорошо. Очень почтенно. Но и тут ухитрились впасть в головокружение, да еще в какое! Головокружение особенно глупое, потому что ему не предшествовали никакие заметные успехи.

Обобществленный сектор, промысловая кооперация, трудколлективы должны были, по данным Кожсиндика-

та, развернуть починочных мастерских на 40 миллионов пар обуви, да и то только по городу и по городским поселениям. Это — при общегодовой потребности починки в 110 миллионов пар! Совхозы и колхозы остаются без крупных починочных мастерских, а мелкие кустари-сапожники не получают сапожного материала для починок.

Да и в самом обобществленном секторе — не работа, а сплошная мука. Прямо страшно становится, и сколько у нас иногда ухитряются нагородить волокиты, бюрократизма, издевательства и прямого хамства в таком ничтожном деле, как починка пары сапог для рабочего человека.

В Ленинграде плотник топором прорвал сапог. Понес в мастерскую промкооперации положить заплатку. Цена заплатки — пятиалтынный.

При приемке предлагают — не поставить ли и подметки.

— Ладно, ставьте и подметки. Когда будет готово?

— Через неделю.

Пришел через неделю. Не готово; дали другой срок. Пришел в третий раз. Опять не готово. Опять отложили. Опять пришел. Еще, еще раз.

Наконец выдают сапоги. Подметки поставили. А заплаты — нет.

— Где же заплатка?

Ничего не знают. Не хотят разговаривать. Плотник скандалит. Тогда заведующий находит великодушное решение:

— Получайте пятиалтынный и убирайтесь вон!

Плотник оказался дотошный, он раздобыл рабочую бригаду. С криками и скандалами поставили заплату. Всего и делов было на несколько минут, а возни, ходьбы и разговоров — на целый месяц.

Разве станет после этого бережливый плотник относить обувь для заплатки? Он и сам дорогу забудет и другим закажет. Будет таскать сапоги, пока они не развалятся в куски, потом купит другие. Хорошо еще, если будет, на что купить.

Миллионы, десятки миллионов таких же плотников, и каменщиков, и металлистов часто ходят злые из-за проклятой подметочной канители. Починка сапог — это не пустой, а важный рабочий вопрос. Рабочий, значит партийный. Надо нашим партийным организациям вме-

сте с Кожсиндикатом, с Центросоюзом, с Колхозцентром собраться, внимательно рассмотреть сапожную прореху и зашить ее наглухо, раз навсегда.

1930

Куриная слепота

Совершенно секретно.

Госплан СССР.

Экономическо-статистический сектор.

Заместителю председателя сельскохозяйственной секции т. Н. М. Лишевскому.

Уважаемый товарищ!

Мною получена копия вашей важной и срочной телеграфной директивы. Она, директива, касается переписи скота в колхозах и единоличных хозяйствах на территории всего Союза. И согласно ей, директиве, при переписи предлагается производить совместно с учетом крупного и мелкого, рогатого и прочего скота также учет кур.

По этому поводу у меня, товарищ Лишевский, имеется ряд вопросов и неясностей, которые я прошу вас в том же срочном порядке разрешить.

Прежде всего. Видели вы, товарищ Лишевский, когда-нибудь курицу?

Мы говорим, конечно, о курице в живом виде. Ибо в разных других видах она вам несомненно попадалась.

Вы, наверно, имели перед собой курицу, жаренную в масле с сухарями и вареную сюпрем с рисом; и паровых цыплят с грибной подливкой; и куриный паштет с тушеными шампиньонами; и луковичный соус из курицы с мелко нарезанным, обжаренным в русском масле картофелем; и чахохбили из крупных цыплят с помидорами и растертыми желтками, и, наконец, простые паровые куриные котлеты с петрушкой и морковью.

Но обыкновенную, живую крестьянскую курицу видели вы когда-нибудь, товарищ Лишевский?

Если в самом деле имели случай видеть и наблюдать — не приходили вам в голову соображения о необычайной трудности учета кур, этих малокультурных и в то же время весьма быстроходных животных? По наблюдениям ученых (видимо, неизвестных в статсекторе Гос-

плана), названные животные из отряда куриных (Alectoridorithes) при быстром приближении людей, будь то даже статистики, обращаются в бегство, оглашая воздух так называемым кудахтаньем (особый вид звука) и не давая возможности угнаться за собой.

На мой вопрос вы ответите, что, хотя курицу в живом виде вы однажды наблюдали, но вообще-то кур изучать вы не обязаны, что на то есть Птицеводсоюз, который, кстати, и просил вас двадцать пятого февраля (за подписью т. Носова) произвести куриную перепись в его интересах.

Но тогда возникает мой второй вопрос, столь же жгучий, как первый. Вы-то сами, ответственный работник Госплана, как полагаете: действительно является столь целесообразной всесоюзная курячья перепись 1930 года?

Возможно, вы не станете даже отвечать на такой наивный, особенно со статистической точки зрения вопрос. Вы холодно улыбнетесь и только напомните зарвавшемуся вопрошателю слова Ленина:

— Социализм — это учет.

Конечно, поскольку социализм — это учет, а мы становимся все ближе к социализму и у нас крепнут с каждым днем социалистические элементы, постольку должны расти и объекты учета. На данной стадии развития можно приступить к переписи кур, на следующем этапе взять на учет всех сохранившихся на свободе, в колхозах и в индивидуальном секторе, вшей. А там, у самых врат социализма, переписать и все волосы — как на голове, так и на других частях тела — как мужского, так и женского населения.

Именно так развиваете и проводите вы в жизнь ленинскую мысль. Не находите ли вы сами этот подход немного... ну, куриным, что ли?

И потом — почему усиление учета именно в птичьем направлении? Нам кажется, сам Ленин, видя такое странное продвижение своих слов, предпочел бы переписи кур спешную перепись некоторых видов людей — головотяпов, бюрократов, бездушных чиновников, со специальным назначением такого учета. Кстати, вы нигде на учете не состоите, товарищ Лишевский?

На это, я знаю, вы возмущенно ответите целым потоком доводов специального порядка.

Я услышу: «Недопустимое невежество»... «Напряженный куриный баланс Союза!!»... «Недооценка куропроиз-

водительных ресурсов пятилетки!!»... «Проблема птичье-пуховой гегемонии на мировом цыплячьем рынке!!»... «Аккумуляция петушиной энергетики районов и областей!!»... «Избыточно-товарный комплекс куриного помета!!»...

Комплексом вы меня, товарищ Лишевский, перекроете. Я не знаю, что такое комплекс. Это слово, если и имело когда-нибудь некоторый отвлеченный смысл, теперь, от нескончаемого повторения на заседаниях, и особенно в Госплане, потеряло его навсегда. Комплексом называют что угодно, а чаще всего — ничего. На комплекс возразить нельзя. Услыша комплекс, я умолкаю. Сдаюсь на милость победителя. И на прощанье задам только один вопрос.

Ну, хорошо, куриная перепись необходима, как воздух, она ведет нас прямо к социализму.

Верите ли вы также, товарищ Лишевский, что она своевременна?

Вы и на это, конечно, раскричитесь кучей терминов и лозунгов. «Разбазаривание мясного фонда! Укрыватели частной собственности! Утечка обобществленного сектора!»

Тише, товарищ Лишевский. Я все это знаю. А знаете ли вы, что происходит за дверями вашего госплановского кабинета?

Знаете ли вы — ну, хотя бы из газет—о перегибах при коллективизации, об извращениях, о раздражении середняка и даже бедняка придирками не в меру ретивых администраторов к его более чем скромному домашнему имуществу?

Знаете ли вы, что вся страна с величайшим напряжением готовится к севу, который будет решающим для закрепления всех наших исполинских успехов в деревне?

Знаете ли вы все это? Неужели не знаете?

А если знаете — как вы смеете соваться в деревню к севу с вашей идиотской куриной переписью? Ведь вашего переписчика местные организации, не говоря уже о крестьянах, самого, как курицу, прогонят палками! И это еще будет дружеский прием. Может быть хуже!

Вас и это не трогает? Вам и на это наплевать? Вам вынь да подай в кабинет общую цифру куриного стада СССР, чего бы это ни стоило?

Ну, тогда я скажу просто: при таких директивах ваше собственное дальнейшее пребывание в кабинете стано-

вится проблематичным. Кабинет ваш — тово. На курьих ножках!

Ведь вот хорошо — я пишу вам строго по секрету. А вдруг предадут эту штуку огласке? Вдруг попадет ваша директива в газеты? Да еще в центральные! В самое «Правду» попадет!! И пропишут вам, рабу божьему, всесоюзно!

Ужас только подумать. Засмеют, проходу не дадут...

Нет, товарищ Лишевский, давайте без споров, а просто послушайте бывалого человека. Немедленно, по телеграфу, отмените насчет курей.

Преданный вам,
с курино-статистическим приветом

Михаил Кольцов

1930

Акробаты кстати

Весьма приятное зрелище, когда в цирке клоун Виталий Лазаренко прыгает сразу через десять рядом поставленных лошадей.

Оркестр прекращает марш и трепетно замирает. Публика перестает лузгать семечки и тоже сладостно замирает. Шталмейстеры в ливреях профессионально замирают. Артист замирает, делает короткий разбег, затем швырк в высоту, кувырк в воздухе, мягкий бросок на арену — и тут сразу всеобщее торжество. Музыка грохочет туш, литавры гремят битым стеклом, аплодисменты бушуют, шталмейстеры маршируют туда и назад, провожая прыгуна, растроганного одобрением публики.

Все это, в общем, хорошо известно. Но нас в этих случаях почему-то занимал один совершенно посторонний и безответный вопрос:

Что обо всем этом думают лошади?.. Вот эти самые, которых привлекли для совершения странной, непонятной, загадочной для них операции?

Вероятно, размышления у лошадей по поводу циркового трюка самые неопределенные. Ненастные, чеховские размышления.

«Вот, — вяло думают лошади, — уже половина одиннадцатого, сейчас нас опять, как вчера, поведут на арену.

Выстроят нас во фронт, десять человек лошадей. Почему десять — неизвестно. Зачем этот странный, в широких лиловых штанах, будет через нас лететь, и только перепрыгнет через нас — уже ведут в конюшню. Что это все значит, какой в этом смысл и, главное, какая в этом для нас, лошадей, польза — нам, лошадям, этого своим умом не объять...»

Думают ли лошади именно так?

Неизвестно.

Возможно, что лошади ничего не думают. Ведь они все-таки лошади... Но и в мире людей иногда попадаются явления, подобные описанным нами у лошадей.

В Москве развертывается с каждым днем все большее строительство. Промышленное, коммунальное, жилищное. Центр города и особенно окраины зарастают новыми многоэтажными громадами.

У приезжих, у иностранцев шапка валится с головы перед советскими небоскребами.

По заказу Главвтуза организация по имени «Стальстрой» сооружает громадное здание — общежитие для пятнадцати тысяч студентов.

Здание будет сногсшибательное. Да и назначение его весьма важное. Студенты — это кадры. Кадры — это промышленность. Промышленность — это пятилетка. Пятилетка — это социализм. Можно ли что-нибудь пожалеть для социализма? Постройка студенческого дома снабжалась всеми материалами наравне с важнейшими промышленными строительствами.

Жалеть материалов не жалели. Но с некоторой поры стали недоуменно переглядываться и перешептываться.

— Что за чертовщина? Куда девалось все сортовое железо? Куда его так много уплывает?

— Да, собственно говоря... Его очень много на студенческое общежитие уходит.

— Общежитие — это вещь важная. Но разве... оно все из железа строится?

— Трудно сказать. Не совсем. Вот еще цементу они взяли сто одиннадцать тысяч бочек. И балками не брезгуют. Вообще себя не обижают.

— Зато уж дом — картинка. Посмотреть — и умереть. Там одно окно по фасаду, так можете себе представить — неизвестно, где оно начинается и где кончается. Чудеса архитектуры! Смачный революционный архитектурно-строительный плевок в лицо отжившему старому миру!

Действительно, новизна в облике новых студенческих общежитий не поддается никакому сомнению. И действительно, ленточное сплошное окно по всему фасаду дома поражает смелостью архитектора. Окно перерезает длиннейшую наружную стену от одного конца к другому, и вся верхняя часть стены как бы висит в воздухе. Архитектор, проектировавший дом, утер нос всей истории архитектуры, от Каина до наших дней.

Красивая революционная дерзость инженеров из «Стальстроя» и особенно связанная с ней небывалая утечка остродефицитных строительных материалов не могли не вызвать жгучего интереса соответствующих органов.

Органы пришли, разобрались — и растрогались до слез.

Как тут не растрогаться? Инженер Валуев, воздвигающий студенческий дом, действительно утер нос своим живым и покойным собратьям архитекторам. Но для утирания понадобился железобетонный платок. Чудовищной величины и стоимости.

Наружная стена не как бы, а на самом деле висит в воздухе.

Поэтому она, наружная стена, само собой, не может нести никакой нагрузки, а сама через сложнейшую систему двухтавровых балок опирается на внутренние поперечные столбы.

И поэтому внутренние стены превратились в капитальные.

И поэтому кладка внутренних стен делается на цементном растворе, а внешних стен — на смешанном растворе.

И поэтому перекрытия сделаны самых разнообразных, перемешанных между собой видов: железобетонные, из деревянных бревен, из досок на ребре, из железных балок, из чего угодно.

И поэтому соединить все эти перекрытия между собой — невероятно путаная штука, которая никак не получается.

Чтобы показать смелость архитектурных форм, авторы студенческого дома перехлестнули все самые высокие нормы потребления остродефицитных материалов, существующие даже в промышленном строительстве. По балкам превышение самых высоких норм составляет 122 процента. По цементу — 218 процентов. А по самому

кризисному материалу, по сортовому железу, гениальные зодчие хватанули 780 — почти 800 процентов.

И только по кирпичу не дотянули гениальные зодчие до нормы. Кирпич у них использован только на 74 процента. Но какой же элегантный архитектор станет строить теперь из кирпича? Ведь это, фи, как старомодно! Железо и бетончик, бетончик и стекло, стекло и железо, а кругом оборочки и кружевца из стали — только так принято сейчас одевать дома и выпускать их в свет.

Инженеры, хозяйственники, производители работ, секретари ячеек, ударные бригады по борьбе с потерями целые дни высунув язык бегают по городу; ищут, где бы выцарапать десяток бочек цемента, полдюжины двухтавровых балок. Они часто пробегают мимо грандиозной стройки, мимо целого леса из стали и железа. Но сюда они и не заглядывают. Робеют. По всему видать, здесь создается какой-то неслыханный гигант тяжелой промышленности.

А на самом деле здесь строится студенческое общежитие, и модные архитекторы, тужась утереть кому-то нос, мучаются, перекладывая вес наружной стены на внутреннюю и кидая в глотку своей затее чудовищные порции железа и цемента.

Инженер Валуев, будучи запрошен о своих чрезмерных не по времени роскошных архитектурных аппетитах, презрительно отослал вопрошавших к утопическим трудам товарища Сарсовича.

Впрочем, архитектор Валуев и сам снизошел до объяснений своей чреватой деятельности. В журнале «Красное студенчество» он поместил статью, излагавшую его проект общежития. Статья имеет скромный, но недвусмысленный заголовок:

«Прыжок в социализм».

Вот именно — прыжок. И даже не прыжок, а полное сальто-мортале.

«Та кличка, которая во всех почти случаях принята как бранная для молодняка — фантазеры, — сегодня звучит иначе. Без фантазии нельзя себе представить то, чего еще не было, тот желанный строй и его материальное оформление, ради которого немало людей отдали свои жизни...»

«После пробуждающего звонка студент, одетый в простую холщовую пижаму, спускается для принятия гимнастической зарядки в зал физкультуры... Закрытая ноч-

ная кабина подвергается, начиная с этого времени, энергичному продуванию в течение всего дня. Вход в нее до наступления ночи запрещен. Студент, получив зарядку, направляется в гардероб к шкафу, где размещена его одежда. Здесь же поблизости имеется ряд душевых кабин, где можно принять душ и переодеться. В парикмахерской он заканчивает свой туалет...»

«Специальное устройство санитарной техники, вентиляция, физические средства современной медицины; душ и ванны, бассейн, просвечивание ультрафиолетовыми лучами, зал гимнастики, игр, спортплощадки...»

Прыгает Валуев, как видите, широко, высоко и красиво. Возражать на подобные прыжки не рекомендуется. Это опасно. Немедленно обвинит тебя Валуев в реакционности, в отсталости, в классовой ненависти к пролетарскому студенчеству. Лучше прикусить язык, замереть и молча любоваться.

Но все же через чьи головы прыгаете вы, товарищ Валуев, со своими ночными кабинами и ультрафиолетовыми лучами?

Я вам сейчас скажу, через чьи.

Не будем уже повторять, что «Стальстрой» и вы, неизвестно по какому праву, перепрыгнули все самые высокие нормы и похитили у промышленного строительства громадные запасы самых остродефицитных материалов, приведя этим к угрозе срыва и к срыву важнейших индустриальных строек.

Но пусть бы эти материалы действительно и серьезно облегчили жилищную нужду нашего студенчества.

А вышло так, что для-ради вашего архитектурного франтовства, для-ради вашего колбасообразного окна истрачено балок, железа и цемента добавочно ровно столько, сколько нужно, чтобы устроить не пятнадцать, а двадцать пять тысяч студентов. Короче говоря, десять тысяч учащихся пролетариев будут из-за вашей милости стоять на улице, на морозе, развлекая друг друга описаниями того, как у вас в течение целого дня пустуют и продуваются запертые наглухо «ночные кабины».

Это через их, десяти тысяч пролетарских студентов, головы изящно прыгаете в социализм вы, архитектор Валуев, и «Стальстрой».

Красивый прыжок — что говорить.

Но ведь, кажется, дело происходит не в цирке?

Под вами, товарищи прыгуны, не десять, а десять тысяч. И не лошадей, а людей.

Пролетариев! Студентов, ныне спящих вповалку!

Они-то, видя ваши прыжки над своей головой, найдут, что подумать. И что сказать. И что сделать. С вами сделать, уважаемые прыгуны!

Может быть, они, как в цирке, и покроют ваш прыжок бурными аплодисментами. Но, несомненно, эти аплодисменты придутся по всем частям ваших тел. И, исходя из цифры в десять тысяч человек, это может оказаться очень чувствительно.

1930

Душа болит

— Разве же это порядок?! — возмущенно сказал товарищ Воловский Эдуард Карлович. — Какой это к черту порядок, ежели у нас в Наркомторге перепутаны на работе все специалисты! Инженер-текстильщик ведает импортом химического оборудования, спец по черным металлам регулирует ввоз машин для строительной промышленности, я — морской инженер и судостроитель — руковожу, изволите видеть, импортом для черной, цветной металлургии и машиностроительной промышленности, а мою, мою кровную работу по ввозу судов и оборудованию их поручили, простите за выражение, спецу по обработке металлов!

— Да, в самом деле это ненормально.

— Ненормально? Это попросту безобразно! Это черт знает что! Да разве кого-нибудь убедишь? Только душа болит за социализм.

— Но вот вы сами, зачем вы, например, Эдуард Карлович, согласились пойти на работу не по специальности? Один смотрит на другого, вы подали пример — вот и получается каша.

— А разве я по доброй воле пошел в Наркомторг? Меня обстоятельства принудили! Сидел я, заведовал секцией судостроения в Гомзы, а потом из-за склоки пришлось уйти и искать себе новой ответственной работы. Мне себя не жалко, я без хлеба не останусь, я, как ви-

дите, вот уже третий год в Наркомторге на ответственной работе. Мне, как незаменимому, отпуска не дают. Но каково достается нашему советскому судостроению! Кто им командует?! Мне это тяжело! У меня за это душа болит!

— Кто же вас выжил из Гомзы? И за что?

— Да мало ли кто. Всех склочников не упомнишь. Плохо, говорят, разбирается в технических вопросах. Это я плохо разбираюсь! Я, квалифицированный инженер, кораблестроитель с многолетним стажем!.. Кто же тогда разбирается?!

— Вы где кончили институт?

— У себя на родине, в Швеции, Стокгольмский политехникум. По судостроительному факультету. Там, знаете, учат всерьез, не то что у вас, тяп-ляп.

— Вы отлично говорите по-русски...

— Обрусел сильно. Но ведь вообще мы, шведы, морской народ, языки знаем в совершенстве. Лично я, не скажу много, а шестью языками, кроме родного, владею в совершенстве. Английским, норвежским, финским, французским, польским и вот — русским.

— Вы и зачеты все сдали там, в Стокгольме?

— А то как же! Все зачеты мною сданы.

— А диплом ваш где?

— Где же ему быть! Само собой, в моем личном архиве. Хотя, припоминаю, затерял его где-то во время гражданской войны. Да разве в дипломе дело, в бумажке! Диплом инженерский вот где должен быть!

И «старый» кораблестроитель выразительно постучал себя пальцем по лбу.

— Это правильно... Скажите, товарищ Воловский, у вас там высшую математику, конечно, проходили?

— А то как же! Это только у вас, знаете, все тяп да ляп, политграмота...

— Простите, у нас высшая математика проходится во всех втузах и даже в ряде техникумов. Не скажете ли вы, Эдуард Карлович, в чем назначение дифференциального исчисления?

Воловский недоуменно и иронически поднял бровь.

— Вы, кажется, вздумали меня проверять? Однако!..

— Ну, проверять не проверять — просто любопытно. Ведь вы знаете это?

— А то как же. Знаю, но точно, по параграфу ответить не смогу. Где же все упомнить! За годы практиче-

ской работы эти школьные формулировки выветриваются.

— Тригонометрию вы знаете?

Эдуард Карлович сухо отодвинулся.

— А то как же. По-вашему, мне уж и тригонометрии не знать. Довольно странно спрашивать об этом у инженера.

— Если синус икс равен единице, чему равен икс?

Инженер Воловский нервно засмеялся:

— А шут его знает, чему равен икс! Ну, забыл, забыл, каюсь, хе-хе... Бросимте эту муру с экзаменом. Скушно.

— О нет, это только становится интересным! Возьмите, будьте добры, карандашик, напишите: синус, косинус, тангенс.

Возмущенно дергая плечами, Воловский помедлил над бумагой и презрительно начертил «С, К, Т».

— Разве они так обозначаются? Ведь во всем мире синус пишется Sin, косинус — Cos, тангенс — Tg!

— Н-не знаю... У нас в институте проходили так.

— И вы станете утверждать, что в шведском институте писали русскими буквами, когда в России эти термины пишутся латинскими?

В наступившей длительной тишине Эдуард Карлович пристально рассматривал пуговку на своем рукаве. Тикали часы.

— Итак, гражданин Воловский, вы окончили политехнический институт?

— Ну, насчет института я слегка преувеличил. Да разве в этом дело! Важны практические знания. А формально я сдал экстерном в объеме средней школы.

— В объеме, говорите? Ну-ка, скажите, чему равен объем шара?

— Объем шара, объем шара... Смотря какая поверхность.

— То есть как какая поверхность? Гладкая или шероховатая?

— Ну да... Хотя точно не скажу.

— Объем шара равен $\frac{4\pi r^3}{3}$. Ну, а чему равно π?

— Не помню... Давайте условимся, что я сдал в объеме пяти классов, и кончим этот разговор.

— Значит, вы сдали за пять классов?

— Да, за пять... — спец из Наркомторга вытер платком лоб и смял в кулаке свою холеную рыжеватую бороду. — За пять, хотя не по всем предметам. По некоторым.

— Ну, а арифметику вы знаете хорошо?

— А то как же! Многое забывается, но в основном, конечно...

— Какие числа делятся на три?

— Нечетные.

— Тридцать один и тридцать пять делятся на три?!

— Не делятся.

— Гражданин Воловский, число 53 235 делится на три?

— Не делится.

— Разделите, господин Воловский!!

— Случайно разделилось.

— Вы хоть сельское училище кончили? Скажите прямо!

— Н-не совсем. Я в вечерней школе занимался. По четыре дня в неделю, два часа в день.

— Скажите... Воловский, вы подтверждаете, что владеете шестью языками? Напишите по-английски: «Ол райт».

Побелевшая от возмущения бумага ощутила на своей поверхности дрожащие буквы: «Ol rait».

— Не так, Воловский. Спросите у пионеров, они учатся английскому по «Комсомольской правде». Надо писать: «All right».

— Не знал...

— Теперь напишите по-шведски, на вашем родном языке...

— Ой, не надо! Насчет Швеции я преувеличил. И родился я не столько в Стокгольме, сколько в Виленской губернии, в Ошманском уезде, в Воложенской волости.

— Вот такие-то дела, Эдуард Карлович...

— Да уж какой я Эдуард Карлович! Прямо сказать, Георгий Павлович я. Как одна копейка. И кораблей, прямо сказать, не строил. Конторщиком в порту был, ордера писал. Душа болит...

И именем, и отчеством, и более важными подробностями жизни Эдуарда, то бишь, Георгия Карловича, то бишь, Павловича Воловского, а равно всеми деталями

его процветания в Наркомторге, Гомзы и других органах любознательно заинтересовалось ОГПУ.

Но было бы неразумно очень веселиться по поводу провала липового специалиста на простейшем экзамене.

Провалился не аферист Воловский. Наоборот, он блестяще выдержал экзамен! Правда, экзамен не на инженера-кораблестроителя, а на первоклассного авантюриста, сумевшего ряд лет дурачить важнейшие учреждения, пребывать в центре, у самого руководства промышленным импортом для нашей индустриализации.

Провалились на Воловском и еще до сих пор проваливаемся на других, ему подобных, мы сами — до сих пор не научившиеся культурно работать, проверять, хотя бы простейшим образом, людей, сидящих на центральных, командных пунктах нашего хозяйства.

1930

Метатели копий

Если вы член жилтоварищества, а стенки в квартире тонкие и над ухом у вас соседи круглые сутки жарят на граммофоне, да еще одну и ту же надоевшую допотопную пластинку «Гайда, тройка, снег пушистый» — садитесь и пишите жалобу.

А если уж пишете — пишите с умом. Пишите по моде. Мода вся в начальных строчках:

«В правление жилтоварищества дома № 742 по Мелиоративно-Благовещенскому переулку. Копия граммофонной фабрике «Трудовой фокстрот». Копия 96-му отделению милиции. Копия бюро секции здравоохранения при райсовете. Копия редакции газет: «Правда», «Известия ЦИК», «Рабочая Москва», «Комсомольская правда» и «Гудок». Копия сектору контроля НК РКИ СССР, товарищу Ройзенману. Копия международному кооперативному альянсу. Копия председателю ЦИК СССР тт. Калинину, Петровскому. Настоящим категорически протестую против незаконной и нарушающей правила общественного порядка игры на музыкальных инструментах, происходящих...»

— Откуда, — спросите вы, — такая мода?

Мода пошла сверху. От начальства. Из учреждений.

Каждое утро, лишь только в присутственных местах часы пробьют девять, машинистки закладывают в ундервуды толстые пачки хорошей белой бумаги, прослоенной жирной копиркой. И стучат, и множат, и раскладывают по конвертам, и запечатывают.

А за ними — курьеры, почтальоны, нарочные, топая валенками, вытаптывают на морозе шестую часть нашей планеты. Разносят, развозят копии. И опять в присутственных местах распечатывают пакеты, читают, подшивают, регистрируют...

Трест Госметр получил просьбу Кожсиндиката о продаже ему измерителей для кожи. Госметр отвечает — измерителей нет.

И копия в РКИ СССР.

Зачем?

Неизвестно. На всякий случай. Пусть не думают в РКИ, что трест Госметр спит. Пусть видят, что в Госметре отвечают на бумажки.

Акционерное общество «Стормонг» (торговля СССР с Монголией) переехало на новую квартиру. Но телефоны переносятся с запозданием.

«Стормонг» пишет об этом междуведомственной комиссии при управлении связи.

И копии — Наркомторг СССР, НК РКИ СССР — сектор контроля. Совнарком — комиссии по разгрузке города Москвы.

Зачем?

Неизвестно. На всякий случай. Может быть, члены коллегии Наркомторга и РКИ СССР, вызвав парочку-другую членов Совнаркома, устроят уличную демонстрацию перед телефонной станцией.

Заместитель наркома финансов СССР пишет энергичное письмо заместителю наркома торговли СССР о необходимости получения автомобилей для гаража Наркомфина.

И копия — НК РКИ СССР — группе т. Ройзенмана.

Зачем?

Неизвестно. На всякий случай. Может быть, группа т. Ройзенмана пойдет к замнаркому торговли и станет стыдить его:

— К чему вы, товарищ замнарком, обижаете своего же брата замнаркома? Отчего такие раздоры между замнаркомами!

Московское представительство Союззолота пишет своему же, в Москве сидящему уполномоченному при ВСНХ о том, что «надобность в передаче заказа на коллергонг миновала».

И копия — в НК РКИ СССР.

Зачем?

Неизвестно. На всякий случай. Может быть, получив копию союззолотовского уведомления, работники РКИ устроят себе выходной день и товарищеский обед по случаю того, что надобность в коллергонге миновала.

Наркомздрав, вместо того чтобы сдать постройку таганрогской больницы строительству треста ВСНХ, сдал ее другому учреждению. ВСНХ напоминает Наркомздраву о существующей директиве.

И при этом — копия НК РКИ СССР, копия НК РКИ РСФСР, копия Наркомзему РСФСР.

Зачем?

Ведь конфликта еще нет! На всякий случай. Неизвестно, что может быть. Всякое бывает. Лишняя копия не повредит.

Средневолжский бумтрест не может доторговаться с нижневолжским союзхлебом о ценах на поставленную солому. Пишет об этом в Наркомторг РСФСР.

И копии — бумдиректору ВСНХ РСФСР, Бумсиндикату, НК РКИ.

Зачем?

А черт его знает зачем.

Моссельпром беспокоится, что ему не хватает бумаги на завертку кондитерских изделий. И пишет без копии, но сразу по шести адресам: Наркомторг, Комитет по делам печати, НК РКИ СССР — сектор проверки, МРКИ, МСНХ — внеотраслевой отдел кондитерской конвенции, союз пищевиков.

Зачем?

Неизвестно.

Ведь каждый из шести адресатов, увидев в заголовке бумаги остальных пятерых, может успокоиться, допустив, что вопросом займутся эти остальные пять.

А если не успокоится, к кому он должен обращаться? Ко всем пятерым? Или к двоим? А может быть, к троим?

Кроме семи приведенных примеров, могут быть примеры более важных вопросов, имеющих гораздо более важное, и острое, и срочное значение. Не так ли?

Да, так.

Но когда дело идет о неотложных и государственно важных вопросах, тогда разбрасывание копий превращается из болезненной канцелярской привычки в злейший бюрократизм первого ранга. Потому что здесь руководящим мотивом чаще всего становится желание перестраховаться, снять с себя ответственность за возможные служебные неприятности.

— Вы говорите, что мы проспали? Хе-хе... А у нас есть данные совсем обратные. Мы в свое время послали вам копию своего отношения. И вы, хе-хе, не изволили ответить!

А что делать получателям непрерывного потока копий?

Кидать в корзину или равнодушно подшивать?

Это будет бюрократическим бездушием.

Читать, разбираться, запрашивать, во все вмешиваться?

Это значит бросить свою основную работу, беспомощно поплыть по течению присылаемых бумажек, усилить своим участием канцелярский кавардак!..

В связи с посевной кампанией поток копий принял прямо-таки угрожающий характер. Некоторые искусники окружают себя настоящими предохранительными бумажными завесами, за которыми ничего нельзя ни разглядеть, ни обнаружить. Член коллегии Главмашинстроя ухитрился в один только день испустить семь бумаг в тридцать пять адресов — предупреждения о недогрузке сельскохозяйственных машин.

Тридцать пять копий — это только то, что попало в наше поле зрения. Возможно, что производительность члена коллегии Главмашинстроя была в этот день во много раз больше. Что значит крохотная чернильная струя рядом с мощным канцелярским фонтаном! Этого члена коллегии Главмашинстроя лучше следует сравнить с закованным в латы рыцарем средних веков.

И тот и другой занимались метанием копий для устрашения врага.

Нас упрекают в повторении. Уже был фельетон на ту же тему. Тогда же был издан строжайший приказ по ВСНХ — не заниматься рассылкой излишних копий по учреждениям.

Да... но за год ничего не изменилось. Все случаи, приведенные нами, произошли уже после фельетона и после приказа.

...Стоит ли тогда еще раз возвращаться к тому же? Надо ли опять писать?

Зачем?!

Неизвестно. На всякий случай. А может быть, теперь поможет.

1930

К вопросу о тупоумии

В небольших комнатах правления Еланского потребительского общества бурлила деловая суета. Входная дверь оглушительно хлопала, впуская и выпуская посетителей с брезентовыми портфелями. В прихожей четвертый раз разогревали чайник для руководящего персонала.

Ответственный кооператор товарищ Воробьев высунулся из кабинета в канцелярию.

— Как же с телеграфной директивой? Уже который день собираемся спустить ее в низовую сеть. Дайте текст на подпись.

Ему принесли листочек с текстом. В конце директивы бодро синели мужественные слова:

«...усильте заготовку».

— А номер? Директиву без номера спускать не приходится.

Листок порхнул в регистратуру и вернулся с мощным солидным номером.

«...усильте заготовку 13 530».

Воробьев обмакнул перышко, строго посмотрел на лишнюю каплю чернил и, презрительно стряхнув ее, поставил подпись вслед за номером.

Директиву спустили. Она скользнула по телеграфным проводам, потом ее повезли со станции нарочные по селам.

Нарочные мерзли, они кутали сизые носы в пахучие овчины, директиве было тепло, она лежала глубоко за пазухой у нарочных.

Уполномоченный районного потребительского общества в Ионово-Ежовке расправил телеграфный бланк и звонко до конца прочел уполномоченному райисполкома приказание высшего кооперативного центра.

— «...усильте заготовку 13 530 воробьев». Понял?

— Понял. Только в конце не расслышал. Чего там усилить заготовку?

— Сказано — воробьев.

— Так-так-так-так-так... Ясно. И много их, воробьев, надо заготовить?

— Сказано — тринадцать тысяч пятьсот тридцать штук. Понял?

— Так-так-так-так-так! Ясно, ясно. А подпись чья?

— Подписи нет. Да и к чему подпись? Дело простое: усилить заготовку тринадцати с половиной тысяч воробьев. Придется, дорогой товарищ, это дельце спешно провернуть. Вызывай председателя.

Ионово-ежовский председатель, осведомившись о полученной директиве, нахмурился, но не сплоховал. Он сказал прямо и открыто, что заготовка воробьев для ионово-ежовцев дело новое. Всякое заготовляли, но чего не заготовляли, того не заготовляли. Воробьев не заготовляли. Однако заготовить можно, ионово-ежовцы не подкачают. Дело провернуть можно, надо только поднять дух, воодушевить массу.

Председатель совета, совместно с двумя районными уполномоченными — исполкомским и кооперативным — устроил заседание актива. Перед активом были сделаны доклады о последних директивах по заготовке воробьев.

Далее последовало общегражданское собрание всей Ионово-Ежовки. Часть единоличников, вначале сильно встревоженная, узнав, что дело идет только о воробьях, пришла в приподнятое и даже веселое настроение. Один из граждан выразил это даже в виде краткой речи, под легкий смех в зале:

— Чего, чего, а воробьев заготовим. Воробьев нам не жалко.

Смех показался президиуму подозрительным. Председатель собрания наставительно и сурово сказал:

— То-то же!

Дальше работа шла как по маслу. Население подошло к заготовке воробьев поистине как к важнейшей ударной и срочной кампании. Распоряжением местных властей

были привлечены к работе не только взрослые, но и школьники и дети.

В целях успешного выполнения контрольного задания заготовка проходила не только днем, но и ночью. При фонарях.

В самый разгар воробьиных заготовок в Ионово-Ежовку приехали по другим делам районный прокурор Карлов, народный судья Семеркин, представитель районной милиции Дзюбин, бригада райисполкома по обследованию местной работы. Ежовцев они нашли в больших заботах.

— Немножко невпопад вы приехали. У нас сейчас воробзаготовки.

— Чего?

— Заготовки воробьев. Ну и цифру вы там в районе нам вкатили. Тринадцать с половиной тысяч! Не знаем, как и вылезем. Хорошо еще, население проявляет активность.

Районные вожди ничего не слышали насчет воробьев. Но каждый из них в отдельности не счел нужным показывать свою оторванность от текущих политико-хозяйственных задач. Каждый смолчал. А кое-кто даже проявил отзывчивость:

— Вы себе заготовляйте, а мы пока будем тут сидеть, тоже поможем, чем сможем.

Присутствие гостей из района внесло особый подъем в заготовительную работу. Кто-то приехал из соседнего села, из Александровки. Там тоже получили директиву из Елани, тоже приступили к заготовкам, но обратились в центр с ходатайством снизить контрольную цифру. Ежовцы торжествовали:

— Забили мы Александровку! В бутылку загнали! Отстали александровцы к чертям собачьим. А мы, еще того гляди, перевыполним задание!

Потом произошло бедствие. В амбар, где содержались две тысячи живых заготовленных воробьев, проникли кошки и съели двести штук.

По этому поводу был созван особый митинг протеста. На митинге уполномоченный райисполкома, зловеще поблескивая очками, сказал:

— Тот факт, что кошки съели двести воробьев, мы рассматриваем как вредительство, как срыв боевого задания государства. За это мы будем кого следует судить.

Но при этом мы должны на действия кошек ответить усиленной заготовкой воробьев.

Возник еще ряд острых проблем. Для выяснения их инструктор потребительского общества товарищ Енакиева срочно выехала в Елань.

Она, Енакиева, явившись в район, в правление, заявила:

— По линии заготовки воробьев я приняла на себя личное руководство. Заготовка проходит в общем и целом удовлетворительно. Но имеются неразрешенные вопросы, по каковым я сюда специально и приехала. Во-первых, крестьяне интересуются, какие заготовительные цены, а нам, кооператорам, цены неизвестны. Во-вторых, узким местом является отсутствие тары. Кстати, важно выяснить и такой вопрос: в каком виде заготовлять воробьев. Живых или битых? Надо бы поделиться опытом других организаций. Мы, например, производим в настоящее время заготовку живьем. Для чего разбрасываем просо, как приманку, а также в качестве приманки разбрасываем кучками хворост на гумнах... По получении нами заготовительных цен, равно тары, заготовка безусловно пойдет более интенсивным порядком. Необходимо также выяснить...

Докладом товарища Енакиевой и последовавшим затем скандалом заканчивается история о воробьиных заготовках. Ей, этой районной истории об идиотски понятой и головотяпски выполненной телеграфной директиве, не следовало бы придавать серьезного значения. Ведь в ней ничего нет, кроме безобидного тупоумия.

Но пора же, наконец, вступить всерьез в борьбу и с этим милым качеством! Можно ли вообще говорить о тупоумии как о безобидном, природном, «объективном» качестве?

Партия очень ценит, очень дорожит дисциплиной при выполнении ее заданий. И именно поэтому надо рубить на части тех, кто, спекулируя, злоупотребляя этой дисциплиной, переводит выполнение в издевательство, беспрекословность — в солдафонство.

При воробьиных заготовках на селе присутствовали работники из района — прокурор, судья, начальник милиции. Кто поверит, что эти уважаемые лица, нет, не лица, а рожи, сочли заготовку воробьев нормальным делом?.. Нет! Каждый из них мысленно изумлялся балагану с воробьями. Но каждый молчал.

Мы сейчас перебираем сверху донизу советскую и кооперативную систему. Выбрасываем гнилое, чужое, вредное. Не надо делать исключений для людей, изображающих из себя дурачков. Таких «наивных», как те, что заготовляли воробьев, можно воспитывать только в одном месте. В тюрьме.

1931

Скорей, скорей в тюрьму!

Возможно ли, чтобы обыкновенный петух каждый день нес гусиные яйца, а в свободное время писал статьи по религиозно-философским вопросам?

Нет, невозможно.

Возможно ли из старых солдатских подштанников сшить новый фрак и получить в нем первую премию на конкурсе дамских туалетов?

Нет, невозможно.

Возможно ли, чтобы советский гражданин и партиец при исполнении своих служебных обязанностей действовал как интервент и погромщик?

Нет, возможно.

Теперь слушайте.

Есть в Москве фабрика «Шерстьсукно» и есть в Москве кустарная артель «Снабсбыт». У артели тоже есть небольшая текстильная фабрика. Вырабатывает узорчатое сукно для кепок и другие специальные виды тканей.

Управлению фабрики «Шерстьсукно» понравилось помещение фабрики «Снабсбыт». «Шерстьсукно» затеяло тяжбу со «Снабсбытом». Тяжба длилась полгода. «Шерстьсукно» доказывало во всяческих инстанциях, что ему до зарезу нужно помещение «Снабсбыта», чтобы расширить свое производство. «Снабсбыт» объяснил, что и он занят производством и что деваться ему некуда.

Тяжбу выиграло «Шерстьсукно». Как пишут в романах — радости победителей не было границ.

Но побежденные пронюхали любопытную вещь. Им стало известно, что помещение забирается не для производственных нужд, а под квартиры для работников «Шерстьсукна».

Помещение!.. Поезжайте на Благушу, полюбуйтесь на это помещение и кривые хибарки, на покосившиеся стены, из-за которых разгорелась междоусобная война.

Побежденные заявили, что обжалуют решение суда, а пока выезжать не намерены.

И тогда радость победителей превратилась в ярость победителей. Еще бы: победители как-никак!

«Шерстьсукно» снаряжает карательную экспедицию. Помещение «Снабсбыта» должно быть очищено от неприятеля, а сам неприятель разбит, посрамлен и обращен в бегство.

Экспедиция организована в составе шести отважных представителей «Шерстьсукна» под командой судебного исполнителя Сталинского района Федорова и коменданта Удалова. Идейное руководство походом принимает на себя заместитель директора «Шерстьсукна» Сольцов. Ну и Сольцов!

Десантный отряд отплывает с Мало-Семеновской улицы, причаливает на Борисовской улице к дому номер три и начинает холодный, организованный разгром фабрики.

Шерстьсукновцы начинают с того, что перерезают все электрические провода, рвут выключатели, бьют лампочки, крошат их под ногами.

Затем выламывают три мотора, с мясом вырывают их из земли, вытаскивают наружу и в качестве добычи увозят к себе.

Потом набрасываются на новенькие иностранные, американские и германские, машины и станки и начинают рвать, крошить их буквально по кускам.

Режут основу, срывают грудницы, эксцентрики, погонялки, ремизы, берда. Ломают в куски мотальные колеса. Отрывают и растягивают пружины контрольных приборов.

Крестовины, которыми станки приделаны к полу, не отвинчивают, а сбивают кувалдами, вырубают зубилами.

Драгоценные заграничные приводные ремни не снимают, не срывают, а режут в нескольких местах ножами в куски.

Слесарные инструменты, ключи попросту пихают по карманам.

Разорвав, изломав машины в мелкие куски, сваливают их во дворе грудой, как колотый сахар. Ломают, давят, швыряют и громоздят рамы суконных станков, на них — навои с ремизом и бердом, валки, брусья, пуско-

вые диски, обломки фрикционов, просто металлические обломки, в которых нельзя опознать, какую часть трупа машины они составляют.

Швыряют, затаптывают грязью чистую основу, ткацкие концы. Расшвыривают ногами шестеренки, винты, дробят каблуками тонкую отливку кареток. И хвалятся:

— Мы вашу поганую лавочку вдребезги разнесем!

Полтора дня без остановки продолжался разгром фабрики «Снабсбыт». Полтора дня, ведь это же замечательно! Полтора дня, а что в это время происходило кругом?

Ничего не происходило.

Руководители артели, слюнтяи и трусы, решили, что пока при громилах находится судебный исполнитель — действия громил правомерны. Они побежали жаловаться — не на громил, а на судебного исполнителя — в районную РКИ и в районную милицию.

В районной РКИ беспристрастно разъяснили, что делами в стадии их судебного исполнения не занимаются.

В районной милиции философски ответили, что раз выселение производится в судебном порядке, она — милиция — никак этому выселению препятствовать не станет. Разве только помогать.

Боевые парни из «Шерстьсукна» выковыряли фабрику из ее помещения и победно удалились, увозя как трофеи три ими же поломанных мотора. Впрочем, они не только увезли, они кое-что и оставили. Поверх груды металлических обломков валяются шесть пустых водочных бутылок. Товарищ Федоров и товарищ Удалов во время операции освежались и освежали свою армию...

Возможно ли хоть в какой-нибудь, самой микроскопической, доле равнодушное отношение к злостному, контрреволюционному производственному хулиганству, какое произведено в Сталинском районе под видом «судебного исполнения»?

Нет, невозможно. Милиция и РКИ должны понести ответ за свое римское спокойствие в течение нескончаемых полутора дней разгрома фабрики в их районе.

Возможно ли хоть в какой-нибудь, самой отдаленной, степени сочетание того, что совершили Удалов и Федоров, с их пребыванием в партии?

Нет, невозможно. Эти люди должны быть сию же секунду лишены звания коммунистов.

Возможен ли вообще советский гражданин, совершающий на свободе то, что было проделано на фабрике «Снабсбыт»?

Нет, невозможен. Пусть Федоров, Удалов и их помощники, не теряя золотого времени, сейчас же поспешат в тюрьму. Пусть предъявят у входа этот номер «Правды» — и их пропустят немедленно, вне всякой очереди.

1931

Как пускать хлеб по ветру

Вовсе не надо рядить лошадей и ехать из Орехова в совхоз. Контора совхоза — не на совхозных землях, а за тридцать километров от самого близкого из своих участков. Контора — в самом Орехове, в районном центре.

У директора непрестанно трещит телефон. Звонят не с участков — оттуда дозвониться трудно. Звонят из городских учреждений — звонят и трезвонят о чем попало. Просят лошадей, автомобиль, требуют копии сводки на пятнадцатое число, требуют вареного масла для ремонта совпартшколы, требуют докладчика на торжественный пленум, требуют представителя на междуведомственное заседание.

Райисполком, милиция, Госбанк, прокуратура, райколхозсоюз, райпотребсоюз до последнего времени были на хлебно-мучном иждивении. Снежно-белая булка скрашивает скромный ореховский обед. В совхозе нисколько не смущаются этой, только недавно прекращенной, пшеничной субсидией. Наоборот, заговаривают о ней сами, и с подмигиванием. Дескать, вы спрашиваете, куда девался хлеб, — судите сами.

Конечно, не районный прокурор с районным финотделом съели хлеб ореховского зерносовхоза. Но если бы дирекция была связана со своими землями и со своими людьми хоть в пятую долю так тесно, как с людьми и с организациями в районе, может быть, и дела пошли бы по-иному. На участке номер первый отлично поместилась бы контора — сюда почему-то забрался другой скотоводческий совхоз, хорошие, теплые комнаты с паркетными полами превратил в коровники, а рабочие тут же непо-

далеку мерзнут по ночам в фургончиках. Неисповедимы пути твои, господи...

Ореховский совхоз достался Зернообъединению от Семеноводческого треста. Громадные земли, щедро и весьма нелепо разбросанные по семи административным районам, предстояло оживить и благоустроить зернотрестовской американской техникой, наукой и организационным напором.

С техникой вышло пока убого. На пятьдесят тысяч гектаров нашлось пятьдесят тракторов. По трактору на тысячу гектаров. Вернее, по полтрактора — работала только половина машин, остальная с энтузиазмом чинилась. Встревоженный райком, видя отсутствие тягловой силы, обратился в Харьков с советом завести волов. Харьковские американцы облили презрением отсталых провинциалов, осмеливающихся предлагать немеханизированные двигатели коровьего происхождения. В результате — ни тракторов, ни волов.

Сельскохозяйственную науку представлял в зерносовхозе помощник директора, агроном Парчевский. Через два месяца агроном оказался не агрономом, а просто темным бездельником, преступно запутавшим всю посевную и уборочную работу. В агрономы он себя произвел некоторым образом по династическому принципу: состоя сыном ореховского помещика, разве нельзя считать себя знатоком сельского хозяйства?! Выгнанный из зернового совхоза, пройдоха устроился тут же рядом, в совхозе мясном. Зерновая проблема Парчевским разрешена — время браться за мясную.

Организационный напор — он должен был идти от директора, от помощника, от секретаря ячейки, от председателя рабочкома. Должен был идти, но не шел. Вместо деловитого хозяйствования получился безобразный, вредительский кавардак. Смешались в кучу кони, тракторы и люди. Кто-то энергично срывал уборочные машины с одного участка, посылал за шестьдесят километров на другой. А когда они, машины, изувеченные, добирались к месту, указанному в путевке, их встречал еще зеленый колос, не готовый к жатве. Совхозный трактор застрял в пути, а застрять он решил только на полотне железной дороги, никак не иначе. Зацепился шпорами... Набежал поезд. Ну — вдребезги. Конечно, трактор вдребезги. Поезд по большей части сильнее трактора... В обалделой сутолоке, в мещанской трепотне языком, в оппортунисти-

ческих склоках прозевали уборочную кампанию, пропустили дело между пальцев.

Цыплят по осени считают. Не столь цыплят, сколь хлеб. В серьезные дни хлебосдачи в Орехове не оказалось ни техники, ни науки, ни организации. С совхоза сняли его руководящий треугольник. Приладили другой. Для-ради ореховского совхоза Зернотрест отдал одну из лучших своих жемчужин. Взял своего всеукраинского уполномоченного товарища Валеева и посадил директором в Орехове. Новый руководитель запасся, привез с собой и помощника — товарища Милого.

И с жемчужиной дела пошли не лучше. Прибыв на место действия, жемчужина и ее помощник всю энергию свою, все время бросили на то, чтобы застраховаться от возможных в будущем неприятностей. В разгар уборки хлеба прием дел затянули, превратили в целый обряд. Новая дирекция больше заботилась об увековечении грехов старой дирекции, чем об исправлении их. Картина была и так черна — новоприбывшие изо всех сил подмалевывали ее сажей.

Наконец, новый директор и его помощник, клеймя позором старого директора и его помощника, целиком приняли от них дела. Заклеймили, но вместе с делами приняли и их тактику в отношении сдачи хлеба.

Специальной комиссии ЦК, которая прибыла проверить наличность хлеба в совхозе, администрация (как сообщает тов. Шимеринов) дала ложные сведения. По официальным данным конторы, на 24 октября в совхозе осталось 1768 тонн хлеба, из них 632 тонны товарного, предназначенного к сдаче. Проверка сразу показала, что администрация упрятала около 300 тонн. Тогда сама администрация дала новые сведения: о том, что хлеба в совхозе осталось 2019 тонн, из них 818 — товарного.

Но и в этих сведениях администрация соврала. Указала явно преувеличенные цифры на семенной, продовольственный и фуражный фонды. Забронировала фуража для 150 лошадей, имея только 93. Забронировала корму для 200 свиней и 125 коров не своих, а кооперативных. На семена в одних ведомостях совхоз откладывал 450 тонн, в других — 563 тонны. Данные на рабочую силу явно преувеличены. Разница составляет не меньше 260 тонн.

На повторные категорические требования комиссии Валеев ответил двурушническим маневром. Участкам да-

ли три разнарядки на вывоз хлеба. По первому варианту надо было отгрузить 450 тонн зерна, по другому — 2 тысячи тонн, по третьему — 838 тонн. Помимо этих официальных разнарядок, Валеев и Милый дали, как сообщает т. Шимеринов, участкам неофициальную директиву ориентироваться на минимальное число, не гнаться за отгрузкой зерна, ссылаясь на объективные трудности, на дожди, на нехватку транспортных средств.

На расширенном пленуме райисполкома в присутствии сельскохозяйственных рабочих и всех тех, кого надо бы поднять, вооружить на ударную работу, новый директор Валеев, краса Украинского зернотреста, в речи своей заявил, что план сдачи хлеба нереален. Что выполнить его невозможно. Разве что на семьдесят процентов, да и то еще как сказать... Четыре тысячи семьсот тонн — цифру, данную старым директором, — ее, может быть, удастся наскрести. Но никак не семь с половиной тысяч, которых требует центр.

Районная организация — надо ей отдать должное — этим песням не вняла. Валеева вместе с помощником его взяли в ежовые рукавицы, проработали, объявили им «сурову догану з попередженням». Хлестнули крепко и секретаря ячейки, который не смог дать отпор кулацким, буржуазным настроениям, не сплотил партийцев против оппортунистической практики.

Выговор ли, предупреждение ли встрепенули Валеева, или самая обстановка — он схватился за работу, стал с опозданием, кое-как штопать дыры. Райком помог. Дал людей. Колхозы помогли с тягловой силой: привели двести лошадей. Подняли на ноги всех и вся. Стараются вытащить совхоз из беды.

Помощник Валеева — Милый — понял положение посвоему. Оглохнув от собственного крика, перепугав рабочих своими истериками, он в заключение перепугался сам. И в самые горячие, в самые решающие дни хлебосдачи просто сбежал, в панике удрал из совхоза куда глаза глядят, бросив государственное добро и собственный свой партийный билет.

Ну, хорошо, шут с ним, с Милым. Не так важно, куда он девался. Вот куда девался самый хлеб?

Ведь его сеяли и засеяли полностью по плану. Ведь он взошел, отлично взошел на чудесной черной украинской земле. Его надо было только убрать, обмолотить и

сдать государству. Чего проще и чего обыкновеннее для зерновой фабрики!

Хлеб частью разожрали. Раздали, дали разворовать. Амбаров не охраняли, замков на них не имели, двери заматывали обрывком проволоки или старым мотузочком. Всем, имевшим хоть какое-нибудь, и сотням людей, не имевшим никакого касательства к совхозу, выдавали щедрые пайки исключительно белым пшеничным хлебом. Лошадям валили по восемь кило овса в день.

А больше всего просто пустили по ветру.

Буйный степной ветер трепал здесь некогда гриву быстрым жеребцам махновских тачанок, бросался от Орехова на двадцать верст до Гуляй-поля. Бросался, но устал. А теперь дали буйну ветру поиграть с совхозным хлебом.

Там, где уборка запоздала, — а это было на всех участках, — зерно перестояло на корню и стало само осыпаться. Ветер подхватывал.

— Копновали, — грустит директор, — теряли. Скирдовали — теряли еще больше. Рассыпанный хлеб не хотели подбирать, оставляли ветру на отдельных массивах до пятидесяти процентов.

Молотили — зерно валилось в полову. На токах ленились убрать метелкой толстые желтые пшеничные ковры.

Лобогрейки брызгали зерном куда попало, персонал, ковыряя в носах, смотрел на них, как смотрят на дырявую пожарную кишку. Ветер уносил.

Комбайны в халтурных руках вытрясали изумительное первосортное зерно, швыряли его вместе с соломой. Ветер подымал.

Райком и контрольная комиссия предложили заново перемолотить всю ту солому и полову, в которой могло застрять зерно. Совхоз протестует — нерентабельная операция, новая затрата времени, людей, износ машин для сомнительного результата. Райком настаивает — ему сейчас не рентабельность, а хлебный план нужен. Райком с совхозом дискутируют сложную проблему: принципиально ли, или не принципиально два раза молотить одни и те же пшеничные стебли. Вот новая теоретическая проблема для реконструктивного периода в сельском хозяйстве!

То, чего не унес ветер, не украл кулак, не слопал бездельник, что затоптали в землю, что забрызгало дождем, — то взяло да и проросло. На полях, на токах про-

ступила, как запоздалая борода у покойника, ненужная зеленая щетина.

Всего выбросил ореховский совхоз на ветер и грязь двадцать процентов своей продукции. Из каждых пяти зерен потерял одно. Итого две тысячи тонн.

Две тысячи тонн — сто двадцать тысяч пудов, сто сорок вагонов — два длиннейших маршрутных поезда с пшеницей, пустили по ветру ореховские фабриканты зерна!..

И в дни самых зловещих предвкушений унылый директор вдруг получает ночью телеграмму из Харькова. Прочитав ее трижды, щиплет себя за руку: не во сне ли он все видит.

По телеграмме ясно выходит, что никакого прорыва совхоз больше не имеет. И выполнил план не на шестьдесят пять, а на девяносто пять процентов.

Почему так?

А потому, что по новой, окончательной раскладке Орехов должен сдать не семь тысяч триста, а только шесть тысяч двести тонн. Он их сдаст.

И, значит, ореховский совхоз отныне не отсталый, а передовой. Не оппортунистический, а ударный. Не расточительный, а бережливый. Не скверный, а симпатичный.

Так понял телеграмму из Харькова директор Валеев. Отчасти так поняли и в райкоме. И готовят торжественное праздничное заседание по случаю выполнения совхозом полного плана хлебосдачи.

Пусть в Орехове празднуют — мы не возражаем. Пусть торжественно заседают — пожалуйста. В совхозе есть ударники, энтузиасты борьбы за зерно, на своих плечах они вытащили хлебосдачу — бригадир Вишняк, механик Середниченко, тракторист Стрюк, заведующие участками Бибик и Райзер. Их надо назвать, отличить среди прочих, премировать.

Но нельзя ли во время заседаний вспомнить и обо всех безобразиях, о буржуазных, мещанских ветрах, выдувавших из совхоза его продукцию?

Нельзя ли напомнить, что в суете за своей злосчастной уборкой совхоз забыл о зяблевой вспашке и через месяц после срока выполнил ее только на семнадцать процентов? И что дирекция хватанула уже полтораста тонн из семенного материала, который она потом, совсем не в торжественной обстановке, будет просить у Зернотреста обратно?

Нельзя ли почтить вставанием две тысячи тонн — сто двадцать тысяч пудов, сто сорок вагонов — два поезда пшеничного, белого, первосортного, государственного, социалистического, пущенного по ветру, зерна?.. Не от всех требуем мы вставания. Кое-кому следовало бы почтить ореховскую пшеницу и сидением — в тех зданиях, какие для этого специально существуют.

1931

Действующие лица

В этот день испанский премьер-министр генерал Аспар заявил, что при новых выборах в палату никаких беспорядков допущено не будет. Король Альфонс выехал в Лондон, чтобы навестить свою тещу, принцессу Беатрису, перенесшую тяжелую болезнь.

В этот же день государственный банк Англии переехал в новоотстроенное здание.

В этот же день газеты взволнованно сообщали о потрясающей свадьбе французского чемпиона по плаванию Жоржа Буйи, который венчался со спортсменкой Марией Дельфед в бассейне для плавания, причем не только он и невеста, но и все свидетели, и приглашенные, и сам пастор были в купальных костюмах.

В этот же день число прошений о визе на въезд в СССР, подаваемых в нью-йоркское отделение Амторга безработными инженерами, повысилось до ста двадцати пяти.

В этот же день Гвардейское объединение и Союз нижегородских драгун служили в парижской православной церкви на улице Дарю панихиду по невинно убиенном императоре Александре Втором по случаю пятидесятилетия со дня его кончины.

В этот же день сэр Освальд Мосли и его молодая супруга Винтия, урожденная Керзон, сообщили о выходе своем из британской рабочей партии.

В этот же день обанкротилась, оставив долг в четыреста сорок семь миллионов франков, авиационная компания «Аэропосталь».

В этот же день прибывший в Лондон Гендерсон заявил журналистам, что вполне удовлетворен результатами своей итальянской поездки.

В этот же день парикмахерская в американском городе Сиэттле вывесила плакат: «Безработный должен быть свежо побрит, иначе у него никаких шансов получить работу». Как сообщает мировая пресса, остроумный парикмахер заполучил до вечера более четырехсот клиентов.

И в этот же самый день, далеко в стороне от всезнающих корреспондентов этой мировой прессы, в глухом Заволжье, в бывшей царской Уфимской губернии, в тихом сельце Муханове, толпа людей, толпа серых баб и мужиков, обыкновенных российских баб и мужиков, в худых зипунах и кожухах, в грубых валенках из жестких колючих оческов, вышла до утренней зари за околицу и, прикрывая лица от ледяного ветра, двинулась за три версты в открытое поле.

Когда в Муханове пять часов утра, в Париже недалеко за полночь. Там трепетно мигают электровывески кабаков и голодные оборванцы с поклоном открывают дверцы автомобилей, получая взамен медную монету или холодный взгляд. В этот же самый час в Муханове люди в зипунах, в грубых облупленных валенках, изредка усмехаясь, делали странное, даже тревожное в своей необычности дело.

Часть мужиков и баб сгребала лопатами снег и сбивала его в большие твердые четыреугольные кучи в шахматном порядке на равных расстояниях друг от друга. Кучи вырастали так уверенно и деловито, будто сюда, на это заброшенное бескрайнее поле за Волгой, вот сию минуту приедут грузовики из коммунального хозяйства и уберут снег, чтобы здесь тотчас же могло открыться столичное движение пешеходов и трамваев.

Другие совершали еще более странное действие. Запрягали низкорослых, животастых, обындевевших лошадей, надев на них обмерзлую упряжь; они большим треугольным деревянным утюгом закапывали снежные комья в землю.

Снегозадержание — эта новинка пришла на село вместе с другими чудесами и отчаянными диковинами последнего года. Тысячу зим проспали люди за Волгой, неподвижно пролежали под овечьими шкурами, как медведи лежат в душной берлоге. Тысячу весен подымали опухшие глаза на солнце, на пашню, щупая взглядом ручьи растопленного снега, тревожно испытывая влажность почвы и ища в ней свой приговор.

В тысячу первую зиму пришел колхоз, затарахтел трактор и вместе с ними вывалился целый ворох вещей, неслыханных, озорных, по виду иногда наивных, по детской простоте как бы даже мальчишеских — вместе с тем занозистых, въедливо неопровержимых вещей.

Свалился в деревню силос, свалился оглушительный, с нагловатым хрипом, всезнающий радиоговоритель. Свалился инкубаторий — необыкновенный курячий родильный дом. Свалилось кино — простейшее волшебство на обыкновенной грязноватой простыне. Свалилась протравка семян, и стенгазета, и кружок безбожников, и вот это — простая, но диковинная работа со снегом.

Отчего бы в самом деле, вместо того чтобы скулить на малый снегопад, вместо того чтобы клясть в бога мать ветер, уносящий от земли скупую снежную крупу, отчего ее не собрать, не сбить в кучу, не пришить к земле, не запрятать снег в самую землю; не согреть снегом самое зерно? Отчего бы и не так? Колхозники усмехаются и проводят снегозадержание. Если по-новому, так уж по-новому.

Мухановцы, вчерашние отсталые единоличники, сегодня состоят в центральном ядре громадного передового колхоза «Сила стали». Вокруг колхоза — сплошной коллективизированный Кинель-Черкасский район. Вокруг района — левобережная часть Средневолжского края, та, что на участке земли величиной в среднеевропейское государство, целиком в этом году переходит на коллективные, социалистические формы сельского хозяйства.

Это далось очень быстро, но совсем не так легко.

Два года назад вокруг Муханова пестрела мелкая сыпь разбросанных деревень, хуторов и выселков. Хутора не старые, не столыпинских, а советских времен. Шайка нынешних, новейших столыпинцев, шайка кондратьевских вредителей засела еще шесть лет назад в краевом земотделе и изо дня в день дробила, распыляла, расщепляла, разбрасывала крестьянские хозяйства, не давала им сближать и объединять свои земли.

Новосозданные карликовые деревеньки и хутора косились, пыжились друг на друга, вели унылые и скучные тяжбы по чересполосице, по выгонам, по школьным раскладкам. Они замыкались в крохотные, притаившиеся, враждебные друг другу и всему миру крепости. На этой вражде расцветали сельский поп, кулак, чиновник из земотдела.

Это могло кончиться плохо. Но налетели свежие ветры, год великого перелома взъерошил притаившуюся жизнь, встряхнул все до основания. Столкнул между собой деревеньки и хутора. Столкнул сначала вслепую — по горизонтали, по законам отсталой географии. И потом столкнул правильно, по классовой вертикали, богатых с бедными, угнетателей с угнетаемыми. И тогда глупые стены крепостей пали. Вредительски разбросанная, раздробленная деревня слилась в одно громадное артельное хозяйство.

Громадный колхоз завязался поначалу в маленьком селе Софьевке. Здесь застучал первый трактор, здесь озабоченно затараторило первое собрание. К Софьевке пришились Ильменевка и Федоровка. А потом Михайловка. А потом Васильевка. А потом Дмитровка. А потом Тростянка. Потом стали прилипать хутора: Отрадное, Привет, Степан Разин, Эхо, Океан. И еще хутор Зацепин. В пять дворов хутор. Влился.

Но село Муханово все не вливалось. Самое большое село. Да еще посредине колхозных земель. Приходилось тракторам объезжать по нескольку километров кругом.

В Муханове насчет колхоза было трудно.

— Им говоришь, а они хохочут. «Может, вопросы есть?» Молчат. Голосую. «За?» Никто не поднимает. «Против» — тоже никто.

Это рассказывает товарищ Ксения Львова, знающая печальный путь колхоза «Сила стали».

Мухановские бабы стращали барщиной, которую будто бы придется отбывать в колхозе. За бабами, в кулисах, действовала кулацкая режиссура.

— Рассказывали, что появился какой-то человек со звездой на фуражке и говорил определенно, что скоро переменится власть и колхозникам тогда от новых правителей несдобровать.

Но когда рядом с мухановскими землями стали проворно орудовать колхозные машины, настроение быстро сломалось.

— Больно здорово трактора пашут... Вот бы где собрание сделать. Все бы мужики со своими плугами с поля убрались и в колхоз бы взошли.

Инициативная группа решила сделать еще одну попытку. Назначили собрание. Пришла туда Львова.

— Решили на повестку поставить первым вопрос о хлебозаготовках (тогда обязательно придут). А в «раз-

ном» вдвинуть колхоз... Речь моя свелась к следующему: во-первых, я выложила все слухи и небылицы о колхозе, которые услышала от самих же мухановцев. Во-вторых, вместо агитации за колхоз рассказала подробно об одном из производственных совещаний, на котором мне пришлось присутствовать. Посыпались вопросы о колхозной работе, внутренних распорядках, об оплате труда. «Мы раньше этого ничего не слышали», — говорили крестьяне. Слышали, конечно, и знали, ибо доклады о колхозе ставились, но тогда еще не переварилось все это в головах.

Стали голосовать «колхоз». Все руки — за, только две против:

— Ты зачем не сказала, что о колхозе собрание будет; мы бы не пришли. Пиши наши две души против.

— Насильно в колхоз не загоняем, дядя Семен. Не хочешь — не пойдешь. Кто не желает, пусть приходит в сельсовет и выписывается...

— В течение трех дней, — рассказывает Львова, — никаких заявок о выходе не поступило. Тогда приехал из Софьевки агроном и член совета колхоза провести решающее собрание и выбрать правление. На этом собрании женщины и мужчины разделились на две стороны. Первая сторона без передышки бушевала, заявляла о нежелании вступить в колхоз, а все мужчины единогласно были «за». Но когда стали голосовать кандидатов в правление, женщины приняли самое активное участие в обсуждении их кандидатур. «Давайте Левашева!» Председатель шутя уговаривал: «Да тише вы, вы же не колхозницы!..»

За Левашева подняли руки поголовно все «неколхозницы». Только левашевская жена скандалила:

— Ах ты черт, дьявол пропадущий! Не надо мне тебя такого! Не нужен ты мне, не видала я твоего колхоза! Не пущу ночевать, пропадай как собака!

А муж смущенно успокаивал:

— Тише ты, не кричи. Не пустишь, ну и ладно. Не ори только ради бога.

Большой бублик колхозных земель заполнился в середине. После присоединения Муханова получилось громадное хозяйство на семьсот дворов, на семь тысяч гектаров, с могучей тракторной колонной, с прицепным инвентарем, с лошадьми, с рогатым скотом. Начали строить кирпичный завод, инкубаторий, больницу, школу, множество всяких прочих обзаведений. «Сила стали» стала

считаться одним из виднейших колхозов в крае. Уже потянулись сюда паломники, жаждущие свежего колхозного опыта, молодой премудрости социалистического сельского хозяйства.

Но неотвердевшее тело новорожденного хозяйства стала точить нежданная болезнь. Вместо премудрости в колхозе засела перемудрость.

Председатель правления «Сила стали» товарищ Петухов, работник краевого масштаба и, по-видимому, всесоюзного административного размаха, стал вправлять свежую, еще не освоившуюся в колхозе крестьянскую массу в жесткие рамки начальственного произвола.

Жаркое пламя артельности, трудовой спайки, задорная удаль коллективной работы — все померкло, съежилось, осунулось под суровым взглядом председателя Петухова.

Председатель читал в газетах звонкие заголовки «На колхозном фронте». Он почувствовал себя фронтовым командиром, владыкой и повелителем трехтысячной колхозной дивизии, с кавалерией, тракторно-танковыми частями, обозами и штабной канцелярией.

Вместо производственных совещаний и коллективно обдуманных решений он ввел систему единоличных приказов по колхозу. По одному параграфу одних людей гнали на работу, часто непосильную и бессмысленную, по другому параграфу другие люди освобождались и сладко лодырничали, по третьему, четвертому, десятому параграфам колхозники получали выговоры, благодарности, штрафы и награды.

Петухов гордился своей стройной системой управления. Колхоз был похож на совхоз. Вернее, он ни на что не был похож.

Колхозники ломали перед строгим председателем шапку... Основная гуща, бедняки и середняки, сразу как-то осела под твердым нажимом самовластного председателя. У нее еще не было опыта борьбы за свою артельную демократию. Хуже того — многие из вчерашних единоличников простодушно полагали, что эта унылая служебная лямка — это и есть настоящий колхозный распорядок, что иного не бывает.

Зато отлично обжилась подле Петухова кучка зажиточных, попросту кулаков, которых председатель принял, дозволив предварительно распродать скот и богатый инвентарь. Они образовали вокруг председателя законода-

тельную палату и управляли колхозной массой от имени шефа. Управляли так, что бедняк взвыл, а середняк, мухановский, тростниковский, михайловский, федоровский середняк, тот, что раньше так охотно тянул руку за колхоз, стал потихоньку выписываться. Петухов делал вид, что не замечает отлива. Вместе с кулацким своим сенатом этот левейший колхозный администратор говорил об уходящих середняках, как о ненужных лодырях.

Казенщина в управлении скоро дала себя почувствовать. Никто не хотел работать на полную силу. Никто не тревожился, не боялся за посевы, за уборку, за использование машин. Хозяйство начало хиреть и разоряться.

Перевыборы правления встряхнули тоскливую мертвечину. Колхозники взялись за Петухова плотно. Осветилось его незаконное потворство кулакам-лишенцам, сопротивление встречному плану хлебозаготовок, преступное головотяпское обращение с тракторной колонной. Его выбросили из колхоза и из партии. Стали чистить колхоз — выгонять вслед за Петуховым его друзей кулаков.

С новым правлением «Сила стали» опять ожила, весело зашевелилась. В руководство вошли люди твердые, но простые, не заносчивые. Первые же начинания, первые проявления в массовой работе встречены были бурным подъемом. Взорвалась, вышла наружу крестьянская сметка, появилось свое, колхозное изобретательство, и вовсе не наивное, а складное, передовое, удачливое. Отдельные разбросанные деревни, поселки и хутора, объединившись общим хозяйством, почувствовали себя совсем недалеко друг от друга.

Муханово, угрюмое неподвижное Муханово, при новом правлении растормошилось больше всех. Зашагали по избам инициативные группы, зашумели колхозные «красные сваты», вербовочные бригады, языкастые селькоры. И вот в Муханове сто процентов, мы сидим в сумерках в каморке председателя и каждые пять минут смеемся. Это когда по привычке хватаемся за то, что уже кончилось.

— Как же заем распределился среди единоличников? Ах, да — ведь единоличников уже больше нет!

— А как будут семена единоли... Забыл, забыл — здесь теперь только колхозные. Никак не привыкнешь!

Эти сто процентов — не чета прошлогодним.

Те были с разбегу, рыхлые, водянистые, часто прямо липовые проценты. Эти взяты в упорном повседневном бою за коллективизацию, к ним мы пришли по ухабам, с толчками вправо и влево, но твердо пришли по земле, а не сомнительно припорхнули на крылышках.

И при ста процентах жизнь в Муханове еще далека от социалистического рая. Село, только что превратившееся в колхоз, еще по колена в старом. В нем не затихает классовая борьба, здесь есть недовольные и есть причины для недовольства. Это только в пьесах наших благонамеренных авторов честные крестьяне, голоснув за колхоз, больше ничего не делают, как пляшут камаринского под звуки «Интернационала».

В Муханове кулак потихоньку, уже совсем ослабевшими руками, но все еще придерживает бедняка. В Муханове не хватает вдосталь картошки. Нет лекарств в мухановской амбулатории, а в мухановской школе ребята, хотя и прочли мне наизусть, без запинки длиннющее стихотворение об океанском шторме и героях-краснофлотцах, но ни чтецы, и никто не знал, что такое океан и что такое краснофлотец... Прорех целое множество, схватишься за одну, а уже зовет другая.

Но разве страшны эти маленькие прорешки, если самое главное уже сшито и завязано крепким узлом? Ведь возврата нет! Ведь уже произошло самое неслыханное, самое великое из того, что могло произойти за много веков. Сто миллионов мелких, жалких, раздробленных хозяев поверили партии большевиков, что лучше будет, если объединить труд и орудия производства.

Мухановские, а кроме них — ильменевские да еще димитровские, михайловские, федоровские и всякие иные перестали думать дедовской, изуродованной царями головой. Они поверили в новое, проверили и теперь сами готовы доказать каждому: засуха не страшна, если снегом согреть и напоить зерно. Бедность не страшна, если работать и хозяйствовать артелью.

Именно это, величайшее из событий, определяющих судьбы мира, проморгали те, кто, насилуя мировой эфир и телеграфную проволоку, поспешают за тещей испанского короля Альфонса, за несравненным женихом в купальном костюме.

Она, мировая печать, не забывает сообщать и о советской стране. Но — жалкая бумажная потаскуха — о чем

она дребезжит! Она пугает Европу призраками демпинга и советского принудительного труда.

Идиоты — разве страшно это? Разве этого надо бояться? Если бы в самом деле в нашей стране была система рабского труда — трудно ли было бы передовому цивилизованному буржуазному миру задушить государство с таким отсталым древнеримским строем социальных отношений?

Но ведь действительность много страшнее. «Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи!»

Действительность то, что заволжские крестьяне, те же, что десять лет назад, раздавленные засухой, принимали кусок хлеба от американских благотворителей, теперь сознательно, разумно и своевременно выходят на поля удерживать снег.

Действительность то, что сто тридцать дворов в Муханове и еще двадцать миллионов по всей стране, миновав сомнения и колебания, преодолев право-левое сопротивление Петуховых, добровольно объединившись, задушив угнетателей, совместно эксплуатируют неистощимую природу шестой части света. И Герберт Гувер, еще недавно председатель снисходительной к нашей нищете АРА, теперь, в должности американского президента, трусит мощного экспорта продуктов колхозного труда.

Действительность то, что секретарь и культпроп мухановской сельской ячейки, но никак не король Альфонс и его теща, принцесса Беатриса, призваны повернуть скрипучее колесо мира. Горе тому, кто обманывается в главных действующих лицах эпохи.

1931

Кто смеется последним

Рыночная конъюнктура собачьего кала во время империалистической войны имеет свое назидательное значение.

Да, да, собачьего кала. И, пожалуйста, не думайте, что мы собираемся плоско острить.

В качестве предмета для острот названное выше вещество очень мало привлекательно. Невзыскательно гру-

бые люди пользуются его наименованием как ругательством, когда хотят проявить крайнее свое пренебрежение к чему или кому-нибудь. Но они не правы.

Собачий помет на первый взгляд — вещь совершенно никому не нужная. Оказывается, нет. Оказывается, кое-кому нужная, и даже весьма.

При обработке дорогих и нежных сортов кож, особенно замши и лайки, после того как они проходят первичные, заготовительные процессы, приходится применять целый ряд так называемых мягчителей, которые и придают этим кожам их самые ценные свойства.

Лучшим мягчителем для замши и лайки является именно помет собак. В нем находятся микроорганизмы, выделяющие особые кислоты, весьма важные для мягчения.

Следовательно, презренный собачий помет в хозяйственном отношении является весьма ценным техно-химическим продуктом. И — надо добавить — весьма недешевым. Собирание помета, хранение его в товарных массах, перевозка, упаковка — все это требует приложения человеческого труда, вложения капитала, все это образует высокую цену продукта.

Еще до войны заготовка собачьего помета и оптовая торговля им были сосредоточены в Германии. Мелкий немецкий обыватель питает пристрастие к содержанию домашних собак. Эта массовая страстишка была использована как база. Специальные фирмы заключали постоянные договоры с владельцами собак, которые еженедельно сдавали продукцию своих питомцев, сохраняемую в закрытых цинковых ящиках. Кроме того, фирмы имели целые питомники собак определенной породы, чей помет по своему химическому составу лучше всего подходил для смягчения замши и лайки.

Фирмы десятилетиями, методически торговали своим товаром. Они экспортировали его, и весьма широко. Старые кожевники подтверждают: российские заводы регулярно выписывали собачий помет из Германии. Он прибывал в очень солидной таре, в красивых, небольших, герметически закупоренных баках — нечто вроде консервных банок...

Да что там российские заводы! Ведь и французы постоянно импортировали из Германии собачий помет.

И когда началась, когда вовсю разгорелась мировая война, — произошло самое замечательное.

Французской армии была, особенно для авиации, до зарезу нужна замша и лайка в больших количествах. А чтобы делать замшу и лайку, до зарезу нужна названная собачья продукция.

И вот в разгар войны французские агенты в нейтральных странах — в Голландии, в Швейцарии — скупают — да еще по каким ценам! — привозимый из Германии помет неприятельских собак. Кстати сказать, торговые операции между воюющими странами на этом не ограничивались. Как известно, и патриотический Крупп ухитрялся при недостатке вооружений на фронте вывозить и продавать французам пушки немецкого производства.

Но вы подумайте! Вы только подумайте, какая обида! Прекрасная Франция в грозном порыве напирает на презренных тевтонов; шикарный президент Пуанкаре навешивает ордена офицерам; великолепный маршал Фош потрясает умы своими полководческими доблестями; несравненный социалист Альберт Тома руководит военным снабжением; неподражаемый журналист Гюстав Эрве авторитетно доказывает, что вся германская нация есть сборище дикарей, дегенератов, уголовных преступников. А в то же время жалкие кожевенные мягчители, простое, извините за выражение, собачье дерьмо, приходится покупать у тех же неприятелей, преступников, дегенератов. И некому пожаловаться, не к кому взывать. Надо молчать, терпеть — терпеть и молча платить золотом за помет.

Но и этого мало! Положение еще обиднее. В Германии во время войны частью околели, частью съедены почти все собаки. Торговцам трудно заготовлять даже десятую долю своего специфического продукта. И они, неутомимые коммерсанты, начали подделывать собачий кал. В истории германского суррогатного производства отмечается этот факт. Французы за свои деньги вместо подлинного мягчителя для замши получали чепуховую смесь на три четверти из жирных глин, минеральных масел и извести... Разве не обидно, разве не смешно?!

Да, смешно. Это смешно по существу. И как хорошо, как изумительно, что сейчас, в новом, тридцать втором году, в последнем году первой пятилетки, мы, Страна Советов, находимся в положении, когда над такими вещами можем смеяться законно.

Лет восемь назад нам могли бы сказать со стороны, и весьма едко:

— Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!

Какое счастье — мы уже быстро забываем вчерашний день, когда по золотой цене ввозили в советскую страну если не собачий помет, то целый ворох предметов, столь же «непреложно импортных».

На золото, на валюту покупались за границей наконечники для сапожных шнурков. И древесная стружка для упаковки яиц. И неструганные доски для постройки цирковых балаганов «шапито». И булавки для скалывания канцелярских бумаг.

Сейчас нам не нужно ввозить даже блюмингов. Мы их делаем сами.

Мы ввозили в начале нэпа ситчик, а теперь не ввозим и машин, на которых он делается. И даже станки, на которых делаются машины для ситца, мы тоже делаем сами.

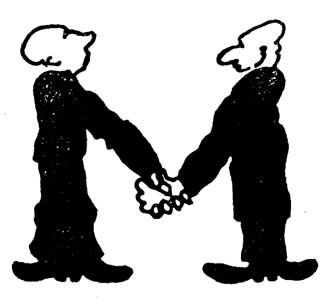
Мы ввозили пароходные канаты. А теперь громадные роскошные пароходы и теплоходы, целиком советского производства, режут волны Балтики, Бискайи, Индийского океана.

Мощные многомоторные самолеты распластались крыльями, пробежали своей широкой тенью над всеми странами Европы. Они сделаны целиком нашими руками. А ведь мы ввозили даже вату, которой летчики затыкают уши от шума моторов.

У нас полным ходом фабрикуются сложнейшие химические составы, тонкие аптекарские химикалии. А ведь только что мы ввозили из Германии на золото ваксу для чистки сапог. Многим ли она сложнее собачьей гадости?

Это далось не сразу. Когда рабочий класс, завоевавший власть, приступил к осуществлению своей экономической независимости от буржуазного мира, ему сразу начали противодействовать. Иностранные капиталисты, отечественные вредители, классовые враги всех видов и мастей, трусливые бюрократы, правые мещане с партбилетами, троцкисты — все обступили рабочего плотной стеной, все тормошили, дергали за рукава, уговаривали: «Брось, ничего не выйдет».

Вы читаете «Правду» — она напечатана на балахнинской бумаге. Но ведь постройка Балахны в свое время была объявлена головотяпством, безумием. «Какой смысл ухлопывать средства в громадную бумажную фабрику, если заграничная бумага по калькуляции гораздо дешевле!» — такое мнение публиковалось не где-нибудь, а



Мы строим новую жизнь, воздвигаем высокие сваи новых дворцов коммунистического будущего.

А пока,

не замечая того, сидим иногда по уши в бытовой грязи,

почитая за нечто привычное
неуважение к человеку,
к его достоинству,
к его облику,
даже к его
лицу,
в котором мы видим
только морду.
Или рожу,
или рыло.

В самоварном чаду (1926)

на столбцах советской же печати. Это был плод сожительства вредителей с правым оппортунизмом.

А троцкистские толки о невозможности построить социализм в одной стране — разве это не был надрывный протест против советского блюминга, против советской льнотеребилки, против упорной, годами, борьбы за хлопковую, каучуковую, чайную, химическую, машиностроительную и всякую прочую независимость нашего Союза?

Не сразу это далось. Но далось... Упрямое, непреклонное в своем движении к намеченной цели подлинное большевистское руководство партии растолкало разношерстный сброд, преграждавший генеральный путь. Идя по этому пути, мы не хотим знать рабской зависимости от буржуазного хозяйства.

Идя по этому пути, мы строим свои винторезные станки. И станки револьверные, и карусельные, и шлифовальные, и поперечно-строгальные, и сверлильные, и двухшпиндельные, и универсальные, и всякие.

Мы создаем свои бескомпрессорные двигатели, и золотопромышленные драги, и электролебедки, и механические лопаты, и мотоциклы, и эксцентриковые прессы, и трехосные грузовики — все то, что от веку полагалось нам почтительно выписывать из-за границы.

...А некоторые производства мы налаживаем уже одновременно с Европой и Америкой, даже раньше их: дизельный трактор; самолет из цельносваренной стали...

Нет такого производства, которое не могло бы быть организовано в советской стране наряду со странами капиталистического мира!

...Было бы величайшей слепотой благодушия этот вывод, добытый неимоверной борьбой, воспринимать только как символ победы, как завершающую, успокаивающую истину.

Нет. В этой истине — путь дальнейшей борьбы. На пороге нового года рабочий класс Союза стоит с двумя списками в руках.

На одном листе — качество. По всем новым производствам, освобождающим нас от иностранной зависимости, догнать и перегнать иностранное качество вещей!

На другом листе — список всего того, что еще ввозится оттуда, из-за рубежа. Того, что мы еще не научились делать своими руками. Он пока длинен, этот список. Скорей сокращать его! Пусть каждый завод, каждая фабрика, цех, каждая лаборатория еще раз оглянется кругом

себя, еще раз испытает свои силы, поможет вычеркнуть еще одну строчку из враждебного списка недоступных вещей.

Экономику и политику надо изучать не только вообще. Иногда отдельные маленькие факты говорят больше, чем громадные статистические таблицы и мировые конъюнктурные обзоры.

Каково нам придется, если втянут нас в войну? Некоторый период мы будем на острове, окруженном враждебным морем. Приятно ли будет зависеть нам от чужих, от врагов, из-за какого-нибудь дотошно нужного нам пустяка?

Ведь Америка, технически и финансово могучая Америка, которую мы только еще нагоняем, — даже она всерьез озабочена опасностью такого же рода. Людвелл Денни указывает тридцать материалов, перечисленных Вильямом Редфильдом в его книге «Зависимая Америка», — материалов, в которых Америка будет зависеть от других стран во время войны.

Будем ли и мы в трудную минуту стоять с протянутой рукой, ожидая из-за границы какого-нибудь пустяка, не запасенного вовремя? Ведь это будет рука просящего, хоть в ней и будут лежать золотые монеты!

Нет! На пороге второй пятилетки партия и рабочий класс Союза еще выше, чем до сих пор, подымают знамя экономической независимости великой страны большевиков.

Значит ли это, что мы вообще хотим и намерены отказаться от импорта в нашу страну из-за границы?

Нет, нисколько не значит.

Наша страна богата, достояние ее растет с каждым часом. Мы вывозим и будем вывозить на сотни миллионов золотом всяческое излишнее для нас сырье, сельскохозяйственные продукты, лес, нефть, минералы. Мы не будем сидеть, как скупой рыцарь, на грудах добытого золота. Мы будем и дальше ввозить в нашу страну все лучшее, что может создать техника, промышленность, наука передовых стран.

Но, создавая свое собственное производство во всех отраслях индустрии и сельского хозяйства, мы одновременно освобождаем в нашем импорте место для новых предметов, являющихся новыми достижениями культуры и техники Запада.

А главное, наш импорт перестает быть принудительным для нас. Он становится более свободным, более властным. А потому более ценным и эффективным.

1932

Комби-комби

Товарищ Шерман Иосиф Львович — мужчина во цвете лет и вполне на уровне века.

Эпоха выдвигает свои проблемы. Шерман их понимает. Эпоха требует — Шерман мгновенно дает. Он предан эпохе до мозга костей. Если бы эпоха указала на паровоз и сказала: «Иосиф Львович, ложитесь под паровоз!» — немедленно Иосиф Львович лег бы под паровоз, конечно, при условии, что паровоз был бы заблаговременно охлажден и лишен какой бы то ни было возможности сдвинуться с места.

Что является одним из важнейших лозунгов дня? Одним из важнейших лозунгов дня является мобилизация внутренних ресурсов. Пожалуйста. Товарищ Шерман руководит бюро утилизации при Наркомснабе Союза ССР. Он проводит лозунг в жизнь. Он придает делу надлежащий размах.

Шерман рассылает циркуляр всем республиканским наркомснабам, край- и облснаботделам. Республиканским утильорганизациям. Номер 945/126.

«По получении сего просим выслать все имеющиеся у вас материалы по вопросу использования саранчи и прочих насекомых с целью извлечения жира».

«Желательно, чтобы материалы охватывали... ориентировочное количество саранчи, возможное к получению в 1932—1933 году (в весовом выражении)».

Самый большой успех циркуляр Шермана имел в самом же наркомате. Прочтя произведение Иосифа Львовича, нарком товарищ Микоян так воодушевился, что приказал выгнать автора со службы, и выгнать сию же минуту.

Но разве мелкие неудачи могут смутить человека, энергично работающего на эпоху? У Иосифа Львовича есть другая, более важная специальность, чем саранчо-

вый жир. Кроме насекомых, он желает поставлять нашему государству людей.

Кадры — великая проблема реконструктивного периода, могла ли она ускользнуть от беспокойного внимания Шермана и ему подобных?

Кадры, кадры — вся партия, весь государственный аппарат, все хозяйственные организации озабочены подготовкой громадного количества квалифицированной рабочей силы и технического персонала по тысячам отраслей.

Все озабочены. Но все ли по-настоящему, по-честному, по-большевистски, без формализма, относятся к этой задаче?

Каждый хозяйственник знает, что с него спросят за кадры. Для того, кто не хочет каждодневно заниматься этой хлопотливой штукой, сейчас завелись простые способы очень удобной страховки.

Что ни день, во все учреждения, на все фабрики прибывают бумажки с предложениями о подготовке кадров. Надо только отпустить деньги, и специальная организация через оговоренный срок пришлет вам готовеньких инженеров, техников, токарей, велосипедистов — кого угодно, хоть гипнотизеров. Никаких беспокойств, никаких мучений с преподавателями, с учебниками, с помещениями. Только дать денег, и побольше.

Хозяйственник на эти спасительные предложения кидается очень охотно. Деньги отпустил, заботу проявил, в протоколе об этом отмечено, — а какие будут кадры, как их будут готовить — за это пусть отвечают те, кто взял деньги...

Короче говоря, Шерман приступает к организации вечернего рабочего химико-технологического университета имени Осоавиахима.

Что нужно прежде всего для существования химико-технологического, да и вообще всякого университета?

Нужен ректор.

С подысканием ректора особых затруднений не возникло. Иосиф Львович правильно решил, что от добра добра не ищут. Ректором будущего университета был провозглашен товарищ Шерман Иосиф Львович.

Теперь — что нужно хорошему ректору для того, чтобы открыть университет?

В этом отношении Иосиф Львович был вполне согласен с другим великим человеком, с Наполеоном:

— Для университета нужны только три вещи. Во-первых, деньги. Во-вторых, деньги. И, в-третьих, деньги.

И еще, уже без Наполеона:

— В каждом доме есть деньги на кадры. Надо только уметь их достать.

Шерман — из тех, кто достать умеет. В одно мгновение Шерману выдают на организацию университета.

Мосавиахим — 38 000 рублей.

МСНХ — 5 000 рублей.

Союзмясо — 53 000 рублей.

Деньги выдаются совершенно без боли, даже с некоторым ликованием. Президиум московского Осоавиахима по докладу Шермана упоенно отмечает в своей резолюции рекорды своей работы. «Секция химизации сумела в кратчайший срок, в 28 дней, реализовать на практике директивы ноябрьского пленума ЦК ВКП(б) о кадрах»... Двадцать восемь дней — быстрее, чем цыпленка вывести в инкубаторе!

Университет на бумаге организован. Появляются даже списки студентов. Что теперь?

Теперь — ясное дело, теперь надо его, университет, разукрупнять.

Сообразно с ведущими в нашу эпоху организованными методами Шерман свой только открытый университет разукрупняет на четыре самостоятельных университета: механический, строительный, электротехнический и химический. В порядке стратегического отступления три университета подбрасывает Осоавиахиму, за собой пока удерживает только химический вуз. «Ему обещает полмира, а Францию только себе»...

Но Союзмясо может поинтересоваться насчет своих пятидесяти тысяч рублей. Аккуратный Иосиф Львович предусматривает эту возможность. За подписью Мурашова в Союзмясо поступает бумага, в которой Союзмясу предлагается имеющийся у него химико-технический институт передать Сельхозпищутилю.

Союзмясо не возражает. Оно согласно.

Но ведь на самом деле никакого института у Союзмяса нет! Ведь институт этот вообще и в природе не существует!

Никому дела до этого нет. Товарищ Мурашов верит на слово авантюристу Шерману в том, что где-то есть институт, где-то учатся какие-то люди. Союзмясо не смеет не верить своему начальству. На глазах у почтенней-

шей публики фокусник переливает воображаемые кадры из одного сосуда в другой.

Почему же институт передан именно в Сельхозпищутиль? Очень просто, почему. Потому, что в это учреждение поступил на службу Шерман.

Дальше — дальше начинается нечто вроде старинных кинокомедий с участием Дурашкина и Макса Линдера.

Несуществующий институт Шерман оформляет и опять его разукрупняет — на основной и пищевой институты. Один, основной, куда-то подбрасывает, а пищевой институт оставляет при себе.

Из Сельхозпищутиля институт переходит в Союзпромкорм.

Из Союзпромкорма — опять возвращается в Сельхозпищутиль.

Потом институт скачет из Пищутиля в Промкорм. 29 октября 1931 года Госплан штемпелюет новый титул: «Московский химико-технологический институт комбикормовой промышленности».

Что-то ослабло в могучем организме неутомимого Шермана. Крепкий дуб зашатался. Иосифа Львовича разлучили с его любимым детищем, неразлучно сопровождавшим его во всех скитаниях.

Институт комбикорма утвержден Госпланом. Раз утвержден, с приложением подписи и печати, — значит, надо ему быть.

В глухой дыре, в шести километрах от железной дороги, за станцией Монино, собрано 200 студентов, строятся здания, отпущено полмиллиона рублей. Нет ни учебного плана, ни профилей, ни установок. Нет и преподавателей — они отказываются ездить в совершенно неблагоустроенное место.

Вообще-то нужен ли специальный институт по комбикормовым кормам? По планам Союзпромкорма общая его потребность в инженерно-технических кадрах для всей страны — 300 человек. Для этого в Кременчуге есть специальный техникум, выпускает он в год по 165 человек. Тот же техникум имеет 6-месячные курсы для директоров по комбикорму на сорок человек. Процесс изготовления комбинированных кормов очень сходен с процессом мукомольной промышленности. Одесский институт зерна и муки предложил Союзпромкорму организовать специальное отделение для комбикормщиков. Наконец, «Тимирязевка» готовит аспирантов по всем отрас-

лям комбинированных кормов... Неужели всего этого нам не хватит? Неужели мы должны так уж послушно следовать всем изгибам фантазии горячего Иосифа Львовича?

...Все эти строки — вовсе не только о Шермане. Эти строки — предупреждение всем, кто к величайшему делу овладения техникой и создания квалифицированной пролетарской технической интеллигенции относится формально, спустя рукава, кто верит на слово и заменяет живую жизнь бумажкой, и сонно штемпелюет эту бумажку, даже не оглядываясь, кто ее подсунул.

1932

Иван Вадимович — человек на уровне

ИВАН ВАДИМОВИЧ ХОРОНИТ ТОВАРИЩА

— Пойдемте немного тише. У меня тесные ботинки, а топать придется далеко. Да... тяжелая история. Первого числа мы еще вместе сидели на комиссии по себестоимости. Он нервничал перед докладом — и как обрадовался, что хорошо сошло! Не знал, бедняга, что его ждет через две недели... Кто это впереди, у гроба? Ах, Кондаков, вот как! Он здесь как — от президиума или персонально? Я знаком с ним только по телефону, лично никогда не видел. Молод, однако... В таком возрасте быть членом президиума — это неплохо... В последнее время поперла какая-то совсем новая публика. Неведомые люди. Говорят, из партийного аппарата много переводят на хозяйственную работу. Гонор-то у них большой... Может быть, он и вовремя умер. В коллегии к нему стали относиться очень плохо... С кем трения — со мной? Это чистая ложь. Мне он никогда не мешал. Я был поистине потрясен его смертью! Какая ложь! Я знаю, кто это вам сказал. Это Кругляковский вам сказал. Нет, не спорьте — ясно, Кругляковский. Не понимаю, зачем он распространяет подобные слухи. Я уже от третьего слышу. Придется с ним поговорить... В крематории? Нет, уже в третий раз. Впервые я был — у нас один сотруд-

ник умер, а потом на похоронах Петра Борисовича; разве вас тогда не было? Красивые похороны были. Масса народу, венки, музыка, представитель от президиума, знамена. Ему-то самому, конечно, ничего не прибавилось; он этого уж не видел... На мои столько народу не придет. Хотя — как организовать... Много зависит от отношения товарищей... Да, довольно красиво! Особенно этот момент, когда гроб плавно опускается вниз. А в подвал, к печам, в это окошечко вы ходили смотреть? Я тоже нет. Что за зрелище — не понимаю. Говорят, труп корчится... Недавно слышал — жену одного ответственного работника какие-то дураки уговорили туда взглянуть. Полюбоваться, так сказать, на мужа. Ну, конечно, припадок. Идиоты!.. Я свою жену принципиально ни на какие похороны не беру. Это не для женщин. Тем более у нее отец пожилой... Да, вот так живешь, работаешь, бьешься как рыба об лед, а потом — пожалуйте в ящик, и отвозят. В порядке очереди. Как говорится: «Кто последний, я за вами...» Хотел бы я только, чтобы у меня это быстро случилось. Какое-нибудь крушение поезда — раз и готово... Это сестра его жены. Не правда ли, красивая баба? У нее муж в торгпредстве или что-то в этом роде, потому так одета. Напомните мне потом рассказать анекдот, как к Калинину пришли два еврея. Контрреволюционно, но очень смешно. Интересно, кто все эти анекдоты придумывает?.. Нет, сейчас неудобно, обратят внимание. Лучше на обратном пути... Говорят, у него давно уже было расширение сердца. Он не берегся — и вот. Я его отлично понимаю. Со мной то же самое случится... Нет, особых таких болезней у меня нет — но вот, например, в разгар вечера вдруг начинают страшно чесаться руки. Что-то невероятное! Недавно это у меня в театре началось — так прямо с середины действия хотел уйти. Но потом сразу прошло. Врачи — разве от них добьешься толку! Профессор Сегалович говорит: старайтесь не чесаться, это чисто нервное. Что значит чисто нервное — я должен знать, куда это ведет, чем угрожает! Мне неважно личное здоровье, но ведь я частица чего-то, у меня на плечах большое учреждение! Я его спрашиваю, какую диету мне соблюдать, чего не есть, чего есть. Говорит: «Это не имеет значения». Ничто для них не имеет значения! Две нелепых профессии — врачи и эркаисты. Должны страховать от болезней, а пользуются ими, чтобы мучить нас. Хорошо еще, что я сам соблюдаю

некоторый режим. Берегу выходные дни, негорячая ванна после работы. Потом вот что я вам советую: я принципиально не курю перед едой. Это очень важно! Думаю в этом году пораньше в отпуск. Вы куда собираетесь ехать? Нет, я опять на южный берег. Обязательно напомните рассказать анекдот про трех дам на пляже... Да, печально, печально... Главное, уж очень хороший мужик был. Никто от него зла не видел. Не было в нем, знаете, этого подсиживания, этого желания нажить на ком-нибудь капитал. На его место? Не знаю... Официально не знаю, но строго секретно могу сказать — Свенцянский. Уже решено. Да... я сам был поражен. Я даже влопался немного. Поздравлял Мятникова с новым назначением. И Мятников, главное, не опровергал. Молчал и улыбался... В последнюю минуту все перевернулось. Говорят, потребовали крепкого оперативного человека для непосредственного практического руководства. Но ведь можно было и при Мятникове иметь заместителя специально по практической работе. Мятников как-никак фигура... Вы что делаете послезавтра? Приходите обязательно ко мне... Так, ничего особенного, и товарищи соберутся посидеть. Мы новоселья не устраивали, это будет вроде полуновоселья. Было намечено на сегодня — из-за похорон отложили. Неудобно все-таки. Кто-нибудь сболтнет — скажут: нашли время пьянку устраивать... Можно прийти и попозже... Будут все свои люди. Сергей Соломонович обещал заехать... Много народу отправляют в политотделы... Я бы сам с радостью уехал — не берут по болезни. Как я развернул им бумажку от врача, как они взглянули, даже толком не прочли — сейчас же прекратили разговор. Я даже пожалел, что принес им эту бумагу... Ботинки меня сегодня доконают! Давайте пойдем потише, немного отстанем. У меня там сзади идет машина. Отдохнем, а перед самым крематорием опять бодро зашагаем.

ИВАН ВАДИМОВИЧ НА ЛИНИИ ОГНЯ

— Товарищи, я очень внимательно слушал ваши прения. Если это только можно назвать прениями... Слушал — и чуть не заснул. Да, товарищи, чуть не заснул! Я спрашиваю: к чему опять эти бесконечные рассуждения о сырье, о топливе, о рабочей силе, о тарифе? Из

них, из этих рассуждений, ясно только одно. План по Лазаревской фабрике не выполнен. Не выполнен, вот и все. Не выполнен на сорок шесть процентов. Вот основной факт! Вот — основной — факт. Каков смысл этого факта? Здесь у нас, на правлении, сидят взрослые люди. Я не буду, товарищи, заниматься перед вами демагогией. Не буду шуметь о том, что рабочие сидят без нашей продукции... Что сельская кооперация с немым укором смотрит на нас своими пустыми полками... Что не выполнен заказ для Красной Армии, для наших доблестных бойцов, и так далее... Вы люди взрослые, незачем отнимать время этими общеизвестными вещами. Но я скажу о другом. Сорок шесть процентов невыполнения — вы знаете, что это значит? Вы не читаете газет!! Вы, товарищи, заросли тиной повседневных текущих будней! А я за политикой слежу. Я газеты читаю и могу сообщить: Главснабстрой за одиннадцать процентов невыполнения получил четыре строгих выговора. Одиннадцать процентов — а у нас сколько?! Стекло-силикатный комитет весь распущен за двадцать процентов невыполнения. В Союзколенкорсбыте со строгим выговором снят председатель, исключены из партии заведующий производством и его зам! В Росглинофаянсе из-за трех процентов все правление осталось без отпусков! В Объединении твердых металлов один исключен, четверо сняты, двоим запрещены ответственные должности. Что? Правильно: Антон Фридрихович меня дополняет: там же распущено бюро ячейки и назначена внеплановая чистка аппарата. Внеплановая чистка, товарищи! Вне-пла-но-ва-я чист-ка. В Маслопродуктпроме три члена правления отстранены с преданием суду, зампред снят, председатель освобожден ввиду перехода на другую работу... Да что Маслопром! Целые наркоматы получают по морде — почитайте газеты. Что же вы думаете — с нами стесняться будут? Стесняться не будут! Не бу-дут. И что же нам тут предлагают? Сменить нашего уполномоченного на заводе? Добиться большей отгрузки сырья? Усилить премирование? Назначить нового директора? Завести красную и черную доску? Наивно, товарищи. Смешно! Бесконечно смешно и наивно. Зачем закрывать глаза? Пусть кто-нибудь из присутствующих поручится, что фабрика вылезет хоть наполовину к концу квартала! Никто такого поручительства из нас дать не может. Положение трудное. Всякие полумеры были бы близорукостью, вдвойне опас-

ной... Надо действовать решительно, смело и притом дальновидно. Что же я предлагаю? Лазаревскую фабрику мы превращаем, переименовываем, ну, словом, претворяем — в комбинат. Да, в комбинат и, если хотите, в трест. Что? Отчего же! Бывают на местах и еще меньшие тресты. Претворяем в трест областного значения. Ольга Максимовна, поищите в архиве, там где-то должна быть бумага от Ивановского обкома. Кажется, начало прошлого года. Они просили тогда передать Лазаревку в ведение области. Тогда мы категорически отказали. А сейчас — сейчас мы категорически согласились. Что? Я вас не перебивал, извольте теперь выслушать своего председателя и тоже не перебивать. Превращаем в областной трест. Отзываем сейчас же уполномоченного — чтобы не мешать местной организации руководить. Предоставляем обкому посадить нового директора или оставить старого. Это их дело, пусть они отвечают! А главное, немедленно выводим Лазаревку из нашего централизованного промфинплана. И этим, как нетрудно догадаться, сразу меняем процент нашего выполнения!.. Отделить больное от здорового — вот смысл мероприятия! Пусть здоровое отвечает за здоровое, а больное за больное! Отсекаем гнилую часть организма и даем ей возможность либо умереть, либо выздороветь в условиях своевременной изоляции... Пусть обком руководит фабрикой, пусть направляет ее всеми имеющимися у него методами воздействия. Пусть исключает людей из партии, пусть хоть режет на кусочки. Мы-то здесь при чем?! Ведь фабрика не в Москве... Сделать надо сейчас, немедленно, мгновенно. Проявить максимальную оперативность. До конца квартала осталось пять недель. Пусть, когда начнут смотреть квартальные итоги — пусть тогда мы будем уже давно в стороне... Что? Не хитро, а мудро, дорогие товарищи! Мозги надо иметь! Моз-ги! Котелок должен варить на плечах. Без котелка мы с вами давно уже пропали бы!..

ИВАН ВАДИМОВИЧ ЛЮБИТ ЛИТЕРАТУРУ

— Шолохов? Конечно, читал. Не все, но читал. Что именно — не помню, но читал. «Тихий Дон» — это разве его? Как же, читал. Собственно, просматривал. Перелистывал... Времени, знаете, не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. Лично я могу только

глянуть на страницу и уже ухватываю основную суть. У меня это от чтения докладных записок выработалось... Но, в общем, до чего все-таки слабо пишут! Нет, знаете, задора. Глубины нет... Не понимаю, в чем тут дело. Ведь в какие условия их ставят, если бы вы знали! Гонорары, путевки, творческие отпуска, командировки. При этом никакой ответственности, никакого промфинплана. Если бы меня хоть на полгода устроили — чего бы я понаписал! Данные? Что значит — данные! Если тебя партия поставила на определенный участок, на литературу, если тебе дают возможность работать без Эркаи, без обследований, без этой трепки нервов — скажи спасибо, пиши роман! Беспартийный — тот должен, конечно, иметь талант. Но ведь и ему партия помогает... Фадеев? Это какой, ленинградский? Есть только один? Мне казалось, их было двое... Вообще чудаковатый народ. Совершенно какие-то неорганизованные... Я, когда еще Маяковский был, решил заказать стихи к годовщине слияния Главфаянсфарфора с Союзглинопродуктсбытом. Звоню, спрашиваю Маяковского. «Уехал на шесть недель». Спрашиваю, кто заменяет. Говорят — никто. Что значит — никто?! Человек уехал на шесть недель и никого вместо себя не оставил... Или он думает, что незаменим? У нас незаменимых нет! Потом я еще раза два звонил — средь бела дня телефон не отвечает. Ну, в общем застрелился. Это такая публика, что пальца в рот не клади... На днях был я в Моссовете — представьте, кто-то из них заявляется, просит устроить на дачу. И как это с ним разговаривали! «К сожалению, сейчас дачи нет! К сожалению, вам придется обратиться в дачный трест...» Я потом, когда он ушел, спрашиваю: почему «к сожалению»? Что он — через Торгсин не может себе дачи купить? Ведь они кучи золота загребают!.. Издания «Академии»? Я их все подбираю — какая культура! Все сплошь в сатиновых переплетах, с золотом... Говорят, есть еще особые нумерованные экземпляры — шевро или шагрень, что-то в этом роде. Чудесные книжки! «Золотой козел Апулея» или что-то в этом роде, какая прелесть! Или Боккачо возьмите. Что за мастер слова! Умели же люди подавать похабщину, и как тонко, как культурно — не придерешься... «Железный поток»? Конечно. Я его еще до революции, в гимназии, читал. Одна из вещей, на которых я политически воспитывался.

ИВАН ВАДИМОВИЧ ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

— Ну, что вы, ребята, не понимаю! Куда же вы торопитесь?! Посидели бы еще! Петр Ильич, это ты виновник всему: «Мне рано вставать, мне рано вставать». А за тобой и все потянулись. В конце концов отправили бы Петра Ильича спать, а сами посидели бы еще. Чаю можно опять разогреть. Закуски остались, водка, Абраша-дюрсо две бутылки. Вот только рябиновая вся. Это уж Никита постарался. Ай да Никита, ну, молодец! На работе такой суровый, а тут как нежно стал за рябиновкой ухаживать. Вот она где, комсомольская энергия. Да ты не смущайся, Никита, чудачок. Так и надо — решительно и напролом. Жаль, Сергей Соломонович рано ушел — мы бы его попросили учредить у нас особый рябиновый отдел. И заведующим, конечно, Никиту! Разрешите, я вам пальтецо разыщу... Нет, нет, очень даже стоит! Мы, как говорится, ваши хозяевы, вы наши гости. Анюта! Ты не слышишь? Илья Григорьевич с тобой прощается. Измоталась? Кто? Анюта? Да нет, что вы! Анна Николаевна у меня человек боевой, жинка на ять. Ее так легко не измотаешь. Что? А вот давайте пари держать; приходите каждый день. У нас дом хоть простецкий, вас всегда Анна Николаевна накормит, напоит, приласкает... Да нет, Анютка, ведь я в переносном смысле. Добродетель твоя вне подозрений. Хотя... чего это тебе Жертунов все в уголке шептал? Водки просил? Знаем! Жертунов, говори прямо, чего требовал от моей законной супруги?! Вы подумайте! Пришел в гости, воспользовался доверием хозяина и, можно сказать, супругу соблазнил... Нет, товарищи, я серьезно: приходите почаще. Теперь дорогу знаете, для Никитушки рябиновую мы всегда будем держать в резерве... Всего хорошего, Антон Фридрихович! Илья Григорьевич, заходите! Если там внизу дверь закрыта — постучите налево нашему церберу. Всего, всего! Приходите обязательно! Почаще! Всего... Ф-ф-у-у! Устал. Засели, однако! Который час? Половина четвертого? Хорошо, что Петр Ильич догадался увести всю ораву за собой. Они бы еще до восьми сидели. Снизу уже два раза приходили, обещали коменданту жаловаться... Как это люди не понимают, что пора уходить. Давай спать ложиться — я хочу им всем назло завтра рано приехать на работу... Ну, как? По-моему, вполне прилично получи-

лось. Свенцянский был очень доволен. Он сказал Антону Фридриховичу, что сидел бы еще, если бы не готовиться к докладу. Конечно, он ушел больше для стиля... Оказывается, можно было свободно пригласить его жену. Она вообще-то имеет свою компанию, но охотно пришла бы сюда. Говорят, жуткая баба... С едой вышло в общем хорошо. Ты была права, я все боялся, что не хватит. Вот Пирамовы сделали очень хитро. На его сорокалетие Пирамиха купила на базаре просто свиных ног, голов и всякого дерьма; наготовила в умывальных тазах обыкновенный холодец — всем очень понравилось... Нет, разве я говорю, что плохо организовано? Очень, очень мило получилось. Особенно с винегретом — это было весьма кстати. Пусть видят, что домашний стол, а не то, что у Морфеевых — взяли из Мостропа официантов и посуду — с таким же успехом можно было всех повести в ресторан... Ну, теперь конец. До мая никого больше не приглашаем. Не устроить было нельзя. Целую зиму ходили по гостям, жрали, пили — надо было чем-нибудь ответить... Ответили — и точка. Если чаще приглашать, начнут говорить: «На какие шиши он это все устраивает?!» Но как тебе нравится этот щенок, Никитка! Заблевал, сукин сын, весь коридор. С непривычки... Зачем было его звать? А затем, что надо было! У тебя, Анютка, совершенно нет политического чутья. Пойми, что Никита — секретарь комсомольской ячейки. До сих пор он трепал языком насчет всякой семейственности и спайки. Теперь пусть-ка попробует хоть пикнуть. Из этих же соображений я позвал Жертунова и Карасевича... Сволочь Карасевич! Пришел — как будто одолжение сделал. А потом, когда увидел, что Свенцянский здесь, что Свенцянский пьет, — как сразу растаял. Хитрый мужик. А Саломея Марковна — как она смотрела на свои пластинки! «Не разбейте, не разбейте, таких в Москве больше нет». Прямо как змея. Небось, когда посуду надо было у нас брать, она разбить не боялась. Пусть Дуняша уберет со стола. Между прочим, что у нее за манера таскать у гостей из-под рук тарелки с едой. Человек не доел, а она уже хватает! И потом — что это твоя мамаша трепала Жертунову?.. Ведь я тысячу раз просил — пусть не разговаривает с гостями! Или пусть молчит, или пусть уходит ночевать к Наде. Опять, наверное, морочила голову о том, как, бывало, раньше принимала гостей. Пойми, что люди понимают все в дурном смысле! Он ей будет кивать

и улыбаться, а потом насклочничает насчет мещанского окружения... Ладно, не будем спорить, это старо, как мир. Ты заметила, как Петр Ильич пихал мандарины в карман? Мне это было только смешно. Но потом Свенцянский очень хотел мандаринов, а их не было, и Петр Ильич тут же сидел — меня прямо зло взяло, я еле сдержался. Зовешь людей, зовешь от души, зовешь по-товарищески. А они мандарины прут, как в каком-нибудь кооперативе!..

ИВАН ВАДИМОВИЧ РАСПРЕДЕЛЯЕТ

— Нет, уж разрешите меня не перебивать! Я повторяю: ко всему надо подходить с подходом. Без подхода вы ни к чему не подойдете. Вы получили с Кудряшевской фабрики первые сорок сервизов из майолита? Хорошо. Это образцы нового производства? Очень хорошо. Они красиво выполнены? Отлично. Вы хотите их распределить? Блестяще. Вы составили план распределения? Спасибо. Мы заслушали этот план. Никуда не годится. Ни-ку-да. Десять сервизов Всенарпиту, пять Всекоопиту, восемь на РСФСР, четыре Украине, по три Белоруссии и Закавказью, по одному Узбекистану... По два сервиза каждому Цека профсоюзов для премирования лучших столовых и ударников... Что за рутина! Что за скука, что за чушь! Можно ли так смазывать вопросы?! Какие столовые и каких ударников вы будете премировывать этими сервизами — спрашиваю я вас! Спрашиваю вас я!.. Вы сами говорите: каждый сервиз имеет двенадцать чашек, двенадцать блюдец, чайник, молочник, сахарницу и полоскательницу. Разве же найдется столовая, для которой хватит двенадцать чашек? Разве же найдется ударник, который может посадить за стол двенадцать человек? Вы рабочего класса не знаете, вот что я вам скажу. Для учреждения ваш сервиз мал, а для отдельного трудящегося слишком велик. Не так распределяют подобные предметы. Я все-таки удивляюсь: три года вы под моим руководством — и совершенно не растете на работе. Каждую вещь надо делать с максимально действенным эффектом. Распределение — это учет, поймите. Распределение — это учет всех тех моментов, которые должны быть учтены при таковом. То есть при распределении. Понятно? Возьмите

конкретно: что такое майолит? Это прежде всего каолин. Так. Кто председатель Каолинзаготсбыта? Петухов, правильно. Вот и пишите: в распоряжение товарища Петухова, по его личному усмотрению, пять сервизов. Чтобы знал, чтобы чувствовал, зачем дает нам каолин, на что дает... Вернее, не пять, а восемь. Вернее, шесть. Написали шесть? Сколько осталось? Тридцать четыре. Хорошо. Что такое дальше майолит? Это топливо. Пишите: восемь сервизов персонально руководителям топливных организаций по указанию Петра Ильича. Теперь идет комитет по регулированию черепков. Кладите комитету четыре штуки. Зампреду, двум членам президиума и управделами, чтобы наши бумаги не застревали. Председателю? Ведь он там не бывает, это же не его основная работа... Ладно, кладите Союзчерепкому всего пять сервизов. Поехали дальше... Что? Вот у Жертунова всегда практические мысли: откладываем два сервиза для Силикатбанка. Что? Какая общественность? Ах, печать? Правильно. Здраво. Отметьте: редакция газеты «За фарфоризацию» два, нет — три сервиза. Один для самой редакции, другой лично Плешакову, третий лично Окачурьяну... И надо на них что-нибудь выгравировать. «Бойцам самокритики на глино-фаянсовом фронте» или что-нибудь в этом роде... «Красный гончар»? Не сдохнут без сервиза. Профсоюзный журнальчик, подумаешь... Ладно, отсыпьте одну штучку... Сколько же осталось? Только пятнадцать сервизов?! Куда же они все девались?! Прямо между пальцев уползают!.. Кому, мне? Лично мне сервиз?! Вы с ума сошли. При чем здесь я? На кой черт мне это барахло!.. Нет, бросьте... И почему только мне одному? Антон Фридрихович человек многосемейный, он больше моего нуждается. Вообще все члены правления. Что же, давайте тогда шестерку запишем за правлением. И себе, Ольга Максимовна, себе застенографируйте седьмой. Вы — наш рабочий член коллектива, вы слишком за многое отвечаете своей секретарской работой, чтобы считать вас техническим орудием... Сколько осталось? Восемь? Да... маловато. А не лучше ли, товарищи, не лучше ли во избежание всех этих склочных разговоров о самоснабжении... Не лучше ли пожертвовать еще парой? Для ячейки и месткома. Ольга Максимовна, запишите два. Дайте им с одинаковым рисунком, чтобы не перессорились. Вот... А шесть сервизов оставьте в резерве. Мало ли что еще может случиться. Комиссия приедет

обследовать, юбилей чей-нибудь или шефство примем... Пусть полежат; нечего разбазаривать ценную продукцию!..

ИВАН ВАДИМОВИЧ ЛИЦОМ К ПОТОМСТВУ

— Зачем ты заключаешь в скобки весь многочлен? Икс-квадрат плюс два а-икс минус восемь а-квадрат... Что? Я говорю: делишь высший член делимого на высший член делителя... Ну да. Первый член частного умножаешь на делитель и... Постой... И делимое вычитаешь из произведения. То есть наоборот: произведение вычитаешь из делимого. Как я сказал?.. Совершенно верно! Из делимого. В данном случае высший член остатка не делится на высший член делителя... Мм... так. Какой ответ? В целых? Без дроби? Нет, тут что-то напутано. Возможно, в задачнике. Попробуй, Петька, раздели еще раз. Я бы сам тебе это сделал, если бы хоть секунда свободного времени. Сейчас будет гудеть внизу машина, заедут за мной, на заседание... Вообще, Петька, зря ты капризничаешь. У вас теперь не ученье, а малина. Попробовал бы ты в наше время, в царской школе! Что это был за кошмар, что за ужас... Вы теперь на учителей чуть не плюете. В наше время учителей боялись! Прямо тираны были, Петька... Мы их халдеями называли. Ну, кто у вас по математике — какой-нибудь шкраб в задрипанной толстовке, сто рублей в месяц получает, полдня в очередях стоит... А ты представь себе у нас: Николай Аристархович Шмигельский — статский советник, синий мундир, золотые очки, от бороды одеколоном пахнет! Ведь он, негодяй, по праздникам со шпагой ходил — мы, мальчики, прямо восторгались. У такого выйдешь к доске бином Ньютона объяснять — чувствуешь, что состоишь на государственной службе! Или по закону божьему — отец Олеандров, до чего тоже гнусная личность. Фиолетовая ряса, приятно так шуршит, тоже борода холеная, голос бархатистый... Я у него, у сукина сына, по катехизису всегда первым был!.. Нет, это книжка такая, сочинение митрополита Филарета. Догма и мораль христианства в сжатой форме, не допускающей недоумений и толкований. Ужасная чепуха — сейчас еще все помню наизусть!.. Я, Петька, несмотря на тяжелые условия царской школы, был во всех классах первым учеником и

гимназию кончил с золотой медалью. Это мне дало культурный багаж для революции и сейчас — для созидательной работы. Надо и тебе учиться покрепче. «Бьюик»? Какой «бьюик»? Почему у меня нет «бьюика»? Что за манера перескакивать с одного на другое! А на что он мне, «бьюик»! Разве я на плохой машине езжу? Витька? Ну и что же, что хвастался. Витькин папа — член президиума, у них для президиума получено четыре новых «бьюика»... Почему я не член президиума? Да мало ли почему. Это, Петька, не твоего ума дело. Будет время — тоже буду членом президиума... Звал покататься на «бьюике»? Не смей, слышишь, я тебе запрещаю. Не навязывайся. Витькин папа рассердится, я вовсе не хочу с ним ссориться из-за тебя. Разве папа тебя приглашал кататься? Ничего у тебя не поймешь! Кто же звал — Витька или Витькин папа? Вынь палец из носа! Я с ним разговариваю, а он полруки пихает в ноздрю! Так и сказал: «Давайте я вас обоих покатаю»? Обязательно поезжай!! А еще что говорил? Обо мне не спрашивал? Совершенно не спрашивал? Ну, впрочем, это хорошо. А ты что ему говорил? Так ничего и не говорил? Что же ты, немой? С тобой говорит отец твоего товарища, а ты молчишь, как дубина. Вспомни, может быть, что-нибудь говорил? О какой квартире?.. Так ты и сказал: «У вас паршивая квартира, наша гораздо лучше»? Идиот! Кто тебя просил?! Зачем ты треплешь языком, создаешь неправильное впечатление обо мне? Анюта, ты слышишь, как наш дорогой сыночек разговаривает с людьми?! Нет, очень даже касается! Ребенок растет дегенератом, говорит людям в лицо черт знает что — это должно тебя касаться! Ношусь весь день, как черт, сгораю на работе, ночей не сплю — все думаю, как бы лучше, а тут — из собственного дома мои же дети наносят удары в спину! Я требую — посиди в Петькой час, объясни ему элементарно, что он должен и чего не должен говорить, если любит своего отца и дорожит своей семьей. Нет, лучше я сам посижу, ты бываешь не умней Петьки. Когда он тебя будет катать?.. Ну вот, и накануне мы с тобой, Петька, коротенечко потолкуем. Ты уже не маленький, ты обязан помогать отцу в некоторых вещах.

ИВАН ВАДИМОВИЧ РАССКАЗЫВАЕТ ОДИН СЛУЧАЙ

— Кто, я? Это вам приснилось. В Камерном театре? Я вообще туда не хожу. Я не знаю, где он помещается! Когда это было?.. В конце марта у меня не могло быть ни одного свободного вечера. Я веду кружок, заключительные занятия. А по советской работе — окончание годового отчета. Просто физически я не мог там быть... В двух шагах от меня? Или вы обознались, или просто разыгрываете меня. Да, знаем мы эти штучки... В буфете, впереди вас? Я сидел? Маленькая? Я вообще, если уже... то только с высокими. Мой голос? Вы, наверно, были выпивши. Я сказал «испытайте мои силы»? И это похоже, что я мог сказать такую пошлятину?! Ладно, разыгрывайте кого-нибудь другого. Может быть, это был двойник... Ну... хорошо, я расскажу. Но прошу вас совершенно серьезно: гроб. Никому ни звука. Гроб-могила. Для вас это шуточка, а для меня может получиться совсем не смешно... Я уже сам хотел с вами поделиться... Но только умоляю: мо-ги-ла. Она сама? Никогда в жизни она не разболтает. В этом отношении это очень милая баба; не пикнет никому ни слова. Это просто не в ее интересах... Да, на открытом собрании ячейки. Она, оказывается, работает уже второй год, но в плановом отделе — это на другой улице. Какой-то дурак выступил — почему Ковзюков получает в отличие от других шоферов добавочные отпуска и продукты по запискам. Якобы потому, что возит меня... Я жду, чтобы кто-нибудь дал отпор такой демагогии. Никто отпора не дает, все говорят на другие темы. Я уже сам хотел дать фактическую справку — выступает эта самая... ну, словом, Галя. Очень так спокойно, толково. «Я, говорит, сама беспартийная, но удивляюсь, почему здесь товарищи при обсуждении такого большого вопроса, как продовольственное снабжение, приплетают разных шоферов, разные продукты и записки. Зачем, говорит, позволяют себе никчемные выпады против наших руководящих товарищей». Про обезличку, про уравниловку говорила — не совсем, правда, кстати, но ничего. Сказала, что с кого много спрашивается, тому надо больше дать. Поскольку, мол, Ковзюкову доверено ответственное дело возить Ивана Вадимовича, постольку — ну, и так далее... После собрания я ухожу пешком, случайно нагоняю ее. Разговорились — ни слова по поводу инци-

дента — так, вообще, о том, какая эпоха, как интересно работать. Проводил ее, но не до самого дома, чтобы не слишком воображала. Потом еще как-то пару раз... Ну, вы знаете, я у себя в учреждении даже ни на кого не смотрю. У меня принцип: там, где питаешься, там не... Все-таки вижу, что девушка сама лезет... Я ведь тоже не камень. Затребовал ее личное дело... Я такие вещи не коряво проделываю, чтобы все догадались. В порядке заботы о личном составе пометил на списке сотрудников четырнадцать имен, сказал прислать мне их на просмотр. Между прочим и ее дело. Вижу, по анкете все прилично, работала ряд лет в детском доме, потом на транспорте, у нас она инструктор-плановик... Ну, жена уехала к родным — мы встретились. Числится замужем, но с мужем не живет. Что в ней замечательно — совершенно отдельная комната! Дверь в коридор, но у самого выхода. Много читает — Цвейга, письма Толстой к мужу. Когана в оригинале. Подписана на Малую советскую энциклопедию. Притом — отличное белье, это тоже, знаете, играет какую-то роль. Ну, я тоже не ударил лицом в грязь. Она мне сказала... это глупо, конечно... я просто даю картину... она сказала, что во мне много первобытной силы... Только, пожалуйста, никому ни слова! Гроб-могила!.. А в Камерном мы были еще до того. Через неделю после ячейки... Она хотела в Большой, но я отказался — вежливо и твердо. В Большом нас каждая собака могла увидеть. Еще важный момент: я боялся, как бы чего-нибудь не поймать. Все-таки семейный человек. Принял даже меры... Оказывается ерунда. Никаких даже опасений быть не может. Она мне сказала, что до меня у нее четыре месяца вообще абсолютно никого не было; я ей охотно верю... Что в ней приятно: ничего не просит. «Сознаю, говорит, дистанцию между мной и тобой, и пусть, говорит, так всегда и останется». Единственно что — ее перевели секретарем отдела, в общей комнате у нее от шума разбаливается голова... Ну, Ковзюков ей раза два отвозил продуктов; дров обещал я ей послать... Надо же чем-нибудь топить человеку... «Ничего мне от тебя, говорит, не надо, кроме того, чего я сама не могу достать...» Это все-таки приятно, такое отношение... Я вас прошу, не вздумайте хоть слова сказать при Анне Николаевне, даже в шутку! Она никаких шуток не понимает, она все всерьез берет. Ко всем вопросам подобного рода подходит крайне примитивно!

ИВАНУ ВАДИМОВИЧУ НЕ СПИТСЯ

— Какой же может быть теперь час? Анюта не верила, что у нас мыши. Вот бы сейчас разбудить и дать послушать... Нет, не стоит, начнется болтовня, тогда, наверно, не засну... Как паршиво строят эти кооперативные дома! Буквально все слышно. Граммофон... Это, наверно, у Бондарчука — проводы на руководящую работу на периферию... А ведь я тоже весной чуть не угодил на периферию. Еле уполз... Хотя... и на периферии люди живут. Приезжал бы в Москву на съезды. Верхом по периферии ездил бы... Надо мне верхом ездить — чтобы похудеть. Пирамов полнее меня. У Пирамова настоящий живот, а у меня только начался... А ведь я был совсем худенький... Как я в речку нырял с мостков! Теперь бы так не нырнул... Хотя, пожалуй, нырнул бы. Как называлась речка? Серебрянка... Надо будет Серебрякову ответить завтра на запрос — уже две недели бумага валяется... Серебряков... Еще Серебровский есть. Это в Главзолоте... Странно: Серебровский в Главзолоте... А если наоборот — Золотовский в Главсеребре... Неостроумно. Черт знает что ночью лезет в голову. Надо заснуть!.. Петька во сне стонет. А я ему задачу так и не смог решить. Соврал, что нет времени... Он, кажется, догадался. Но смолчал... Смешно, Петька еще маленький — а уже бережет меня, чтобы не обидеть. К старости дело идет... У Петьки почерк уже похожий на мой. Интересно, какой Петька будет в мои годы... В это время уже должно быть бесклассовое общество... Черт, до чего я запустил марксистский кружок. Срываю уже четвертое занятие... Надо подготовиться, что-нибудь прочесть. Скоро чистка... Нет, об этом не стоит думать. Хотя нет, лучше заранее подготовиться ко всему. Карасевич, наверно, будет выступать против меня. Что, если его перевести в ростовскую контору?.. Догадается, сволочь. Нарочно приедет в Москву на мою чистку! Как это гнусно — чувствовать, что где-то близко живет и дышит враг! Как заноза в теле. У меня их много. Если бы получить отпуск на год. Нет, мало. На десять. Даже на пять лет... Вот как у них там, на Западе: «Заявил, что отходит от политической жизни...» Интересно, как бы я жил, если бы не было революции. Кончил бы юридический, был бы присяжным поверенным. Пожалуй, остался бы в Пензе...

Как странно было в прошлом году опять попасть на бульвар, где я когда-то с Олей целовался. Где она, сейчас... Во время войны была сестрой. С офицерами гуляла... Со мной почти перестала здороваться. Потом, наверно, удрала за границу. Красивая, черт... Если бы не удрала, я бы на ней женился. Больше не за кого было бы ей выходить, из пензенских я один далеко пошел... Яшка Кипарисов сейчас держится прилично. А еще недавно фамильярничал — на том основании, что мы с ним когда-то гоняли голубей... Мало ли кто с кем чего гонял... Хорошо, что я с ним стал разговаривать по-ледяному... Опять пропустил зиму, только два раза ходил на каток... А ведь давал себе слово — два раза в шестидневку!.. Сколько у меня неисполненных намерений! Каток, не курить, прочесть «Капитал», порвать с Галей, изучить английский, уволить Ковзюкова... Поехать с Петькой за город, ну, это мелочь... Овладеть техникой... Удерживаться, когда Анютка меня раздражает. Как ей не стыдно так со мной хамить! Вот я умру — она узнает, почем фунт лиха. Этот же Антон Фридрихович, который липнет к ней, как банный лист, — он ее даже машинисткой не захочет устроить... Все они друзья до поры до времени!.. Ну, и я хорош... Когда Янушкевича исключили, я не узнал его в приемной. Вот, наверно, зол! Надо будет его чаю позвать пить. Только в одиночку, чтобы не было разговоров... Наверно, скоро восстановят его... Что, если меня исключили бы!.. Я бы застрелился. Нет, пожалуй, нет... А куда бы я девался? Теперь всюду нужно знать технику. Чем бы я мог быть?! Консультантом разве... Но по каким вопросам?.. Нет, не исключат. Не может быть. А вдруг исключат! Исключают же людей. Неужели они все хуже меня... Если считать до тысячи — говорят, можно заснуть... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... Нет, противно... Дуняшка еще домой не приходила... С каким-то комсомольцем живет, корова! Надо ей сказать, чтобы сюда его не водила. Глупо, у меня на кухне комсомолец! Но не в столовую же мне его водить!.. Может быть, книжку взять почитать?.. Нет, Анютка проснется — хуже будет.

1933

На советской Ривьере

Больше половины этой необъятной страны уже покрыто снежной пеленой; в полярных сумерках ледоколы пробиваются через хрустальные толщи; сани мчатся по мерзлым белым дорогам; огонь пылает в широких печах; густые меха согревают тела охотников; пар бьет у губ укутанных городских пешеходов. А здесь, у нижней кромки той же страны, невосколеблемой голубизной сияет теплое море, мягко плещется прозрачная волна, загорелые люди сбрасывают у воды легкие одежды и протягивают руки к солнцу, неистощимому, благодатному, щедрому.

Природа ничем не обидела нашу родину. У нее есть уголь, золото, нефть, в ней водятся полярные моржи и тропические тигры, растет тундровый мох и банановая пальма. Только добывать эти богатства, только растить и множить плодородие — не для чужих и угнетателей, а для себя самих. И вот этот лазурный берег южного моря — сколько радости и счастья может он принести новым хозяевам этой страны!

Черноморское побережье обитаемо несколько тысяч лет. Но только сейчас, как многое в советской части света, только сейчас, большевиками, оно открыто для миллионов людей, не видевших, не знавших, не мечтавших о его знойных красотах и лечебных свойствах. Только сейчас вологодский колхозник зачарованно бродит в магнолиевом саду, утопая ногой в экзотическом лесном ковре; только сейчас старый горловский шахтер погружает свой трудовой ревматизм в целебное тепло мацестинской воды.

Ничто не дается без труда, без размаха, без инициативы. Среди великих усилий эпохи, среди больших работ второго пятилетия будет отмечена рядом с промышленными стройками, каналами и электростанциями реконструкция Сочи-Мацесты, превращение живописного приморского уголка из заповедника диких русских аристократов в цветущую здравницу для тысяч и сотен тысяч.

Техника не спасает жителя больших городов от усталости и болезней. Природа готова исцелить его. Но чтобы процесс восстановления сил длился не годы, а недели, нужна та же техника. Современный курорт — это природа плюс культура, это морской прибой плюс ионизиро-

ванная ванна, горное ущелье плюс рентгеновский снимок.

Прежние хозяева кавказской Ривьеры, Хлудовы и Верещагины, Блиновы и Зензиновы, довольствовались устройством роскошных бунгало в живописных черноморских джунглях. Дичь и глушь колониального захолустья лишь подчеркивали великолепие негоциантских усадеб. Только перед мировой войной французы обосновались в Сочи, построили удобный приморский отель для туристов и сразу окупили себя большим наплывом гостей. О Мацесте тогда знали только десятки людей.

Нужна была революция, ее восстановительный и реконструктивный периоды, и тогда большевики начали строить Сочи-Мацесту с тем размахом и деловитостью, с какими они строили заводы и совхозы.

Кстати, о размахе и деловитости. Их привыкли искать в Америке. Американцы строили после войны курорт. Льюис Эллен в своей книге «Только вчера» рассказывает, как в годы «процветания» на флоридском побережье создавалась «американская Ривьера».

Осенью 1925 года в результате умело организованной рекламной кампании началась лихорадочная спекулятивная покупка земельных участков на месте будущего мирового курорта Миами.

«Толпы людей без пиджаков суетились под широко разрекламированным флоридским солнцем, говорили об обязательствах и закладных, об участках на берегу моря, о прибылях в сотни тысяч долларов. Отцы города вынуждены были издать постановление, запрещающее совершать на улице сделки или даже демонстрировать карты и планы во избежание чрезмерной давки. В Миами в это время было две тысячи контор по продаже недвижимости и двадцать пять тысяч агентов, предлагавших участки. Теплый воздух дрожал от стука клепальных молотков, ибо уже поднимались стальные скелеты небоскребов, чтобы придать Миами облик столицы. Автобусы оглашали улицы ревом, бесплатно перевозя экскурсантов, чтобы показать, как землечерпалки и экскаваторы превращают заброшенные тропические топи и песчаную отмель в великолепные города в венецианском стиле... Железные дороги принуждены были наложить эмбарго на непортящиеся грузы, чтобы предотвратить опасность голода. Свежие овощи стали редкостью, коммунальное хозяйство

города безнадежно пыталось удовлетворить внезапно увеличивающийся спрос на электричество».

Что породило эту внезапную лихорадку? Ловкая пропаганда земельных спекулянтов, расписывавших сказочные красоты тропического побережья. И еще «поразительное доверие», порожденное кулиджевским просперити, заставлявшее среднего служащего с четырьмя тысячами долларов в год верить, что он волшебным образом окажется в состоянии купить прекрасный дом и все чудесные вещи на свете.

В рекламном угаре публика отдавала последние деньги, набрасываясь на участки будущего курорта, даже на планы этих участков. «Поместье Манхаттэн,—гласила реклама, — в трех четвертях мили от процветающего и быстро растущего города Нэтти». В действительности вовсе не было такого города, и название это принадлежало заброшенному пустырю, где раньше вырабатывали скипидар. Но люди покупали. Пытаясь найти участки, отведенные под «сады Мельбурна», люди ехали через грязную прерию с редкими деревьями, мелкими группами карликовых пальм и безнадежно вязли в грязи в трех милях от цели своей поездки. Но публика продолжала покупать — слепо, доверчиво. За полосу земли на «Пальмовом берегу» одному нью-йоркскому адвокату до «бума» предлагали двести сорок тысяч долларов, в 1925 году ценность ее повысилась до четырех миллионов. Одна бедная женщина, купившая в 1896 году кусок земли за двадцать пять долларов, была в состоянии продать ее в 1925 году за сто пятьдесят тысяч.

Полтора года продолжалась суматоха, скупка и беспорядочная застройка нового курорта. А потом финансовый крах подкосил курортных организаторов, разбил вдребезги все их расчеты. Огромное большинство мелких покупателей участков не было в силах уплатить очередного взноса и отказалось от своих покупок. Американская Ривьера увяла, не расцветя. Генри Виллард в журнале «Нейшен» описывает зловещий вид Миами в 1928 году:

«Безжизненные участки вдоль шоссе, их высокопарные названия наполовину стерты на разрушающихся воротах. Одинокие электрические фонари сторожат многие мили цементированного тротуара, где трава и карликовые пальмы занимают место домов, которые должны были здесь стоять. Целые кварталы из незанятых домов;

проезжая мимо них, чувствуешь, будто пробираешься по городу, находящемуся в объятиях смерти».

В 1928 году во Флориде обанкротился тридцать один банк, в 1929 — пятьдесят семь. Пустые участки заросли сорняками, безнадежно дожидаясь новых хозяев. Пошли прахом многие миллионы долларов, затраченные на благоустройство будущих кварталов. От мечты о чудесном курорте осталась гора обесцененных бумаг, хор проклятий, зубовный скрежет.

...В нашем советском отечестве сначала тоже не обошлось без подражателей флоридским строителям. Когда открылись во всей полноте громадные медицинские возможности мацестинской воды (вдобавок преувеличенные до абсурда некоторыми чересчур уж восторженными врачами), когда объявилась возможность комбинировать ванны с морскими купаньями, когда «большая мода» на Сочи ввергла в незаслуженную немилость Кисловодск, Боржом и даже Крым, и даже Сухум, ретивые хозяйственники и начальники ведомств стремглав кинулись расхватывать участки, строить что и где попало. Это было тем более легко и соблазнительно, что никаких денег за землю платить не надо было: местные власти, польщенные наплывом знатных столичных застройщиков, отдавали землю где угодно, естественно, даром, и на любых условиях, вернее, без всяких условий. В результате береговые склоны начали украшаться более или менее уродливыми постройками фанерно-классического стиля.

Начавшаяся реконструкция Сочи прежде всего прекратила беспорядочную застройку и чересполосицу. Это далось не без труда: уполномоченному ЦИКа по строительству Сочи пришлось немало повоевать и с раздутыми претензиями ведомственных вельмож, и с раздутым самолюбием местных работников. Сейчас генеральный план твердо обрамляет основные контуры нового города, оставляя широкий простор для архитектурной, декоративной, технической фантазии.

Сочи и Мацеста соединяются восьмикилометровой автодорогой, широким асфальтированным проспектом для проезда четырех машин одновременно. Дорога на две трети уже закончена. Остается головной, городской участок. Здесь трасса прорежет несколько кварталов (долой полдюжины деревянных бараков, гордо именовавшихся домами!), перепрыгнет смелыми виадуками через овраг и ущелье и выйдет над морем, чтобы больше не расста-

ваться с ним до Мацесты. Один участок окаймлен пальмами — так надо сделать весь путь! Продленный до Гагр и Сухума, этот пальмовый проспект станет одной из достопримечательностей нашей страны, которую по привычке всегда символизируют в северном стиле, в виде медведя на льдине. Мы до сих пор не умели строить хороших дорог. Сочинская автострада — первая у нас победа этого тяжеловесного и гордого искусства, которым древний Рим и сейчас напоминает о себе в южной Европе больше, чем обломками статуй и колонн. От ста двадцати шести поворотов старой трассы новая сохраняет только двадцать шесть.

Ниже автомобильной дороги, близко к голубой морской глади, плавно вьется широкая, тоже асфальтированная, пешеходная тропа. Ее заканчивают к октябрьской годовщине, и с нового сезона фанатики Кисловодска не смогут больше хулить Сочи за отсутствие медицинских прогулок. Здешние врачи будут смело прописывать в рецептах и пять километров, и восемь, а то и двадцать — всю тропу туда и обратно.

На оси пальмового проспекта, справа и слева, сверху и снизу от него, расположится город-здравница. Кварталы, отдельные группы домов и сооружений размещаются в зависимости от своего назначения, от типа и характера обитателей.

Поэтому район от реки Верещагинки и до Хосты включительно станет преимущественно районом санаториев и больных. Здесь образуется бальнеологическое ядро курорта. Бессмысленно плодить дома для морских купальщиков здесь, если их можно с полным успехом отодвинуть по берегу. Здесь же дорого место вокруг сероводородного источника. Вокруг него — побольше ванных заведений и даже специальный водопровод, в котором, как показали опыты, Мацеста не теряет своих свойств...

Вплотную к этому району прилегает другой — климатического лечения. Его займут санатории и дома отдыха, использующие целебные силы моря, воздуха, садов и парков.

Наконец, с обоих флангов, за Хостой и за рекой Сочи, расположатся дома отдыха и туристские базы для здоровых людей, приезжающих для освежения и зарядки.

По вертикали курорт тоже распределен на ярусы. Нижняя полоса между морем и автострадой предназначается для пляжей, прогулок, парков общего пользова-

ния, кафе, ресторанов, ванных зданий. На склонах гор, выше дороги — санатории, дома отдыха и их парковые усадьбы. Самые хребты гор используются как лесопарки для дальних прогулок.

Создать образцовый курорт — это значит прежде всего обеспечить мощной техникой его санитарное и общее благоустройство. Для этого Сочи уже получил новый водопровод, новую электростанцию, которой хватит до постройки гидроцентрали; получает в ближайшие полтора-два года зимний морской бассейн для плавания, стадионы, физиотерапевтический институт, городской театр на тысячу мест, множество ресторанов, порт, вокзал. Строители обещают закончить, наконец, и столь запоздавшую Черноморскую дорогу, доведя ее до Сухума и Очемчир. Это разгрузит Сочи от скопления пассажиров, которые скопляются здесь, как на конечном железнодорожном пункте. Электрические поезда, не засоряя воздух паровозным дымом, заснуют по побережью, сблизив его концы. И уже сейчас в Сочи больше автомобилей, чем в Ростове. Даже поздно вечером непрестанно несутся огни по широкому шоссе, скользят, сверкая разноцветной эмалью, мягко округленные кузова новых зисовских многоместных автокаров.

Здания и сооружения Сочи должны стать его главным украшением. Условлено, что, при наиболее возможном разнообразии форм, весь новый город должен дышать гармонически единым архитектурным стилем, дополняя красоту моря, вечнозеленых гор, подчеркивая характер каждого отдельного уголка, мыса, поворота, склона.

Каков будет этот стиль? На это точного ответа еще нет. Следуя очередной у нас архитектурной моде (а меняется она не реже, чем мода дамская), проекты сочинских зданий облеплены полчищем колонн. За этим частоколом никак не разглядеть форм самих зданий. А ведь они-то, пожалуй, поважнее колонн.

Хоть и без колонн, а большая радость смотреть на уже построенный санаторий Красной Армии имени Ворошилова. Великолепный амфитеатр симметрично поставленных по горным террасам белых зданий. Каскадами сбегают вниз, к морю, два потока широких каменных лестниц. Между ними, среди тропических ярких цветочных лент, на стальной нитке рельс бегают навстречу друг другу два вагончика, доставляя отдыхающих к пляжу и обратно наверх.

Санаторий РККА — это не только монументальное здание того нового масштаба, с которым строится первый большой социалистический курорт. Внутри этого здания, построенного богато и тщательно, при любовном и придирчивом внимании военного наркома, в просторных, полных воздуха, пронизанных солнцем залах и комнатах, в его блистающих чистотой салонах и коридорах, медицинских кабинетах и лабораториях, в мелькании свежих, радостных бронзовых лиц, в спокойных и радостных вечерах под тихим южным небом, — в мощном и праздничном облике этого величественного замка отдыха — черты нового, реконструированного социалистического Сочи, города исцеления, силы и счастья.

Еще очень многого нет в Сочи. Городу не хватает культурных бытовых учреждений, элементарного благоустройства; в двух шагах от великолепной автострады беспомощно путаются незамощенные, кривые, грязные, пованивающие улицы. Рядом с шикарной «Ривьерой» в душном сарайчике на пристани сутками лежат на полу пассажиры, хуже, чем на самом захолустном полустанке. У города нет живой курортной газеты. Его убогие театральные эстрады подвержены набегам самых злостных и бесстыдных театральных халтурщиков. Нет ни хорошей хлебопекарни, ни приличного книжного магазина. Но добавить все это не составит большого труда. Гораздо труднее и гораздо важнее установить другой краеугольный камень социалистического курорта — камень, который не сыскать ни в каких каменоломнях.

Этот опорный камень, без которого все здание было бы более чем шатким, есть культура обихода. Обязательная, безоговорочная, не показная, а подлинная культурность в обслуживании и обхождении всего персонала, всего курортного аппарата с больными и отдыхающими, культурность самих гостей на курорте в их обхождении с персоналом и друг с другом.

Тут трудно что-нибудь сделать одному человеку, хотя бы он и был уполномоченный ЦИКа. Тут не поможешь сотнями миллионов капитальных вложений. Потому что дело идет о крошечных вопросах и грошовых делах. Но из этих пустяков складывается быт.

Мы не возмущены, подобно некоторым, что в Сочи слишком много играет музыка, да еще по преимуществу танцы (равно как не приходим в благочестивый ужас по поводу названия кафе «Пушкин»). Оркестров в Сочи ма-

ло, играют они для курорта сравнительно редко — надо больше. Если на вокзале при отходе поезда играет веселая музыка, в этом тоже ничего кощунственного нет. Ведь не с похорон люди едут и не на похороны. Чрезмерно — противопоставлять оркестр железнодорожному графику и чашку кофе священным именам мировой литературы.

Но оставим в стороне подобные драматические противоречия — немалая часть работающих в городе и на курорте в Сочи не знает, где и для кого она работает. За телеграфным окошком нахальные девицы путаются в простейшем счете, теряют депеши, мытарят и поносят клиента. В городской больнице на просьбу больного о ванне сиделка грозно отвечает: «Что вы! разве в больнице купаются? вот выздоровеете — в море выкупаетесь». На самой Мацесте, чья вода призвана успокаивать усталые сердца, больных доводят сутолокой и неразберихой до высшего сердцебиения. Кондуктора надменно раскатывают в полупустых автобусах, не удостаивая умоляющих ожидальцев хотя бы полминутной остановкой. Сами больные часто мешают культурному подъему курорта своей неряшливостью, неуважением к общественному добру и тем самым к себе самим. Борьбу с этим в лобовой атаке возглавил тот же санаторий РККА. Я думаю, что не разболтаю военных тайн, сообщив, что из этого санатория был в двадцать четыре часа выписан командир, тушивший папиросу о лакированную доску стола... Атмосферу культурности, корректности на курорте должна создать партийная организация, печать, врачи, сестры, все работающие и отдыхающие под теплым сочинским небом. Каждый житель Швейцарии, встретив иностранца, старается быть ему любезным и полезным, будучи воспитан на том, что вся Швейцария есть одна гостиница для туристов и отдыхающих, от них кормится, ими существует. Гостеприимно обслуживать своих же товарищей со всех концов страны — это для персонала Сочи и всех советских курортов вопрос не куска хлеба, а гордости и чести.

Одновременная курортная пропускная способность нового Сочи, не считая его отелей, составит двадцать пять тысяч человек. В течение года это составит триста тысяч курортников плюс проезжающие туристы. Цифра как будто скромная для наших, намозоленных миллионами ушей. На курорте Миами в разгар бума и спекуляции собралось пятьдесят тысяч человек населения. Сей-

час, в октябре 1934 года, союз владельцев отелей французской Ривьеры послал в Париж премьер-министру Думергу телеграфный вопль о спасении. Отели пришли к банкротству, они не могут платить по векселям, так как приток гостей на Ривьеру упал почти до нуля. «Ривьера шлет СОС» — озаглавил это сообщение «Дейли экспресс»... Нет, мы предпочитаем наших твердых двадцать пять, не подверженных ни кризисам, ни спекуляциям, не оглушаемых бумом, твердых двадцать пять тысяч советских курортников. И разве на одном Сочи клином свет сошелся? Ведь это только первый пример, первый образец того, как должны и будут развертываться и строиться десятки курортов в нашей стране, радостных, счастливых городов отдыха и здоровья.

Сочи

1934

Три дня в такси

Промозглая предутренняя сырость. Сумерки и густой туман вдоль реки. Звенят льдинки по лужам у гаража на Крымской набережной. Тряские полкилометра до Большой Полянки. И вот уже нанимает меня первый пассажир.

Высокая старуха с поклажей машет у переулка.

— К Ярославскому вокзалу не довезешь ли? Все извозчика не дождусь. Я тебе хорошо заплачу, товарищ.

— Извозчика вам долго ждать придется. Вывелись в Москве извозчики. Садитесь, тетушка.

— Я уже не тетушка. Бабушка я. Ничего, сама уложу вещички. Ты не отлучайся от машины. По правде говоря, я на машине в первый раз еду.

Для таксийного шофера редкая удача — получить пассажира с утра, по пути к вокзалу. Почти всегда до стоянки в этот час приходится катить на холостом ходу.

Пустые улицы. Столица тиха. Мы мчимся ветром.

— В Ярославль собрались?

— В Ярославль. У меня внук на Резиновом заводе служит. Родители совсем на него внимания не обращают; у них, правда, свои заботы. А я посвободнее, хочу устроить ему бытовой образ жизни. Скрипку вот везу.

— Играет на скрипке?

— Никогда не играл. Да мало ли что. Я ему в свободную минуту подложу — он и заиграет.

Лихим поворотом мы причаливаем к подъезду вокзала. Почтительно выгружаю бабушкину скрипку. На счетчике — пять рублей ровно. Старуха довольна и пробует совать серебро на чай. Встретив отказ, она прощается дарственно милостивым кивком головы.

Туман стал реже и желтее. Трамвайные поезда грохочут через площадь. После метростроевских заборов она непривычно просторна. Дневная сутолока еще не разгорелась. Три вокзальных жерла только начинают свое занятие — накачку и выкачку в столицу сотен тысяч людей.

Соседний подъезд зачернел публикой. Пришел ранний ленинградский поезд. Я стану с машиной там.

Редко кто из приезжающих ищет глазами такси. На них не рассчитывают. Народ жадно мчится к трамваям и автобусам, бежит с багажом в руках за желанными номерами. Через полгода большая часть потока будет поглощаться широкой и вместительной воронкой метрополитена. Надо бы потом пристроить подземные переходы прямо из вокзала в метро — как на Гар де ль'Эст в Париже, на Фридрихштрассе в Берлине. Это необычайно поможет пассажирам: не надо будет тащиться кружным путем через улицу, путаясь в потоке экипажей. И площадь будет куда свободнее.

Наконец молодой военный, со взводным квадратиком в петлицах, встретившись со мной взглядом, машинально спрашивает:

— Свободен?

— Свободен, товарищ командир.

Юное лицо розовеет и тут же слегка смущается.

— Сколько приблизительно обойдется проехать с багажом за Бородинский мост, в район Киевского вокзала?

— Рублей восемь. За багаж мы отдельно не берем.

— Отлично.

Командир подсчитал силы, принял решение и отдал приказ:

— Берите направо! Теперь заворачивайте вон туда, по кругу! К фонарю, где стоит гражданка с корзиной! Стой! Вот так. Анюта, это такси, оно ездит по счетчику.

В гражданке Анюте я успел приметить только васильковые глаза и приоткрытый нежный рот. Дальше она исчезла за моей же спиной, и это непоправимо. Лозунг «лицом к пассажиру» на шоферов не распространяется ввиду угрозы его для безопасности движения.

— Вы не смогли бы подождать несколько минут? Хочу взять вещи из багажа. Чтобы второй раз не ездить на вокзал.

— Слушаюсь, подожду.

Для этой милой пары я готов ждать сколько угодно, но вот беда — уже включил счетчик. И он, окаянный, тикает. Он тикает, тикает и вытиктакивает гривенник за гривенником, как орехи щелкает. Командир сорвался вихрем, но знаем мы эту выдачу багажа после поезда. Учел ли мой взводный, что стоянка тоже оплачивается?

В ответ на вежливые расспросы Анюта тихим голосом рассказывает мне в спину, что в Москве — впервые. Переезжает к мужу по месту его работы; жить, конечно, будет интересно, да как-то непривычно в таком большом городе; и потом, говорят, здесь, в Москве, денег всегда больше уходит... Дьявольский счетчик между тем уже подобрался к первому рублю. Прямо сердце болит. Я бы совсем выключил его и начал сначала, но пассажирка может что-нибудь заподозрить в этих маневрах. Еще примет за жулика...

На рубле двадцати командир возвращается. Он явно изнемогает под тяжелой ношей. Поехали.

— Ты знаешь, здесь такси найти — что двести тысяч выиграть. Прямо самому не верится... Вот видишь, это дом Госторга. Громадный дом, недавно построен. А вот еще строится, видишь, на ножках стоит, без фундамента. Это Наркомлегпрома. Под домом стоянка для автомобилей. Замечательно! А это Лубянская площадь, сейчас Большой театр будет.

Себе в убыток я везу новых москвичей черепашьим шагом, как автокар интуриста. Товарищ взводный рассказывает и показывает товарищу Анюте ширь новых проспектов, мощь небоскребов Охотного ряда, почетные колонны университета и Ленинской библиотеки, строгое военное здание на Знаменке и раскатанную гладь Арбата.

За Бородинским мостом командир возобновляет руководство.

— Двигайтесь прямо, по Можайскому шоссе! Так, правильно. Теперь берите налево, через бульвар. Первая Извозная улица. К этим новым домам. Вы не согласитесь ли въехать во двор?

Едем по двору, по глубокой, густой грязи, облипающей новые жилые корпуса. Стали у крылечка.

— Вот так. Спасибо, товарищ. Сколько с нас?

— Девять тридцать.

Вынимает червонец.

— Не надо сдачи. Возьмите себе.

— Отчего же! Мы чаевых не берем. Семьдесят копеек вам. Сию минутку.

Но семидесяти копеек нигде в карманах не находится. Теперь моя очередь смутиться.

— Сейчас сбегаю, разменяю. Или, может быть, у вас дома найдется мелочь?

— Ну что вы, товарищ! Пустяки. Оставьте себе.

Бросив ободряющий взор, он исчезает. Пришлось-таки получить семь гривен на чай от красного командира! А я еще собирался субсидировать его...

Впрочем, семьдесят копеек пошли не очень впрок. До ближайшей стоянки приходится плестись порожняком почти два километра.

Едешь и ловишь себя на том, что совсем иначе обращаешься с этой машиной, чем когда сидишь за рулем учрежденского автомобиля.

Если вы вышли из дому в аккуратных, крепких, начищенных до блеска сапогах, вы будете четко ступать по земле и обходить грязь... Если же на вас старые, разношенные чоботы с рыжими голенищами, на кривых каблуках, вы безмятежно и даже с упоением будете шлепать по лужам, а вернувшись, поленитесь соскоблить глину с подобной обуви.

По шоферской путевке я получил из Первого московского таксомоторного парка машину не старую и не плохую, форд-лимузин американского производства. От роду ему не больше двух лет, но во что он превратился! Поршневые пальцы и толкатели резко стучат в моторе. Аккумулятор — на последнем вздохе, надо всегда держать наготове ручку для заводки. Тормоза или совсем не берут, или прилипают целой колодкой к барабану. Гудок прерывается, как хрип умирающего. Один фонарь слепой,

другой слепнет каждую минуту. Спидометр вырван с мясом. «Дворник» (снегоочиститель) давно исчез, и через каждые несколько минут приходится становиться, чтобы протирать стекло снаружи тряпкой. Ну, а внизу, кругом — все безнадежно дребезжит, гремит, грохочет, — не автомобиль, а расхлябанный по проселкам дедовский тарантас. Как ни едешь, все равно лязг и звон. Все равно после смены придется подтягивать все винты. Так уж лучше поторопиться. И машину пускают вскачь по ухабам, по лужам, не стесняясь и не щадя. Равнодушие, обезличка в полгода превращают новенькую машину в развалину. А с развалиной и подавно перестают церемониться.

Теперь стою у Киевского вокзала, жду экспресса. Ждать достается долго. Но только я размечтался о новых приезжих пассажирах, как один уже влез в такси. И вовсе не киевлянин. Московский поджарый гражданчик, в каракулевом кепи, с повелительным голосом.

— На Варварку! Хотя нет, сначала на Сивцев Вражек.

Гражданчик молчит и только один раз делает сухое замечание:

— Езжайте тише! Не бойтесь, вы свое заработаете.

И в самом деле, гражданчик задает мне работу. Заполучив такси, он не так легко выпустит его из рук.

На Сивцевом пассажир исчезает в воротах и через четверть часа выходит со всей семьей.

— Давайте сначала к Калужской заставе!

У заставы выпархивает жена. Потом мы едем на Земляной вал. Ждем. Оттуда — на Долгоруковскую. Ждем. В купе вполголоса обсуждают какую-то склоку...

Стоп. Свисток. Милиция. Проехал желтый сигнал светофора.

— Не видишь, что ли? А еще очки надел. Что? В первый раз? Знаем — все вы в первый раз. Платите пять рублей.

Московские шоферы в большой ярости на милицию уличного движения. Штрафуют их строго и нещадно, за малейшее нарушение. Но не в этом, по-моему, недостаток отдела регулирования.

Штрафовать, конечно, приходится. Без этого московские шоферы, и без того довольно беззаботные, развинтились бы совсем. Беда в том, что некоторые постовые

превращают штрафования в свою единственную обязанность по отношению к автотранспорту. Шофер должен чувствовать, что милиция не только воюет с ним за правила, но и помогает ему, звонит в гараж при поломке, заботится о посыпке скользких мест, строго удаляет с мостовой пьяных и ребятишек. А вот на центральном перекрестке, у памятника Пушкина, в страшную гололедицу, когда все машины заносит щепкой, милиционер занят только собиранием рублей. Не лучше ли бы раздобыть немного песку?

Или: машина идет быстрым ходом, и почти перед самым ее носом постовой внезапно вздумает дать желтый свет. Очень трудно остановиться. А с другой стороны машина только еще показалась на горизонте.

Или на Арбате: милиционер оштрафовал на пятерку, а у меня было целых тридцать рублей. И чудак пошел их разменивать; сходил в аптеку — не разменял; сходил в кооператив — не разменял; пошел в кафе — разменял наконец и, довольный, опять вернулся, отсутствовав на посту четырнадцать минут. Мало ли что могло случиться здесь за это время!..

С Долгоруковской гражданчик командует мне на Усачевку. С Усачевки, после ожидания, на Никитскую. Под конец проехали Проломные ворота, и в Зарядье, расплатившись, гражданчик нырнул в дверь парикмахерской.

Этот наезд был на двадцать четыре рубля. Ф-фу-у... Надо пообедать.

Ранние сумерки спускаются на Москву. Столица загорается миллионами огней. Пестры неоновые рекламы на площадях. Грозно мигают светофоры. Громадные потоки людей переполняют улицы. Нет города в Европе, производящего впечатление большей многолюдности, чем нынешняя Москва. Даже в Париже на Больших бульварах, даже в Лондоне у Пикадилли-Сэркус нет такого обильного и оживленного многолюдства.

В этом кипящем людовороте советской столицы такси нужны, они нужны немногим меньше, чем трамваи и автобусы. Таксомотор давно перестал быть роскошью для московского трудящегося. Он стал необходимым удобством, которое экономит не только время, но и деньги. Недавно в газетах с гордостью сообщалось, что от четыр-

надцати тысяч московских извозчиков осталось только четыреста. Очень приятно, но где замена?

В городе прибавился миллион жителей, подвижных, непоседливых, бойких. Это не прежние сонные старожилы, годами сидевшие по задним дворам. Эти живут, эти ездят! Они отбывают и прибывают в командировки, на новостройки, они переделывают самую столицу и собственную свою жизнь, каждодневно обзаводятся новым имуществом и возят к себе домой.

По тарифу такси сейчас в три-четыре раза дешевле извозчика. Даже в театр, если поехать вчетвером, выйдет не дороже, чем в автобусе. Но по громадной трехмиллионной столице бегают меньше пятисот такси. Минус сотня, закрепленная за учреждениями. Минус ремонтируемые. С такой горстью, пожалуй, возмечтаешь об извозчиках! Москве нужны на следующий год, худо-бедно, полторы тысячи таксомоторов. Цифра вовсе не страшная, ее даст автопромышленность. Но вот беда — нет гаражей. Автогаражное строительство Московского Совета печально хромает. На тридцать пятый год запроектирован только один таксигараж на пятьсот машин. Этого мало! Во что бы то ни стало два гаража потребуем от нового состава Моссовета.

К Главному телеграфу подошла взволнованная семья.

— К Белорусскому вокзалу. Только, пожалуйста, поскорее. На поезд опаздываем.

Мать и взрослая дочь, очевидно, уезжают. Сын, молодой человек, провожает, и при этом мертвецки пьян.

— Э-уа-уа-увася!.. Увася где?.. Ува-ася!..

— Петя, сиди тихо. Васи твоего нет. Мы с Ниной едем на вокзал, видишь сам.

— Нина? Зна-еем... А п-почему она молчит?

— Она не молчит, она волнуется, что мы опоздаем на поезд.

— В-волнуется? Н-ну и правильно! А Ува-вася куда пропал? Мне тут неудобно лежать! Я на Усачевку хочу.

Надо бы сдать Петю на попечение милиционера, но жалко задержать уезжающих женщин. К вокзалу мы прибываем за две минуты до отхода. Пассажирки исчезают, оставив пьяного расплачиваться. Не так легко высвободить такси от Пети. Он к тому же словоохотлив и лирически настроен.

— Ск-колько, говоришь? Рубль сорок? На, дружок, бери трояк... Какая сдача, что ты, милый, ш-шутишь? Плевал я на твою сдачу, б-болван! Ну, бери, умоляю. Вот на к-колени перед тобой становлюсь. Это тебе не буржуй дает, а твой же брат-товарищ! Загордились, сволочи, от своего товарища на чай не берут! Мне твое лицо симпатично, скажу откровенно... А у-ув-вася — подлец... Ты меня повыше бери, а то я боюсь щекотки!.. А то, может, на Усачевку поедем? Хороший ты человек, простой! Совсем, как я. Постой, разве ты тут не останешься?!

Пьяный пассажир — сущий клад для шофера-рвача. Пьяных возят «на старика», то есть при посадке не выключают со счетчика сумму предыдущей поездки. Их обсчитывают или просто выгребают все из доверчиво растопыренного бумажника. Впрочем, бывают и убыточные пьяницы. Ничего не заплатит, забудет все на свете и еще съездит по уху шофера.

С утра — у того же вокзала. Мое задрипанное такси скромно жмется у шикарных «ролль-ройсов» с дипломатическими флажками. Прибыл варшавский поезд. Суетня с носильщиками, чемоданами и гидами. Мне досталась тяжеловесная зажиточная американская пара.

— Ты сосчитал багаж, Фрэд?

— Три раза. Все-таки надо было дать кондуктору на чай. Смотри-ка, здесь совсем не холодно.

— Однако закутайся покрепче. Напрасно мы завтракали в вагоне. Ведь сейчас по расписанию будет второй завтрак.

— Перестань с этой экономией, Молли. Я тебе сказал, что ни в чем не буду себе отказывать. Что это значит: пектопан? Вот уже четвертый раз на вывеске?

— Здесь ведь другой алфавит. Это, наверно, значит по-русски ресторан.

— Ты всегда догадываешься раньше моего! Полисмены здесь неплохи. Смотри, гастрономический магазин! Булочная... А говорили, что... Но вот все-таки очередь. Целый хвост... Молли! Честное слово, хвост у киоска за газетами. Хорошенькое дело! Тынк оф дэт!

— Тебе, наверно, показалось.

В бывшем Охотном ряду пассажиры оживляются и, приотворив дверцы, задирают головы на новые здания.

— Оу, зэт'с файн!

У «Метрополя», после уплаты за проезд, Фрэд долго роется в кошельке, переполненном монетами разных стран. Протягивает, наконец, тридцать польских грошей. И, встретив отказ, смущенно исчезает в дверях отеля.

Опять пассажиры, еще и еще.

Двое узбеков набрали всякого добра в Центральном универмаге и едут в гостиницу.

Девушки с «Шарикоподшипника» везут свернутые в трубку чертежи.

Тройка озабоченных людей тащит сложенные в узел флаги для избирательного собрания и гипсовый бюст.

Хозяйка перевозит ручную швейную машину.

Старый рабочий купил стул.

Куда-то на выставку перевозят небольшую модель электрической машины...

Многое из этой поклажи я, по инструкции, не вправе возить.

Но инструкция по перевозке багажа на такси составлена узко и придирчиво. Инструкция — это только повод для мелких взяток за ее нарушение. Шофер сначала покуражится, потом везет ручную машинку и получает за это усиленные чаевые. Вообще как заискивают московские пассажиры перед сердитым, насупленным, развалившимся на сиденье шофером! Как обхаживают эту мрачную небритую личность! Уже дворники у нас давно куда опрятнее, вежливее, чем шоферы столичных таксомоторов. Почему бы им, кстати, не приодеться? Если Автотрест не может еще завести форму, пусть пока выдаст хоть фуражки приличного образца.

Опять вечер, ночь, и опять пьяные. Но не чета вчерашнему простодушному Пете. Теперь это осколки какой-то неудавшейся великосветской вечеринки.

— Как хорошо, что мы от них удрали! И с такси повезло. Куда же мы направимся? Тамара, отдавайте приказы!

— Ну, куда же? Сама не знаю. В «Национале» были вчера... в «Гранд-отеле» — третьего дня. Может быть, к Илье Карловичу? У него всегда коньяк и новые пластинки. Но я уже не способна сегодня танцевать.

— Бедное дитя! Оно уже не способно. Шофер, свези куда-нибудь в веселое местечко! Ты, наверное, знаешь что-нибудь такое. Раньше шоферы всегда знали.

— Могу свезти на поля орошения подышать воздухом. Или в анатомический театр — там открыто всю ночь.

— Но-но-но! Тоже остряк нашелся! Твое дело — возить, а не острить. Скушный город — эта твоя Москва! Раньше веселее была. И шоферы услужливее были по ночам!

Опять утро. Везу из банка артельщика с заработной платой на завод. Потом с завода — мастера за манометрами. Обратно на завод — мастера и манометры. Потом роженицу с нервным мужем. Потом музыкантов из студии Станиславского — по домам. Потом непонятная личность с сибирским котом в руках.

Два юных прожигателя жизни лет по четырнадцати подрядили меня с Пушкинской площади на Арбатскую. Очень нервничали из-за счетчика. Однако сумма получилась скромная, даже предложили на чай. Но пакетик из купе пропал...

Забыл сказать: в последний день я сделал маленький опыт. Положил на заднее сиденье пакетик в газетной бумаге. В пакетике были: ключ, сапожная щетка, два яблока и «Записки охотника» Тургенева.

Четыре клиента пакета не тронули. Артельщик его даже не заметил: видно, нервничал с деньгами. Мастер по пути с завода шелестел свертком, изучал содержимое; на обратном пути просунул в окошечко: «Возьмите, кто-то забыл». Роженица с мужем не заметили. Музыканты острили насчет пакета, потом приказали мне передать его в милицию. То же и личность с котом в руках. А вот молодые люди — те слизнули пакет гладко и бесшумно.

Бежит под колесами столичная земля; то темной гладью асфальта, то тряской зыбью булыжной мостовой. Странный, сложный город, замечательный город... И что в нем самое удивительное, чего не встретишь ни в одной столице мира, — нет противоречия между центром и окраинами, нет разницы в публике на главных улицах и за заставой.

Конечно, в Москве есть еще несметное число захолустных углов, грязных проездов, провинциальных тупиков. Но только углубишься в такую извилистую пере-

улочную кишку, только вообразишь себя в медвежьем захолустье, и опять за поворотом — новые мощные здания, снопы света, просторные витрины универмага, кипучая столичная жизнь. Единственный мировой город, который не имеет дна, уголовных трущоб, город без очагов нищеты и проституции, лагерей безработных, без неравенства, большой город без трагических «гримас большого города»!

Последних своих пассажиров я забираю после ночного сеанса кино. Не пассажиров, а пассажирок, рабочих девушек, и целых пять. Число незаконное. Но так долго и весело упрашивают они довезти всех пятерых к «Каучуку» — ладно, пойду на это преступление. Все равно мне уж завтра не сидеть за рулем такси.

— А как она ему перцу задала, когда он завел про щечки!

— А все-таки научилась стрелять из пулемета. И Петьку полюбила!

— Попробуй, не полюби такого... А как Чапаев ее чай позвал пить!

— А как они все вместе песни пели! Товарищ шофер, можно нам спеть?

— Смотря что. Скушную не разрешу.

— А «Конь вороной» можно?

— Ну, это, пожалуй, и я с вами спою.

— Смотри, пожалуйста, какой бойкий выискался... Веселый город — Москва!

1934

Простые чудеса

Бильярдное сукно — это во всех отношениях тонкая штука.

Надо его выделывать, отделывать неслыханно тщательно и долго. Глядеть во все глаза за каждой шерстинкой. Испытывать и проверять каждую нитку, чтобы сукно лежало на аспидной доске бильярда гладко и недвижно, чтобы не ворсилось от киев и не засаливалось от шаров, чтобы сохраняло легчайшую упругость с тончай-

шим торможением полированной слоновой кости по мягкой шероховатости шерстяной ткани. Должно бильярдное сукно выдерживать классический удар столичного чемпиона и неуклюжий толчок подвыпившего провинциального «портача».

Бильярдные и другие деликатнейшие тонкие сукна выделывали на фабрике Иокиша, что под Москвой, у Лихобор, на усадьбе екатерининского вельможи-генерала.

У ручных станков, слепя глаза дни и ночи, ночуя вповалку в грязных конурах, шесть поколений русских фабричных людей отдавали свои тусклые, безрадостные жизни для яркого изумруда бильярдных сукон, для бойкой династии обрусевших немцев-фабрикантов.

Династия Иокишей пускала от своего ствола все новые ветви, старики важно ездили в лакированных фаэтонах, пили чай с ромом в саду на крыльце, молодежь ездила в Англию, скромно поступала учениками на манчестерские фабрики, училась у британских промышленников, как обращаться с шерстью и с рабочими, возвращалась назад с реформами, расставляла станки по-новому, а потом оседала, оплывала жирком и в свою очередь, переходя на стариковское положение, уступала место новым жизнерадостным, краснощеким Иокишам с новым запасом инициативы, с новыми методами производства и эксплуатации.

Фабричные люди приходили из деревни целыми семьями, рожали и умирали в смрадной тьме рабочих казарм, работали по двенадцати часов и больше, а после работы прислуживали на кухне у начальства, нянчились с детьми мастеров, подавали вместо горничных и лакеев на званых хозяйских вечерах.

Когда очередной молодой Иокиш, вернувшись из Англии, надумал освободить рабочих от обязанностей кухонных мужиков и нянек, чтобы лучше и прибыльнее использовать их у машин, фабричное офицерство — мастера подняли настоящее дворцовое восстание. Они требовали отстранения наследника престола от руководства фабрикой. Пусть царствует, но не управляет. И старики испугались, они отстранили своего отпрыска, даже заключили его под домашний арест. Мастера отстояли свою крепостную власть, отстояли, хотя в календаре уже значился двадцатый век, хотя в двери уже стучались война и революция.

В первое время рабочей власти фабрика бывшего Иокиша превратилась в бывшую фабрику Иокиша. Еще до формальной национализации и назначения рабочего правления хозяева постарались развалить предприятие и совершенно остановить его. Фабрика стояла весь девятнадцатый год, она еле работала и в последующие годы. Вместо восьмисот тысяч метров годовой выработки во время войны фабрика от силы давала тридцать тысяч. Конечно, бильярдные сукна были прочно забыты. На разбитых, запущенных станках, в пустых холодных корпусах кучка людей с трудом выматывала грубые шершавые полосы жесткой, колючей ряднины.

В восстановительный период производство наладилось, стали выпускать сто, потом двести, потом пятьсот тысяч и даже миллион, и даже больше, чем миллион, метров сукна в год. Пролетарская фирма — «Фабрика имени Петра Алексеева» — оставила далеко позади ветхозаветные «промфинпланы» семьи Иокишей. Но качество...

Качество было отвратное. Это было вообще не качество, это было издевательство над потребителем, над материалом, над машиной, над трудом, над здравым смыслом. Нельзя было себе представить, кто и где возьмется носить чудовищное пятнистое дерюжное тряпье, выпускавшееся под именем сукна.

На фабрику приезжали в несчетном числе инспектора, обследователи, бригады, целые комиссии специалистов, партийных работников, ревизоров. Шумели, требовали, возмущались, объявляли выговоры, составляли докладные записки, тысячу раз заседали с директором, с техноруком, с ячейкой, с завкомом. В чем дело? Что за причина?

Причин плохого качества указывали много. Основную причину называли всегда одну. На эту одну причину ссылались и директор, и техрук, и секретарь ячейки, и рабочие, и последний подметальщик.

Причина уводила назад, к Иокишу.

— Наша фабрика не может, — говорили они, — не может работать простые сорта и на простом сырье. Вся наша фабрика — и ее машины, и ее прядильщики, и ткачи — вся и все приноровлено к работе тонких бильярдных и других специальных сукон. Для этого нужна особая, тонкорунная мериносовая шерсть. А вы какую шерсть нам даете? Что это за смеска? Разве же можно

что-нибудь сделать из такой дрянной смески. Кушайте сами такую смеску!

В середине тридцать второго года фабрика добилась всесоюзных рекордов. Товарный брак достиг восьмидесяти пяти процентов. По качественным показателям фабрика заняла последнее место во всей шерстяной промышленности Союза.

Октябрьский райком круто вмешался в неразбериху на фабрике. Минуя все комиссии, заседания и технические заключения, райкомщики стали вникать в суть вещей, стали разбираться в атмосфере на предприятии, в настроениях живых людей, в их откровенных, неофициальных разговорах и мыслях.

Оказалось: шерсть действительно плохая, но руководители гораздо хуже. Треугольник, стоящий во главе фабрики, концами не смыкается. Два угла из трех затянуло паутиной. Поэтому и в цехах, на станках, на складах — грязь, мерзость, запустение. Рабочие общежития утопают в мусоре, в гниющих отбросах. В столовой кормят черт знает чем.

Единственно, что цвело на фабрике пышным цветом, это — пьянство и прогулы. Приходя в цех после трех дней безвестной отлучки, разленившийся ткач клял последними словами шерсть и пряжу; его начальство, глядя вперед себя остекленевшими с похмелья глазами, повторяло эту ругань, как голос пролетарской мудрости.

На фабрике все получали одинаковую заработную плату. Премировали работников только по числу метров сукна. Ткачиха выпускала половину товара в брак — все равно ее премировали. Премировали потому, что директор подписывал премиальную ведомость не читая; ведомость ему приносил мастер, и в этой ведомости мастер себя не обижал.

Неистовый Атреанян с Малой Дмитровки, вся районная партийная организация объявили войну браку на фабрике имени Петра Алексеева. Войну не на один день, не методом суетливых штурмов и кампаний. Войну всерьез и до конечной победы, систематическую осадную войну, одновременно на измор и на сокрушение.

Взяли в мертвое кольцо блокады все виды брака. И брак в подготовке смеси, и брак в прядильной, и ткацкий брак, и брак в окраске, и брак в контроле и браковке, и брак в обслуживании рабочих, и брак в партийной работе, и брак в самих людях.

Сменили на фабрике руководство — хозяйственное, и техническое, и партийное. Новые руководители объявили месячный смотр качества во всех его деталях, во всех мелочах.

Месячный смотр превратился в двухмесячный, потом в полугодичный, он стал постоянным смотром, постоянной проверкой качества работы — что и требовалось.

На смотру стали применять совсем простые вещи, простые, как колумбово яйцо, но совершенно новые для фабрики, совершенно поразительные по эффекту и результатам.

Звали ткачиху, разматывали перед ней большую штуку сукна, метр за метром раскидывали перед работницей брак, показывали:

— Вот это твой кусок. Вот это испорчено из-за твоей неаккуратной работы.

Работнице становилось стыдно. Старой ткачихе становилось больно, слезы навертывались на глаза:

— Неужели же это я сделала? Самой не верится. У старых хозяев из-под палки работала хорошо, а тут только пакость развожу. Честное вам слово даю, товарищи, больше никакого брака не будет у меня...

Началось соревнование, не бумажное, не формальное, а настоящее, жаркое, азартное, с борьбой за первенство между цехами, с настоящим трудовым подъемом.

Налаживая порядок у машин, новое руководство фабрики и созданный заново актив не забыли упорядочить жизнь людей, которые у машин стоят. Построили новые жилые корпуса у фабрики. Старые, страшные каморочные казармы стали перестраивать на квартирную систему. В тихом особняке семейства Иокишей загомонил на сотни голосов детский сад, запищали маленькие обитатели яслей. В сараях у пруда захрюкали свиньи, зашуршали кролики для столовой.

Когда на фабрике создалось новое настроение, когда о качестве серьезно и доброжелательно задумался каждый человек у станка, нашлись десятки и сотни простых предложений, исправляющих работу, улучшающих товар на каждом шагу.

И тогда случилось простое чудо. Огромный, уродливо разбухший, отвратительно выпятившийся брак вдруг осел, поник, съежился и быстро-быстро покатился вниз, подхлестываемый большевистскими дьяволами. С восьмидесяти пяти процентов до четырех.

Хорошо покатился вниз брак на фабрике имени Петра Алексеева.

Так катился Деникин от Орла — вниз, вниз по карте России и Украины, через Крым, в волны Черного моря, на тихое дно истории.

Так катилась разруха под натиском восстановительной атаки рабочего класса после гражданской войны.

Так катились из партии правые и троцкисты, двурушники, загибщики, обманщики, оппортунисты, отступая перед концентрированной мощью сплоченных большевиков на позициях генеральной линии.

Так катились китайские белобандиты, высунувшие грязные лапы за черту дальневосточной советской границы.

Фабрика Петра Алексеева опять добилась всесоюзных рекордов. Только совсем других, чем год назад. Фабрика стала на первое место по производственным показателям в Октябрьском районе красной Москвы.

И более того. Она стоит на первом месте во всей шерстяной промышленности Советского Союза.

Она, эта еще вчера самая отсталая, самая последняя фабрика, став ведущей и самой первой, уже помогает другим, более слабым, более отсталым предприятиям, учит их, как работать, как ломать свою косность и отсталость, как перешагивать и смело оставлять позади «объективные» причины.

Одно из простых большевистских чудес, какие совершаются, — нет, не совершаются, а делаются всюду, где большевистская настойчивость и воля подымают, будоражат рабочую массу, объединяют ее целиком на коллективное преодоление трудностей и преград.

1935

Семь дней в классе

Стук двери слился с грохотом встающих. Директорша подняла палец, требуя тишины.

— Ребята, вот Михаил Ефимович, ваш новый классный воспитатель. Надеюсь, вы будете жить в мире и согласии.

Тридцать шесть пар глаз, голубых, серых, золотистых, в упор, без стеснения изучают меня с ног до головы. Глаза любопытны, заинтригованы, спокойны.

— Нет ли вопросов?

Молчание. Стриженая девочка встает с решительным видом.

— Если можно, у меня два вопроса. Во-первых, как ваша фамилия?

Улыбки. Интерес.

— Фамилия моя... ммм... Михайлов.

— Во-вторых, если можно знать, почему нам дают нового классного руководителя? Разве Дмитрий Иванович был плох?

Взрыв смеха. Сенсационное ожидание. Директорша хочет дать объяснения. Спешу ее опередить.

— То, что я слышал о товарище Белякове, говорит о нем как об очень хорошем воспитателе и педагоге. Знаю, что он пользовался у вас авторитетом и любовью. Но сейчас в ряд школ назначены освобожденные классные воспитатели. Я — один из них. Не надеюсь превзойти Дмитрия Ивановича, но, если вы все поможете, постараюсь заменить вам его.

В разных местах класса дружелюбно кивают головами. Мирные отношения как будто установлены. Директор уходит. Урок продолжается.

Это — урок немецкого языка. Учительница читает параграф из хрестоматии, объясняет новые слова, пишет их на доске. Затем ученики сами и с помощью словаря делают в тетрадях перевод.

Формально все так, но запаса слов ученики почти никакого не имеют. Переводить не привыкли. Учительница не помогает. Кусок из хрестоматии тоже тяжелый и скучный — почему-то из теории Дарвина о происхождении видов. В общем, происходит что-то не то.

Когда учительница предлагает читать вслух, у ребят вид рыб, вытащенных на песок. Ученики нехотя подымаются и, тяжело шевеля языком, медленно вываливают отдельные слова-уроды, даже отдаленно не похожие на немецкую речь.

А ведь это девятый класс. Пятый год обучения немецкому!..

Чем так, по обязанности мытарить ребят, не проще ли совсем отказаться от этой затеи? Нам нужно знание

молодежью иностранных языков, а не унылая пародия на их преподавание.

Перемена. Тишина взорвалась ревом полтысячи голосов. В коридорах бегут во все стороны, как при землетрясении. Сбивают с ног наповал и, едва отряхнувшись, бегут дальше. Лавируя, как моряки на палубе в свежую погоду, педагоги собираются в учительскую. Товарищ Беляков уединился со мной в уголке, чтобы передать класс. Он, видимо, слегка задет, да и с ребятами жалко расставаться. Но человек пришел с путевкой из РОНО, и Дмитрий Иванович встречает со всей лояльностью.

— Класс неплохой, много рабочих ребят и девочек, знаю я их уже не первый год. Успеваемость неблестящая, особенно в русском языке. Дисциплина раньше очень хромала, теперь заметно подтянулась, впрочем, увидите сами... Вы хотите посетить их всех на дому? Что ж, это будет прекрасно. У меня, увы, никак не оставалось времени на это. Но выходные дни я часто провожу с ними... Хорошо, что прибавляется в вашем лице еще один партиец; я — парторг школы... Да, атмосфера здесь хорошая. Редкая школа, где совсем нет склок... Помочь? Конечно, поможем. Вы не стесняйтесь, Михаил Ефимович, спрашивайте обо всем. Я как старший товарищ готов направлять вас, особенно в первое время... Постарайтесь добиться бесплатных завтраков вот для этих восьми... Не робейте. Лишь бы энергично работали. Не так все это хитро.

Старший товарищ совсем не стар. Ему тридцать четыре года, тужурка, ныне черная, явно перекрашена из хаки, да и вместо портфеля еще сохранилась полевая сумка.

Простое, спокойное лицо большевика, думающего над своей работой и верящего в нее.

Это — двадцать седьмая школа Фрунзенского района, на рабочей окраине Москвы. Не худшая, но и не лучшая среди соседних школ. В красный список ей попасть не удалось. Приблизительно таких школ в нашей стране есть шесть тысяч. Триста тысяч людей нехитро делают в них важнейшее и тончайшее дело подготовки семи миллионов новых людей для бесклассового общества. Много ли мы знаем об этой работе?.. А ведь она идет рядом с нами, буквально за стеной.


Наши газеты
тревожно пишут о хулиганстве.
Предлагают
всем благонамеренным и пристойным гражданам
не водить знакомства с хулиганами,
не считать их за порядочных людей,
даже не подавать им руки.



В самоварном чаду (1926)

Учитель математики, Владимир Емельянович, на вид довольно старомоден. Высокий крахмальный воротник, уцелевший от когдатошнего вицмундира, пожилые брюки в полосочку, довоенные обороты речи. Но в классе он у себя дома. Ученики ценят, любят математика, а через него и самую науку.

— Сегодня я вам покажу устройство логарифмических таблиц и обращение с ними при сложных вычислениях. Вот два экземпляра таблиц, возьмите себе.

Учебные пособия, опять два на весь класс, как реликвия, переходят в руки учеников. Владимир Емельянович объясняет таблицы логарифмов. Говорит коротко, сердитым голосом. Вступает даже в полемику с составителем таблиц.

Но класс хорошо понимает короткие объяснения. Потому что слушает с абсолютным вниманием. И потому что уже воспитан на математической культуре несколькими годами умелого преподавания.

— Ну-ка, кто хочет пойти к доске, решить задачу с логарифмами?

Подымаются почти все руки. Приходится установить очередь. Одновременно все оживленно и с азартом решают задачу у себя в тетрадях. Владимир Емельянович, хитро прищурившись, сощелкивает мел с пальцев. К нему со всех сторон бегут за справками, он подает их короткими, отрывистыми фразами, как команду на корабле. Деловые разговоры переходят во всеобщий гомон, и тогда он ворчливо, добродушно наводит порядок:

— Раскричались! Тише! Гуси!

Математику любят в двадцать седьмой школе, хорошо в ней успевают, во всех классах. Очевидно, потому, что она здесь хорошо преподается.

Следующий урок — технология. В класс входит небольшого роста коренастый паренек.

— В этот раз, ребята, мы провернем устройство парового котла. Паровой котел, ребята, есть машина, служащая для превращения воды в пар. По конструкции, ребята, паровые котлы делятся на три главных типа. Котлы, ребята, с жаровыми трубами, котлы, ребята, с дымогарными трубками и котлы, ребята, водотрубные. Поняли, ребята? Теперь идем дальше. В котлах первого, ребята, типа внутри главного резервуара...

Сипловатым митинговым голосом паренек монотонно барабанит страницу из учебника, как отчет о сборе утильсырья на заседании месткома. Язык его убог, вместо «в этом» он произносит «в этим», вместо «хотим» — «хочем». Держится не как учитель, преподающий, а как ученик, отвечающий урок. Только вставляет для контакта с аудиторией, для педагогии: «ребята», «поняли, ребята?»

Класс сначала лояльно пробует слушать — паровой котел интересует всех. Но минут через восемь однообразная митинговая трескотня утомляет, усыпляет. Головы над партами склоняются ниже. Кто углубился в роман, кто задумчиво пачкает в общей тетради, кто, уставившись вдаль, мечтает и про себя улыбается.

— Как фамилия преподавателя?

— Не знаю... У нас никто не знает. Мы его зовем просто «технология».

— Понятно, что он преподает?

— М-мм.. не очень. Но скучно ужасно.

Унылый отчет о паровом котле протянулся до звонка. Все облегченно вздыхают.

— Ребята, вопросы по котлу есть, ребята?

Вопросов нет. И счастливый тем, что вопросов нет, спешит исчезнуть преподаватель технологии. Это — питомец Московского индустриально-педагогического института. Неважная продукция...

Историю преподает Дмитрий Иванович. Встречают его тепло и даже слегка приподнято. Это служит также и некоторой моральной демонстрацией. Класс подчеркивает свое доверие Белякову перед лицом его преемника.

Да и преподает он очень хорошо. Сегодняшняя тема — начало мировой войны. Беляков живо, ярко, просто описывает предвоенную обстановку, показывает на карте основные враждующие группировки империалистических держав, точки столкновения интересов, борьбу за рынки. И тут же, наряду с общим анализом, приводит целую кучу интересных фактов, имен, событий; живо рассказывает о сараевском убийстве, как непосредственном, конкретном поводе к войне. Перед занятием он подумал, чем бы из художественной литературы скрасить урок; по моему совету взял главу из «Тихого Дона», где показано первое выступление Козьмы Крючкова и истин-

ная обстановка его «подвига»... Слушают внимательно, жадно и уже после звонка все еще стоят вокруг учителя, расспрашивают и жалеют, что рассказ оборвался.

Облепленный учениками, Беляков медленно удаляется в коридор, бросая мне взгляд одновременно и задорный, и ободряющий. Во взгляде я читаю:

«Вот и ты попробуй поставить себя так с ребятами!»

Ну и хорошо.

Грязно в школе. Спертый воздух. На переменах проветривают, но в форточки уходит только немного. Остальное — постоянный, застоявшийся «слой вечной духоты». У нас будут строить новые школы, надеюсь, отлично проветриваемые. Но до этого надо коренным образом, по-государственному, с затратой средств создать механическую вентиляцию в старых школьных помещениях. При многосменности это обязательно. Не делать этого — преступление.

Классы, даже после недавнего ремонта, имеют затрапезный, обмусоленный вид. В каждом классе, позади последних парт — нечто вроде мусорной свалки. Обломки мебели, меловые крошки, обрывки бумаги. По коридорам зияют дыры в штукатурке. В уборной — перманентная лужа, вода не спускается, и через дверь добирается в комнаты острая злая вонь.

Рядом, в двенадцатой школе, еще хуже.

Сегодня я снарядился в длинное путешествие. Классному воспитателю должно быть интересно посмотреть ребят в домашней обстановке, познакомиться с их родными.

Катя Хрекова обитает в Кутузовской слободе, в рабочем бараке. Барак уже поделен на комнатки. Вместе с Катей — отец, мать, маленькие сестры. Очень тесно, но чисто. Встречают с удивлением, но радушно, предлагают чаю.

Отец Кати — сторож при бараках. Мать работает по хозяйству. Раньше все жили в деревне, постепенно перебрались в столицу: отец с Катей, потом вся семья.

— Трудно очень было, когда мы с отцом жили вдвоем на койке. Теперь, с отдельной комнатой, жить вполне можно. Конечно, в гости ребят не приглашаю, но уроки готовлю здесь.

Мамаша настроена менее оптимистически.

— Зачем это еще завели девятый и десятый классы? У нас в деревне помещика дочка, и то больше восьми не обучалась! Трудно нам все-таки ее так содержать. Ведь как барышня: не работает, только учится, все книжки ей покупаем, одеваем во все лучшее. Уж отец вторую работу взял — за лошадьми смотрит.

Катя слегка смущена... Она превосходно учится в школе. Думает о вузе — очень увлекается химией. Домашняя оппозиция ее удручает. И тут на помощь должен прийти классный воспитатель.

— Давайте потерпим, мамаша. Девятый класс уже скоро к концу, а там только один годок. И если бы еще Катя плохо училась, а то замечательно учится. Мы ею в школе очень довольны. Окончит школу — не будет у вас больше забот, да еще вам начнет помогать. Вот и для меня отец-мать старались, помогали учиться, а теперь я о них целиком забочусь.

— Это верно, конечно. Мы уж, конечно, со своей стороны поддержим. Хотя и трудно, но все сделаем для дочки. Как вы говорите, что очень хорошо занимается.

Длинный Вася Егоров сидит в низкой комнатке на задворках пивоваренного завода. В домике никого нет, отец развозит пиво, мать служит продавщицей в ларьке, малыши играют в снегу. Вася читает «Анну Каренину». В классе он кажется взрослым человеком среди детей. Здесь он подросток, юный, простодушный.

— Живем теперь хорошо, жить вполне можно. Трудный был год, когда отца по партийной мобилизации направили в колхоз. Он там по трудодням получал, а политработнику трудодней полагается не так много. Да еще сюда посылать. Но сейчас все выровнялось.

Учиться Васе нетрудно, если бы только не заедала уйма заседаний. Он секретарь школьного комсомола. Против этих обязанностей нисколько не возражает. Но иногда вместо настоящей комсомольской работы достается бесконечное и бесплодное заседательство. Райком комсомола сам показывает дурной пример. Созывают секретарей на десять часов, требуют аккуратнейшей явки, а собрание открывают — хорошо, если в половине двенадцатого.

— Еще что мне обидно — с немецким языком очень плохо получается. Учимся, а ничего не знаем. Даже разучился тому, что знал в восьмом классе. А мне немецкий язык очень понадобится. Я ведь хочу после школы заняться астрономией, тут без иностранной литературы обойтись нельзя!

Марина Когтева живет в большом, густо населенном кооперативном доме. Отец ее — ответственный работник Центросоюза, бывший партизан, мать работает в Советском контроле. Встречают классного воспитателя с большим интересом и с целым ворохом вопросов и проблем.

Какая же разница между классным наставником царской гимназии и нашим классным руководителем? В обмене мнений, по личному опыту всех троих мы устанавливаем, что царский классный наставник был полуфельдфебелем, полушпиком. Если от всего школьного персонала ученики укрывали свои мысли, внутренний мир, домашнюю жизнь, то от классного наставника приходилось скрываться вдвойне — он был вдвойне опасен. «Контакт с родителями» состоял только в том, что в особых случаях трепещущего папашу вызывали и делали нахлобучку за провинность сына. Вызов родителей к наставнику официально считался репрессивной мерой... Советский классный воспитатель — это друг и советчик школьника, всей его семьи, заботливый помощник в обучении, контролер физического и морального роста, друг и опора в дни неудач и упадка духа. Классный воспитатель должен делать свое важное дело вместе с руководителем школы и учителями, вместе с комсомолом и партией, в ближайшем контакте с родными своего воспитанника, с пристальным вниманием к его индивидуальности, к его взаимоотношению с коллективом...

У родителей Марины немало претензий к дочери. Учится неблестяще, из наук интересуется почти единственно физкультурой. С отцом недостаточно корректна, домой приходит поздно, держится очень замкнуто, дома почти не разговаривает. Оживляется только с приходом своей закадычной подруги Оли Маклаковой. На все это отец и мать просят обратить внимание; они уж и то хотели поговорить с комсомолом, но с воспитателем — еще лучше.

Я пробую принять сторону дочери. С ученьем, конечно, надо нажать, но прочие обвинения недостаточно кон-

кретны. В позднем возвращении нередко виновата школа. Факты некорректности — очень мелкие...

Родители смягчаются. Да, конечно, девочка-то она очень хорошая. Но все-таки смотреть за ней надо. Возраст такой, когда они начинают считать себя взрослыми, а на самом деле еще дети...

Сама Марина присутствует при беседе; улыбается застенчиво, но и слегка иронически; тонкая фигура обтянута майкой, вид немного болезненный, несмотря на физкультуру. Рядом — краснощекая, крепкая Оля. Она — из семьи слесаря; гораздо крепче, бойче, хорошая массовичка. Летом сама руководила целой физкультурной площадкой.

— Отчего же у тебя Марина такая замкнутая? И учится средне. Ты чего же не влияешь?

Оля смеется.

— Да вы не беспокойтесь, она всегда такая. Веселая, только говорить много не любит.

Долго не отпускают родители. Хотят договориться и о политическом воспитании, и сколько давать карманных денег, и о взаимоотношении полов... Как хорошо, что в школе усиливают воспитательную работу. Когда еще можно повидаться? На дому или в школе, как угодно...

В крохотном кабинете сидит директор, Анна Семеновна Канина.

Есть кабинеты, как тихий, просторный остров уединения. Этот — как скала в бушующем прибое. Дверь у кабинета — живая, шевелится, не затихая ни на минуту.

Если уж никто не зайдет по делу, все равно приоткрывается дверь и заглядывают маленькие носы.

С раннего утра до ночи директор в непрерывном соприкосновении с людьми и событиями, в безостановочном конвейере забот и происшествий. Работа трамвайного кондуктора — это безмятежный отдых по сравнению с директором двухсменной школы. За пятнадцать минут — возчики отказались помочь в выгрузке дров, в восьмом классе дали путаную формулировку восточного пакта, на физкультуре у девочки пошла носом кровь, из района потребовали немедленно ведомость о работе кружков, на кухне пригорела рыба, в зале собра-

лись по случаю вылазки парижских профбюрократов, двое родителей пришли протестовать против плохих отметок их детям. Это за четверть часа, а сколько таких четвертей на дню!

Андрей Иванович, заведующий учебной частью, много и усердно помогает. Но он все больше по учету — громадный учет приходится вести. А по оперативной части, там, где надо поспорить, решить, добиться, — там директор один.

Пока идет урок, Канина, что бы ни делала в кабинетике, машинально прислушивается. Во всем здании должна быть полная тишина — это признак правильной работы учебной машины. Если тишина нарушена, директор сейчас же спешит на место шума — выяснить и устранить причины перебоя. В перемене, на площадке, где перекрещиваются шумные струи коридоров, лестниц и залов, твердо и ловко руководит хаотической стихией, внося в нее организацию, порядок. Только она может, мгновенно разбираясь в обстановке, перетасовывать классные помещения, выталкивать пробки в столовой и у вешалки, вылавливать из бурлящей толпы отдельных задир, замарашек, обиженных, нездоровых; одергивать, наводить чистоту, выговаривать и подбадривать.

На общей линейке, перед фронтом шестисот подрастающих советских граждан, она стоит твердо и прямо, школьный жандарм, закованный в кольчугу спокойствия и выдержки поверх всех волнений и усталости. Поздно вечером, когда отшумели все школьные страсти, — это молодая женщина, мягкая и веселая, скромная до робости и восторженная, почти как ее ученики.

— Была в институте, на научной работе — это кажется теперь таким легким, тихим, безобидным... Здесь — непрерывно работающий вулкан. Но стоит заболеть, пробыть один день без ребят, и уже скучаю до тоски!

Канина — отличный директор, но школа бьется в одиночку, хотя есть и совет родителей, и завод-шеф, и РОНО, и райсовет, и райком. Тысячи мелочей вырастают в школе до размеров больших проблем, и только потому, что школа все еще в стороне от главного русла общественной жизни. За два с лишним года никто из членов бюро Фрунзенского райкома не заглядывал в двадцать седьмую школу. А ведь пришло время, когда не

только заводы определяют лицо района. И когда директор — не только тот, над кем дымится фабричная труба.

Урок литературы. Учитель — весьма квалифицированный, чуть ли не доцент. Обсуждают «Анну Каренину». Обсуждают по всем правилам. Двое учеников написали доклады, остальные — комментарии к ним.

Но это — социология, а не художественная литература.

Ученики крепко затвердили, что Толстой есть выразитель идей патриархального крестьянства, что Алексей Каренин — представитель правящей верхушки, а Вронский — выходец из военной среды. А о художественности образов и сцен романа, о глубокой человечности, о силе человеческих страстей, в нем изображенных, не говорят, стесняются, считают неуместным. К произведению подходят как к социально-экономическому документу, и только.

Характерно и то, что ученики предпочитают отвечать выписками из своих тетрадей, чем высказываться устно, к чему их усиленно и тщетно приглашает преподаватель. А пишут, кстати, с обильными и грубыми ошибками.

Идут дни, мы ближе знакомимся, и уже понемногу начинаем дружить. Я уже знаю, что Набатов и Никифоров вместе пишут масляными красками, что Шура Лоханкина с утра, до школы, работает на почте у окошечка, что Пухликов разрывается между шахматами и коньками, а Ефим Зильберштейн мечтает стать советским юристом.

В выходной день мы гуляем вместе по городу, наблюдаем, беседуем. Ребята купили «Крокодил», хохочут над ардовскими «Девятью способами безбилетного проникновения в театр», осторожно показывают мне. Не против ли я? Но нет, я за «Крокодил». И эта общность вкусов еще сближает нас.

Они — хорошие и умные, эти средние, наудачу взятые советские ребята. Они много работают, думают и смеются.

В своем девятом классе я провел маленькую анкету.

«Сколько у тебя свободных вечеров в шестидневку?» Из тридцати пяти учеников — восемнадцать совсем не

имеют свободных вечеров. Все пожирает учеба. Одиннадцать человек имеют один свободный вечер. И только шестеро имеют по два вечера.

«Чем ты предпочитаешь заняться в свободное время?» Большинство — за шахматы, чтение, коньки. Танцуют — девять, из них четверо — фокстрот. Читали: «Что делать?» — все, «Поднятую целину» — четырнадцать, «Капитальный ремонт» — пять, романы Жюля Верна — все, причем никто не читал меньше трех, а половина класса — по восемь, десять романов.

«Считаешь ли себя одиноким?», «Имеешь ли друзей?»... Трое в классе считают себя одинокими. Семеро не находят себе друзей, у остальных с этим вполне благополучно.

Анкета была анонимная, ребята не называли себя.

Я попросил воспитателя из восьмого класса сделать такой же опрос. Оказалось, в восьмом (более молодом) классе только один ученик не имеет свободных вечеров. Читают здесь больше, чем в девятом. Больше веселятся, больше скучают и вообще больше чувствуют. Есть тут и ухаживания, чего почти нет у девятиклассников. И при этом — целых тринадцать человек считают себя одинокими...

Хулиганством эта школа не заражена. Атмосфера в основном добродушная, нет злой грубости, сознательного желания нашкодить, хамского неуважения к товарищам и чужим.

Это не исключает внезапных и стремительных, как лесной пожар, вспышек озорства и авантюризма, слишком далеко заходящего.

Третий класс не так давно затеял во дворе игру в войну. Сначала кидались снежками. Показалось мало. Раздобыли палки. Показалось мало. Побежали в лавку, купили вязальных спиц, привязали к палкам, начали колоть. Но и этого было мало для разбушевавшихся страстей. Один из бойцов быстро-быстро сбегал домой, утащил из незапертого ящика (идиот-отец) револьвер, вернулся и выпалил, поранив мальчику глаз.

В пятом классе где-то сообща уперли серебряную ложку. Сообща же продали, сообща купили сластей, папирос, бутылку красного вина и сладостно распивали ее в вонючей уборной...

...На вопрос: «Чего ты ждешь для себя от школьного воспитателя?» — отвечают активно, с жадностью, с на-

деждой. Ищут в нем друга, руководителя, советчика, политического воспитателя, союзника при неладах с родными. И в самом деле, как много может тут изменить и выправить классный воспитатель, скольких ребят он может спасти от одиночества!

Но в школе еще не взялись по-настоящему за воспитательную работу. Преподаватель сам не знает, как рассматривать руководство классом: как честь для себя или как скверно оплачиваемую нагрузку. За это руководство педагог получает тридцать рублей прибавки к заработной плате. А забот и ответственности много... Не лучше ли потихоньку уклониться?

Кстати, роздал я свою анкетку и педагогам двадцать седьмой школы. Оказалось: из тридцати учителей только восемь не имеют свободных вечеров, шестеро имеют по одному вечеру, а остальные — по нескольку вечеров в шестидневку. И все же читают меньше, чем ребята. Девять человек не видели «Чапаева», а ученики смотрели все.

По случаю выходного в школе пусто и тихо. Только в клубном зале собрались два старших класса. Дмитрий Иванович сидит на клубной сцене. Заботливые чьи-то руки поставили ему на столик справа фикус в горшке, слева лапчатую пальму. Озелененный Дмитрий Иванович чисто побрит, праздничен. Он читает на тему: «Ленин и молодежь».

«...Тому поколению, представителям которого теперь около 50 лет, нельзя рассчитывать, что оно увидит коммунистическое общество. До тех пор это поколение перемрет...»

Лица ребят грустнеют от строгих, мужественных ленинских строк. Но учитель читает дальше.

«...А то поколение, которому сейчас 15 лет... через 10—20 лет будет жить в коммунистическом обществе, и должно все задачи своего учения ставить так, чтобы каждый день в любой деревне, в любом городе молодежь решала практически ту или иную задачу общего труда...»

— Вы видите, как точно предсказал Ильич. Теперь исполняются названные им сроки. И никто иные, как мы с вами, счастливо свершаем указанное Лениным!

Они переглядываются, улыбаются, кивают друг другу головой. И опять становится серьезна она, эта счастли-

вейшая в истории молодежь, которой суждено от школьной парты шагнуть прямо в социализм.

1935

Искусство зализывать

О хулиганстве, мордобоях, о кражах и прочих уголовных преступлениях правильнее всего сообщать в хронике происшествий. Желательно с указанием, задержаны ли и наказаны преступники, а если нет, то производят ли следствие милиция и уголовный розыск.

Совершенно излишне сопровождать информацию подобного рода морально-этическим разбором, нравоучительными пояснениями и заголовками. Хотя это у нас еще и делается.

Человек влез ночью в окно, долго, кряхтя и вытирая со лба пот, взламывал несгораемый шкаф, забрал содержимое и скрылся. А заметка об этом гласит:

«Не понимают принципа общественной собственности».

Трое здоровенных дядей напали на рабочего, долго избивали его, потом поставили под кран с холодной водой и затем опять били. А их поучают:

«Побольше чуткости к живому человеку».

Гражданин украл на фабрике комод, притащил и поставил у себя в комнате. А о нем говорят:

«Не оправдал себя на практической работе»...

Часто это делается просто по глупости, по заскорузлой неподвижности сонных мозгов, по тупому чиновничьему равнодушию.

Часто, но не всегда.

Бывает, что люди притворяются идиотами, не состоя ими на самом деле. Привычными, обмелькавшимися формулами они прикрывают действия из ряда вон выходящие, гладким тренированным языком зализывают поступки, не нуждающиеся ни в какой оценке, кроме статей уголовного кодекса.

У города Старая Русса есть Фанерный завод № 2. При этом заводе — пожарная охрана. Мы не знаем, как сия организация вела себя в борьбе со стихией огня. В другом отношении она проявила себя бесподобно.

Два года подряд банда хулиганов, фактически существовавшая под фирмой пожарной охраны, терроризировала рабочий поселок Парфино.

Если кто-нибудь из рабочих и вообще из жителей поселка появлялся навеселе на территории завода или просто на улице, пожарные молодцы схватывали его и тащили в депо, открыто избивая по пути.

В депо пожарные связывали своим пленникам руки, привязывали ноги к шее, кидали на каменный пол, клали под кран с ледяной водой или в конюшню между лошадьми.

После избиений люди лежали по нескольку дней, лечились, иногда неделями не выходили на работу по бюллетеню.

Чтобы не иметь никаких забот с пожарами, хулиганы попросту запретили топить печи в заводских общежитиях. Когда рабочий Ветров заявил протест начальнику охраны Малашникову, его схватили, зимой без шапки и пальто сволокли в депо, и там Малашников самолично его избил.

Безнаказанность хулиганов сделала их буквально грозой поселка и на заводе. Бригадир Ершова, пожаловавшись на работницу Иванову, как на лодыря, просит начальника цеха не рассказывать Ивановой, кто жаловался.

— Ее муж пожарник, он может и нож в бок пырнуть, а ведь у меня дети.

На фоне таких преступлений уже пустяками кажутся кражи, подлоги Малашникова и его помощников Чижова, Сенина, Алиева, их фальшивые расписки друг другу, хищение комодов и прочего заводского добра.

С приходом на завод нового директора кончилась круговая порука, пострадавшие, не боясь мести, стали подавать жалобы, дело пошло в прокуратуру.

Сейчас, в конце января этого года, состоялся суд над преступниками из пожарной охраны. Малашников получил девять лет тюрьмы, Сенин и Алиев — по семь, Чижов — четыре года, Крутов — три.

Но смотрите, как округло и гладко преподносят это страшное дело старорусская и парфинская партийные организации, их печатные органы.

Газета «В бой за фанеру» поучает:

«Развернув большевистскую самокритику, мы можем и должны выявить и изгнать из наших рядов притаив-

шихся кое-где классовых врагов, жуликов и всех тех, кто мешает социалистическому строительству».

Сказано без запинки, но не добавлена еще одна совсем простая вещь. Редактор почтенного органа «В бой за фанеру» работает на заводе пять лет заведующим спецотделом и не раскрывал своих уст в защиту избиваемых людей, пока хулиганов не взяла за шиворот прокуратура!

Газета «Трибуна», орган Старорусского райкома ВКП(б), со своей стороны заявляет:

«Развернув большевистскую самокритику, мы можем и должны выявить и изгнать из наших рядов всех притаившихся кое-где классовых врагов, жуликов и всех тех, кто мешает социалистическому строительству».

Как видите, орган райкома даже не дал себе труда сказать свое слово о парфинских преступлениях. Он просто списал до буквы заклинание заводского редактора, пособника и покрывателя хулиганов и преступников.

В том же номере «Трибуны» мы читаем список исключенных из партии по проверке партийных документов в старорусской организации. И здесь находим наших кумов-пожарных.

Исключен «за невыполнение партустава и нежелание повышать свой идейно-политический уровень Сенин Алексей Прокофьевич, фанзавод № 2».

Исключен, «как не оправдавший себя на практической работе Чижов Алексей Антонович, фанзавод № 2».

Старорусский райком зализывает грязные, позорные пятна. Как густо зализывает! Как нечестно, как непартийно!

К лицу ли это районному комитету? Достойно ли поступать так перед лицом рабочих, видевших преступления парфинских хулиганов?

Пусть партийная организация Старой Руссы отдаст себе в этом отчет.

1936

Личный стол

Сначала разговор быстро и бодро плывет по широкой полноводной реке. И вдруг как-то незаметно его относит в узкую, унылую, неподвижную заводь.

— Значит, после выходного давайте приступайте к работе. Откладывать не приходится, дело стоит.

— Пожалуйста, за мной задержки нет. Могу прийти завтра оформляться.

— Вот именно. Зайдите в личный стол. Я ему от себя позвоню, столу. А вы привезите паспорт и характеристику с предыдущего места работы. Больше никаких формальностей не надо.

— Видите ли... Я не так уж уверен, что характеристика будет красивая...

— Почему же? Ведь вы отличный мастер, об этом все знают. Ведь ваши работы премированы на выставке. Какая же может быть характеристика?

— У меня там были недоразумения с завкомом. Из-за общественной нагрузки с ними поспорил. Очень сильно поспорил. Они мне под конец обещали: «Свои люди — сочтемся». Боюсь, они в характеристике сочтутся.

— Н-да. Это хуже. Это гораздо хуже! Надо вам что-нибудь придумать.

— Чего же придумывать. Вы-то меня знаете?

— Я-то вас знаю...

— Ну вот, вы и объясните личному столу, что́ я за работник, что за человек. Это для него важнее, чем отзыв каких-то неведомых людей.

— Так-то оно так. Да разве столу такие вещи объяснишь? Стол таких тонкостей не понимает. Столу бумажка нужна, на то он стол личного состава.

— Но ведь он вам же и подчинен, стол. Напишите сами ему бумажку, если хотите иметь меня на работе.

— Хотеть хочу. Но бумажки, откровенно говоря, писать не буду. С такими вещами не шутят. Бумажка есть документ, а за документ отвечать надо, понятно? Неужели вы не можете выцарапать с места работы хоть какой-нибудь отзыв? Ну, не характеристику; хоть справку, пустяк, ерундовину какую-нибудь. Что, мол, работал у нас с такого по такое-то и что... ну и все. Хотя бы так! Не для меня, для стола это нужно. А без этого, извините, я вас брать не рискну.

А то бывает и наоборот. Разговор медленно трясется по проселочным ухабам и вдруг сразу выкатывает на легкое, удобное, гладкое шоссе.

— Да я десятый раз объясняю, не могу я тебя взять! Скандал получится, пойми. Ведь тебя тут все как облупленного знают, какой ты есть работник и какие с тобой там были истории. Немедленно поставят вопрос.

— И пусть поставят. Скажешь, что все это были сплетни, что характеристика хорошая, что оттуда ушел по собственному желанию и что вообще — в чем дело?

— Какая характеристика? Разве тебе там дали хороший отзыв?

— А как же. Согласно уговору. Когда заварилась эта каша, я сам пошел и предложил: или освобождайте «по собственному желанию» с хорошей характеристикой, или увольняйте с преданием суду, но уж тогда я из вас пыль повыбью — во всех инстанциях от Эркака до прокурора такого порасскажу, что не обрадуетесь. Ну, они тоже не идиоты: сейчас же отпустили, а составить характеристику дали мне самому.

— Что же ты молчал, чудак! Столько времени зря проговорили. Лети в личный стол, зачисляйся. Копию с характеристики мне оставь, пусть под руками находится.

Человек работает год, два, пять, восемь лет. Хорошо работает: жарко, весело, успешно. Им довольны, отмечают, ценят, премируют, держатся за него. Пишут о нем в газетах.

Хорошая слава пошла о человеке. Пошла и дошла до того угла, где у человека некогда случился плохой эпизод. Или просто — притаились недруги, конкуренты, завистники.

Тогда из угла побредет за человеком бумажонка.

Она пойдет медленно, семеня ножками, как насекомое. Но обязательно догонит человека.

Бумажонка невзрачная, на серой бумаге, слепым шрифтом отбитая, с плохо оттиснутым штампом, с неразборчивыми подписями и глухим содержанием.

В бумажонке осторожно и туманно говорится, что имярек, который работает у вас, в свое время где-то проявил себя весьма отрицательно, что, по имеющимся данным, вел себя антиобщественно, что, по поступившим заявлениям, устраивал пьянки, что, по создавшемуся впечатлению, является элементом отсталым и пассивным.

У кого имеются такие данные? Куда поступили заявления? От кого? Когда? Пять лет назад? У кого создалось впечатление? Почему создалось? Как создалось? Создалось ли?

Ничего в глухой бумажонке не разъяснено. Она написана хмуро, невнятно, сквозь зубы. Проверить бумажку трудно, часто невозможно. А все-таки бумажка действует.

Ее обносят по кабинетам, бережно прячут в личном столе. И сразу стол, возомнив себя ужасно бдительным, начинает прищуриваться на человека, новым косым взглядом рассматривать его отличную работу, отодвигать хорошего работника в сторону, в тень, в задние ряды. Сам человек, не понимая причины, грустит и мучается от перемены обстановки и отношения к нему; он думает, что стал хуже работать, что в чем-то провинился, в чем-то ошибается. А на самом деле — эта тихая, лживая бумажка, никем не проверенная и никем не подтвержденная, исподтишка гложет его труд, его отдых, его спокойствие.

Бывает и еще хуже. Талантливый ученый-медик, аспирант большого столичного института, недавно вернувшись из научной командировки, узнал, что отчислен из аспирантуры. Он спрашивает о причинах — причин не объясняют. Идет в Наркомздрав, просит проверить, выяснить, восстановить — не восстанавливают, не проверяют, не выясняют. Человек ходит вне себя, ничего не понимает, он на грани умопомешательства. Совершенно случайно узнал, что его отчислили... за шпионаж. За шпионаж отчислить от аспирантуры — и только? Ученый обратился в бюро жалоб Комиссии советского контроля. Бюро произвело расследование — оказалось, что кто-то, неизвестно кто, звонил по телефону в институт, в личный стол и, даже не назвав себя, объяснил, что аспирант занимается шпионажем. Этого было достаточно, чтобы мгновенно уволить давно хорошо известного работника. Только вмешательство бюро жалоб восстановило его в институте...

В Винницком лесном тресте уволили лесовода Баяновича «как офицера царской армии». Повсюду знали Баяновича как отличного и честного специалиста, всюду рады были бы иметь его. Но, взяв в руки бумажку об

увольнении, отскакивали от него, как от чумы. По сути же дела Баянович был еще до мировой войны помощником лесничего. На войне был в самом деле поручиком, но уже в семнадцатом году и затем восемнадцать лет подряд работал по лесному хозяйству, работал честно, хорошо. Бумажка подсекла эту долгую работу. Вдобавок газета «Лесная промышленность» заклеймила Баяновича в залихватской заметке... Понадобилось опять участие Советского контроля, чтобы Наркомлес набрался храбрости и дал Баяновичу работу.

Зина Ошанская работала много лет, и хорошо, уборщицей дома отдыха в Западной области. Но приползла откуда-то бумажка: Ошанская — дочь попа. Личный стол, а за ним и прочее начальство взволновалось. Посмотрели в делах — уборщица никогда не скрывала своего происхождения. Все равно: чтобы уберечься от бумажки, уволили уборщицу с ее ответственного поста. Профсоюз и даже его областной отдел подтвердили увольнение. Только в Москве пересмотрели это дело. Ну, если в Москве, тогда пожалуй. Тогда еще можно доверить дочери попа подметать комнаты в доме отдыха. Московская бумажка перекрывает бумажку смоленскую. Личный стол успокоился.

Чем в конце концов занимаются все эти личные столы, отделы кадров, группы по найму? Кого они подбирают — работников или бумажки со слепо пришпиленными к ним живыми людьми?

Конечно, святая обязанность каждого секретариата, каждого делопроизводства, каждой канцелярии собирать и тщательно хранить все точные документы и сведения о людях. Без этого обойтись нельзя. Но надо же разбираться и в смысле этих бумаг, в значении и ценности каждой из них!

Проверка партийных документов показала, что может произойти, если полагаться только на бумажки, не сверяя их с живым человеком. Проходимцу нетрудно спрятаться за добродетельной бумагой и обратно: старая, бессмысленная, иногда лживая бумажка может спеленать сильного, честного, полезного обществу работника.

Они называют себя бдительными, эти столоначальники, для которых — сначала бумажка, а затем человек.

Но бдят они преимущественно на страже своего собственного благополучия, личной своей безответственности, личного спокойствия, за счет чего угодно, и прежде всего за счет бережного отношения к живому человеку.

1936

Вещи

Они окружают человека, они, созданные человеком, помогают лучше, удобнее жить. Из них складывается человеческая материальная культура, и это отличает человеческую жизнь от жизни животных.

Лучше, когда вокруг человека больше разных вещей — и мебели, и одежды на разное время года, и предметов искусства, и посуды, и всякого иного, не говоря уже об инструментах, об орудиях производства.

Но иногда вместо того, чтобы служить человеку, вещи становятся его господами. Влечение к вещам переходит в жадность к ним, жадность — в страсть, и эта исступленная собственническая, мещанская страсть ослепляет людей, делает их невменяемыми, толкает на поведение недостойное, на поступки шкурные. Тогда польза вещей переходит в свою противоположность — во вред: культурный человек становится дикарем.

Читатель скажет: зачем повторять эти элементарные, прописные истины? И будет прав.

Но, видите ли, среди населения есть еще отсталые, малосознательные личности, которым все это пока непонятно. Вот о них и идет речь.

Уже больше месяца инженер Георгий Димитриевич Квитко таскает по московским судам и учреждениям несколько десятков людей.

Георгий Квитко недавно женился в третий раз.

Это его личное дело, никого оно не касается, никто не вправе вмешиваться или навязывать по этому поводу какие-нибудь оценки.

Но темпераментный инженер обожает не менее горячо, чем своих жен, также свое имущество во всей его обильной полноте, от двухспальной кровати до последней рюмки и жестяной миски.

Он хочет, и воля его непреклонна, чтобы вся эта товарная масса сопутствовала ему во всех превратностях любви, чтобы не оседала ни в малейшей мере ни у какой предыдущей супруги, а находилась неотлучно при нем и при супруге последующей.

В связи со вступлением в новый брак товарищ Квитко составил опись вещей, оставшихся у им оставленной жены. Этот документ, на шести страницах, делает честь его инженерской и супружеской памяти.

Тут не только четыре стула карельской березы, ночная тумбочка и дамские золотые часы.

Тут также и «тазик для мытья головы — 1, подушек малых — 3, наволочек старых — 4». Набралось за десять лет совместной жизни...

Тут и «жакетка меховая, старая, под обезьяну — 1». Тут и «мисок жестяных — 3, корыто — 1, банок стеклянных — 4».

Наняв себе адвоката, Георгий Квитко, руководитель большого треста, разъезжает с ним по судам и ведет процессы о возврате ему вещей.

Но это еще не все. Свою родную дочь, студентку, комсомолку, парашютистку, он судом выселяет из ее маленькой комнаты и в длинных крючкотворских заявлениях разъясняет, что оная дочь, родившаяся от первой жены и проживающая при второй, должна освободить комнату ради третьей.

Для разбора этих исков всех жен, и дочь, и кучу свидетелей уже который раз вызывают к судейским столам, и они, краснея, бледнея, показывают, что-де, мол, шкаф карельской березы, купленный в 1910 году, был изъят из спальни тогда-то, что в личном письме от такого-то Георгий Димитриевич дарил вещи такие-то, что часы были возвращены тем-то, что ночная тумбочка была приобретена до Георгия Димитриевича и стояла еще там-то.

Им конфузно и стыдно. Публике тоже неловко. Нервничают, ерзают на своих местах судьи, заседатели. И только сам Георгий Димитриевич, ничем не смущаясь, красноречивый, подробный, бодрым голосом обстоятельно объясняет, что-де вторая жена — негодная личность, потому что продала диван и стулья, но что это — дело поправимое, ибо, как он выяснил, диван и стулья попали в комиссионный магазин, а оттуда в мосторг, а оттуда в театр; пусть жена уплатит в театр, пусть дороже, чем

продала, тогда стулья вернутся к нему. И сыплет датами, и цифрами, и именами, и ссылками и спекулирует именами товарищей, хотя они абсолютно никакого отношения ни к старой жакетке под обезьяну, ни к ночной тумбочке не имели и интереса не питали...

Инженеру Квитко не конфузно и не стыдно. Он считает себя крепко стоящим на правовой почве. Он укоряет судей в том, что они, разбирая дело о выселении дочери, не отвергли «документов, свидетельствующих о больших личных переживаниях участвующих в деле лиц». Такой подход кажется Квитко неправильным: комната есть комната, и никаких там переживаний. Ночная тумбочка есть ночная тумбочка, и будьте любезны относиться к ней юридически!

Инженеру Квитко все кажется, что он владеет ночной тумбочкой. На самом деле это она, тумбочка, овладела им. И давит на мозг, и толкает, и повергает в исступленный сутяжный экстаз.

Мы не судим инженера Квитко, потому что мы не суд. Не обвиняем его — мы не прокурор. Не защищаем — это менее всего. Мы хотели бы только показать, каков он есть, и только. Иногда человек не стыдится поступать определенным образом, полагая, что он один на один с объектами своей жадности. А на самом деле кругом люди, граждане, товарищи, и они видят, и им не по себе, им противно, им мерзко.

1936

Писатель и читатель в СССР[1]

Подымаясь на эту трибуну, я не могу не вспомнить другой Международный литературный конгресс в Париже. Это было несколькими кварталами ниже, в театре Шатле. Это было тоже в июне. Но в июне 1878 года. Не кто иной, как Виктор Гюго, был председателем этого конгресса, а главой российской делегации являлся знаменитый писатель Иван Тургенев. Заканчивая свое выступление, он сказал:

---

[1] Речь на Конгрессе защиты культуры.

«Письменность русская как-никак существует; она приобрела права гражданства и в Европе. Мы можем не без гордости назвать перед вами небезызвестные вам имена наших поэтов Пушкина, Лермонтова и Крылова и прозаиков Карамзина и Гоголя. Вы сами призвали русских писателей к участию на Международном литературном конгрессе на основах равноправности. Двести лет назад, не понимая вас, мы стремились к вам; сто лет позднее мы были вашими учениками; теперь вы принимаете нас, как своих товарищей. И — факт необыкновенный и неслыханный в летописях России — скромный писатель, не дипломат, не военный, не имеющий вовсе никакого чина по нашей социальной иерархии, имеет честь говорить перед вами и приветствовать в Париже Францию, этих провозвестников великих идей и великодушных стремлений».

Чрезмерная скромность Тургенева вызвала недовольство в современной ему русской печати. Ряд журналов и газет протестовал против умолчания о крупнейших писателях эпохи. Я не думаю сейчас поправлять Тургенева или дополнять его список Львом Толстым, Достоевским, Щедриным, Чеховым, Горьким. Это было бы излишне перед такой квалифицированной аудиторией. Но, вспоминая выступление большого русского романиста в Париже пятьдесят семь лет назад, стоит сказать, что социальный «чин» писателя, его роль в обществе современной России, в Советском Союзе изменились целиком.

Тем, кто следит за нашей страной, за ее культурной жизнью, известно, что советская литература не только отражает явления жизни, не только ищет в ней характеры, тенденции и явления, но сама активно, смело врывается в эту жизнь. Если французские энциклопедисты, отражая изменения в обществе, должны были ждать несколько десятилетий, пока их идеи вспыхнут огнями великой революции, то теперь даже молодой советский писатель может видеть, как его книги меняют жизнь.

Сила и обаяние советской революции оказались таковы, что роль литературы могла свестись к роли пассивного живописца ее потрясающих картин, послушного фотографа изумительных лиц. Этого опасались даже наши друзья и, в частности, Андре Мальро, выразивший тревогу: не будет ли кучей прекрасных фотографий засыпан советский Шекспир? Но таково свойство рево-

люции: притягивая к себе, она намагничивает притянутое и придает ему свою собственную магнетическую силу. Писательство не остановилось на изображении нового общества. Оно вошло — и за последние годы особенно ярко — активнейшим передовым элементом этого общества.

Зрение и слух обострены до предела у нашей читающей публики. Это совсем особая публика не только по составу, но и по интеллектуальному уровню. Судите сами: несколько миллионов рабочих и крестьян получили за последние годы высшее образование и вернулись на заводы, на поле. Как должен обращаться автор к этим читателям: как к «интеллигентам» или как к «простым рабочим»? При таком характере аудитории, при такой тонкости и живости восприятия автор произведения, даже самый непритязательный, не может ожидать от общества снисходительного равнодушия, иметь с ним лишь легкое шапочное знакомство.

Нет, эти отношения складываются гораздо более жгуче и остро.

Образы и характеры перешагивают со страниц книг в водоворот жизни. Герои, положительные и отрицательные, изучают себя самих в изображении авторов. Выдумка художника переходит в действительную жизнь, оплодотворяясь самыми неожиданными последствиями. Книги меняют жизнь. Да, и в переносном, и в прямом смысле живые, действующие лица книг Шолохова, Панферова, Ставского, собираясь, обсуждают, как им дальше развивать захватывающий роман их дней и дел.

В такой обстановке, при такой роли писателя в обществе нет ли опасности для существа литературно-художественного творчества? Не нарушается ли эта специфическая суть? Когда слово, образ, стихотворная строка и насмешка приобретают столь могучую, динамическую и иногда испепеляющую силу, — не смущает ли, не связывает ли это их творца? Слова песни, превращаясь в разновидность боевого сигнала, сохраняют ли свою поэтическую прелесть? Положительный герой романа, чьей жизни будут завтра подражать люди, жаждущие жить по новым образцам, — не должен ли этот герой быть крайне осторожным в своих поступках, хотя бы за счет художественности и увлекательности произведения? Художнику, пользующемуся в нашей стране ответственным званием «инженера душ», не приходится ли жерт-

вовать красотой во имя безопасности и прочности своих сложных и чувствительных конструкций?

Читающая публика дала ответ на эти вопросы, волновавшие и мучившие советского писателя. Она, эта жадная, но требовательная публика, отвергла дилемму между моралью и художеством и потребовала их синтеза. Она отвергла произведения схематичные, потому что они скучны, нравоучительны, потому что они лицемерны. Она встречает с восторгом книги, в которых человеческие страсти не засушены, не разложены по полочкам, а кипят и действуют, омывая жизнь, придавая ей блеск юности, грозный гул морского прилива. Она принимает «Мать» Горького, «Поднятую целину» Шолохова, «Петра» Толстого, «Чапаева» Фурманова, потому что в этих книгах люди не лакированы литературной эмалью, а срывают с себя с болью и радостью коросту, наращенную на них их прошлым, их воспитанием.

В глуши Средней Азии, в маленьком оазисе, затерянном в песках, я встретил молодого рабочего, работавшего на оросительной системе. В его палатке, на большой полке, укрытой от желтой пыли, в крепких переплетах стояли книги советских писателей.

— Они вас развлекают? — спросил я.

— Раньше, когда я читал их в первый раз.

— Вы учитесь на них?

— Нет, для этого у меня есть учебники.

— Почему же вы держите столько книг, ведь они занимают много места в вашей палатке?

— Потому что это живые люди. Они составляют со мной общество, я не один. Я разговаривал с ними, спорил, я в моей жизни исправляю ошибки, которые они допустили в своей. Я соревнуюсь с ними и иногда побеждаю.

Вероятно, ни на каком другом литературном жанре не проверяется так ярко роль писателя в новом обществе, как на том, в котором приходится работать мне, — на сатире.

— Советская сатира? А разве она существует? — так спрашивают не раз. И благосклонно добавляют: — Впрочем, ведь вы даже начали растить пшеницу за полярным кругом.

Советская сатира — разве она может существовать?..

Когда поэт переполнен счастьем, он пишет поэму. Его грусть выражается элегией. Для сатиры, согласно ее

классическому определению, нужен гнев или желчь. Независимо от формы сатиры, будь это поэзия или проза, автор пользуется ею как средством противопоставления своего мышления или чувствования чужому, в данный момент возбуждающему либо его негодование, либо ужас, страх, презрение, иронию. Там, где трудящиеся сами управляют своей жизнью, где нет эксплуатации человека человеком, где общество уже становится бесклассовым, какая роль осталась для сатиры, для ее гнева и желчи и даже для насмешки? Какие рассуждения остаются Кандиду, если любящая его Кунигунда может немедленно, в любом районном совете вступить с ним в брак, не будучи до того изнасилована ни пиратами, ни ростовщиком, ни султаном? Не должен ли умолкнуть доктор Панглос, поскольку его фраза о лучшем из миров теряет свою иронию? Где укрыться бедному Дон Кихоту, которого восставшие Санчо Пансо изгнали из родного поместья? Найдется ли «голубой ангел», очаровательный и порочный, чтобы взорвать мещанское равновесие учителя Унрата? И бравый солдат Швейк — поймут ли его зловещий юмор бойцы армии, которая не знает ни симулянтов, ни полковых священников, ни издевательства над человеком?

Лучшие художники сатиры, ее острые и язвительные умы, были в оппозиции к своим правительствам, почти всегда к своему обществу. Ненависть к окружающему питала их темперамент, раскаляла перья. Их недовольство фосфоресцировало во тьме веков, чертя тонким пунктиром интервалы между эпохами социальных бурь, смены классов и миросозерцаний.

А сейчас, в дневном свете социализма, кто разглядит эту тлеющую святую злобу? В здоровом обществе полноценных людей кто оценит едкий сарказм разочарования? Писатели пролетариата, когда пролетариат у власти, могут ли заниматься сатирой? Кого они будут критиковать? Над кем издеваться? Над самими собой? И какой получится результат?

Мы, советские писатели, те, кому выпала удивительная и счастливая судьба забежать в будущее, жить и писать в стране осуществленных социальных утопий, можем рассказать вам, нашим друзьям, что сатира возможна, она жива, она процветает в литературе Советского Союза, принимая все новые, яркие и тонкие формы.

Верно то, что трудящиеся победили в нашей стране и разбили возможность эксплуатации человека, что эта возможность разбита навсегда, но борьба еще не кончена. Нас окружает враждебная стихия. Корни и пережитки чудовищного прошлого еще уцелели в нашей стране. Ночь миновала, но ее призраки и тени застряли в расщелинах и углах, не решаясь показаться при солнце, они еще шелестят и шевелятся в нашей жизни и часто внутри нас самих. Нужно острое оружие, чтобы поразить их, — иногда тонкое, как игла врача, проникающая в далекие, маленькие, укрытые гнойники. То, что в нашей общественной жизни, в пролетарской демократии обосновалось и окрепло под названием самокритики, то преломляется литературой как сатира.

Новый советский читатель не выбрасывает за борт ни Вольтера, ни Сервантеса, ни Свифта, ни Гоголя, ни Анатоля Франса, ни Генриха Манна, ни Гашека. О нет! И они служат ему вовсе не только для понимания феодального и капиталистического общества. В Дон Кихоте он узнает своего соседа, того, для кого сентиментальное, мелкобуржуазное бунтарство подменяет суровую и последовательную борьбу за социализм.

На съездах партии мы слышим жестокие и верные сравнения некоторых забюрократившихся деятелей советских учреждений с комическими персонажами великого старого сатирика Щедрина.

Прокладывая путь вперед, писатель-сатирик нового общества меняет тематику и тон. По-прежнему объектом насмешки и гнева служат низость, подхалимство, невежество, тупоумие. Но грозная теща, роман барыни с лакеем, фальшивый принц, интриги родственников в ожидании наследства уже не смешат советского читателя — эти сюжеты стали фантастическими. И уже его, читателя, смешит случайный миллионер в Советском Союзе, который не может купить себе ничего сверх еды, платья и квартиры для семьи, который безумствует над своим бездействующим капиталом. Его, читателя, возмущает администратор, который, искажая принципы социализма, пытается уравнивать всех людей на один фасон, заставлять их есть, надевать, готовить и думать одно и то же.

Меняются темы и объекты смеха, но и его тон становится новым. Моральное превосходство перестало быть привилегией физически слабых, численно малых. Не от-

чаяние, а гордость вдохновляет сатиру, ее смех не желчен, а внутренне радостен и здоров. Сама разграничительная черта между сатирой и юмором начинает стираться, та черта, которая всегда строго проводилась теорией литературы. Самая бичующая, самая гневная сатира должна содержать в себе хоть чуть улыбки — иначе она теряет свои свойства. И юмор, со своей стороны, всегда содержит в себе элементы сатиры — если не осуждения, то критики того, над чем человек смеется.

Этот новый тон сатиры не является особенностью только советской литературы и ее читателя. В наше время в странах всего мира борцы слова, выступающие против мракобесия, варварства, эксплуатации, не изолированы в одиночестве и во мраке. Они вооружены не только своей непримиримостью. Ночь пронизана зарницами и пламенем. Целый класс, еще не полностью организованный в защите своих интересов, но уже ярко осознавший их, поддерживает защитников культуры и справедливости, подымает их на свои крепкие плечи. Этот класс, уже потерявший страх, уже озаренный радостным предчувствием победы, равнодушен к скептическому сарказму разочарования в жизни. Он не верит, что «ничто не ново под луной». Он смеется над врагом, и это больше не смех слабого. В книгах и в песнях рождается новая сатира, дерзкая и радостная, рождается для защиты культуры, для нападения на грязь, позор и рабство старого мира.

1935

Похвала скромности

Будто бы в городе Казани, на Проломной улице, жили по соседству четверо портных.

Заказчиков мало было, конкуренция злая. И, чтобы возвыситься над соперниками, портной Махоткин написал на вывеске: «Исполнитель мужских и дамских фасонов, первый в городе Казани».

А тогда другой взял да изобразил: «Мастер Эдуард Вайнштейн, всероссийский закройщик по самым дешевым ценам».

Пришлось третьему взять еще тоном выше. Заказал огромное художественное полотно из жести с роскошными фигурами кавалеров и дам: «Всемирно известный профессор Ибрагимов по последнему крику Европы и Африки».

Что же четвертому осталось? Четвертый перехитрил всех. На его вывеске было обозначено кратко: «Аркадий Корнейчук, лучший партной на етай улицы».

И публика, как утверждает эта старая-престарая история, публика повалила к четвертому портному.

И, исходя из здравого смысла, была права...

Бывает, идет по улице крепкий, храбрый боевой полк. Впереди полка — командир. Впереди командира — оркестр. Впереди оркестра — барабанщик. А впереди барабанщика, со страстным визгом, — босоногий мальчишка; и из штанишек сзади торчит у него белый клок рубашки.

Мальчишка — впереди всех. Попробуйте оспорить.

С огромным разбегом и напором, собрав крепкие мускулы, сжав зубы, сосредоточив физические и моральные силы, наша страна, такая отсталая раньше, рванулась вперед и держит курс на первое место в мире, на первое место во всех отраслях — в производстве, потреблении, в благосостоянии и здоровье людей, в культуре, в науке, в искусстве, в спорте.

Курс взят наверняка. Дано направление без неизвестных. Социалистический строй, отсутствие эксплуатации, огромный народный доход через плановое хозяйство и прежде всего сам обладатель этого дохода, полный мощи и энергии советский народ, его партия, его молодежь, его передовики-стахановцы, его армия, его вера в себя и в свое будущее — что может устоять перед всем этим?

Но, хотя исход соревнования предрешен, само оно, соревнование, не шуточное. Борьба трудна, усилий нужно много, снисхождения, поблажек нам не окажут никаких — да и к чертям поблажки. Пусть спор решат факты, как они решали до сих пор.

Оттого досадно, оттого зло берет, когда к боевому маршу примешивается мальчишечий визг, когда в огневую атаку путается трескотня пугачей.

Куда ни глянь, куда ни повернись, кого ни послушай, кто бы что бы ни делал — все делают только лучшее в мире.

Лучшие в мире архитекторы строят лучшие в мире дома. Лучшие в мире сапожники шьют лучшие в мире

сапоги. Лучшие в мире поэты пишут лучшие в мире стихи. Лучшие актеры играют в лучших пьесах, а лучшие часовщики выпускают первые в мире часы.

Уже самое выражение «лучшие в мире» стало неотъемлемым в словесном ассортименте каждого болтуна на любую тему, о любой отрасли работы, каждого партийного аллилуйщика, каждого профсоюзного Балалайкина. Без «лучшего в мире» они слова не скажут, хотя бы речь шла о сборе пустых бутылок или налоге на собак.

Недавно мы посетили библиотеку в одном из районов Москвы. Там было сравнительно чисто, прибрано, хорошо проветрено. Мы похвалили также вежливое обращение с посетителями. Отзыв не произвел особого впечатления на заведующую. Она с достоинством ответила:

— Да, конечно... Это ведь лучшая в мире по постановке работы. У нас тут иностранки были, сами заявляли.

Этой струе самохвальства и зазнайства мало кто противодействует. А многие даже поощряют. Особенно печать. Описывают вещи и явления или черной, или золотой краской. Или магазин плох — значит он совсем никуда не годится, заведующий пьяница, продавцы воры, товар дрянь, или магазин хорош — тогда он лучший в мире, и нигде, ни в Европе, ни в Америке, нет и не будет подобного ему.

Еще предприятие не пущено в ход, еще гостиница не открыта, и дом не построен, и фильм не показан, а бойкие воробьи уже чирикают на газетных ветках:

— Новые бани будут оборудованы по новому усовершенствованному принципу инженера Ватрушкина, а именно: будут обладать как холодной, так и горячей водой. Впервые вводится обслуживание каждого посетителя индивидуальной простыней. Впервые в мире будут радиофицированы и телефонизированы парильные отделения, благодаря чему моющийся сможет тут же на полке прослушать курс гигиены, навести по телефону любую справку или подписаться на любой журнал.

— В смысле постановки дела гостиница равняется на лучшие образцы американских отелей, хотя во многом будет их превосходить. Каждая комната в гостинице снабжается индивидуальным ключом. Каждый жилец сможет вызвать по телефону такси. Пользуясь почтовым

ящиком, специально установленным на здании гостиницы, проживающие смогут отправлять письма в любой пункт как СССР, так и за границу.

— По производству ходиков советские часовые фабрики прочно удерживают первое место в мире.

— После окраски фасадов и установки дуговых фонарей Петровка может стать в первом ряду красивейших улиц мира, оставив за собой Унтер ден Линден, Бродвей, Елисейские поля и Нанкин-род.

И, принимая у себя репортера, киномастер в шикарных бриджах цвета птичьего гуано рокочет уверенным басом:

— Наша первая в мире кинематография в лице своих лучших ведущих представителей готовится дать новые великие фильмы. В частности, лично я напряженно думаю над сценарием для своей ближайшей эпопеи. Сюжет еще не найден. Но ясно одно: по своей новизне этот сюжет не будет иметь прецедентов. Не определились также место съемок и состав актеров; но уже имеется договоренность; район съемок будет самым живописным в мире, а актерская игра оставит за собой все, что мы имели до сих пор в данном столетии...

Если какой-нибудь директор небольшого гиганта по утюжке штанов отстал от жизни и недогадлив, тот же репортер, как дрессировщик в цирке, умело равняет его на искомую терминологию.

— Реконструкция брючных складок производится у вас по методу «экспресс»?

— Безусловно. А то как же. Как есть чистый экспресс.

— Любопытно... Чикаго на Плющихе... Растем, нагоняем... А это что? Там, на табуретке?

— Это? Да как будто газета, вечерочка.

— Н-да, маленькая читальня для удобства ожидающих... Ловко! И цветочек рядом в горшке. Небольшая, уютно озелененная читальня дает назидательный урок американским магнатам утюга, как надо обслуживать выросшие потребности трудящегося и его конечностей... Ведь так?

— Безусловно. А то как же.

Эта глупая трескотня из пугачей особенно обидна потому, что тут же рядом идет подлинная борьба за мировое первенство, и оно подлинно достигается на подлинных цифрах и фактах.

Ведь это факт, что наша страна стала первой в мире по производству тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин, по синтетическому каучуку, по сахару, по торфу, по многим другим материалам и машинам. Не смешно ли рядом с этим хвалиться первым местом по выпуску ходиков?

Мы вышли на второе место в мире по чугуну, по золоту, по рыбе.

Сосредоточив все мысли своей молодой головы, Ботвинник добился первого места на международном шахматном турнире. Но место пришлось поделить с чехословаком. А все-таки Ботвинник собирает силы, готовит новые битвы за международное, за мировое первенство.

Наши рабочие парни-футболисты пошли в бой с лучшей буржуазной командой Франции. Пока проиграли — факт. Но проиграли более чем прилично. Мы верим, что скоро отыграются. Но и это будет признано только на основе неумолимого факта же: цифры на доске футбольного поля должны будут показать это, и никто другой.

Парашютисты Советского Союза держат мировое первенство своей ни с чем не сравнимой храбростью. Три молодых героя побили рекорд подъема на стратостате, но заплатили за это своими жизнями — разве не оскорблением их памяти звучат зазнайство и похвальба людей, зря, без проверки присваивающих своей работе наименование «лучшей в мире»!

А проверку мирового качества надо начинать со своей же собственной улицы.

Московское метро, по признанию всех авторитетов, несравнимо лучше всех метро на земном шаре. Но он и сам по себе хорош, здесь, в Москве, для жителей своих же московских улиц. Москвич усомнился бы в мировых качествах своего метрополитена, если ему, москвичу, езда в метро доставляла бы мучение.

Вот представим себе такую картину:

Часовой магазин. Входит покупатель, по виду иностранец, солидный, важный, строгий. Требует карманные часы. Только получше.

— Вам марки «Омега» прикажете? Прекрасные часы, старая швейцарская фирма.

— Знаю. Нет. Что-нибудь получше.

— Тогда «Лонжин»?

— Лучше.

— Что же тогда? Может быть, Мозера, последние модели?

— Нет. Лучше. У вас ваших московских, «Точмех», нет?

— Есть, конечно. Но ведь очень дороги.

— Пусть дороги, зато уж на всю жизнь. Все эти швейцарские луковицы я и у себя могу достать. А вот из Москвы хочу вывезти настоящий «Точмех»...

Мы ждем, что эта волшебная картина скоро станет четким фактом. А пока не стала — будем, среди прочего, крепко держать первое место в мире по скромности.

1936

В загсе

Не без колебаний товарищ Слетова уступает мне свое место. И оставляет за собой всю полноту контроля. Садится в уголок, неотрывно смотрит, слушает — все ли правильно, все ли по закону, не обидел ли я чем-нибудь посетителя, не урезал ли его права, не забыл ли, согласно сообщенным мне инструкциям, осведомить о всех возможностях, какими посетитель пользуется, о всех обязательствах, какие накладывает на него совершаемый акт.

Она корректна, любезна, хорошо одета, товарищ Слетова: подтянута, слегка официальна. При этом, когда разговор принимает горячий характер, у нее появляются повелительные, более свободные и задорные обороты; иногда незаметно для себя она переходит с собеседником на «ты». Еще не так давно она была работницей Гознака.

От этой пары сразу веет спаянностью, нежностью и при этом уверенностью и силой. Он — черный, как жук, комсомолец, слесарь, она продавщица большого универсального магазина. Оба волнуются и поддразнивают друг друга.

— Давно познакомились?

— Уже больше полугода. Срок достаточный? Жениться можно?!

— Безусловно. Как ваша фамилия?

— Прохорова.

— А ваша?

— Прохоров. Вы не удивляйтесь, это у нас такое совпадение. Мы, конечно, не из-за этого, но все-таки решили: Прохоров да Прохорова — значит, быть им вместе Прохоровыми.

Оба смеются громко и долго, не остановишь. Да и незачем останавливать. Наоборот, сесть бы перед ними и учиться вот так хохотать, счастливо и победоносно, в непреодолимом ощущении юности, здоровья, своей силы, своего будущего.

— С вас три рубля за регистрацию брака.

— Три только? — он почти разочарован. — Да я бы дал, сколько ни спросили бы. Честное слово, не стал бы спорить.

— Разрешите поздравить вас с заключением брака. И, пожалуйста, поскорее появляйтесь у того стола. Там вас тоже поздравят.

Прохоровы переглядываются. И она с достоинством отвечает:

— Сразу не придем, а года через полтора обязательно ждите.

Непрерывно, круглые сутки, пульсирует огромный столичный город. В грохоте уличной сутолоки, в лязге трамваев и подземном гуле метро, в торжественном марше парадов и рукоплесканиях театральных зал, в ворохе газетных телеграмм и скороговорке радио не слышны скромные маятники отдельных человеческих жизней. Но они движутся, не умолкая. А когда затихает один, его нагоняют двое других. Каждые четыре минуты с отчаянным криком вылезает на свет новый москвич. Каждые семь минут мужчина и женщина, взглянув друг другу в глаза, считают себя мужем и женой, связанными навсегда любовью, дружбой, семьей, родством. И каждые пятнадцать минут двое других, обменявшись последним холодным взглядом, расходятся в разные стороны.

Десять загсов, десять счетчиков, пропускающих сквозь себя безостановочный поток людских страстей, семейных праздников, родительского счастья, женских слез. Они открыты весь день, и весь день в маленькой приемной сидят сияющие молодожены бок о бок с хмурыми посыльными из похоронного бюро, древние ста-

рушки с желтыми церковными метриками и лихие вертихвостки с надутым выражением ярко-малиновых губ.

Нынешние загсы не сравнить с прошлогодними. Наркомвнудел привел их в порядок, почистил, сменил людей на толковых и вежливых, придал всем канцелярским процедурам культурный и осмысленный характер. Если посетитель держит себя, как в трамвае, Слетова ласково-ледяным тоном напоминет:

— Вы бы раньше всего, гражданин, сняли кепочку.

Но этого еще мало: подводит теснота, убогость помещения. У Ленинского райсовета прекрасный большой дом. А для загса не нашлось в нем места. Загс приютили в трех комнатках во дворе, во флигеле. Все тот же скверный обычай: для бюрократических канцелярий — лучшие комнаты, для граждан — флигель во дворе.

Недавно комсомольская печать, обсуждая реформу загсов, требовала от них какого-то особого, агитационного и чуть ли не театрализованного оформления актов гражданского состояния. Это неверно. Советский орган должен заботиться только о правильном и точном оформлении актов в приличной, культурной обстановке; дело самих комсомольских, профсоюзных и всяких иных организаций создавать вокруг этих актов соответствующее настроение и возносить их на головокружительную принципиальную высоту: при выходе из загса осыпать молодых розами или читать им приличествующие тексты из политграмоты...

В свое время Ивановский областной загс, во имя служения красоте, вывесил инструктивно-рекомендательный список имен для новорожденных. По этому списку, если вас судьба наградила дочкой, вы можете ее назвать Атлантидой, Брунгильдой, Индустрией (уменьшительное — Индуся?), Изидой, Травиатой, Миневрой (именно так) или даже Клотильдой, но не Наташей, не Надеждой, не Татьяной. Для мальчиков предоставлялся выбор между Изумрудом, Гением, Сингапуром и каким-то Тазеном. Ни Петра, ни Ивана, ни Михаила в инструкции не значилось. Монблан — пожалуйста, или Казбек. Или Табурбан... Эх, жаль, убили красоту, отменили инструкцию!

Здесь не так легко работать только по инструкции. То есть по инструкции работать очень легко, самое лег-

кое; но такого наработаешь, что самому будет потом стыдно.

Маленькая, молоденькая мать пришла регистрировать новорожденного. Почти совсем еще девочка.

— Фамилия, имя отца?

— Не знаю. Имя Николай. Будто так.

— Неужто вы не знаете фамилии? Он что, скрылся или как?

— Не так, чтобы скрылся, — его девушки на днях видели. Но фамилию не сказал. Он ведь и по имени сначала не так назвался; велел его Ваней звать, а товарищи меня поправили: какой он Ваня — Коля он. Я его Колей, он не стал спорить. Но фамилию не знаю.

По инструкции больше ничем интересоваться не надо, а в свидетельстве о рождении графу об отце оставить пустой. И все. Но все ли это?

— Вам обязательно надо узнать фамилию вашего Коли. Мы составим акт о признании отцовства, пошлем ему через суд, он тогда будет платить на содержание ребенка. Вам одной трудно будет — правда ведь?

— Трудно, конечно. Хотя справлюсь, конечно. Хотя я всего сто восемьдесят зарабатываю, да еще у меня мать-старуха... Я его помощи не хочу, если он бежит от своего ребенка... Я уж так для себя решила...

— А вы перерешите. Ваша гордость здесь не может играть роли. Вы должны думать о мальчике. Зачем лишать его отцовской помощи, хотя бы и вынужденной?

Она задумалась. Потом усмехнулась.

— Правильно, конечно. Я просто думать не хотела об этом Коле, не то что брать у него что-нибудь. Но, выходит, не своими распорядилась деньгами, а сыновними. Я попрошу девушек где-нибудь его остановить — около кино; он в кино часто бывает, конечно, уж не со мной. Можно остановить и спросить фамилию. А если не скажет?

— Ну, милиционер поможет вспомнить. А сына по отчеству запишем Николаевичем. Согласны?

И, как нарочно, почти тотчас же другой поворот, другой контур человеческого поведения. Крепкий мужчина средних лет, мастер большого механического завода.

— Здесь моя жена составляла акт признания отцовства. Так нельзя ли его отменить? Все ясно, все в порядке. Запишите на меня.

— Очень хорошо. Хотя с опозданием на полгода. Но лучше поздно, чем никогда.

Он молчит, почти иронически. И потом спокойно разъясняет:

— Я бы и совсем мог не приходить. Не на меня составлен акт. Не мой ребенок. Жена сошлась с одним... Ну, а он теперь не признает. Теперь ей видно, что за человек. А мне надоело, я ей говорю: брось с ним сутяжничать, пиши на меня. Двое есть, ну и пусть третий. Плевали мы на алименты.

Следующая пара. Служащие. Разводятся. Он угнетен и яростно взволнован, она саркастически спокойна и демонстративно читает книжку.

— Гражданка, у вас договоренность с мужем о ребенке есть?

— Не знаю. Спросите у него.

— А вы почему не можете ответить?

— Вы видите, я читаю.

— У меня создается впечатление, что вы пришли сюда невсерьез. Быть может, мы сейчас ничего записывать не будем, вы пойдете домой, обсудите и тогда уж решите окончательно?

— Нет, отчего же. Он хочет разводиться — пожалуйста, разведите нас, я пока почитаю.

Наверно, этим людям давно следовало порвать друг с другом. Но сейчас это не развод, а просто истерическая сцена, вдвойне глупая потому, что разыгрывается на людях. Он глухо и с волнением отвечает на вопросы. Акт об аннулировании брака готов.

— Распишитесь.

Муж смотрит на нее в последнем горестном сомнении. Она все еще уткнулась к себе в книжку. Он придвигает бланк и решительно, крупно пишет свою фамилию. Она, не отрываясь от книги, издевательски ставит каракульку. Уходят — не поблагодарив и не попрощавшись.

Молодое рыжее существо в беретике. Врывается почти бегом.

— Мне нужен развод. То есть аннулировать брак. Даже, собственно, не аннулировать. Зарегистрировать как несостоявшийся.

Из угла подымается Слетова.

— Ведь ты же, девушка, была у меня три дня назад. Расписывалась! Так в чем же дело?

Рыжее существо начинает плакать сразу и навзрыд.

Да, она в самом деле регистрировалась три дня назад. Но уже тогда у нее на сердце было неспокойно. А назавтра была вечеринка, и он напился, и ругался, и безобразничал, и вел себя, ну прямо как хам. Она сбежала к подруге, там две ночи ночевала, а теперь пришла разводиться. Даже не разводиться, а... ну как бы это сказать...

— Понимаете, у меня совершенно с ним ничего не было. Нельзя ли просто все отменить?

— Можно, конечно. Это и будет акт об аннулировании брака.

— Но ведь брака-то не было! Ведь и аннулировать нечего!

Она волнуется и нервничает. Она требует, чтобы из ее паспорта, из всех книг, изо всех граф исчезли все следы тяжелого недоразумения, которое, как скверный сон, смутило ее гордую юность. В другой стране это была бы огромная и очень длительная драма. Может быть, сюжет для чувствительного романа: шутка сказать, молодая сбежала после венца! Долголетнее занятие для судов, хлеб для адвокатов, потеха для сплетников и дураков. Здесь — женщина, вольная в своем выборе, самостоятельно, полноправно отвергает неугодного ей человека и еще недовольна, что об этом осталась где-то какая-то чернильная пометка... Оно поистине занятно, это поколение, не знающее капитализма, не желающее знать и представлять себе его.

Но все-таки разводами балуются сверх всякой меры. Именно балуются, как можно баловаться телефонным аппаратом или почтовой открыткой. Конечно, ни для кого теперь браки не кажутся и не могут казаться заключенными в небесах. Это положение никогда не вернется. Больше никто никогда не заставит свободного советского человека состоять в браке не по доброй воле.

Но в нынешней своей правовой форме развод — это часто повод для озорства или, что хуже, для всяческих махинаций, ничего общего с семейными отношениями не имеющих.

Три рубля стоит сейчас развод. И больше никаких ни формальностей, ни бумаг, ни вызова, ни даже предварительного осведомления человека, с которым разводишься. Иногда даже на журнал подписаться труднее... За три рубля — почему не баловаться!

Разводятся, чтобы пригрозить, напугать жену или мужа. Фиктивно разводятся, чтобы меньше платить за ребенка в детский сад. Или даже чтобы избегнуть небольшого штрафа. Например: если при регистрации брака была взята общая фамилия, то жене нужно в течение десяти дней переменить паспорт. За просрочку милиция штрафует пятьюдесятью рублями. Чтобы не платить штраф, супруги разводятся и регистрируются заново. Это стоит вместе шесть, а сорок четыре рубля остались в кармане...

Но есть дела похуже. Возможность уведомления в последующем порядке рождает самые развязные, хулиганские виды обмана и издевательства.

Вот женщина с уведомлением в руках:

— Получила повестку, будто у меня развод с мужем. Тут, наверно, ошибка какая-нибудь. От меня муж не уходил. Я восемь лет с ним, и сейчас живу, мы разводиться не собираемся.

В загсе проверяют книгу — все верно. Выясняют дальше, и оказывается, что муж не только развелся безо всякого ведома жены, но уже зарегистрировал брак с другой особой, живущей в той же коммунальной квартире.

Много случаев мгновенного развода, как только он узнает, что она ожидает ребенка.

Только недавно начали ставить штампы в паспортах. Поэтому до сих пор почти все процедуры производятся на основании личных и устных заявлений. Из-за этого — масса мошенничества. Целые табуны двоеженцев безмятежно пасутся по градам и весям. Есть соответствующая категория и среди женщин. Правда, за сообщение ложных сведений, за двоеженство закон карает годом тюрьмы. Но народ у нас не пугливый, а судьи покладистые: не год, а «до года», да еще с заменой штрафом... В общем, двоеженец платит двадцать пять рублей и за столь доступную цену чувствует себя демоническим мужчиной.

Вот почтенная тетка, лет за пятьдесят, и молодой парень в залихватской спортивной фуфайке. Они бормо-

чут анкетные ответы, не глядя друг на друга и торопливо расписываются на брачном свидетельстве. Соблюдая высокий класс загсовской работы, я торжественно желаю им счастливой совместной жизни. Новобрачная прыскает и машет рукой:

— Что вы, товарищ... У меня уже сыновья постарше его. Ведь это мы по-нарошному женимся.

Смяв кепку в кулак, парень простодушно рассказывает длинную историю с обменом комнат и жилплощадей, с пропиской и выпиской. Его даже трудно назвать настоящим преступником. Он хочет устроиться в отдельной комнате, чтобы удобнее работать и учиться. То, что он делает сейчас, кажется, ему пустой и невинной формальной уловкой. Никто толком не объяснил ему, каков смысл вступления в брак и как гнусно делать из этого фикцию.

А вот другой тип, уже сознательный и хорошо уверенный в себе. Инженер из большого промышленного главка. Заехал на минутку развестись. Дожидается машина у ворот. Он сначала обижается на расспросы — и формально прав:

— Загс не имеет права входить в мотивы развода.

Но тут же непринужденно рассказывает:

— Я регистрировался сначала только для жилплощади, чтобы въехать в квартиру. Потом фиктивный брак превратился в фактический. Откровенно говоря, это было очень кстати — и бытовые и интимные потребности, все обслуживалось в одном пункте; очень удобно для приезжего в смысле экономии времени, сам я ленинградец. Но, конечно, всерьез считать ее женой смешно, ведь я на три головы умственно и морально выше ее. Теперь же меня отзывают обратно в Ленинград, ну а там у меня квартира, жена, двое детей. Сами понимаете...

Инженер вынимает пять рублей и аккуратно укладывает в бумажник два рубля сдачи.

В Бауманском районе за три месяца этого года поженилось 1349 пар, развелось за тот же срок 624 пары. Не беремся критиковать первую цифру. Но вторая пропорционально нелепо велика.

Можно, конечно, развести теорию, что-де, мол, происходит переоценка ценностей, проверка и отсев людей, повышение требований друг к другу на почве возросшей

культурности и тому подобное. Эти аргументы мы жертвуем на бедность искателям дешевых социологических схем. Факты говорят другое. Наибольшее количество разводов падает на новые и частью чуть ли не на вчерашние браки.

В Пролетарском районе из 366 разводов этого года только 84 падает на браки со етажем больше трех лет. Из остальных 282 аннулированных браков — 90 зарегистрировано в 1935 году, а 15 — в нынешнем же году. То же самое соотношение в Ленинском и в прочих районах.

Значит, дело не в переоценке ценностей, не в какой-нибудь генеральной ревизии мужей и жен, а в крайней легкости, неразборчивости браков, которая в свою очередь основана на соблазнительной, подстрекающей легкости развода. Не понравится — за трешку разведемся. А тем временем возникают привходящие обстоятельства, движимые, недвижимые, живые — имущество, квартира, ребенок. И трешка из легкого ключика к свободе превращается во вредоносное орудие, трешка раскалывает только что сформировавшуюся семью, ломает быт, калечит маленьких, неповинных людей.

Уже рабочий день на исходе. Сейчас прекратится прием. Входит запыхавшийся гражданин. Лицо знакомое... Ах, вот что, это тот, который разводился. У которого жена читала книжку.

— Мы тут сегодня совершили развод. Нельзя ли аннулировать? Мы передумали.

— Аннулировать развод нельзя. Можно заново зарегистрировать брак. Но для этого нужно присутствие вас обоих.

— Зачем же обоих? Вот ее паспорт. Она у меня нервная, вот сейчас плачет, говорит, что я бессердечный эгоист, что рад избавиться от нее. А перед тем говорила, что мы давно чужие, что бессмысленно тянуть дальше эту канитель.

— Ведь мы советовали вам еще раз подумать. А сейчас в одиночку мы вас поженить не можем.

Он безнадежно махнул рукой и, как замученная кляча, поплелся обратно.

Седьмой час, загс заперт, сотрудники еще сидят, пишут дубликаты к актам, совершенным за день. Вдруг ог-

лушительные удары в дверь, шум и грохот, несомненное землетрясение.

— Откройте, товарищ! Очень надо!

— В чем дело? Учреждение закрыто. Вы бы еще ночью пришли.

— А почему бы и нет. В наше стахановское время загсы должны работать круглые сутки! Как «Гастроном». Без бюрократизма.

За дверью взрыв хохота и аплодисменты. Женский голос убеждает:

— Валентин, не задирайся. Ничего не выйдет, да еще всех заберут, тут милиция рядом. Вася, поговори ты.

Рассудительный голос, какие обыкновенно пускаются в ход для успокоения комсомольских собраний, медоточиво просит:

— Дорогие товарищи, мы очень просим открыть дверь и зарегистрировать брак двух очень заслуженных товарищей. Их сопровождает молодая заводская общественность. Явка в загс задержалась из-за производственного совещания. Но разве станет государство из-за такой причины отнимать хоть один день счастья у ударной советской семьи?

Возразить на это очень трудно. Мы открываем дверь, и через порог вваливается огромная орава с цветами и с гармошкой. В галдеже и смехе не сразу можно выяснить, кто жених и кто выходит замуж. Но когда начинается процедура записи, все утихает, молодая пара стоит застенчиво среди серьезных, ободряющих и задумчивых лиц товарищей и друзей.

1936

О маленьком городе

Длинная улица, деревянные заборы, одноэтажные домишки. Медлительная толкучка на базарной площади. Крутые спуски к реке: весенняя многоводная Волга. На песчаной косе нечто вроде сквера, вернее, идея сквера. Бюст, огороженный решеткой, и несколько рядов подпорок для молодых деревцов; но деревца исчезли, они обломаны уверенной, небрежной рукой...

«Холодный фотограф» снимает парня с девушкой перед рваной декоративной холстиной. У торговых рядов, белокаменных, двухсветных, толпится народ. Внутри — магазины, чистые, щеголеватые, полные всякого добра и особенно снеди. Колхозники с уважением посматривают на стеклянные стойки, на новые фартуки продавцов, на блеск стеклянной кассы. Им нравится.

Но, кроме новых магазинов, им, колхозникам, пока не на что любоваться в городе Калязине Калининской области. Дороги, мостовые (вернее, то, что должно считаться мостовыми) захламлены, замусорены, окна учреждений — матовые от пыли, вывески наставлены криво и косо, в Доме колхозника мерзость и запустение, у пивной «Искра», в двадцати шагах от милиционера, лежит пьяный в той самой позе, в какой Тарас Бульба застал загулявшего казака при въезде в Запорожскую Сечь.

Мы говорим с калязинскими жителями о благоустройстве, о чистоте, о культурных благах и удовольствиях. Они усмехаются.

— Нашли, где искать. Ведь это Калязин. Глухая провинция. Дыра, каких мало. Ведь это с нашего города Щедрин писал «Историю Глупова». Он и родился в Калязинском уезде.

Мы говорим с местной властью. Она по горло занята районными заботами, хозяйственными кампаниями, сводками и на вопрос о городе отвечает равнодушно:

— Город, конечно, не важнец. Благоустройство? Смысла нет. По плану Волгостроя тут все будет наполовину затоплено. Может быть, не наполовину, а на четверть — все равно возиться нет смысла. Достопримечательности? Нет, таких у нас нет. Впрочем, там за Волгой, в Макарьевском монастыре, есть один чудак, заведующий музеем, — он многое собрал.

— А почему у вас сквер растаскали?

— Некультурный народ, деревня. Приезжают и как в лесу себя чувствуют. Увидел молодой кленок — и режет себе на кнутовище. Невозможно уследить.

— А кто у вас тут из интересных, выдающихся людей?

— Право, затрудняемся сказать. Захолустный провинциальный город — чего, собственно, можно от него требовать? Каких выдающихся людей?

Вечером мы собираемся в городской библиотеке —

целым активом, партийным и беспартийным. Начинается беседа — сначала хмуро, неохотно, почти сердито. И в самом деле, есть на что пожаловаться — однообразие, скука, вечером некуда пойти, на улицах ногу сломаешь, кино не работает из-за спора двух ведомств...

Потом разговор как-то оборачивается в хорошую сторону. Калязинцы начинают вспоминать, чем им можно похвастаться, и выходит, что многим.

У Калязина очень хорошие швейные артели. Вот, например, кожаными пальто Калязин одевает всю Монгольскую Народную Республику. Даже монгольский полпред приезжал сюда знакомиться и устанавливать отношения... По производству валенок Калязин на третьем месте во всем Союзе: не так далеко и до первого места. Сейчас начинает потихоньку возрождаться плетение знаменитых калязинских льняных кружев.

Да и в культурном отношении есть что предъявить. Здешняя библиотека — вот тут, где мы сидим, — получила областное первенство. Вдобавок она, хоть и библиотека, но взяла да и организовала большой хор. И хор прекрасный. Есть колхозник Григорий Борисович Клинов — неисчерпаемый кладезь фольклорных песен... Организуется свой кукольный театр. Недавно прошла выставка местных художников. Работает интересный скульптор товарищ Дулова...

Товарищ Сокольский, тот самый, что сидит за Волгой в музее, прорывается взволнованной и горячей речью. Мы узнаем, что у Калязина богатая и яркая история. Здесь побывали и поляки, и шведы, и кто угодно. Здесь осаждали крепости и фабриковали пудру для париков и клише для печатных пряников. Здесь жили всяческие знаменитости, от баснописца Крылова, декабристов, минуя Щедрина, до актрисы Ермоловой и до большевика Виктора Павловича Ногина. Чего только еще не было! И от всего остались памятки, документы, картины, предметы...

Калязинцы зачарованно слушают своего историка и начинают толковать — чем бы теперь, в советские времена, прославить свой, хоть и маленький, а ведь вовсе не плохой город.

Беседа горячеет и тянется долго.

В городе Кашине при пятнадцати тысячах жителей стоит по сей день тридцать три церкви. Здесь была рези-

денция святой Анны Кашинской и ее благолепного штаба. Когда идешь с вокзала, стараешься церквей не замечать, смотреть через них, как через пустоту. Но, кроме куполов и колоколен, ничего над скромными домишками не высится.

Ну и что же: неужели Кашин ничем не замечателен в советские времена, когда церковные предприятия свернули торговлю?

Кашинцы резко оспаривают подобное предположение.

Они дают первоклассный лен высшего экспортного качества, и много. Один процент всего мирового производства льна. Целый процент!

У них есть курорт, пока еще бедненький, но расширяемый очень энергично. Они создают новые курортные устройства, намерены впоследствии разгружать Железноводск.

Кашинцы горды своими пятью орденоносцами-птицеводами, свинарками, льноводами. Своими изобретателями — Ильей Олейниковым (льнотрепальная машина) и Дановым (кузнец). Да и кашинские медики не чувствуют себя захолустными людьми. Доктор Горчаков ведет интересные опыты с плацентой; хирург Кардов в здешней больнице вырезал одному гражданину целую кишку, и гражданин — ничего, процветает...

Нужно ли добавлять, что под Кашином, и совсем не так давно, родился Михаил Иванович Калинин. Это почище святой Анны Кашинской.

Нет, кашинцы не склонны считать себя провинциалами.

Вообще-то есть у нас провинция или нет? Как считать?

В Горловке взорвали старые горняцкие домишки, построили стадион, слушают гастроли московских театров.

В Комсомольске-на-Амуре открылось кафе-дансинг. В Местию, в сванскую горную глушь, прибывает воздушная почта, в деревнях создают хоровые академии и изучают английский язык.

А все-таки провинция есть, да еще какая дремучая. И смешно это отрицать, и незачем стыдливо прикрывать провинциальные города отвлеченным термином «места». Им этим мало поможешь.

В Советском Союзе сейчас 330 городов с населением до двадцати тысяч жителей. И 1478 городов с населением до десяти тысяч жителей. У каждого маленького города — свой облик, свой стиль.

За трое суток из Москвы можно доехать в Мадрид, в Сухум, в Новосибирск, в Константинополь. И трое суток надо, чтобы добраться в город Елатьму, своей же Московской области. Она запряталась, сия Елатьма, в лесной глуши, на Оке, летом утопает в садах, а весной и осенью утопает в грязи.

В ней три тысячи жителей, из них более шестисот инвалидов, посланных сюда в дома собеса. Директора домов — не из блестящих: трех последних, одного за другим, посадили за решетку. Вечером в городе ни зги не видно. Была библиотека, так ее почему-то в свое время целиком кто-то отвез в Москву.

Приезжих встречают удивлением, с явной примесью тревоги: разве человек по хорошему делу заберется в нашу дыру?

Деревня не уважает такой город. Колхозы Елатьмского района смотрят свысока на свой районный центр. Им нечему здесь учиться. Пожалуй, даже наоборот. Колхоз завел в своей деревне Шербатовке чистоту, озеленение, устраивает парк культуры и отдыха, парашютную вышку, а в Елатьме ничего этого нет.

По сравнению с Калязином город Семенов кажется совсем убогим. Среди густых керженских лесов запрятался этот бедный бревенчатый городишко. В лесах издавна жили старообрядческие секты разных толков: множество скитов, молелен; родина темных и изуверских обычаев. Это здесь разворачивалось действие мельниковских романов, здесь самодурствовала страшная игуменья мать Манефа... Да и сейчас, говорят, втихую, орудуют секты и молельни.

Семенов, его семь тысяч жителей кажутся совсем задавленными этой дремучей лесной махиной. Но всмотритесь во внутреннюю жизнь городка. Она богата, интересна, содержательна. Тут не только огромное сплавное хозяйство. Здесь процветают кустарные промыслы по дереву. Семенов — ложкарная столица нашей страны. Десятками миллионов семеновские ложкари выпускают


Волков бояться —
в лес не ходить...
Но одно дело —
лес из деревьев,
а другое дело —
густой дремучий
лес канцелярий,
где на каждом шагу
за письменными столами
вразвалку сидят
матерые волки
в пиджаках.



Скушная история (1927)

свой товар, от самого простого до изящных расписных лакированных музейных вещиц.

Так называемая хохломская художественная окраска имеет своим производственным центром Семенов. Здесь работает большая, специально экспортная артель. Есть художественное училище. Старый художник Георгий Петрович Матвеев передает хохломское искусство чудесной молодежи, трогательной в своем энтузиазме и упорстве. Здесь процветают игрушечники, и мастер Котиков что ни день изобретает всяческие сюрпризы для детей. Здесь работают выдающиеся мозаичники, и под городом живет Архип Ершов, мировой старик по деревянной резьбе. Его сам Максим Горький разыскивал и звал к себе, но Архип Ершов не пошел: очень гордый старик. Но мировой.

Мы сидим с семеновцами далеко за полночь; они полны планов, любят свой город и гордятся им. В нескольких часах отсюда, на гигантском автомобильном заводе с конвейера потоком бегут готовые автомобили. Семеновцы уважают автомобили, но не стесняются и своей продукции: нужен автомобиль, нужна и деревянная ложка. Они хорошие патриоты своего советского города.

Советский патриотизм — это давно уже не лозунг, это очень твердый факт, на котором впоследствии расшибет себе лоб всякий сомневающийся.

Этот патриотизм не наносный, он уже прочно сидит в крови у народа, пережит и выстрадан в лишениях трудных лет, окреп в чудовищно трудной борьбе за социалистический строй, за независимость страны, за ее мировое первенство в экономике и культуре, за свободу и достоинство советского гражданина.

Патриотическое чувство крепко, глубоко, оно неискоренимо. Но его надо еще и еще наполнять живым, конкретным содержанием.

Родина для всякого советского человека — это прежде всего Союз в целом, шестая часть света, огромное отечество от Минска до Владивостока. Когда японцы лезут через границу на Амуре, Калязин воспринимает это как вторжение в свой собственный район.

С другой стороны, родина — это свой завод, свой колхоз, военный корабль или молочнотоварная ферма. «Мы, динамовцы», «мы, уралмашевцы», «мы, маратовцы».

Это тоже крепко, тоже въелось и засело в процессе хозяйственного строительства, в непрерывном соревновании, в стремлении показать себя перед всем честным народом с областной, республиканской или всесоюзной кремлевской трибуны.

В этой цепи от гордости своей фабрикой и колхозом до всесоюзного патриотизма еще сравнительно слабо одно звено. К своему городу относятся еще по старинке — без уважения, без признания, даже пренебрежительно. Маленький город воспринимается просто как географический пункт, районный центр, сумма домов и улиц.

Но советский город — это вовсе не только административный центр, резиденция районных властей и организаций. Наоборот, город никогда не будет служить хорошим центром для района, если в чисто городском отношении не станет образцовым культурным поселением, примером чистоты, благоустроенности, очагом науки, техники, искусства, местожительством ярких, интересных людей.

Когда Москва реконструирует свои улицы, воздвигает великолепные здания, строит метро, парк культуры, детский театр, она это делает не только для своего московского населения, но в равной степени для всей страны, для показа и примера всему народу.

По мере приближения к коммунизму все больше стирается противоречие, а затем просто различие между городом и деревней.

Во всей истории цивилизации город играл и играет ведущую культурную роль по отношению к сельскому населению. В Советском Союзе город руководил всей революцией, классовой борьбой в деревне, строительством социализма. Он будет и дальше руководить поднятием культуры социалистической деревни и прежде всего путем конкретных воспитательных приемов. Для этого необходимое условие — поднятие культуры городов и особенно многочисленных маленьких городов, близко соприкасающихся с деревней.

Важной задачей этого десятилетия и будет создание типа небольшого, но чистенького спокойного советского города, наделенного, пусть в скромных размерах, без столичного размаха, но все же всеми благами современной культуры.

Это не так легко сделать. Но сделать нужно, от этого никуда не убежишь. Советская культура не может перепрыгнуть через провинциальный город. Она должна пройти сквозь него.

Мы построили самые большие электростанции и самый лучший метрополитен. А теперь нужно научиться строить, быстро и хорошо, электростанцию для провинциального городка, и чтобы работала бесперебойно, чтобы электролампочки не коптели, да еще чтобы бегал трамвайчик, маленький, несколько вагончиков, но бегал бы аккуратно, пусть хоть по одной-единственной улице к вокзалу.

У нас есть гигантская гостиница «Москва» со всяческими удобствами. Но еще нет типа гостиницы на тридцать или даже на двенадцать номеров, где было бы чисто, тепло, уютно, красиво, все удобства, вплоть до горячей воды в умывальниках. Пусть кто-нибудь попробует уверять, что это невозможно. Но факт — в маленькую гостиницу страшно сунуться.

Есть у нас такой мало известный наркомат — Наркомхоз. Существует он в конце концов или нет? Если и существует, то, видимо, делает все, чтобы засекретить свою деятельность от населения. Пора, наконец, показать ему в провинцию свои ясные очи.

Где маленький городской театр, пусть на четыреста мест, но с постоянной городской труппой, со своими местными режиссерами, художниками, отчасти со своими авторами? Где хорошая, живая литературная газета маленького города?

Но всего этого мало. Чтобы культура страны пошла сильно вглубь, нужно, чтобы всесоюзное, всесоветское на определенной ступени скрещивалось с местным. Физиономия американского городка раз навсегда отштампована по одному шаблону, и шаблон этот нестерпимо скучен. У нас ленинская национальная политика высвободила и взлелеяла пестрое разнообразие культур множества народностей. То, что раньше угрюмо именовалось Сухумским, Нальчинским округом, Царево-Кокшайским уездом, сейчас расцвело полнокровными, красочными республиками и областями — Абхазией, Ка-

бардой, Марийской автономной областью. У каждой — свое лицо.

Свое собственное лицо, пусть даже в каком-нибудь одном штрихе, должен иметь каждый без исключения советский город и городок. Надо только вдохновить и организовать местных людей, дать им почувствовать моральную ответственность за свой город, и они покажут себя. Здесь дело не только в деньгах — денег на благоустройство провинции тратится немало и будет тратиться еще больше, — дело в местной инициативе, в напоре, желании создать что-то новое в своем уголке.

Все советские города, и каждый в отдельности, достопримечательны. И каждый — чем-нибудь своим.

У города есть прежде всего свое прошлое. Его можно осуждать, но никак нельзя стирать.

Городской музей, пусть маленький, но тщательно и точно подобранный, должен показывать, кто жил и распоряжался в старых городских зданиях, какие были порядки и обычаи, какие исторические события, походы, нашествия, от Мамая до Колчака, и как задели город. Показать старинные местные промысла и изделия, старое искусство и фольклор народа в противовес манере некоторых изображать наш народ как сонливых и равнодушных дикарей.

Историю родного города обязательно и непременно следует затрагивать в местных школах, чтобы впоследствии любой советский гражданин мог вразумительно рассказать о местах, в которых он родился и рос. Надо поскорее осуществить прекрасную идею М. Горького о выпуске «Истории городов». За последние годы кто-то с преступным равнодушием развалил краеведческие организации, лишил их не только средств, но даже уверенности в том, что кому-нибудь нужна их «бесполезная», «бесцельная», «аполитическая» работа... Найти бы эту личность и хорошенько поговорить с ней в темном уголке.

Это прошлое. Но и в настоящем много примечательного может предъявить маленький город, тот, который не осчастливлен ни грандиозным заводом, ни мировой электростанцией, ни чайными плантациями, ни нефтяными фонтанами.

Даже самый скромный продукт производства, если на нем концентрируется внимание и коллективное честолюбие всего города или района, может стать заметным и ценным в общем хозяйстве страны. Нежинские или муромские огурцы, вяземские пряники, валдайские колокольчики, семеновские ложки, тульские самовары, буйнакские фруктовые консервы, осташковские кожухи, палехские миниатюры, чарджуйские дыни уже давно составили громкую славу своих городов-производителей. Но еще сотни других кандидатов на всесоюзную популярность пропадают в тени, их городская марка никому не известна, их изделия по своему качеству уныло тонут в общем товарном котле.

«Изделием» города может быть не только чисто производственная продукция. Хорошее научное учреждение, выдающаяся группа художников, хор, интересный журнал, футбольная команда, когда на них обращены внимание, забота, энергия всего местного актива, могут далеко выдвинуться и создать репутацию, марку своему городу.

Немало есть городов, которые могут поддерживать свою славу у себя же, на своей территории. Курортные места, туристские центры — не из числа Кисловодсков и Ялт, а в глубине страны — должны соперничать чистотой, благоустройством, организованной живописностью, тишиной и порядком, удобством жизни, гостеприимной корректностью постоянного населения.

В Миргороде, чуть ли не на месте знаменитой гоголевской лужи, в которой утонули лошадь с ямщиком, сейчас бьет целебный источник. Но миргородцы еще не очень обновили славу своего города. Звенигород, Кашин, Дилижан, Старая Русса, Липецк еще далеки от всесоюзного признания. А могли бы его добиться.

Даже Елатьма, если по-настоящему взяться, могла бы на тихой лесистой Оке стать признанным и образцовым уголком для спокойной жизни инвалидов и пенсионеров, тех, кому не нужен шум больших городов.

В самом своем облике, в общих чертах и маленьких деталях город может проявить много своеобразия. Не к чему повсюду причесывать улицы, площади, здания на

один фасон. От инициативы и вкуса местных жителей и руководителей зависит придать городу свое лицо, свои особенности, которые лягут штрихом в общую яркую красочную картину всей страны.

В советском городе изобретатель в почете. О нем заботятся государство и общественность. Местные изобретатели, механики, строители, художники могут иногда с пустяковыми затратами очень принарядить город.

В наших городах понаставлено великое множество памятников, скульптур, арок, трибун и всяческих украшений. Но сделано это большей частью как-то наспех, по-временному, на живую нитку. Подойдешь к триумфальной арке, а она фанерная. Потрогаешь памятник, а он гипсовый и выписан по почте от Изогиза. Это хорошо для полевого стана на посевной, для автопробега, но не для городской площади. Пусть будет меньше фигур, арок и трибун, но те, что будут, — из камня, из бронзы, из постоянного и прочного материала. Пора, товарищи, устраиваться посолиднее, навсегда!

Городской совет у нас еще мало где служит повседневным центром, средоточием, собирательным фокусом городской жизни. Совет прибедняется, ютится в захудалых домах: председатель — в одном месте, канцелярия — в другом, зал пленарных заседаний — в третьем. А должен он быть самым центральным и уважаемым зданием в городе, красиво и строго украшенным, с большими городскими часами на фасаде или башне, с красиво отделанным залом, с почетной красной книгой для знатных советских горожан и уважаемых гостей.

...Достопримечательностью может, и с успехом, служить сам председатель городского совета.

Не тот, конечно, который предъявляет себя гражданам только на торжественных заседаниях длинными речами и в местной газете важными портретами.

Тот, кого знают поголовно все жители города, включая ребятишек. Знают и дружески здороваются.

Кто начинает свой день не в кабинете, а медленной прогулкой по улицам, по рынку с заходом то в школу, то на фабрику, то в квартиру рабочего, то на спортивную площадку. А вечером, пусть даже за счет доклада или комиссии, появляется в театре, в библиотеке, на бульваре или в пивной — да, и в пивной, и в ресторане.

Еще часто председатель горсовета больше думает о меню закрытой столовой партактива, чем о порядке и

чистоте в городской пивной. Ресторан, кафе — это по старой памяти считается от лукавого, от нэпманско-коммерческого. Зайти с товарищем или с женой в ресторан, выпить кофе или пива — это признается неприличным, это роняет авторитет. Вот устроить у себя на дому, с затратой девятисот рублей, за спущенными занавесками (хотя весь город знает), громовую вечеринку — это прилично, это в порядке вещей... А на самом деле — нэпманов давно уже нет, в кафе сидят стахановцы и инженеры, их воротит от грязных скатертей и дорогих цен, они бы с радостью увидели здесь председателя совета и другие районно-городские светила, и если бы председатель хоть изредка заходил посидеть, здесь было бы чище, спокойнее, дешевле.

Председатель совета, достойный избранник своих земляков, лучший гражданин, патриот, большевик, должен со всей силой и страстью поддерживать достоинство и славу своего, пусть маленького, социалистического города.

Но главная достопримечательность, почище всяких городских часов и арок, — это живые люди города, их имена, их жизни и труды, их успехи и заслуги и подвиги.

Город Таганрог чтит память своего Чехова, а Козлов стал славен Мичуриным, а Калуга — Циолковским, а в Кашине родился Калинин, а в Кадиевке поднял свой отбойный молоток Стаханов. Почти нет города, который не имел бы прославленных земляков, исторических или живых. Каждый город должен знать своего, местного орденоносца, следить за его работой, вдохновлять на новые усилия и успехи. Но и, с другой стороны, стыдно должно быть тому известному писателю, ученому, политическому работнику, артисту, который не поддерживает связи с родным городом, не переписывается, не приезжает, ничем не помогает.

Не в одних знаменитостях дело, и, пожалуй, меньше всего в них. Не велика штука чтить человека, уже прославленного страной или целым миром. Важно создавать и поднимать своих, местных выдающихся людей. И тут у нас еще очень много от старого провинциализма. Если человек не запатентован в Москве или хоть в краевом центре, его мало ценят в родном городе: то, что рядом, под рукой, в своем доме, не кажется важным. И рассуждают по-медвежьему: небось, если был бы так хорош,

не торчал здесь с нами в провинции. Человек начинает чувствовать себя непризнанным и обиженным, складывает пожитки, едет в столицу за оценкой и славой. И часто едет зря — в столице он теряется, а в маленьком городе был бы гораздо полезнее и виднее.

Миллионы выдающихся людей, полноценных личностей, ярких, талантливых индивидуальностей создала советская провинция; их будет еще больше, они украсят своими делами тысячи советских городов и все вместе составят великолепный урожай заботы о человеке, посеянной на нашей земле.

Калязин, Кашин, Сонково,
Семеново, Муром, Елатьма,
Звенигород.

1936

Листок из календаря

31 июля в кафе «Дю Круассан» на рю Монмартр, как всегда, подают лимонад. Не бутылками, по-московски, а в сыром виде, по-парижски. Надо самому выдавить свежую половинку лимона, самому набросать в стакан толченого льду, засыпать кислую смесь сахарным песком и залить содовой водой из сифончика.

В кафе «Дю Круассан» продают также французские сандвичи — черствый батончик, скупо проложенный ветчиной.

И четвертушки «Перье» — парижский нарзан.

И сигареты — их можно обрезать, закурить о газовый рожок тут же, у мокрого мраморного прилавка, в толчее торопливых посетителей, забегающих на минутку сюда, в одну из десятков тысяч закусочных второго разряда, натыканных через каждые пять домов пятимиллионного Парижа.

Высокий плечистый старик тоже торопился. По пути сюда он наискось перешел улицу, не переставая оживленно и сумрачно говорить с двумя спутниками. Здесь, присев за столик, в ожидании сандвичей и кофе, он, нагнувшись над столиком, громким шепотом разъяснял своим друзьям начатую в дороге мысль.

Гарсон в синем фартуке еще не взрезал булочки, еще не взялся рукой за большой коричневый кофейник. Два оглушающих выстрела разодрали тихую суету маленького кафе. В дыму не видно было, откуда и в кого стреляют. Но старик, подняв вверх голову, стал тяжело оседать со стула, пока не застрял мертво, упершись широкой грудью в мраморное ребро столика...

И гарсон и его хозяин совершенно спокойны. Они работают быстро, четко, как на теннисном матче. Не глядя, хватают ломтики ветчины, метко разбрасывают по чашкам кусочки сахара, со звоном выкладывают менную сдачу на блюдечко перед кассой.

— Стакан молока? Один момент, мосье! Сигару? Один момент, мосье! Вот стакан молока, мосье! Один лимонад и два оранжада? Один момент, мосье! Вот сигары — эти полегче, а эти покрепче. Вам полегче? Четыре франка, мосье! За стакан молока — два франка, мосье! Мерси, мосье! Мерси, мосье, до свидания! Еще лимонаду — один момент, мосье! Получить за сигару — мерси, мосье! Машинка и огонь — направо, мосье! Сандвич с сыром — один момент, мосье!..

Грохот выстрелов в кафе «Дю Круассан» заглох, и дым рассеялся. Довольно времени прошло. Ведь это ровно пятнадцать лет назад, в среду тридцать первого июля, Жан Жорес, не спавший несколько суток, изнемогший от беспрерывного напряжения голоса, мыслей, чувств, вышел из редакции «Юманите» сюда, в «Дю Круассан», подкрепиться перед вечерними митингами. И здесь, через окно, настигла его широкую грудь пуля «молодого человека Вилена», первая пуля мировой войны.

Если зайти в «Дю Круассан» в тихий час, хозяин и гарсон охотно покажут, как сидел мосье Жорес, и как примостился у окна убийца, и через какую дверь кинулся за полицией тогдашний гарсон. Но сейчас им не до того. Широкая река подымается вверх по рю Монмартр, ее ручейки затопляют маленькую закусочную. Надо торговать, побольше торговать, не отвлекаться всякими древностями — здесь в конце концов не Собор Парижской богоматери!

Те, кто торгует, вообще не склонны вспоминать о среде 31 июля и о четверге 1 августа. Нет ничего менее выгодного для торговли, чем неприятные эти даты, эти воспоминания. Можно, правда, торговать и великими мемориями «великой» войны. Во Дворце инвалидов показы-

вают спальный вагон, в котором маршал Фош подписал перемирие с немцами, и старые такси, те, что были в последнюю минуту реквизированы для обороны Парижа. Но это перестало интересовать даже братьев союзников, американцев и англичан, тех, кто приезжает сбросить лишний золотой жир в истомно-распростершемся Париже.

Центр города — площадь Оперы, улица Мира, Елисейские Поля, Монмартр — он совсем превратился в англо-американский сеттльмент, словно где-нибудь в Шанхае. Дом за домом, непрерывной чередой идут вывески лондонских и ньюйоркских фирм, агентств, банков, гостиниц. На французских магазинах всюду угодливые надписи — «Говорят по-английски». Меню в ресторанах изложены на обоих языках. Многие блюда переименованы на английский лад. Во французских театрах пьесы и обозрения прошпигованы английскими песенками, остротами, отдельными выражениями, чтобы гость понял, усмехнулся, кивнул головой. Охотно откликается Париж на новое имя — вместо легкого «Пари» — скрипящее «Пэрыз».

Сюда, сюда в Версальский дворец, на Эйфелеву башню, к гробнице Наполеона! Сюда, к ювелирам улицы Мира, к портным на больших бульварах, к автомобильным и парфюмерным магазинам на Елисейских Полях! Сюда, в роскошные рестораны и дансинги, в знаменитейшие публичные дома, на те самые кровати, где забавлялись английские и испанские короли, где показывают тридцать два способа любовных упражнений! А если угодно — в революционную тюрьму Консьержери, к подлинным реликвиям Марата и Робеспьера в музее Карнавалэ, на мост, сделанный из камней разрушенной Бастилии, в кабачок «Красного террора»! А если угодно — в Латинский квартал, к седовласым профессорам Сорбонны, в высокоаристократические лицеи, школы, пансионы! Всюду говорят по-английски. Всюду принимают в уплату фунты! И доллары! И доллары! По курсу, без всяких урезок!

Сюда, сюда! Но с джентльменами что-то стряслось. Об этом в величайшей тревоге пишет французская печать.

Река богатого туризма повернула русло. Мясоторговцы из Огайо и фабриканты перочинных ножей в Бирмингаме, быстро топая тяжелыми башмаками мимо высо-

копченных кабаков и блудливых академий, решительно направляются — куда? В Берлин! К немцам! К бывшим неприятелям!

Да, в Германию. В этом году немцы развили в Америке и Англии бешеную пропаганду. Они волокут туристов за фалды к себе. На Рейн. В Гарцские леса, в Шварцвальд. В Исполиновы горы. И даже на Ваннзее — маленькую озерную лужу под самым Берлином, которую за один год превратили в изумительный курорт.

Те же развлечения, что в Париже, но тише, удобнее и дешевле. Это тоже очень важно — сейчас из Англии и Америки потянулся турист-середняк с ограниченными суммами в кошельке, он хочет не слепо, как икру, метать деньги. Он рассчитывает получить красивые пейзажи, вино и женщин за плату умеренную и, во всяком случае, строго таксированную.

В Париже очень нервничают. Поток долларов, хлеставший в парижские кабаки, был важнейшим подспорьем бюджета — как обойтись без него? А тут еще встречные счета. Мясные и перочинные короли вздумали не платить, а получать с прекрасной Франции.

Палата депутатов плохо освещена. Это — манера всех старых парламентов. В полусумраке труднее разглядеть лица фракционных хитрецов, легче изворачиваться, и все вместе кажется более торжественным и солидным.

Сегодня здесь сумерки особенно сгустились. Прямо не верится, что за стеной — светлый, жаркий летний день. В палате витает осеннее ненастье, дождливое раздражение. Нехотя и равнодушно выстраиваются в две шпалеры расшитые галунами служители. Из передней дробь барабанов, председатель палаты, во фраке, раскачиваясь животом, проходит между шпалерами в президиум — как дрессировщик лошадей в добропорядочном цирке.

Не глядя на него, депутаты со злыми лицами взбираются по амфитеатру.

Пуанкаре выдумал новый трюк. Он решил взять палату измором. Шесть дней длился доклад о соглашении Меллан-Беранже! Шесть дней бубнил первый чиновник Франции, моросил цифрами, сводками, диаграммами. Пилил, точил, сверлил, все доказывал, что Америке нужно заплатить по военным долгам. И только сегодня иссохшие от ожидания, записавшиеся еще в прошлую пятницу ораторы будут вымещать свое раздражение.

Но странно — самого виновника торжества нет в зале. Говорят, устал после исполинского своего доклада и будет только к вечеру. Депутат центра Рейбель, обидевшись, что его тщательно приготовленная речь не дойдет до ушей премьера, язвительно негодует по поводу отсутствия Пуанкаре в столь важный день. Правые подымают неистовый крик — кто смеет заподозрить премьера!..

Один за другим выступают патентованные златоусты послевоенной Франции. Толстый Эррио, беспрерывно вытираясь платком, стыдит Америку за требование от Франции денег. Разве Америка проливала кровь? Ее золото было ее оружием! Пока американцы платили, реки Европы были красны от французской крови!

Министр финансов Шерон нервно уговаривает палату ратифицировать соглашение без всяких оговорок. Лучше уступить сейчас, это будет стоить дешевле, иначе придется платить долги полностью.

Его слушают с раздражением. Новое дело — американцы возьмут во Франции сто десять миллионов франков и будут прокучивать их на Курфюрстендамме в Берлине! Еще чего!

А Пуанкаре все нет. Биржа, самый чувствительный термометр Парижа, уже ответила на три часа отсутствия премьера резким понижением.

Грюмбах, социалист из Эльзаса, вызывает наружу давно созревшую в палате истерику. Едва срываются его первые слова о необходимости очищения Рейнской области, в зале подымается невероятный кавардак. Жирный мужчина с черными фельдфебельскими усами срывается с правой скамьи, он бежит к трибуне и грозит кулаками:

— Вы немец! Вы немец, а не француз! Вы всю войну просидели в Швейцарии! Молчите... н-немец!

Социалисты что-то орут от себя. Правые стучат пюпитрами. Багровый председатель, орошая манишку крупнозернистым потом, звонит во все звонки, молотит линейкой по столу. Двадцать минут бушует коллективный припадок отвратительно беснующихся, запревших от жары, пожилых лысых людей.

Уже полуденные газеты белеют в руках. Оказывается, Пуанкаре серьезно заболел и не будет в палате во все время прений. Возможно даже, что... Ну да. Вот и Бриан. Тише!

Он медленно плывет между скамей — старый, обрюзглый и не очень серьезный на вид, с густой шевелюрой длинных, актерски уложенных волос. Весь вид благодушный, потертый, слегка лоснящийся, как у старых биллиардистов, вечных карточных игроков. Тяжело садится в кресло и лениво, не слушая, чему-то улыбаясь кончиками рта, смотрит на безумствующего оратора.

И сразу — в парламенте общий короткий вздох раздумья и стихийный выход сенсации.

Тучный Эррио с минуту смотрит расширенными глазами на неопрятную шевелюру Бриана, затем, вздохнув, быстро подымается.

За ним уже, по маленькому знаку локтем, спешат в курилку другие радикал-социалисты.

Правые начинают тихонько кудахтать, совершенно перестав обращать внимание на оратора.

Дело ясно. Старик сильно занемог или по другой причине, но несомненно покидает министерство.

На горизонте новый кабинет, новые комбинации, портфели, сделки, новая игра.

Надо сейчас же класть ставки на парламентский зеленый стол, надо скорее действовать. Пока публика на хорах и прикованный к креслу председатель существуют вместе с оратором в плоскости вчерашнего дня, палата уже лихорадит новым, будущим, но в эту минуту смутно рождающимся правительством.

Кто же будет премьером?

Тардье?

Эррио? Барту? Кайо?

Нет, скорее всего опять и опять этот грузно осевший в переднем ряду человек с обветшалыми актерскими кудрями. После Пуанкаре — всегда его очередь.

В этих случаях остряки палаты вспоминают старое, уже четверть века повторяемое сопоставление:

— Пуанкаре знает все и не понимает ничего. Бриан не знает ничего и понимает все.

Смысл этого афоризма на практике гораздо мельче и проще. Старые Аристид и Раймонд не противоречат, а дополняют друг друга. Смотря по погоде, во главе аппарата Третьей республики бывает нужен то сухой, жесткий бюрократ с твердой административной рукой, то продувной ловкий адвокат, заговаривающий зубы недовольным. Если у депутатов и чиновников затекли ноги стоять навытяжку, французский Победоносцев, чтобы

не уронить своего амплуа, отходит в сторону, и вместо него французский Витте командует: «Вольно, оправиться». Никому при этом не дозволено сойти с места, разбить шеренгу. Никогда еще правительство Бриана не распускало вожжи настолько, чтобы их трудно было собрать правительству Пуанкаре.

Но кого возьмет к себе в кабинет завтрашний премьер Бриан?

Неужели не будет никакой перетасовки?

Неужели нельзя вырвать хотя бы несколько портфелей?

Подумать надо! Подумать и пошептаться. Кучки депутатов озабоченно кудахчут по всем закоулкам палаты.

Но опытные правительственные деляги уже пустили свои встречные мины на парламентский базар. В разгар общего гомона министр юстиции Барту подымается на трибуну и оглашает декрет о роспуске палаты на каникулы.

Как! Что? На каникулах формировать кабинет? Предоставить Бриану смастерить себе правительство, какое ему нравится? Ведь это же издевательство! Галдеж и толкотня усиливаются. Говоруны и интриганы остаются в зале обсуждать положение.

У всякого французского правительства — будь оно Пуанкаре или Бриана, все равно — есть приятное обыкновение сажать на время каникул депутатов коммунистов. Нет сомнения, что так будет и сейчас. Особенно сейчас! Ведь через два дня рабочие Парижа выйдут, как и во всем мире, на улицу напоминать о чудовищной резне, сигналом к которой сверкнули выстрелы 31 июля в ресторанчике «Дю Круассан».

Кашен, выйдя за ограду палаты, прищуривается в обе стороны — нет, полицейского караула и знакомого закрытого грузовичка не видно. Улыбается:

— Значит, завтра!

Сухого, зловещего «Пуанкаре-Войну» сменил лоснящийся, улыбчивый «Бриан-Мир». Полицейские знали, что ничего не случилось. Они наступали, как было условлено, на рабочие демонстрации, били резиновыми палками по головам и сотнями тащили их за решетку. Это была очень трудная и очень неприятная возня. Нельзя было назвать это большим удовольствием. Но вечером ждала приятная награда.

Вечером 1 августа в большом дворце Трокадеро для полицейских, участвовавших днем в борьбе с коммунистическими демонстрациями, был дан большой парадный обед на две тысячи персон. На обеде присутствовал с самого начала префект полиции мосье Киап. Газеты сообщали также меню обеда, указывая, что он был вполне приспособлен для здорового желудка полицейских героев, натрудившихся за столь хлопотливый «красный день». На первое был подан суп с мясом, на второе холодная рыба с майонезом, на третье тарталетки и сыр. Кроме того, каждый полицейский получил по бутылке пива и по пять папирос. К концу обеда прибыл Тардье, министр внутренних дел нового кабинета Бриана.

1929

Мать семерых

1

В сумасшедшей сутолоке парижского Северного вокзала, в необъятном сплетении потоков людей, машин, грузов, голосов и шумов, в закоулке между газетным киоском, грудой чемоданов и железным барьером затерялось крохотное, незаметное существо. Огромный черный платок, в него закутана целиком тонкая фигурка. Из-под платка только и видны пара большущих живых черных глаз, острый подбородок, маленький, окруженный морщинами насмешливый рот...

Эти глаза, этот рот, как они знакомы. Как безошибочно напоминают они глаза и рот другого человека, повторяющегося десятки миллионов раз на фотоснимках всей мировой печати. Человека, который девятый месяц в непрестанном напряжении, в замкнутом кольце врагов, видя близкую смерть, мужественно сражается за правду своей позиции, за правду своей партии, за правду своего класса.

— Вы устали, товарищ Параскева! Ведь какое долгое путешествие, из Болгарии сюда, в Париж, да еще отсюда теперь в Берлин...

Черные бессонные глаза смотрят неподвижно, спокойно.

— Да, немножко уже устала. Но поддаваться нельзя. Еще главное впереди. И потом я уже привыкла. Ведь Георгий — это четвертый мой сын, которого хотят убить.

— Четвертый?

— Да, четвертый. Одного замучило царское правительство в Сибири, второго убили на войне, третьего казнила власть Цанкова в Болгарии в 1925 году. У меня уже и пятый есть. Внук восемнадцати лет — сидит в Софии в тюрьме.

Старушка Параскева Димитрова горда, что сын ее так хорошо говорит по-немецки на суде. Да и она сама не ударила лицом в грязь ни перед сыном, ни перед людьми. Вчера в гигантском зале Булье в присутствии семи тысяч парижских рабочих, в обстановке невыразимых оваций, она произнесла целую маленькую речь, перевод которой зал прослушал в величайшем волнении:

— Я счастлива присутствовать на таком огромном собрании. В Болгарии вот уже 10 лет, как рабочие не могут собраться вот так. Мой сын Георгий Димитров отдал тридцать пять лет рабочему движению. Это не такой человек, чтобы устраивать поджоги. Он теперь в лапах у фашистов. Я призываю вас бороться, чтобы освободить как-нибудь Димитрова, его товарищей и всех рабочих.

Если бы энергию одного только воспламененного собрания в зале Булье, если бы только эту энергию, рожденную короткими словами старой Параскевы, можно было сгустить и направить на здание верховного суда — Димитров был бы мгновенно свободен. Но физика классового суда — классовой борьбы гораздо сложнее. Димитров и его товарищи крепко заперты. Тень палача уже витает над ними.

Параскева едет в Берлин. Она надеется пробиться на суд. Она требует, чтобы было выслушано и ее, матери, свидетельство о человеке, о политическом борце и руководителе рабочего класса целой страны, которого хотят казнить, объявив поджигателем.

— Поверьте, я своего добьюсь. Хоть я из деревни, хоть мне и семьдесят два года, а упорная. В Софии мы с матерью Танева пошли в германское посольство с прошением, чтобы допустили нас в Германию на суд. Там болгарская полиция нас на самом пороге схватила. За шиворот нас, старух, по улице тащили. Хотели немцам услужить. Или боялись, что мы своими прошениями посольство подожжем! Посадили нас в тюрьму. Хорошо,

вся София поднялась: зачем древних старух обижаете? Только потому и освободили нас обеих.

Дочки, улыбаясь, смотрят на маленькую храбрую фигурку в черном платке.

— Мама у нас молодец. Она неграмотная совсем раньше была, очень поздно читать научилась, по библии. Мы, когда все подросли и безбожниками стали, начали на нее нападать за библию. А она говорит: «Вы, дети, на меня не нападайте, я хотя и по библии училась, но ваши мысли понимаю и буду вам всегда помогать в том, что вы делаете. А вы меня лучше подучите». Стали мы ей понемногу газетки давать, брошюры, объяснять разные вещи. Как она хорошо нам всегда помогала! Сколько раз из беды выручала и детей и товарищей. У нее был фартук длинный, до земли. Под фартуком она два больших кармана сделала. Я и брат — тот, которого казнило правительство Цанкова, — мы, бывало, когда с улицы прибегаем и нужно что-нибудь ненадолго спрятать, нелегальщину — мы ей в карманы клали. И мама установила каждому его карман, чтобы не спуталось. Я всегда прибегаю и сразу кричу: «Мама, давай мой карман!»

Продавец врывается на перрон, выкрикивает последний, ночной выпуск газет. Старушка требует, чтобы купили газету, чтобы прочли и перевели последние телеграммы о процессе. Ей читают: заслушано важное показание женщины, ехавшей вместе с Димитровым в поезде из Мюнхена 27 февраля, — этим еще раз подтверждается алиби Димитрова.

Мать переспрашивает:

— Значит, еще один свидетель доказал, что Георгий Димитров невинен! Весь мир это говорит. И я им от себя еще скажу на суде. Мы его спасем, мы его выручим!

Родные и друзья стоят с хмурыми лицами: слишком велика опасность, слишком близко навис топор палача. Но старая мать в окне вагона дышит надеждой, она верит в спасение своего первенца. Поезд трогается, и, медленно ускользая в ночную тьму, Параскева бодро машет маленькой высохшей рукой — старая орлица, мать целой стаи великолепных бойцов, истерзанная и неукротимая пролетарская мать.

Параскева осунулась, она хмуро кутается в огромный свой черный платок.

— Ну как, довелось увидеть Георгия, говорить с ним?

— Да, довелось. Жаль, только два раза, не считая того, что сидела в зале суда. Когда меня в первый раз там усадили, я его никак не могла найти. Ведь давно я его потеряла. Да и народу очень много. Но только он заговорил, я сразу всколыхнулась, узнала по голосу, что это Георгий говорит.

Когда меня привели к нему, он прямо засмеялся: «Как ты сюда попала! Десять лет тебя не видел, и вот в каком месте пришлось встретиться. Как живешь, мать, что хорошего мне скажешь?» Я ему, конечно, рассказала, что рабочие во многих странах каждый день читают в газетах о суде и целиком поддерживают Георгия, и что я сама была на огромном митинге в Париже, где все решили бороться за него и других трех его товарищей. Он ответил: «Передай, пожалуйста, мать, всем товарищам мою благодарность и скажи, что, хотя я очень устал от всей этой пытки, у меня еще хватит сил отстоять здесь до конца свою и партии правоту». Вот так точно он сказал, и я прошу передать это через газету, потому что, кроме меня, он никого из своих людей не видел».

Параскева, взволновавшись, замолкает. Старшая из сестер Димитрова, Магдалина, продолжает рассказ:

— Мы много писали Георгию еще из Болгарии, а до него не дошло ничего. Во время нашего посещения полицейский принес Георгию письмо. Это была анонимка на немецком языке такого содержания: «Если вы не будете держаться повежливее на суде, мы заставим вас замолчать навеки», и подпись — «Американец». На имя Димитрова каждый день поступает огромная корреспонденция. Ее не передают ему. И только это одно-единственное угрожающее письмо нашли нужным передать. Между прочим, и адвокат Тейхерт сказал матери: «Повлияйте на вашего сына, чтобы он держался потише и не так нападал на суд, это ему поможет при приговоре». А мать отвечает адвокату: «Бог наградил Георгия даром слова, так пусть он говорит, сколько ему хочется». И тут же сказала: «Ты, Георгий, конечно, не волнуйся, но уж скажи все, что у тебя на душе, как тебе хочется ска-

зать». Интересно, как на улице публика к нам относилась. Все шепчут: «Мать Димитрова, мать Димитрова». И очень любезно уступают дорогу. И было несколько раз так: на пустой улице подбегут один, двое, начнут трясти матери руку и сейчас опрометью убегают, пока полиция не заметила.

Параскева опять рассказывает:

— А второй раз я виделась с ним уже в Лейпциге. Очень коротко. Он вышел совсем больной, с повышенной температурой, ведь у него легкие совсем плохие. Сказал мне: «Я, мать, вряд ли уже отсюда выберусь. А тебе очень советую: поезжай с Магдалиной и Еленой в Советскую Россию, там увидишь много нового и радостного, как рабочие живут. Передай от меня, что ничего для меня нет дороже, чем советские рабочие и их страна». И сейчас же ушел, надо было уже ему на скамью садиться. Еле я успела ему папки передать.

— Какие папки?

— Да они ведь все четверо уже третий месяц во время суда себе разные заметки делают, и приходится на коленях писать, потому что никакого столика перед ними нет. Георгий — он больше всех пишет, но я для всех четверых картонки купила, потому что ведь они товарищи. Все одного мнения одинаково придерживаются.

Старуха поджимает губы.

— Ведь к одному и присудить их всех могут.

3

...И вот опять вокзал, но это уже не гнилые ноябрьские сумерки в Париже. Не хмурая сутолока безразличных людей. Ослепительное солнце искрится на утреннем белом снегу. Смеются девушки, соперничая румянцем щек. Смеются и ждут, пока мягко подойдет засеребренный инеем поезд с громадной звездой, распластанной на широкой груди паровоза.

Поезд подошел, пассажирка показалась, на секунду остановилась в дверях вагона, ослепленная солнцем, и спустилась по ступенькам на перрон. Спустилась медленно, потому что пассажирке семьдесят второй год.

Но пассажирку бережно и осторожно, как хрупкую вещь, ведут под руки веселые работницы с «Трехгорки».

— Мы гордимся твоим сыном, — говорят Параскеве Димитровой работницы «Трехгорки». Они протягивают подарок — ткань своего изделия.

Большая машина сверкает лаком, тихо рокочет, дожидаясь у подъезда. Еще десять минут — в теплой солнечной комнате нет на свете счастливее человека, чем эта маленькая старушка, гордо сидящая на диване рядом со своим большим сыном. Около нее Георгий кажется еще более крупным, плечистым, сильным. Она сидит как бы под его защитой.

Но разве еще вчера она, маленькая, старая, слабая — разве сама она не показала всю силу и смелость храброй матери, воинствующей орлицы, отбивающей своего питомца из лап врага?

— Ведь в последнее время они совсем обнаглели, эти фашисты. Отняли у нас сопровождающих, переводчика, стали путать со свиданиями, возвращать передачи, вмешиваться в разговоры.

Георгий смеется:

— На свидания с матерью в последний период заключения стали являться целой дюжиной высшие полицейские чины и представители министерства. Мы заседали с матушкой целым пленумом, целой конференцией. Это было занятно!

— Да, да! А двадцать седьмого я с дочкой пришла в тюрьму, и мне сказали, что по случаю, якобы, какого-то праздника все генералы, которые сидят при том, как я разговариваю с сыном, — что все эти генералы где-то заняты и что свидания не будет. Обещали позже два свидания подряд. Но я сразу поняла: тут что-то неладно. Уж очень вежливо говорили, и изо всех дверей странно на нас смотрели. Вернулись в гостиницу, и одна девушка, что работает в английских газетах, прибежала сказать, будто Георгия, Благоя и Василия уже отправили воздухом в Москву.

— И вы тотчас сами уехали?

— Нет, в тот же день не успели. Только назавтра. Пошли погулять, на улице меня многие поузнавали, подходят и показывают мне руками, что, мол, улетел, улетел! Смеются и тихонько поздравляют. Но мы очень волновались, тревожились, как бы в последнюю минуту чего-нибудь с ними не сделали. Ночью получили телеграмму, что они уже в Москве. Утром кто-то поставил радио, передачу из Москвы — у меня одно ухо уже сов-

сем тугое, так, поверите ли, я этим ухом совершенно отчетливо начала слышать!

Она улыбается скорее глазами, чем насмешливым ртом.

— Работать надо мне, да не знаю где. Вот, может быть, те работницы с текстильной фабрики, что встречали меня, может быть, возьмут к себе. Ведь я ткать умею, дома у меня станина есть, полотенца ткала и все, что требуется для семьи.

— Ладно, мать, уж как-нибудь прокормишься. Авось, не пропадешь здесь в Союзе.

И оба хохочут.

Старая пролетарская мать, уже доживавшая свой век в заброшенной деревушке, — она в опасный час покинула свой тихий угол, чтобы ринуться в гущу схватки. И вот награда, лучшая из наград: победа. В глазах маленькой семидесятидвухлетней Параскевы мы видим не только счастье любящей матери. В них гордый блеск бойца, стойко выдержавшего сражение и вкусившего его плоды. Вместе со своими сыновьями и дочерьми, вместе с сотнями миллионов других пролетарских отцов, матерей и детей Параскева Димитрова участвует в великой битве как солдат Коминтерна, как боец за коммунизм.

1933—1934

Пуанкаре-война

По официальным статистическим сведениям, шакалами заедено людей больше, чем волками, и даже, может быть, тиграми-людоедами.

(А. Брэм. Жизнь животных. Том II)

Президент французской республики Раймонд Пуанкаре стоит на возвышении в черном сюртуке, с протянутой вперед рукой. Он говорит о доблести, о чести умереть за прекрасную Францию в славной войне против подлых немцев.

Его речь вздымается красивым, ровным фонтаном. Воспитаннейший из ораторов Франции второго десятилетия.

Позади президента — призрак в алом плаще. Череп, оскал мертвых зубов. Конечно, это смерть, это на фоне ее рубинового одеяния так четко выделяется щегольской сюртук сановника.

Она наклонилась к его уху и шепчет:

— Адвокат, не горячись. Оставь немного слов и для своей собственной защиты!

Это изображено на рисунке сатирического художника Олафа Гульбрансона. Напечатано во время войны, до сих пор именуемой в Европе великой войной.

...И художники иногда бывают пророками.

Пересаживаясь в кресло, Раймонд Пуанкаре описал хороший круг.

В начале круга — он сам на кресле председателя совета министров.

Внутри круга — его президентство: Вивиани, Думерг, «великая тайна», Рибо, Бриан, ужасы Вердена, германское наступление, тигр Клемансо, «война до полной победы», Мильеран, опять Бриан... И, замыкая круг, опять он в прежнем кресле председателя совета министров.

Клемансо слишком стар и надоел дикарской бесцеремонностью. Тигру пора на покой. Лучшей кандидатуры, чем Пуанкаре, нельзя себе представить.

Пуанкаре уходит от власти каждый раз, когда ослабевает напряжение страха и жадности французской буржуазии. Он возвращается каждый раз, когда вновь нужен новый премьер с жесткой рукой для обшаривания карманов, глухой к английским нашептываниям, привычный к свисткам и грозному недовольству низов.

Вот газетные сведения о членах одного из последних кабинетов Пуанкаре:

По профессиям: десять адвокатов, три журналиста, три инженера, один финансовый инспектор, один капитан дальнего плавания.

Десять адвокатов! Адвокатский кабинет! Юридическая консультация при банковских концернах, при нефтяных компаниях!

В старой России были распространены главным образом два вида адвокатов.

Во-первых, адвокат «идейный». Ему соответствуют слова: судебная реформа... совесть... господа присяжные

заседатели... идеалы правосудия... Катюша Маслова... Таганцев, Плевако... дело Бейлиса...

Во-вторых, подпольный «аблакат». Жалкое, нищее существо, полная противоположность первому. Его место — в прихожей мирового, за мокрым столиком трактира. Удел — грошовые делишки по краже пальто, изготовление документов, наивное лжесвидетельство.

Успехом и обожанием пользовался душка-адвокат первой категории: златоуст, трибун-руководитель. Потому и дана была душке-адвокату власть в первые месяцы революции.

Подпольный же «аблакат», за графин водки подчищавший метрики, был в загоне и презрении.

На Западе, наоборот, захирел и впал в ничтожество идейный юрист, а вместо него высоко вознесен и сияет в ореоле признания подпольный «аблакат» из неразборчивых.

Если правильно передать западное понятие адвоката, оно будет гласить нескладно, но точно:

«Человек, доказывающий что угодно за процент с нелепости».

К адвокату идут здоровые — с его помощью доказать болезнь. Больные — чтобы объявиться здоровыми. Неверные мужья — доказать вероломство жен. Дезертиры — доказать иностранное подданство. Получить наследство, страховую премию, расторгнуть невыгодную сделку, посадить в сумасшедший дом... Богатые — чтобы прибедниться и не платить по долгам. Нищие — чтобы притвориться богатыми и получить кредит.

Адвоката очень мало занимает принципиальная или, боже упаси, моральная сторона дела. Ему важны только две стороны: степень нелепости и размеры последствий в случае доказуемости ее. Чем больше нелепость, тем выше процент адвокатского гонорара; чем шире ее последствия, тем больше процентная сумма. Если, например, человек, в случае признания его верблюдом, получает миллион, то такой процесс — золотое дело для адвоката. Ясно, что и лучшим адвокатом считается тот, кто ухитрится доказать наиболее дикую и выгодную нелепость.

Как представитель идейности и правосудия адвокат в общественном мнении Запада совсем не фигурирует. Летопись мирового мещанства — кинематографические драмы — показывает героев: фабрикантов, инженеров,

ковбоев, рабочих, офицеров, кокаинистов, убийц, но никогда — адвокатов.

Сутяжничество и адвокатура наиболее вздымаются и процветают на гнилых полях спекуляции, при экономическом застое, кризисе, отсутствии сбыта товаров, при государственном худосочии и малокровии.

Довоенную Францию кто-то назвал «страной улыбающейся промышленности». Прошло много лет, и ласковая кличка все так же удачна для колыбели корсетов, вставных челюстей и резиновых изделий.

Но веселые товары все менее нужны обнищавшему миру. Вставные челюсти недурно стали делать в Германии, патриотизм англичанок заставляет их носить отечественного происхождения парики, и даже — о, ужас! — неподражаемые презервативы задержались в парижских магазинах.

Французская биржа беспокойно озирается, старая рантьерша с крашеными губами. Она живет капиталом, процентами с оскорбленной национальной гордости в крови 1 700 тысяч, уложенных на Марне и Сомме. Но «боши» плохо платят, эти зловредные немецкие колбаски.

Десять адвокатов не случайно вошли в кабинет Пуанкаре. Надо доказать самую большую нелепость и на самую большую сумму. Надо добиться, чтобы Германия, не могущая платить, платить могла бы. Если даже не смогла бы, то все-таки заплатила бы. Обязательно сделать так. Во что бы то ни стало. Нелепость велика, но велики и гонорары. Какую лучезарную карьеру может сделать в Париже толковый адвокат!

После войны Пуанкаре думал вернуться к власти окруженным общим благоволением, удачами и новыми победами над уже лежащим немцем.

Он верил, что его не забыли.

Да, память о нем сохранилась. Но память особо определенная.

Добрая Франция сильно испортилась за годы войны. В частности, храбрые солдатики, пролежавшие четыре года в окопах, восприняли и усвоили образ Пуанкаре совсем иначе, чем этого ему бы хотелось.

Пуанкаре — это война. И только. Война вся в Пуанкаре. Весь Пуанкаре — война.

О нем пишут французы, прошедшие весь ужас бойни.

«Этот маленький человек стал символом ужасной

вины, вины всего капиталистического мира, вызвавшего войну».

С его именем солдаты связывали все то, что они более всего ненавидели: «попы», «генеральный штаб», «война до победного конца», «отечество».

Он был для них олицетворением одного из тех, «которые затыкают всем рты». Французский двойник германского кайзера.

«Маленький крест и большая могила — это для нас» — говорилось в запрещенной фронтовой песне. Ему же — хвалебные статьи в газетах, поздравительные телеграммы и прекрасная жизнь важного барина.

Иногда, когда он сползал с автомобиля, чтобы сделать смотр обреченным отрядам, по его адресу слышался явственный свист.

Он знал, что за оскорбление отомстит контрразведка, и, не обращая внимания, проходил мимо.

У нас, в России, вопрос о «виновниках войны» был решен могуче, величественно и просто. Весь рабочий класс встал против всего другого класса, истинного виновника войны, затеявшего ее, питавшегося ею, — и сломил его вместе с войной. Одной рукой, почти в одно и то же время, были сломлены и повергнуты в прах и самая война и весь виновный в ней класс. Вопроса об отдельных людях — «виновниках» — у нас не возникало.

На Западе, где война не была умерщвлена, а издохла естественной смертью, неостывшее возмущение и кровавая скорбь пострадавших концентрируются на отдельных лицах, конечно, игравших внешнюю, направляющую роль, но, по существу, пешках в руках господствующего класса, его военных партий.

В Германии — Вильгельм, Людендорф.

Во Франции — Пуанкаре.

Ненависть сгустилась вокруг этого человека. В нее влились и непримиримость угнетаемого класса, и смертельная обида измученных войной людей, и накипевший протест против мещанства, тупости, надменности паразитического сословия адвокатов, правящего страной.

Пуанкаре — собирательное лицо. Это образ эпохи и класса. Подобно тому, как король французских и вообще всех европейских спекулянтов Луи Лушер олицетворяет послевоенную буржуазию в роковом апогее экономического могущества и денежной славы, так Раймонд Пуанкаре — ее политический облик. Третья республи-

ка — раззолоченная, но поблекшая от пороков распутница в захваченном не по праву фригийском колпаке, со всей энергией угасающих сил, накануне апоплексического удара, указующая перстом на угнетаемых и беззащитных:

— Распни его!

Я видел некогда Пуанкаре в Тулузе, через которую он проезжал «со своей супругой», возвращаясь с больших маневров.

Городское управление, состоявшее из социалистов, отказалось принять его. Встречала префектура, соорудившая в честь президента красно-желтую триумфальную арку. Дюжина трубачей, наряженных в театральные средневековые костюмы, приветствовала маршем из «Аиды».

В тот момент человек этот был в буйном восторге. Он только что видел маленькую войну и едва мог скрывать свою радость.

По-военному, вместо сабли салютуя своей тростью, префект Педро Гойярд открыл дверцу автомобиля и склонился перед президентом.

Оркестр играл лотарингский марш, и от звуков этой музыки черты лица Пуанкаре сделались тверже: это был его гимн. Он чувствовал себя Жанной д'Арк и Наполеоном одновременно.

И в эту минуту мне стало ясно, какая ужасная воля сидит в этом маленьком теле. Идея, внедрившаяся в сознание посредственного человека, вытесняет в нем все остальное. Она превращает его в неограниченного тирана, который все себе подчиняет.

Вот типичный скандал вокруг Пуанкаре.

Он происходит чисто по-французски.

В редакцию «Юманите» доставлен сенсационный снимок.

Пуанкаре посещает кладбище павших под Верденом бойцов.

Лес крестов с фамилиями мертвых солдат. На фоне его впереди — Пуанкаре рядом с американским посланником.

Позади — пара почтительных спутников: важный бородач-генерал и седовласый чиновник.

На снимке очень хорошее освещение. Лица прекрасно получились. Президент улыбается. На кладбище великих человеческих жертв Раймонд Пуанкаре улыбается своей неизменно-кокетливой бездушной улыбкой. Ему хорошо. От сытного завтрака, любезного разговора с долговязым американцем, от хорошей погоды и прекрасного воздуха на этом живописном кладбище среди бесконечных рядов крестов, которые он как-то в высокомерной речи назвал «мертвыми батальонами», — от всего этого он в хорошем настроении, и почему не улыбаться ему, хозяину среди живых и мертвых покорных слуг?

Редакция коммунистической газеты назвала замечательный снимок «Человек, который смеется».

Напечатанная в виде открытки, улыбающаяся маска «Пуанкаре-война» в течение двух недель распродана в ста тысячах экземпляров. Одна из сенсаций, какие любят и какими могут жить только французы.

Четвертого июля во французской палате депутатов происходили дебаты в присутствии председателя совета министров.

На повестке — вопрос о политике правительства в Тунисе. Докладчик Тетенже вносит запрос о большевистской пропаганде во французских колониях. В разгаре своего обличительного пыла он смотрит на скамью коммунистов и грозно замечает:

— Господин Вайян-Кутюрье, кажется, улыбается?

Вайян-Кутюрье с места веско и так, что слышно на всю палату, отвечает:

— Я часто улыбаюсь, но никогда не улыбался перед лицом мертвых.

Фраза падает тяжелой глыбой на министерскую скамью. Пуанкаре-война вскакивает и, побагровев, кричит:

— Объясните это отвратительное выражение!

Встав с места, повернувшись к премьеру, бледный от волнения, но владея собой, Вайян-Кутюрье чеканит слова:

— В то время, когда правительство «считало долгом» бежать из Парижа перед наступлением, мы, солдаты, накопляли достаточно ран и боли, чтобы теперь возмущаться официальной фотографией, на которой мы видим вас, г. Пуанкаре, улыбающимся перед крестами кладбища, некогда названными вами выстроившимися мертвыми батальонами! Мы видели улыбку человека,

об ответственности которого за ужасы войны мы еще поговорим.

Правая оглашается криками злобы. Несколько минут в палате стоит невероятный шум. Сквозь рев своих приближенных Пуанкаре отвечает, что Вайян-Кутюрье, вероятно, не смеет повторить своих слов, в которых трусость соединена с ложью.

Вайян спокойно замечает:

— Пока вы обвиняете в трусости меня, который сражался в то время, пока вы не смогли даже заключить мира, я могу только хохотать. Но вы не посмеете отрицать, что для бывших воинов, от имени которых я здесь говорю, которые помнят миллион семьсот тысяч смертей — для них ваша улыбка перед могилами — оскорбление.

Растерянный Пуанкаре пытается что-нибудь сказать в оправдание. Он лепечет о своей непричастности к началу войны. Он добавляет даже с несвойственной для его годов резвостью, что на кладбище он не улыбался, а только щурился от солнца... Апломб не оставляет его даже в минуты позора.

Палата бурлит котлом. Тунисские дела смяты. Пощечина горит на лице Пуанкаре-войны. Депутаты ждут продолжения. Премьер-министр требует немедленных объяснений от коммунистов. Пусть сейчас же будут открыты прения о виновниках войны! Пусть воссияет истина, а с ней и белоснежное миролюбие Раймонда! Видит бог, он никогда не хотел кровопролития!

Вайян-Кутюрье не смущен. Объяснять так объяснять. У него сейчас под рукой нет необходимых документов, но он готов говорить по памяти. На фронте у него были положения потруднее. Он готов.

Рассудительный Рауль Пере, председатель палаты, лучше понимает положение. Спасая потерявшегося Пуанкаре, он предоставляет Вайяну-Кутюрье слово лишь по личному поводу, а дебаты о виновниках войны переносит на завтра.

Весь трудящийся, живой, экспансивный уличный Париж восхищен. Вот когда наконец высекли Пуанкаре-войну! Вот когда он получил несколько пощечин!

Наутро «Юманите» печатает два увеличенных клише с пресловутого снимка. Надпись: «Кто улыбается от солнца, а кто щурится от него».

На клише ясно видно, что президент и американский посол улыбаются, не глядя на солнце. Сопровождающие же их генерал и чиновник — видимо, в менее радужном настроении — от того же солнца щурятся... Мелкая уловка Пуанкаре пропала даром.

У палаты толпы рабочих. Люди хотят хоть краем уха послушать, как будут сечь премьер-министра коммунисты Кашен и Вайян-Кутюрье. Конная полиция разгоняет. Она всегда и во всех капиталистических странах делает одно и то же, эта конная полиция.

Пуанкаре защищается. Адвокат собирает последние крохи красноречия, истощенного на восхваление бойни, чтобы доказать непричастность к ней. Верная правая рукоплещет, дрессированное большинство голосует. Премьер уцелевает, конные гвардейцы разгоняют толпу. В сенате обомшелые сановники дряхлыми голосами приветствуют обиженного этими отвратительными коммунистами председателя совета министров. Пока еще все на местах в Третьей республике...

Опять поворот колеса, и опять полный круг, и опять Пуанкаре-война у власти, уже в новом обличье — экономического вождя страны, восстановителя падавшего франка.

Но... он переутомился. Об этом пишут все парижские газеты.

В самом деле! Мы об этом никогда не думаем, а ведь это все кой-чего стоит! Ездить портить себе кровь в Геную! Не отпускать руки от шиворота Германии! Гнать тридцать тысяч репарационных комиссий! Занять Рур и не выпускать его из зубов! Читать в газете разоблачение! Слышать на улице и в палате оскорбления! Тревожно засыпать, еженощно оглядываясь вороватым взглядом на Восток!

Мы об этом не думали. Пуанкаре казался несокрушимым по здоровью и энергии, этот управдел буржуазной Франции со своими нафабренными речами и каллиграфически кудрявыми тостами.

Генуя, несмотря ни на что, не испортила ему настроения. Репарации только раздразнили его аппетит, уход Ллойд-Джорджа и укрепление Керзона развеселили его. Разоблачения коммунистов заставили его прикусить губу — не больше.

Почему же теперь заскрипел этот отлично смонтированный механизм, закачался отменный рысак из родовой конюшни Третьей республики, из «славной» стаи Клемансо, Мильерана, Барту, Доде?..

Парижские журналисты наперебой недоумевают:

— Пуанкаре нервничает! Гладкий, выутюженный Пуанкаре-война переутомился! Не кашляет ли он? Не переработался ли?

В качестве средства от переутомления Пуанкаре потребовал расширения полномочий правительства и вручения ему диктаторских прав.

Оно переутомилось — правительство Пуанкаре, правительство десяти адвокатов, десяти усердных стряпчих, Ротшильда, Шнейдера и Люберсака.

Она переутомилась — послевоенная французская крупная буржуазия, восседавшая на теле побежденного, старая ростовщица с накрашенными губами!

Они все устали, им пора на покой, а идти еще не хотят.

Пора, пора!

Самая любимая привязанность Пуанкаре-войны — это Советская страна. Старый чиновник молодеет от ярости, вспоминая государство рабочих и крестьян. У французского Победоносцева заново растут выпавшие зубы, когда он слышит об успехах Красной Москвы.

Российские рабочие досаждают господину Пуанкаре уже не первый год. Он имел неприятность встретиться с ними даже лицом к лицу...

В июле четырнадцатого года французский президент прибыл на броненосце для встречи с русским царем.

В маленьком городке Балтийский Порт начались празднества в честь важного гостя. Его величество Николай Романов принимал вместе с Раймондом Пуанкаре парад почетного конвоя. Ее величество Александра Федоровна была очень мила и любезна с французом. Придворный оркестр играл «Марсельезу».

Именно в эти дни рабочие Путиловского завода забастовали и начали выходить на улицу.

Неприятность, которой не было имени. В дни приезда французского президента, в торжественные, пышные, расшитые золотом дни «франко-русского единения» — рабочие волнения в столице!

Петербургскому корпусу жандармов пришлось потрудиться. Зная о приезде важного гостя, голодные путиловцы нисколько не хотели утихомириться. Наоборот, они — о, наглость — добавили к лозунгам своей демонстрации и имя некоронованного главы Третьей республики.

Еле-еле замяли скандал. Собственно, не замяли, а просто обе стороны — жандармы и Пуанкаре — уговорились ничего не замечать. Президент проехал два раза по нескольким огороженным полицией улицам, снимал цилиндр, испуганно озираясь на хмурые лица толпы. И умчался из Петербурга раньше срока. На горизонте низко нависли тучи. Пахло динамитом, мерещились дредноуты и скорострельные пушки. Близилась война, та, которую он всегда представлял пьедесталом своей настоящей славы.

Теперь путиловцы и весь рабочий класс России правят громадным государством. Теперь это величайшая в мире держава, возглавленная самой сильной в мире партией и самым прочным в мире правительством, самый факт существования которого кружит старую голову Пуанкаре-войны предчувствием своего конца. Читая о том, что в Москве разоблачена его собственная, Пуанкаре, роль в подготовке новой войны, он дрожит в бессильном бешенстве. Под напряженной улыбкой, демонстрирующей наглую беспечность, сквозит лихорадочный жар взбудораженного хищника. Оттого так двусмысленно висит заголовок над статьей в «Эксцельсиоре»: «Лихорадка Европы».

Да, лихорадка. Да, в Европе. Больное, исколотое тело лихорадит. Гноятся и ноют незажившие раны. Зловоние загнивающего класса все возрастает. Жадно вдыхая предвоенный смрад, старый хищник опять бродит вокруг жилых мест, он ждет крови, он нетерпеливо облизывается старым, ненасытным, пересохшим языком.

Пуанкаре-война хочет в истории занять место рядом с тигром — Клемансо. Но нет, это не тигр. Это другое, не менее, впрочем, опасное.

«По образу жизни шакал занимает среднее место между волком и лисицей, но более походит на первого. Его можно считать, может быть, за самый нахальный и докучливый вид диких собак. Он не боится человеческих поселений, врывается во внутренность деревень, даже сильно населенных городов, на скотные дворы, в хлевы и хватает там, что найдет. Своим нахальством он

гораздо непримиримее и докучливее, чем известным ночным воем, который он издает постоянно и продолжительно» (Брэм).

Шакал бегает, беснуется вокруг немцев:

«Мы покинули Рейнскую область. Нас не поблагодарили (!) за наш уход ничем, кроме еще более горьких упреков, чем когда-либо, за наш приход и пребывание. Пускай. Но теперь, если они пожелают отвергнуть сверх всего (!!) обязательства, добровольно (!!!) принятые на себя, я хочу думать, что протестовать будет не только Франция».

Побежденная Германия и непобежденный СССР одинаково мучают Пуанкаре-шакала, дурманят голову жадностью и тоской по крови. В Германии у власти финансовый капитал, там идут к власти фашисты. В Советском Союзе большевики строят социализм. Германия — на коленях. Советский Союз — на крепких ногах. Пуанкаре готов впиться когтями в горло обоих. Шакалу по душе падаль, но особенно лакомо живое мясо.

«Никогда советское государство не откажется от положения, которое оно приняло с первой минуты, а именно, необходимость и возможность социальной революции. Такая доктрина — если можно назвать доктриной это коллективное заблуждение — бесспорно исключает всякое искреннее участие в международном общении. Эта доктрина должна казаться всем другим правительствам опасностью, уберечься от которой они могут только путем всегда настороженной солидарности».

Мы знаем, что у Пуанкаре-шакала называется «настороженной солидарностью».

Это значит — подготовка к открытому нападению.

Это значит — организация заговоров внутри нашей страны, подкуп, диверсии, шпионаж, вредительство, блокада и, наконец, война.

Шакал бегает, судорожно готовит угасающие силы к решительному прыжку. Он хочет вцепиться в горло, пить горячую, живую, соленую кровь.

Но из этого может ничего не выйти. Старый ученый Брэм, знаток хищного мира, дает справку:

«На Востоке говорят, что шакалы нападают и на людей, но конечно, не на здоровых и взрослых, а больше на детей и больных»...

Пуанкаре принимает нас не за тех, кто мы есть. Это

будет горькое разочарование для него, если прыжок все-таки совершится.

Горькое и опасное. Здесь не больные и не дети.

Здесь взрослые и здоровые.

Это испытает на себе всякий, кто сунется в стаю Пуанкаре, кто сейчас подвывает дряхлому вожаку шакалов.

1930

Стачка в тумане

Мне сказали:

— В среду в Лондоне, в парламенте будут решаться судьбы правительства Макдональда. Хорошо бы посмотреть и описать это представление. Сегодня суббота, и мы в Москве. Вы успеете.

— Как сказать...

В воскресенье наш воздушный транспорт отдыхает.

Только в понедельник утром летчик Шибанов повез меня к Макдональду. Было жарко в кабине, над Смоленском я кончил газету, над Латвией дочитал книгу и закусил, над Литвой вздремнул, а в сумерках попрощался с летчиком на кенигсбергском аэродроме.

— Еще полчаса, и мы застряли бы из-за темноты в Ковно. Ваше счастье. Катите дальше.

Второй риск предвиделся в Берлине. Ночной поезд из Кенигсберга прибывает в половине восьмого. А в восемь двадцать уходит голландский экспресс. За это время надо купить билет и уладить кое-какие формальности.

Берлин не подвел. Пятьдесят минут волнений, и опять все в порядке. Мимо окон бежали Ганновер, Оснабрюк, Аахен. Глаза слипались. Сутки езды утомили здесь больше, чем неделя в русских вагонах.

На голландской границе встретили туман и слякоть. Замелькали непонятные личности в форменных фуражках. То ли кондуктора, то ли полицейские. Дождь бил в стекла, как в бубен.

В полночь поезд вкатился на каменный мол. Погода совсем испортилась. Через таможню и контроль вышли на сходни и на палубу парохода. Матрос объяснял по-английски шикарной даме, что Ламанш разгулялся и возможно опоздание.

Всю ночь качало, как в аду. У трех пассажиров сорвало шляпы. Двое раскатились и распластались на

мокрой палубе. Спать нельзя было: будили толчки и боязнь запоздать.

В Гавре на заре, на пустом вокзале одинокий джентльмен вымачивал обвислые усы в стакане сода-виски. Поезд ушел час назад, а следующий — в одиннадцать. В половине же второго в Лондоне в министерстве иностранных дел прекращают выдачу пропусков на заседание палаты. Пропал Макдональд, пропал Черчилль. И я не смогу рассказать Дени с Ефимовым, верно ли они рисуют Ллойд-Джорджа.

Но судьба снисходительна к настойчивым людям. В час тридцать я мчался с Ливерпульского вокзала в министерство иностранных дел. В час сорок пять вскочил в старинный подъезд Форейн-офис. Взбежал по мраморным ступеням. Чиновник, ведающий журналистами, замешкался в комнате. И я вырвал у него пропуск в палату.

Еще десять минут проталкивания через потоки машин и людей. Закопченные своды Вестминстерского аббатства. У входной арки толпа чающих попасть внутрь или хотя бы узнать новости из зала. Я-то пройду. У меня пропуск. Я не зря примчался сюда через всю Европу.

Монументальный бобби-полисмэн пропустил вверх и даже прикоснулся перчаткой к козырьку. Но наверху...

Наверху высокий тощий старикашка в туфлях, белых чулках, старинном камзоле и с какими-то программками в руках, точь-в-точь капельдинер из оперы, зашипел на меня и стал гнать вниз по лестнице.

— Но у меня пропуск!

— Вы, сэр, запоздали. Я вас не пущу. Приходите в пять часов, тогда будет перерыв, и вы пройдете.

— Но я позавчера был еще в Москве. Я летел сюда на аэроплане, на поезде, на пароходе. Я не спал две ночи. У меня билет. Я требую!

Старичок язвительно посмотрел сверху вниз.

— У вас там, в Москве, нет парламента, и вы не знаете, что это такое. Парламенту неинтересно, что вы спешили. Если вы стукнете дверью, вы помешаете парламенту заниматься. Сейчас говорит сэр Роберт Хорн. Никто в мире, кроме членов палаты, не смеет ему мешать.

Он помолчал и разместил бледные губы в форму улыбки. Настоящий англичанин решил в виде премии сострить:

— Если вы так быстро разъезжаете, отправляйтесь в Москву на файв-о-клок и возвращайтесь сюда к вечернему заседанию.

После этого немедленно повернулся ко мне тыловыми фалдами камзола и погрузил меня в ничтожество ледяным взглядом своей спины... Лететь из Москвы через сотни препятствий, попасть вовремя и остаться за дверьми из-за этого глупого старикашки. Какая досада! Черт бы его подрал.

Я все-таки перехитрил тогда, полтора года назад, старого служителя британского парламента. Когда он отвернулся, я проскользнул в зал и торжествовал победу. Я успел захватить сэра Роберта Хорна. Я спокойно слушал, как Макдональд усердно доказывал, что он первейший враг коммунизма, что он вне подозрений насчет любви к отечеству. Я больше не боялся старикашки, я знал, что он не посмеет меня вытащить назад. Потому что нельзя шуметь. Нельзя мешать парламенту заниматься. Никто в мире, кроме членов палаты, не смеет мешать. Ну-ка, попробуй, поганый старикашка, стукнуть дверью! Я первый прогоню тебя, покажу на тебя пальцем: вот кто мешает парламенту заниматься. Вот кто ниспровергает древнюю конституцию Великой Британии.

...Я совсем забыл о кознях старикашки против меня. И вот через два года он опять всплыл.

Забастовали.

Вы думаете — кто?

Углекопы? Грузчики? Железнодорожники? Печатники? Шоферы? Текстильщики?

Да, все они.

Но кроме них — мой старикашка и его товарищи. Все служители в английском парламенте.

Забастовали до того, что оставили палату даже без света. С одним, как говорится, воздухом.

И никто не сторожит сейчас у дверей. И парламент что-то такое разглагольствует промеж себя в темноте.

Старикашка. Вы ли? Что вы делаете? Вы против парламента? Разве вы не знаете, что это такое? Ведь парламенту ничто не должно мешать заниматься. Ведь никто в мире, кроме членов палаты, не смеет мешать. А вы? Вы сняли камзол и занимаетесь спортом в забастовочные дни по приказу профсоюзов?

Пока боролась против нужды и угнетения молодая рабочая Британия — это было одно. Но вот в числе драки

уже и «старая, добрая, честная Англия», эта послушная хозяевам, старомодная, скупая, добродетельно-ханжеская, чинопочитательная стихия. Это — уже другое. Это — ново. Это — заставляет задуматься. Кой-кого — очень встревожиться, кой-кого — мудро улыбнуться.

Жалею старикашку, если его только сшибла волна. Дарую ему амнистию, прощаю горькую обиду, поздравляю, если он, старикашка, сам, по своей воле, на старости лет поплыл против течения.

. . . .

Очень тонкая штука — диалектический материализм. И всякая иная диалектика. Сразу ее не возьмешь, на зуб не положишь. Чтобы понять, а главное овладеть, годы нужны. Да и то сказать — не всякий ученый может диалектикой вращать, как это требуется. Образование нужно. Цитаты, сноровка да и просто ум.

Если же вы лицо, обладающее некоторой властью над людьми и аппаратом, — тогда дело другое. Вот вы, скажем, министр, или летите к полюсу, или председатель жилтоварищества. Или редактор. Или первый любовник в губернской драмтруппе. Тогда вам диалектике долго учиться не надо. Могу вам предложить специальную, мною изобретенную, усовершенствованную патентованную складную карманную диалектику на всякий случай жизни. Легка, проста, удобна. Незаменима для дома и в путешествии.

Занимая какой-нибудь пост и пожелав применять к подчиненным или зависящим от вас лицам диалектику, запомните всего только два коротких выражения:

1) Мало ли что.

2) Тем более.

Автоматически чередуя в разговоре оба выражения, вы добьетесь блестящего результата. Ваш (зависящий от вас) собеседник не сможет ничего вам возразить, а вы немедленно приобретете репутацию рассудительного и твердого человека.

Вот пример. Вы во главе предприятия. К вам приходит представитель рабочих.

— Надо бы жалованьишко уплатить...

— Мало ли что!

— За два месяца зарплата причитается.

— Тем более.

— И по соцстраху задолженность.

— Мало ли что!

— Но ведь вы же как-никак администрация...
— Тем более.
— Рабочие требуют.
— Мало ли что!
— Мы их никак уговорить не можем.
— Тем более.
— Легковой автомобиль все-таки купили.
— Мало ли что!
— А еще режим экономии называется.
— Тем более.
— Мы в союз пожалуемся.
— Мало ли что!
— В городе узнают — скандал будет.
— Тем более.

...Поупражняйтесь, попробуйте. И всегда зависящий от вас собеседник будет угрем извиваться, выскребая из опустошенных закоулков головы последние доводы и аргументы. А вы, спокойный, твердый, ясный, как ясочка, свежий, будете, подобно автоматическому станку, подавать свои несокрушимые стандартизированные ответы, пока ваш противник в страхе не побежит от вас, неся неисчислимые потери. Или... пока он не размахнется и не...

Карманная диалектика изобретена мною давно. Опыты в лабораторном масштабе давали отличные результаты. Но пустить свое изобретение во всеобщее пользование я решаюсь только сейчас, после испытания его за границей.

Что происходит в Англии в дни этой прекрасной весенней стихийной пятимиллионной забастовки?

Правительство взывает:

— Это революция! Это почти гражданская война!

Либералы и правые социалисты успокаивают:

— Никакая не революция. Так себе, экономическая забастовочка. Неприятный случай.

Коммунисты и рабочие говорят:

— Еще не революция, но уже не случай. А серьезное столкновение классов и проба разных вещей.

Проба. В старой Англии решили заново перепробовать и проверить разные признанные ценности. А заодно испытывается и моя диалектика.

Английская буржуазия усмотрела в забастовке «посягательство на свободу и конституцию». Прекрасные голубые глаза Болдуина затуманились слезами. И защит-

ник британских свобод торопливо вытащил из жилетного кармана складную диалектику.

Пробуют шахтеры спросить у правительства:

— Вот вы за свободу. А почему же неприкосновенного депутата-коммуниста сделали прикосновенным и арестовали?

На это премьер-министр задумчиво гладит бритый подбородок и отвечает самым спокойным басом:

— Мало ли что!

— Вы объявили чрезвычайное положение, но ведь этим аннулированы все права парламента.

— Тем более.

— Вы защищаете священное право собственности, а во время забастовки применяете реквизицию, заградиловки, отымаете земли, строения, материалы.

— Мало ли что!

— Вы всегда негодуете на советский монопольный Внешторг, а когда с рабочими бороться — министр торговли закрывает порты, запрещает вывоз товаров.

— Тем более.

— Вы предписали почте не принимать рабочих телеграмм.

— Мало ли что!

— Вы говорили, что не участвуете в борьбе классов, а приготовили против них самолеты с бомбами, вызвали линейные корабли с пушками.

— Тем более.

— Вы охраняете «свободу слова» реакционных газет и в то же время разгоняете рабочие митинги.

— Мало ли что!

— Вы играете роль примирителей, а на самом деле разжигаете и провоцируете кровопролитие.

— Тем более.

Так долго и безысходно могли бы разговаривать английские рабочие с королевским правительством. Долго морщили бы они закопченные лбы, стараясь задать вопрос позаковыристее. А правительство, кокетливо рассматривая полированные ногти, чередовало бы с холодной, знаменитой английской ледяной вежливостью аккуратные ответы:

— Мало ли что!.. Тем более... Мало ли что...

К счастью для себя, рабочий класс Англии попытался прекратить разговоры по системе жилетно-карманной диалектики. Он решил взяться за диалектику настоящую.

Революционную. И чем бы ни кончилась великая стачка этого года, она — крупнейший шаг вперед. Почти прыжок. И не вниз, а вверх.

У английских рабочих впервые за много лет появился твердый голос. Хозяйская осанка. Боевой вид. Они уже «готовы драться, как черти». Не потому ли карманная диалектика королевского правительства начинает обращаться на его собственную голову?

. . . .

Лондонский туман сгустился. Показались и отвердели очертания нескольких зловещих фигур.

Очертания — премерзки. Фигуры — хорошо знакомые. Они плывут, близятся, лихо приплясывают.

По которому делу пляшут?

Свадьба или похороны?

Благонамеренные люди Англии уверяют, что не свадьба, не похороны. Что только игра в футбол было все это.

Перед самым срывом великой забастовки правительство настроилось на божественно-философское выражение лица. Оно старалось изобразить всеобщую стачку чем-то вроде наводнения или эпидемии скарлатины. Оттачивая оружие, одновременно толковало о событиях с подлинно христианским смирением.

Дескать, на земле мир и в человецех благоволение.

Дескать, массовое бедствие при трогательном единодушии населения. Бастующие не изъявляют никаких желаний, кроме как поскорее начать работу. Забастовщики усердно ходят в церковь и там замаливают свои тяжкие грехи перед хозяевами. Священники возносят молитвы о мире, а рабочие поддерживают благолепную мелодию псалтири бодрым стуком капающих на пол слез раскаяния.

И даже... И даже в футбол играют бастующие рабочие с полицейскими.

Игра в футбол — хорошая игра. Английская. В ней есть много разных правил, которые нельзя нарушать. Иначе получается не игра в футбол, а черт знает что.

Нельзя умышленно касаться мяча руками. Нельзя до удара подходить к мячу ближе, чем на девять метров. Нельзя после свободного удара вторично ударить мяч, пока его не коснется другой игрок. Нельзя ударять игрока руками или ногами в лицо или в живот. Нельзя выбивать партнеру зубы, стрелять в него из револьвера, са-

жать в тюрьму на срок до одного года и свыше, конфисковать его деньги в банке, производить у него обыски или распространять о нем клевету.

Во всякой футбольной игре очень большим авторитетом и правами пользуется судья. Эта авторитетная личность с зычным голосом и свистком в руках командует вовсю.

Судья делает предостережение невежливому игроку. Он, при желании, удаляет игрока с поля.

Судья может продолжить время игры или прекратить ее, если находит это нужным.

Судья, по официальным правилам, дает «свободный удар» в тех случаях, когда поведение одного из игроков кажется ему опасным или даже когда оно «кажется ему способным сделаться опасным».

Вот какими хорошими правами обладает судья.

Английские рабочие думали, что они ведут организованную борьбу с классом эксплуататоров и угнетателей. Они были счастливы сознанием, что собрали для борьбы невиданный кулак в пять миллионов человек. Они, честные, стойкие, пролетарии Британии, поставили на карту свое благосостояние, здоровье своих жен и маленьких детей для того, чтобы забастовкой солидарности поддержать братьев по классу.

Но для Макдональда и его помощников все это только игра в футбол. С мячиком, с камзолами двух цветов, с судьей.

Судья. До чего только не доходит холодное издевательство буржуазии! Консервативное правительство, которое с первого дня открыто стало на сторону предпринимателей и применяло все нажимы государственно-полицейского аппарата на рабочих, — оно еще привлекло к своему делу суд.

И судья, настоященский английский судья, даже в мантии и парике, со свистком в руках, явился на поле забастовки и стал распоряжаться.

Он даже не делал никаких предупреждений. Просто пустил в определенном направлении «свободный удар», свистнул, удалил негодных ему игроков с поля.

«Всеобщая забастовка — незаконна». Так постановил британский верховный суд.

И осанистые шулера, именуемые «рабочими лидерами», делают огорченный жест, разводят руками, сворачивают забастовку.

— Раз незаконно, это — дело другое. Мы думали, что законно, потому и бастовали.

— Если незаконно, тогда пожалуйста. Извиняемся... Ребята, разойдись. Потому — говорят, что незаконно. Ошибочка вышла.

Какими прохвостами надо быть, чтобы с серьезными лицами поддерживать подобную отвратительную комедию!

Трудно сказать. Предательство так же неописуемо, как северное сияние или пляски микроба в капле воды. Ученые, получите, пока не поздно, драгоценнейшую сыворотку подлости у Макдональда и Томаса. Она сохранится на долгие годы, ее будут с интересом исследовать даже тогда, когда вымрут всякие классовые аферисты.

Пять миллионов английских пролетариев стоят в безмолвии, обманутые и оплеванные кучкой политических преступников. Миллион горняков, храбрый отряд, отрезанный от армии, пытается пробиваться напролом, но что он может сделать, если в штабе измена?

Еще один удар, еще один урок. Еще одно историческое подтверждение:

Когда играешь с буржуазией, играй без судьи и примирителя. До результата, до полного конца, иначе проиграешь...

. . . .

Англичане едят два завтрака. Так у них заведено с давних времен.

Первый завтрак — ранний. Его едят тотчас после сна. Зовется он «брекфест» и, по обычаю, состоит из овсяной каши на воде да яичницы с ветчиной. Объясняли мне, что брекфест в Англии один и тот же и у короля и у последнего бродяги. Проверить это полностью не удалось: у короля я так и не побывал, а рабочие в Баттерси при мне ограничивались только первым блюдом.

Второй завтрак, называемый «ленч», происходит около часу дня, и при нем допускаются всякие вольности. Кто поскромнее — ограничивается четырьмя блюдами и хорошим вином. Кто поозорней — нагло грызет вчерашние сухари или бесстыдно сосет собственную лапу, запивая водой из крана.

Эти объяснения не лишни всякому, кто хочет узнать о лондонском завтраке, который устроила редакция «Вестминстер газетт».

Нет сомнений, что завтрак, организованный редакцией старой английской либеральной газеты, был не брекфестом, а ленчем. Настоящим ленчем, какой бывает у бодрых деловых людей после первой половины рабочего дня.

Завтрак устроен был редакцией не по-пустому. Она превратила завтрак этот в большую политическую демонстрацию.

Завтрак «за мир в промышленности».

Группа друзей, работающих в разных, так сказать, ведомствах, но объединенных общими стремлениями, общими идеями, общим хозяином, — только что свободно вздохнула после тяжелой страды. Миновала мучительная передряга, свалилась такая большая гора с плеч, что не грех выпить и закусить, постучать ножами и вилками, позвенеть стаканами.

Стачка углекопов наконец сломлена. Горняки сдаются, не в силах будучи дальше голодать. Как же тут не позавтракать?

...Горняки не могут дальше помирать с голоду.

— А мы что говорили? — с торжествующим укором простирают руки здравомыслящие люди из английской рабочей партии. — Разве же можно было столько упорствовать, не имея средств?

Миллион пролетариев умирал с голоду в течение полугода на глазах у вождей английских профсоюзов. И когда свалились с ног, когда не в силах были дальше стоять, деловые джентльмены, удовлетворенно мотнув головами, усаживаются за торжественный завтрак в честь «мира в промышленности».

Да, да, это не выдумка и не извращение. В завтраке, устроенном буржуазной газетой, участвовали, кроме главы, шахтовладельца Белла, директор крупнейших английских предприятий, — кроме них за завтраком сидели председатели и секретари крупнейших английских профсоюзов. Тут и бывший председатель рабочей партии Вильямс, и секретарь железнодорожников Кремп, и председатель текстильщиков Бен-Торнер... Есть и знаменитый Варли, член исполкома горняков, пытавшийся сорвать стачку в самом начале ее.

Над распростертыми телами изнемогших от голода горнорабочих воздвигают стол, и за ним сообща завтракают профсоюзные воротилы вместе с победившими банкирами и фабрикантами. Это не вымысел, не карикатура

советского художника, не символическое изображение. Это настоящий, добротный, нерушимый факт.

Велико, необозримо историческое значение забастовки горняков, включая все обрамляющие ее события. И этот незабываемый завтрак после забастовки, он тоже войдет в историю классовой борьбы, его тоже врежет в свою память всякий, слыхавший о великой стачке.

. . . .

У нас выходят из памяти библейские сравнения и выражения.

Даже объявлена им война.

Но можно сказать уверенно: не ко всем библейским выражениям даже новое наше поколение безучастно.

Попробуйте сказать человеку:

«Ну и хам же вы. Старуху за дверь вытолкали». Ваш собеседник, если и не изучал в тонкости похождений троих сыновей Ноя, — нисколько не будет польщен вашим сравнением.

Заявите многословному оратору: «Вы, товарищ, покороче, а то вы от самого Адама начали», собрание, даже не состоя из лиц, окончивших духовную академию, горячо вас поддержит.

Если задний воз наскочит на передний и сокрушит колесо, необразованная личность с кнутом вполне свободно скажет, обернувшись назад:

— Ах ты, Каин! Вот ужо я тебя, холера паршивая!

Когда вы попробуете всерьез разбирать пьяную ссору на улице, сторона, обиженная вашим приговором, вставит, расцветив свою бесхитростную речь незатейливым домотканным матом:

— Тоже царь Соломон выискался... Растак вашу перетак.

А мужичок, ни в каких отродясь не бывший семинариях, намучившись в тоскливой канители от стола к столу, скребя затылок, взмолится:

— Что за Голгофа! Почему вы меня, товарищи, все от Понтия к Пилату посылаете?

На заседании английского съезда профсоюзов выступал Иуда. Пусть кто-нибудь докажет, что слово «Иуда» менее понятно, чем «социал-соглашатель» или «реформист».

На съезде выступал именно Иуда, и это засвидетельствовано даже в протоколе и стенографическом отчете.

«При первых же словах Бромлея разразилась буря. Выкрики и шиканье создали неописуемый шум. Большинство делегатов повскакало с мест. Представители горняков кричали: «Бромлей, Иуда, долой с трибуны!».

Бромлей, виднейший английский профсоюзный чиновник, член генерального совета, прославился тем, что в самый разгар горняцкой забастовки напечатал статью, решительно требующую немедленного ее прекращения.

Именно этому Бромлею генеральный совет поручил говорить на съезде по вопросу о помощи горнякам. Именно он выступал в защиту предложенной генеральным советом резолюции по горняцкому вопросу.

Приятно, когда выступающий оратор близко связан со своей темой и считает ее для себя родной. Рекомендуется поручать глухонемому доклад о задачах оперного искусства, вегетарианцу — о работе на скотобойнях... Присутствовавшие на съезде горняки, услышав имя Бромлея как докладчика по их делам, горько возмутились:

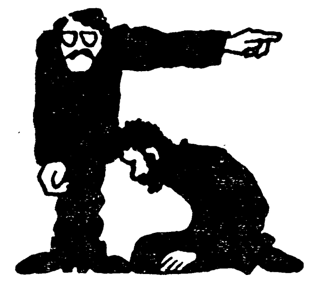
— Неужели генеральный совет сознательно хочет оскорбить горняков?

Очевидно, именно так. Генеральный совет сознательно хотел оскорбить горняков. И оскорбил. Скандал не помог. Горняки бесновались, а Бромлей сказал все-таки свою речь и провел свою резолюцию.

Вы представляете себе эту картину? Горняки приезжают не к капиталистам, а к профсоюзным товарищам. И там их оскорбляют. Не капиталисты, а профсоюзный съезд доводит их до исступления. Заставляя кричать, шуметь, топать, стучать кулаками по столу. Чуть что не грызть зубами доски пюпитров. Назначает ненавистного им человека — Иуду, по их словам, — решать их судьбу. И Иуда налагает умерщвляющую резолюцию на их жен и детей, заставляет их испить «в товарищеской среде» самую отвратительную чашу унижения.

Как же должны вести себя тогда с горняками капиталисты? Будут ли стесняться изголодавшихся рабочих их английские «хозяевы», если солидарные товарищи оплевали горняков и отказали им в помощи?

...Да, конечно, мы должны сдать библейскую словесность в архив. Только раньше использовать ее до конца. Разве английское предательство имело себе равное со времен Адама? Нынешние опекуны британского рабочего класса посылали горняков от Понтия к Пила-



Бороться со всеми врагами рационализации — наш общий долг.

Но среди врагов до сих пор — еще

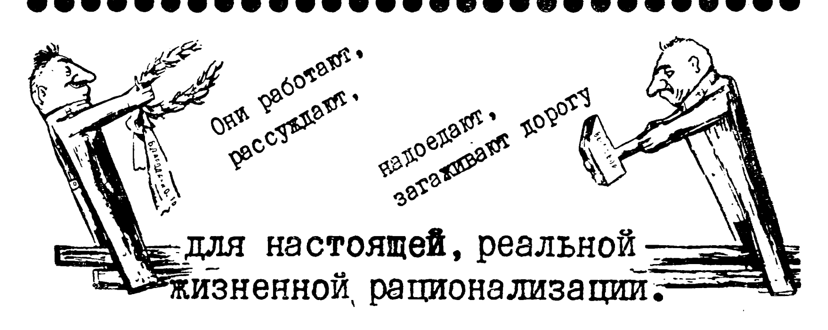
и еще!

продолжают занимать видное место

Чепухевичи.

Многодумные чиновники
в погонах рационализаторов
и с функциями дезорганизаторов.

Чепухевичи не переводятся!



Они гораздо опаснее

в роли друзей,

чем в настоящем своем
облике врагов.

Расспросы с участием (1928)

ту без конца и до конца. После четырехмесячной Голгофы мучений обещали вынести Соломоново решение и кончили хамской выходкой, выпустив Иуду в роли спасителя горняков. Да горит долго Каинова печать на их лбах.

И всякий рабочий, и всякий крестьянин нашей страны — читал он или не читал библию — поймет, что произошло на съезде в Борнемуте. И почувствует. И оценит. И запомнит это.

. . . .

Сегодня перед моими глазами Манчестер, узкие трубы, асфальтовые поля, пчелиное жужжание больших веретен, несветлые залы с хлопчатобумажной сушью воздуха, косой дождь, завывание норд-оста в каменной дыре. И глобстер — мясистый рак, не умещающийся на тарелке, и поридж — сладковатая каша, сваренная в горячей воде. И каменный порог трактира, и шаткая фигура рабочего в дверях.

Вы были в Манчестере на фабрике Гильмор?

Если не были, идите в посольство за визой, ждите вечность, соберите деньги, потом пересеките шесть стран, по морю, доберитесь до туманного Манчестера.

Или — скорее и короче. Откройте первый том «Капитала», снимите кепку, тихонько минуйте посвящение и оглавление, скромно выслушайте добродушную нотацию Ивана Ивановича Степанова о пользе иностранных слов, пробегите мимо величественной колоннады предисловий Маркса и Энгельса, пробейтесь через колючий кустарник «товара», «обмена», «разделения труда» к «крупной промышленности». И здесь, в относительной глуши, на четыреста тринадцатой странице вы попадете к почтенным братьям Гильмор, прядильщикам Манчестера.

Эти энергичные хозяева были когда-то пионерами в установке новых машин. Они были очень довольны своими новыми машинами. Рабочие доставляли господам Гильмор гораздо меньше удовольствия. Если вы не поленитесь осторожно спуститься в подземелье четыреста четырнадцатой страницы, то узнаете, что новые машины принесли рабочим понижение заработной платы и вызвали забастовку...

Так вот про ткачей фабрики Гильмор до сих пор ходит в Манчестере хмурый, но соленый рабочий анекдот.

Некогда был обычай нанимать при похоронах плакальщиков. За жалкую плату бедняки оравой ходили за

гробом зажиточного покойника и рыдали навзрыд истошными голосами.

В Манчестере специалистами по такому плачу считались рабочие Гильмора. Видимо, очень сладко жилось им в прядильне: за несколько побочных пенсов они изливали наболевшую душу за любым «желающим гробом».

Но однажды, когда родственники очередного покойника прибежали к гильморовцам по их похоронной специальности, ткачи наотрез и усмехаясь отказались:

— Сегодня мы никак не можем плакать.

— Почему?

— Мистер Гильмор, наш хозяин, сегодня умер.

Старые ткачи, прародители пролетариата, — сегодня ваш образ витает над рабочим классом Англии.

Только что состоялось вооруженное перемирие вокруг черных ям английских угольных шахт. Консервативное правительство ловким маневром предотвратило накипавшую грандиозную забастовку. Змеиным броском Болдуин и его друзья думают предотвратить кризис каменноугольной и соседних с ней промышленностей. Но уже сделав миролюбивое лицо, криво улыбнувшись влево, английские капиталисты сейчас же перешли в наступление. И уже вышвыривают рабочих представителей из комиссии по обследованию копей.

И что же в такой момент делает «рабочая» партия?

Как ведут себя Макдональд и его друзья?

В эти сдавленные дни британские социалисты заняли позицию правее, чем черносотенное правительство.

Трудно поверить. Но теперь, «после» каменноугольного кризиса, «рабочие» вожди Макдональд и Томас обвиняют правительство... в потворстве рабочим.

Добрый Томас в большой речи заявил, что пагубно прививать рабочим убеждение, будто забастовками они добиваются своей цели. Болдуин вступил на этот путь, и он, Томас, всячески это осуждает... Почти в тот же день неунывающий остряк Ллойд-Джордж, под хохот всей палаты, заявил министру финансов Черчиллю: «Вы грозились когда-то, что разобьете большевиков на Волге. А теперь большевики разбили вас (в угольном конфликте) на Темзе». В воскресенье Томас со своей семьей, прибыв в гости к Ллойд-Джорджу, провел у него два дня, после чего рабочий и буржуазный вожди, выступив на митинге, заявили, что «являются врагами только официально, по существу же — состоят в тесной дружбе».

А серьезный, глубокомысленный Макдональд в ту же историческую неделю заявил, что правительство, пойдя навстречу рабочим, только усилило коммунистов и прочие вредные элементы.

Выброшенная из министерских кресел партия Макдональда решила какими угодно мерами вернуть себе расположение буржуазии. Готова перещеголять даже консерваторов. Лижет заводчикам все места...

Повернувшись «лицом к шахтовладельцу», английская социалистическая партия выставила пролетариям Англии свою ничем не прикрытую, жалкую, комическую, малопривлекательную... тыловую часть.

Но было бы ошибкой британских рабочих горевать. Они скажут, повторив усмешку стариков:

— Мы не можем сегодня плакать. Ведь сегодня для нас умерли мистер Макдональд и его друзья.

. . . .

Один остряк ехидно меня спросил:

— Нельзя ли получить назад червонец, который я вложил в английскую забастовку? Ведь спектакль не состоялся.

Я не поверю остряку-злопыхателю, что он внес в дело британского пролетариата хоть одну копейку. Но если бы даже так, предлагаю ему новое выгодное помещение денег.

Газета «Таймс» открыла сбор в пользу полицейских, «славно поработавших» в дни всеобщей стачки. Вот куда вам надо внести ваш червонец, дорогой шутник.

Вчера — фонд забастовщиков. Сегодня — фонд полицейских.

Вчера вожди генерального совета профсоюзов клялись, что доведут борьбу до конца. Сегодня они подписывают признание, что забастовка была преступлением.

Вчера рабочие требовали надбавок к своему нищенскому заработку. Сегодня капиталисты берут с них обязательства возмещения убытков из их тощих рабочих кошельков.

Вчера транспортники показывали пример трудовой солидарности. Сегодня их союз согласился на прием служащих «по мере необходимости и по принципу старшинства».

Словно не в живой подлинной жизни, а на маленькой сцене красноармейского клуба кто-то быстро передвинул декорации агитспектакля. Картина первая — «пролетариат наступает». Картина вторая — «буржуазия наступает»... Пусть теперь кто-нибудь скажет, что наши агитационные пьески оторваны от жизни.

Как кому, а нам вполне по вкусу такой быстрый темп событий. Лучше, конечно, чтобы стачка не кончалась. Но ведь в случае благоприятного исхода она рано или поздно вылилась бы в нечто более решительное... Сама быстрота смены декораций после срыва забастовки заслуживает всяческих похвал.

В прежнее время кровь в жилах классового общества двигалась медленнее. Пока пролетариат дойдет до всеобщей забастовки, пока она провалится, пока реакция и разгул буржуазии дойдут до полного градуса, пока рабочие разберутся в предательстве своих вождей, пока они от этих людей отшатнутся, пока их уныние породит пассивность, пока пассивность перейдет опять в бурное действие, — сколько времени на все это уйдет! О знаменитой брюссельской забастовке судили, рядили и теоретизировали двадцать лет. Разве не сократились все эти сроки чуть ли не в двадцать раз?

Позавчера — густая ночь. Вчера — ослепительный полдень. Сегодня — опять сумерки, а завтра... разве не завтра опять рассвет британского пролетариата?

Английские рабочие научились разбираться в вещах. Более того: уметь выражать свои мысли нужными словами. Лондонские железнодорожники сказали о соглашении, которое подписал генеральный совет:

— Это соглашение носит подозрительный характер и внушает омерзение.

Точнее выразиться, кажется, невозможно. Но горнорабочие выразились еще точнее. Даже представитель их правого крыла заявил:

— Прекращение всеобщей забастовки означает гнусную сдачу.

Мы видим, что рабочие вполне точно выражают свое мнение о поступках профсоюзных чиновников. Но так же определенно говорят они и о самих вершителях этих поступков:

— Профсоюзы должны найти себе новых вождей, которые хотят бороться, а не бежать от борьбы.

В прежнее время нужны были целые годы пропаганды, штабеля книг, кипы брошюр и ливни листовок, чтобы внедрить в запуганные головы подобные мысли. Теперь они возникают и укрепляются в коллективном мозгу пролетариев в течение дней, чуть ли не часов.

А если так — нам не страшно. Если так — мы верим, что быстро доживем до новой смены декораций на английской сцене. «Черная пятница», одно из крупных поражений английских горняков, привела их через пять лет к новому бою. Мы верим, что «желтая среда» 12 мая 1926 года найдет отклик в истории впятеро скорее.

Нам кажется, что история плетется черепашьим шагом. А ведь она несется все быстрее, еле успевая забирать воду на остановках. Избалованные пассажиры...

1926

Кондуктор Никс

Где же длинная пушистая его борода?

Бороды больше нет, представьте себе!

Кончилась борода.

Самое главное свое украшение, гордость семьи, известную всему району длинную светлую бороду, он взял да и сбросил. Оставил только усы неопределенного размера и формы.

Без этой бороды не узнать человека.

Никогда в жизни его не узнать, если бы не брови.

Брови сделаны из того же материала, что и борода. Из светлого, почти белого пушистого вещества. Громадные широкие дуги из белой мягкой пакли над маленькими голубыми точками глаз.

По этим дугам его можно узнать и без бороды. С трудом, но можно.

Почему же все-таки кончилась борода?

Что стряслось с бородой?

Какая исполинская сила, откуда возникла, как направила свой удар по бороде? Какая титаническая борьба предшествовала гибели заслуженной бороды кондуктора Никса?

Кондуктор, а где же твой мундир?

Где мундир со светлыми пуговицами, чистенький мундир, чистенький зеленый мундир со светлыми пуговицами, чистенький заплатанный мундир, мундир чистенький, как честная бедность, — где твой, знакомый всем чистенький мундир?

Никс не в мундире, а в вязаной курточке, стоит на углу Тверской и Охотного, на тротуарном бережку, смотрит сразу во все стороны, поворачивает, нет, не бороду, теперь только брови, то направо, то налево, то вперед себя.

Милиционер в шлеме удерживает кончиками пальцев поднятой руки два длинных встречных хвоста автомобилей. Людские струи остановились по обе стороны улицы, перебрызгиваются отдельными каплями нетерпеливых прохожих. Над громадным котлованом новой постройки плотники и каменщики возятся позади многоэтажной махины — макета метрополитена и теплоцентрали.

Никс поворачивает брови, он повелительно стучит согнутым пальцем в рукава своих спутников, как стучат в дверь люди, торопящиеся и имеющие право войти.

Он восклицает:

— Ризигер бау!

— Нейе милицуниформ!

— Филь мэр аутос!

— Громадная постройка!

— Новая форма милиции!

— Гораздо больше автомобилей!

Спутники Никса слушают напряженно и внимательно, даже немного испуганно. Они уже слегка обалдели, хотя только вчера вышли из-под арки вокзала. Вспотевшие пальцы прилипли к записным книжкам. Спутники хмурят брови. Держа книжки на весу, записывают: «Громадная постройка; новая форма милиции; гораздо больше автомобилей».

Никс опускает с тротуара кончик сапога и осторожно, как купальщики пробуют ногами холодную воду, прикасается к асфальту.

— Юбераль нейес пфастер!

— Всюду новая мостовая!

Спутники строго заносят в книжки: «Всюду новая мостовая!»

Никс смотрит на трехвагонный трамвайный поезд, набитый, напиханный, увешанный людьми. В глазах у него страдание. Отрывисто рубит:

— Штрассенбанмангель!

— Недостаток трамваев!

Спутники удрученно качают головами, записывают: «Недостаток трамваев!» Они еще раз вопросительно смотрят на Никса. Ведь он трамвайный кондуктор, он должен понять и объяснить, в чем тут дело.

Никс краток. Он отрубает плотные составные немецкие слова, неуклюжие, крепко сколоченные существительные, без местоимений, без прилагательных, даже без глаголов.

— Бефелькерунгцувакс! Безухерфермерунг! Унтергрундбау!

— Прирост населения! Увеличение числа приезжих! Постройка метрополитена!

Спутники облегченно добавляют в книжках: «прирост, приезжие, метрополитен».

Тысячи и тысячи иностранцев прибывают и высаживаются на Западном вокзале в Москве. Малая часть стремительно пожирает икру в «Метрополе», прицениваемся к статуэткам в Торгсине, долго разглядывает издали подъезд Коминтерна и спрашивает об обратном поезде.

Большая часть рассыпается пешими кучками по городу, снует по заводам и школам, разглядывает, ощупывает каждую мелочь, изучает и постигает смысл каждого кирпича.

Урожденные обитатели громадных городов, мировых столиц в Москве вдруг превращаются в провинциалов.

Почему так?

Потому что приезжий иностранец, особенно рабочий, особенно революционер и коммунист, ищет и находит специальное значение и смысл в тысячах вещей, какие совершенно не останавливают советского глаза, какие для нас примелькались уже много лет назад.

В буржуазной печати любят иронически называть Москву «Меккой коммунизма».

Ну, что ж. Если хотите — своего рода Мекка.

Облинялая вывеска рабочего диспансера, ночного санатория — для нас будни. Кондуктор Рихард Никс стоит с товарищами перед вывеской десять минут. Он, бывалый человек, когда первый раз приезжал в Москву, посетил санаторий, записал адрес и сейчас, стесняясь

войти без приглашения, показывает своим спутникам дом снаружи.

Да, если хотите, — Мекка. Для рабочего, для коммуниста путешествие в Москву — это событие на всю жизнь, событие не географического, а политического, морального смысла, значения, поворотный, часто решающий биографический факт.

Кондуктор Никс вступил в партию восемь лет назад. Он ходил на собрания и слушал речи.

Он аккуратно платил членские взносы и собирал на своей улице подписчиков для «Роте фане», он сурово молчал, гладил светлую, пушистую свою бороду, когда на него наседали социал-демократы.

Коммунистическая ячейка имела в трамвайном парке пять человек, и все были молчаливы, и все старались не говорить вслух о политике, потому что сейчас же, как из-под земли, вырастали меньшевики и начинали попрекать, стыдить — почему они, коммунисты, марают большевизмом старинную социал-демократическую организацию, — ведь сюда приезжал говорить речь сам товарищ Штампфер, — что скажет товарищ Штампфер, если узнает, что в нейкельнском трамвайном парке завелись большевики?!

Ячейка таилась и молчала, она застряла крохотным островком в меньшевистских водах. Ячейка аккуратно выполняла партийные обязанности, но не росла, ячейка дремала от собрания до собрания. От всего этого Никс заскучал, начал нервничать и злиться.

Он стал запальчив и надменен, взял себе за привычку требовать по каждому вопросу голосования и в три недели довел остальных четверых до белого каления.

Вся ячейка, рискуя остаться без работы, устроила общий прогул по болезни и с шумом, с грохотом ввалилась в партийный комитет. Никс-борода орал больше всех, заявил, что его жмет ячейковый режим, что чем такая жизнь — лучше отравиться газом. Его тут же исключили из партии.

Выслушав решение, Никс заявил, что плакать не будет и даже очень рад, надел кондукторскую свою фуражку, проверил, застегнуты ли все пуговицы на мундире, и ушел не попрощавшись.

Кондуктор Никс никуда не ходил, ничего не читал, стал желтый, почти как его борода, и угрюмо рассеян, в трамвае сделал просчет на двенадцать марок, так что

жене пришлось закладывать швейную машинку. Никс не здоровался ни с кем из бывших партийных товарищей, был тревожен, непонятен, и тут пришло неожиданное.

Рихард Никс как старый рабочий, как почтенный человек был избран в состав рабочей делегации в Москву.

Три вечера подряд в партийном комитете жарко спорили и воевали — допускать или не допускать поездку Рихарда Никса как рабочего делегата в Москву, делать или не делать ему отвод в Обществе друзей Советского Союза.

Целый ряд нейкельнских коммунистов доказывал, что с Никсом-бородой никто еще не вел разъяснительной работы, что в ячейке и в комитете к нему подошли слишком поспешно, что он еще сам по-настоящему не осознал своего ухода из партии, что нельзя так легко и просто отсекать таких рабочих, как Никс.

Кондуктор ничего не знал, ни о чем не подозревал — он только побледнел и потупился, когда пришли и сказали, что ему предстоит поездка.

Ничего не сказал, целые сутки ни с кем не разговаривал, а потом лихорадочно, нервозно стал собираться в путь.

Кондуктор Никс оказался самым деятельным и бурным участником делегации. Пять недель, в Москве и в Ленинграде, в Харькове и на Днепрострое, он почти совершенно не спал.

С утра до вечера ходил, волновался, расспрашивал, внюхивался в тысячи мелочей, пробовал учиться по-русски, чуть не плакал от отчаяния, что это так трудно.

Записывал без конца, заносил все, что видел и слышал кругом себя, в толстую записную тетрадь. В Запорожье на вокзале беспризорный украл у него записную книгу, он чуть не поседел с горя, но попросил себе новый блокнот и стал на память, задним числом восстанавливать все до последней крошки, по дням, начиная с переезда советской границы.

До приезда в Союз Никс оратором не числился, на собраниях не выступал. Здесь на громкие требования рабочих рассказать, как живется в Германии, кондуктор стал, конфузясь, выходить на трибуну и произносить речи, коротенькие, по нескольку фраз, потом более длинные.

Его волновало двойное соприкосновение со слушателями. Сначала рабочие не понимали ни слова, слушали

незнакомую музыку немецкого разговора, одобрительно разглядывали его, дружно аплодировали. Потом, слушая переводчика, оживлялись и хлопали второй раз, узнавая подлинный смысл незнакомых звуков.

Трамвайщики приняли Никса горячо, только очень смеялись над его бородой.

— У нас таких и в деревне теперь не носят!

— Ты бы, дружок, ее отпилил и в русскую баню прошелся: там ее вместо мочалки приспособил бы.

Никсу переводили рабочие шутки — смеялся, но втайне был огорчен. Едучи в Москву, он ожидал увидеть сплошь бородатых русских кондукторов и достойно соответствовать им по внешности.

После трудного мартовского тура президентских выборов я увидел знакомого по Москве Рихарда Никса. Он стоял на трибуне нейкельнского районного партийного актива.

Пуговицы на кондукторском мундире потускнели, зато получили блеск, шире раскрылись глаза, твердым стал голос, уверенными стали жесты. И мне сказали с уважением:

— Вы его знаете? Это Никс-борода, молодец парень. Секретарь большой ячейки у трамвайщиков. Сам сколотил ее за полтора года на предприятии.

Рихард Никс говорил сурово и резко. Он осуждал выступавших до него секретарей других ячеек, их объяснения отдельных неудач на выборах причинами общеконъюнктурного порядка.

— В Советской России это называется «объективе грунде» — «объективные причины»! И за это там бьют! Вокруг нашего трамвайного парка было глубокое меньшевистское болото! Но наша ячейка работала 2 недели на полном ходу. Мы по ночам обходили квартиры и провели беседы с рабочими, с их женами, с безработными, мы добились, чтобы каждая листовка прочитывалась не меньше чем пятью человеками! Мы развесили красные флаги в окнах квартир, мы сбились с ног перед выборами! Но зато на всех трех избирательных пунктах нашего квартала было сорок голосов за Гинденбурга, а все остальные — за нашего красного кандидата! Что же, по-вашему, за углом живут худшие рабочие, чем у нас? Или буржуи там живут?! Такие же рабочие, но ячейка там

плоха. Мы ее вызвали на соревнование по подготовке к избирательной кампании, и ребята даже не потрудились договориться с нами. И вот вам результат!..

...Улучив несколько дней среди тяжелых классовых битв, кондуктор Никс приехал в Москву глотнуть свежего воздуха, отдохнуть головой на первомайском празднике «по ту сторону».

Но голова не отдыхает.

Голова опять полна ворохом событий и фактов. Опять надо поминутно хвататься за записную книжку — ах, черт, зачем тот окаянный мальчишка украл тогда первые записи!

Надо записать про первомайский порядок на Красной площади. Отметить выражение лиц военных атташе.

И тот факт, марксистски трудно объяснимый, что с раннего утра стояли густые тучи и даже накрапывал дождик, а когда молодые красноармейцы стали повторять за Ворошиловым присягу, — вдруг как выглянет солнце — и уже на весь день!

И записать, что комсомолки маршировали ничуть не хуже обученных бойцов, а пионеры — не хуже комсомольцев.

И указать, что, во-первых, имен всех демонстрировавших заводов привести нет возможности за незнанием русского языка, во-вторых, что это излишне, так как демонстрировали на Красной площади все без исключения московские предприятия и учреждения.

Да еще надо все объяснять своим спутникам. Ведь они новички, многого не понимают.

— Слушай, Никс-борода, на улицах все-таки грязновато...

Никс-борода теперь бритый. Он решил не показываться в Москву на пороге второй пятилетки со своим отсталым украшением. Он сдвигает мочальные брови над весенней слякотью Тверской. Он чувствует себя ответственным за нее, как если бы он был Николаем Булганиным, председателем Моссовета. И отвечает веско, твердо, как участник в деле, по обыкновению без глаголов и местоимений:

— Энорме бессерунг! Нехстем маль ганц герегельт!

— Громадное улучшение! К следующему приезду полное урегулирование!

1932

Женева — город мира

1

Лозаннцы завидуют. Ах, как они завидуют этим толстым самодовольным женевским ханжам! Если бы могли лозаннцы, утопили бы в озере всю Женеву.

Который год везет Женеве и дьявольски не везет Лозанне. Ведь, кажется, ничем Лозанна не хуже Женевы. Даже лучше. Веселее. Французистее. Нравы свободнее. Еда вкуснее. Женщины снисходительнее. И все это зря. Все пропадает без применения.

От самого двадцать третьего года никак не могут лозаннцы заманить к себе хорошую, хлебную конференцию. Все попадает другим городам. Одну конференцию обещали им наверняка — репарационную. Так она, несчастная, никак не может собраться. Уже три раза ремонтировали лозаннские трактирщики свое заведение. И все понапрасну.

Лозаннцы скрипят зубами, когда начинают пересчитывать все блага, что валятся каждый год на Женеву. Сколько собраний, пленумов, конференций, комиссий, подкомиссий, конгрессов — и все это достается только одному городу. Как бы ни повернулись дела, что бы ни постановили великие и малые державы — все всегда поворачивается Женеве на пользу. В двадцать пятом году в Женеве должна была состояться долгожданная конференция по разоружению. У лозаннцев только слюнки текли. Конференцию отложили на неопределенное время. Лозаннцы плясали от радости. Но в утешение Женева получила подготовительную комиссию: целых шесть сессий — по существу еще шесть добавочных конференций, да еще седьмая, отложенная и все-таки состоявшаяся. Лозаннцы ходят черные от злобы. Женевцы холодно торжествуют.

Город опять и опять набухает иностранными деньгами, как губка. Методически, организованно, каждой пóрой, каждой клеточкой впитывает в себя золото, прихлынувшее со всех концов мира. В официальном путеводителе, изданном к конференции, после списка отелей и пансионов дан список частных семей, могущих принять к себе на жительство по нескольку господ с дамами. Потом — список семей, принимающих только господ, только дам. Потом — семьи, принимающие на жительство маль-

чиков, девочек, семьи, предлагающие комнаты со столом, комнаты с завтраком, только комнаты, только стол...

Книжные магазины заваливают приезжих грудами каталогов на всех языках, литературой по военным, дипломатическим, международным вопросам. Карты, справочники, диаграммы, статистика вооружений, тысячи таблиц, миллионы цифр — сложнейшая маскировка истинных фактов, истинных размеров чудовищных вооружений больших и малых империалистических держав. Справочникам никто не верит, над таблицами смеются, но каждый считает своим долгом обзавестись библиотекой, подчеркивающей глубину интереса ее обладателя к наболевшим проблемам послевоенного милитаризма.

Швейцарский телефон и телеграф прильнули к Женеве, как к единственному родному дитяти. Делегатам, экспертам, корреспондентам предложены льготные условия связи. Открыты новые телеграфные отделения, международные переговорные пункты, проведены специальные кабели. В зале пленумов, у каждого корреспондентского пюпитра — радиотелефонный аппарат. Чтобы послать телеграмму, радиограмму, спешное письмо, не надо никуда идти, не надо спешить. Достаточно написать, мигнуть курьеру, отдать — и дальше за вас уже будет спешить, мчаться, сломя голову, сама почта. Только пишите, только телеграфируйте, только разговаривайте по телефону!

Женевские представительства небесных фирм широко раскинули свои лотки. Разноцветные афиши благовестят о торжественных службах в английской и пресвитерианских церквах, о мессах в соборе святого Петра, о молебствии в женевской синагоге. Прославленные проповедники, исполнители духовных псалмов, вожди религиозных сект, теософы и даже индийские священные факиры съехались вместе с представителями генеральных штабов и военных разведок империалистов. К открытию конференции приурочено двукратное музыкально-хоровое исполнение «Христовых блаженст» Цезаря Франка. Архиепископ Иоркский экстренно прибыл в Лондон, чтобы предпослать великому сборищу народов свое напутственное слово. Из одного с ним вагона на женевском вокзале высадилась знаменитая негритянская танцовщица Жозефина Беккер — разве смогут продуктивно заседать делегаты, не вдумавшись лишний раз в движения ее всемирно известного зада?

И все-таки торговлишка идет плохо. Билеты на балы и великосветские богослужения раскупаются слабо. Переполнены только пивные и парочка кафе. В перворазрядных ресторанах пустовато. Женевцы еле сдерживают ярость — знатные гости настроены весьма скопидомно. Видимо, по случаю всеобщего кризиса делегации приехали с урезанными бюджетами. А может быть, делегаты просто зажимают деньгу, хотят отложить себе что-нибудь про черный день из суточных и командировочных, полученных на Женевскую конференцию? Караул!! Эти обормоты хотят обокрасть Женеву!!

Но и у телеграфных окошек народ не толпится. У будок международного телефона еще не видать долгожданных хвостов. Никто не заказывает внеочередных разговоров. Никто не мчится, выпучив глаза, с сенсационной депешей в руках.

Никто пока не посылает сенсаций из Женевы. Наоборот. Их в Женеве ждут снаружи: из Парижа, из Лондона, Нью-Йорка, еще — оттуда, с правого края карты, из пылающего под японскими пушками Китая.

И из Москвы — ведь там тоже открылась какая-то весьма загадочная конференция...

Ни одна швейцарская газета не смогла в «разоружительной» передовице промолчать о большевистской конференции и втором пятилетнем плане. Он упомянут — где с недоверием, где со сдержанной завистью, где с клокочущей злобой, — но без страха насмешек и с новым, многозначительным подчеркиванием роли новой могучей хозяйственной силы, которую приходится принимать в расчет при всех предсказаниях на будущее...

В подъезд молчаливого дома на Бульвар де Филозоф каждую минуту ныряют журналисты. Они хотели бы видеть господина народного комиссара Литвинова или хотя бы получить на обороте записки ответ по интересующим их вопросам: правда ли, что Бессарабия отдана Румынии взамен за обещание никогда не нападать на Советский Союз? Правда ли, что Красная армия спешно обучается японскому языку? Не согласилось ли бы московское правительство в интересах разоружения демонстративно, в качестве примера, целиком распустить свои вооруженные силы, уничтожить военные припасы?

Макдональд оперирует себе что-то в глазу, а Брюнинг еще чего-то недосогласовал с Гитлером, а Стимсон не смеет в японские дни отлучиться из Вашингтона. Надо бы

опять отложить. Опять?.. Но ведь это откладывание стало уже посмешищем для всех и вся. Или запустить, наконец, машину? Или совсем махнуть рукой на всю затею?

И вот, в четверть пятого, начинают звонить колокола церквей. У подъезда собирается человек полтораста зевак, шпиков и уличных завсегдатаев — в вечернем выпуске «Журналь де Женев» они роскошно описаны как «необъятная пестрая бурливая толпа женевцев, взволнованных великим праздником долгожданного разоружения народов». Машины шуршат, останавливаются и опять шуршат, оставив своих пассажиров. Делегаты молча рассаживаются; на этот раз традиционные, сутулые и верткие дипломатические фигуры густо прослоены множеством энергичных статных господ с широкими и очень прямыми военными талиями.

Штатские костюмы чуть мешковато сидят на плечах у этой молодцеватой публики. Что, если бы каким-нибудь мудреным проекционным аппаратом показать невидимые нашивки и эполеты, генеральские лампасы, ордена, сабли, револьверы и кортики — будничную прозодежду всех присутствующих здесь морских, сухопутных и воздушных офицеров, начальников штабов, командующих дивизиями и корпусами, флотами и крепостями.

Что, если сейчас устроить несбыточный, бесконечный, как ночной кошмар, всемирный сумасшедше пестрый парад всех войск, подчиненных этой кучке цивилизованных людей, глухо замаскированной в безликие темные пиджаки?

Что, если сейчас, покрывая дребезжание женевских колоколов, в один голос загудят трубы исполинских фабрик и заводов военного снаряжения во всех частях света?

Что, если, хоть по одному человеку от каждого миллиона, сюда сейчас придут настоящие представители трудящегося человечества, изнемогающего от военных налогов, от невыносимых вооружений, от непрестанного ужаса перед новой империалистической кровавой баней, какую трудно даже охватить самым воспаленным воображением?!

Нет, пока здесь все согласно регламенту. Старый джентльмен надевает роговое пенсне, приподымается в кресле и слегка стучит по председательскому столу серебряным молоточком. Молоточек, извольте видеть, не простой. Молоточек заветный. Его поднесли мистеру Ген-

дерсону амстердамские ювелиры с наказом так постучать, чтобы все страны тотчас уменьшили свои вооружения до минимума, совместимого с национальной безопасностью!

Постучав, старый джентльмен отваливается назад в кресло и заупокойным голосом, вернее — вполголоса читает вступительную речь. Зал почтительно прислушивается; звуковое кино неистовствует; корреспонденты надевают радионаушники.

Но служители уже безмолвно раскидывают по своим пюпитрам брошюры большого формата. Это речь Гендерсона, полный стенографический текст, на английском и французском языках, готовая, отпечатанная и сброшированная еще до открытия конференции. Теперь уже никто не слушает. Отдельные охотники от нечего делать водят пальцами по строчкам, следя за произношением оратора, как благочестивые барыни следят по молитвеннику за обедней. Вот и первый уснувший с мертвецки повисшей набок лысиной. Миленький, — как он так сразу догадался?! Кто он, откуда? Он сидит перед Мексикой. Делегации расположены в алфавитном порядке — значит, это Люксембург. Или Либерия?

Корреспондентские места уже пусты. Бывалые люди пошли в ресторан — пока старик доползет до восьмой страницы, можно спокойно отобедать...

Председатель кончил, он поощрен аплодисментами, короткими, холодными и мерными, как удары маятника. Члены каждой делегации хлопают, искоса глядя на своих шефов. Боже упаси лишний раз ударить ладонями. Затем швейцарский президент господин Мотта избирается почетным председателем конференции. Он благодарит и выражает надежду, что делегатам будет уютно и удобно работать в Женеве. Ах, лозаннские трактирщики и отельщики готовы повеситься от зависти!

У выхода — опять хвост машин, фотографы стреляют магнием, полицейский выкликает машины. Под фонарем, задрав котелок, надменно щурится Тардье. Посол из Геджаса щеголяет поверх сюртука и роговых очков театральным шелковым бурнусом. Держа лощеный цилиндр перед лицом, сиятельный Титулеску усаживает в машину ясновельможного Залесского и усаживается сам. Тесной группой выходят большевики. Улица пустеет. Все.

2

Без четверти пять зажигают свет. Публика еще не собралась, отдельные группки слоняются по коридорам. В номерах вместо мягкой мебели расставлены шкафы и ящики с картотеками, в ванных комнатах отдыхают измызганные за день ротаторы, уборщицы вытряхивают из корзин отбросы канцелярского производства.

«...В случае, если член Лиги прибегает к войне, Совет обязан предложить различным заинтересованным правительствам тот численный состав военной, морской и воздушной силы, посредством которого члены Лиги будут по принадлежности участвовать в вооруженных силах, предназначенных для поддержания уважения к обязательствам Лиги».

В буфете согреваются чаем и грогом после мороза. Проклятая женевская биза — ледяной пронизывающий ветер; после него уже в теплом помещении долго дергаются плечи и постукивают зубы.

Член Лиги наций — Япония прибегла к войне. Она напала на другого члена Лиги — на Китай.

Японские войска вторглись в маньчжурские провинции Китая и силой оружия захватили их.

Японские войска и флот артиллерийским огнем разрушают Шанхай, уничтожают его население.

Представитель Китая обратился в Лигу с протестом. Протест услышан. Сегодня заседает Совет Лиги.

Сегодня в пять заседает Совет, и служители с золочеными инициалами Лиги на воротничках расставляют по столам сотни пепельниц. Они чинят карандаши и опускают шторы на стеклянной стене павильона, чтобы внешние впечатления не отвлекли членов Совета от их серьезных занятий.

В павильоне уже полно. Человек двести, мужчин и дам, тесно усаженных, негромко болтают и смеются.

Где здесь места для прессы?

Здесь все места для прессы. Четырнадцать членов Совета, разместившись в центре зала, внутри низкого деревянного барьерчика, окружены со всех сторон журналистами. Заседание Лиги наций — это двести журналистов, четырнадцать министров, две стенографистки и два переводчика.

Газетчики ловят кивки и улыбки министров, перешептываются с ними в коридорах, подобострастно суе-

тятся с фотоаппаратами, матерински провожают знаменитых людей в уборную.

Но министры чувствуют себя связанными под пристальным взором многоглазой печати. Каждый шаг, каждый гласный поступок государственного деятеля контролируется вездесущей газетной разведкой. Не всякий политический надзор, не всякий шпионаж может соперничать с блестяще организованным, широчайше разветвленным, щедро оплаченным информационным аппаратом буржуазных газет. Если министр вышел из назначенной ему роли, сказал отсебятину, поскользнулся, об этом еще до всех докладов и шифрованных депеш мгновенно сообщит заинтересованная газета, орган заинтересованной группы, задетого банка и синдиката.

Протест Китая несколько раз рассматривался Советом. Решение несколько раз откладывалось под разными предлогами. В последний раз решено было образовать по телеграфу комиссию Лиги на месте из консулов европейских держав, находящихся в Шанхае. Сейчас прибыл, тоже по телеграфу, доклад этой комиссии о японской бомбардировке.

И вот Поль Бонкур с пышной седой шевелюрой и ярким девичьим румянцем щек стучит председательским молотком, открывает заседание.

Китайский делегат, доктор Иень, получает слово первым. Он говорит долго, он цитирует документы, он приводит цифры убитых и раненых за весь период японской бомбардировки и за последние два дня.

Он оглашает телеграфные петиции, вопли о помощи и защите. Он подробно перечисляет всех, кто подписан под телеграфными жалобами. Совет Лиги может убедиться, что это — все почтенные и заслуженные люди, не студенты, не большевики. Иень замедляет речь, чтобы стенографистка могла без ошибок внести уважаемые имена жалобщиков: господин Ли Мин, председатель Шанхайской ассоциации банкиров, господин Юн Чен-чин, председатель синдиката хлопчатобумажных фабрикантов, господин Ю Я-чин, председатель союза судовладельцев, и господин Му, председатель шанхайской биржи...

В одну ноту, глуховато и ровно, китайский дипломат гудит о нападении японцев. Между отдельными кусками его речи — длинные паузы. Оратор как бы колеблется — продолжать или нет. Потом берет новую тетрадочку и опять гудит.

Зал слушает китайца совершенно неподвижно. Журналисты не записывают. То, что докладывает Иень, уже устарело. В вечерних газетах куча новых сообщений о новых бомбардировках Шанхая, о новых жертвах, о новых десятках тысяч беженцев из горящих кварталов. Повторяется нанкинский представитель и в юридической формулировке.

Совет слушает, не глядя на старого китайца. Глаза членов Совета смотрят в пространство. Кто сидит здесь, в высшем ареопаге, созданном шестьюдесятью государствами для «соблюдения международных отношений, основанных на чести и справедливости»?

По обе стороны от председателя и секретаря сидят постоянные и переменные члены Совета. Министры Польши, Великобритании, Италии, Югославии переняли от Бриана нелегкое искусство спать на заседаниях с открытыми глазами. Новичок-испанец Зулуэта еще не привык, он ерзает за столом, сгоняет с себя дремоту, снимает, вытирает пенсне, опять надевает, опять снимает.

Никто не заметил, как кончил доктор Иень свою последнюю тетрадку, как перечислил всех убитых и раненых, как прочитал все петиции о помощи, как его заменил переводчик. Зал успел в это время совершенно опустеть и опять наполниться. Сейчас будет говорить представитель Японии. Газетчики приготовляются. Расфуфыренные представительницы женских, пацифистских и христианских газет спешно раскрывают лорнеты.

Поль Бонкур предоставляет слово господину Сато, японскому послу в Брюсселе, а ныне — представителю Японии в Лиге. Зал заинтересованно притихает, а через минуту совсем цепенеет от благоговейного ужаса и недоумения.

Японец говорит совершенно непостижимым тихим голосом. Вначале не верится, что он говорит вообще.

Крохотные губы под изящными полосками усов не шевелятся. Ничего японского нет в этом тоненьком фарфоровом франте стандартного международного кинообразца. Волосики прилизаны один к одному.

Весь зал, от Поля Бонкура до курьеров у дверей, озирается широко расширенными глазами. Каждый думает, что потерял слух. Никто ни на кого не шикает — в павильоне и без того могильное безмолвие.

Японец, по-видимому, что-то все-таки говорит — стенографистки рядом с ним шевелят карандашами. Что же

это за нечеловеческие слова, которые требуют такого тихого произношения? Проходит время, пока задыхающийся от волнения зал, прильнув со всех сторон к японцу, улавливает тоненькое, как в карманных часах, тиканье французских слов.

Японский делегат произносит цепь фраз, абсолютно ничего не обозначающих. Это — кристально-прозрачная, совершенно пустая, круглая струйка воды.

— Японское правительство уже имело честь неоднократно уведомить Совет Лиги наций о разного рода событиях последнего времени...

— Японское правительство будет радо и впредь регулярно информировать Совет Лиги елико возможно быстро и точно...

— Совет уже располагает рядом материалов об имевших место событиях, каковые материалы предполагают наличие других добавочных материалов, имеющих быть доставленными в дополнение к первым...

Господин Сато действует, как фокусник. Собрание загипнотизировано, оно не смеет шелохнуться, пока человек с усиками и большими белыми манжетами не перестанет цедить бисерную нитку совершенно бессмысленных стеклянных слов.

Но гипнотизер сделал ошибку.

— Японское правительство заверяет, что не имеет никаких намерений производить хоть какие-нибудь враждебные действия в Шанхае.

Общий громкий смех. Напряжение лопнуло. Обстрелянные газетчики восхищенно разводят руками. Кое-кто пробует даже иронически похлопать. Два громовых удара председательским молотком. Розовые щеки Поля Бонкура становятся багровыми.

Бесшумный оратор видит, что сам сорвал стиль. Он меняет тон на ходу.

Тиканье становится злее и явственнее. Под усиками появляются чистенькие белые зубы.

— Я полагаю, что вообще разбирать данный конфликт в Женеве было бы трудно и неавторитетно из-за дальности расстояния.

— Я полагаю, что положение будет и без того урегулировано на месте.

— Нравится ли это широкой публике или нет, я должен заявить, что действия японских войск вызваны исключительно провокацией их противника.

Совет уже и без намеков японского делегата смущен и встревожен поведением широкой публики. Председатель предоставляет слово достопочтенному сэру Джону Саймону, представителю Великобритании.

Британский министр иностранных дел славится безукоризненным литературным оформлением своих речей. Только покойный Бальфур ставился в Лондоне выше по красоте ораторского слога, чем Джон Саймон. Сколько опытных и мудрых судей заслушивалось блестящими сравнениями нынешнего министра в дни его адвокатской практики!

Министр сообщает Совету, что великобританское правительство располагает весьма ценными сведениями, любезно сообщенными японским императорским правительством. По этим сведениям, положение в Китае улучшается с каждым днем. Вновь прибывший адмирал Намура снабжен инструкциями самого отрадного характера. Великие державы широко используют свое умиротворяющее влияние на Дальнем Востоке, и он, министр, верит и надеется, что это влияние даст быстрые результаты.

— Чтобы уточнить мои мысли, скажу также, что и я и, по-видимому, мои коллеги с величайшим удовлетворением заслушали здесь заверения представителя Японии в том, что таковая не намерена производить враждебные действия на китайской территории. Я полагаю, что и общественное мнение в ряде стран будет счастливо узнать об этом факте.

Лица у газетчиков сразу меняются. Иронические взгляды и смешливые мины исчезают в небытие.

Сейчас сам председатель берет слово. Поль Бонкур — тоже не из последних ораторов.

— Мы заслушали сообщение китайского делегата с интересом. Нет, не с интересом — это слово было бы прямо неуместно по такому печальному поводу. Не с интересом, а с подлинной тревогой слушали мы господина доктора Иень.

— Я могу заверить вас всех, господа, что Совет не остановится перед активными и безотлагательными действиями.

Иень хочет говорить еще раз. Он заверяет Совет, что материалы и документы представлены в Лигу в полном соответствии с параграфом вторым статьи пятнадцатой устава Лиги. Он готов согласиться, что ряда оправдательных документов еще не хватает. Но он доставит их в

ближайшее же время. К тому же китайский делегат хочет добавить одну вещь, о которой он забыл упомянуть в своем первом сообщении. Он упустил указать, что, кроме налета на Шанхай, японцы захватили также Маньчжурию. В частности они заняли важный город Харбин. Доктор Иень просит Совет Лиги иметь это в виду.

Сейчас берет второй раз слово и японец. Теперь у него уже открылся голос. Сато взорван тем, что Лига выслушивает китайца и дает ему распространяться о вещах, его не касающихся.

Но его злит не китаец, а эти четырнадцать за столом, которые не помогают Японии навести в Китае настоящий хороший порядок.

— Позволю себе напомнить, что в 1927 г. именно та держава, которую представляет здесь сэр Джон Саймон, а также Соединенные Штаты достаточно потерпели от бойкота их товаров со стороны тех же китайцев. Теперь наступила очередь Японии. Почему же нам не предоставляют возможности урегулировать этот столь важный для всех наших представительств больной вопрос?

Ведь это будет в интересах всех заинтересованных в Китае держав.

Открытое напоминание о солидарности империалистических держав против Китая в прошлом и призыв к такой же солидарности на будущее время.

...Пока говорились речи, пока их переводили с французского на английский и с английского на французский, стрелка подошла к половине восьмого.

Это — конец. В восемь часов обед — надо успеть переодеться, а журналистам еще сдать телеграммы. Опаздывать к обеду нельзя.

Можно опоздать на день и на год с разбором «японо-китайского недоразумения». Можно опоздать с анализом причин истребления десятков тысяч беззащитных бедняков. Можно не спешить с протестом против организованного разрушения пролетарских кварталов авиабомбами. Но надо спешить и никак нельзя опоздать к обеду. Это понимают все.

Взглянув на часы, Поль Бонкур поджимает губу и в три минуты сворачивает заседание. Он делает заключительное резюме. Совет считает, что японо-китайские отношения гораздо сложнее, чем это представляет себе широкая публика. Благодаря систематически каждодневным усилиям Лиги положение на Дальнем Востоке медленно,

но верно улучшается. Недаром французская поговорка говорит: «Каждому дню свое усилие».

Мало кто слышит французскую поговорку господина Бонкура. Корреспонденты уже разбежались; те, кто еще остался, вызывают по телефону машины и заказывают столики в ресторане.

В юбилейном отчете о десятилетней работе секретариата Лиги наций сэр Эрик Друммонд сравнил руководимый им секретариат Лиги с трудолюбивым муравейником.

С утра до половины пятого копошатся и действуют муравьи и муравьихи сэра Эрика на пользу всеобщего мира, справедливости и благоденствия. В час муравьи делают перерыв на завтрак. В половине восьмого переодеваются к обеду. В половине девятого муравьи надевают смокинги, а муравьихи платья с голыми спинами и в отличных машинах отправляются в оперу.

Муравьи в доме 59 на рю де Паки в Женеве, в Международной комиссии по борьбе с опиумом не хуже, чем в других комиссиях и отделах. Может быть, даже лучше. По числу проведенных заседаний, конференций, командировок и обследований опиумная комиссия стоит на одном из первых мест в Лиге. На борьбу с наркотиками секретариат отпускает немалые средства. Одна только последняя антиопиумная конференция в Бангкоке обошлась в полмиллиона золотых франков.

Антиопиумным деятелям следовало бы держать головы высоко. Отчего же они так мнутся и смущаются при приходе человека из большевистской печати?..

Во всем мире годовая потребность в опиуме для лечебных целей равна четыремстам тоннам. В одной только Европе опия производится тринадцать тысяч тонн. Несколько тысяч производит Япония.

Куда все это девается?

Ясно, куда. Большая часть выкуривается в низких, душных, дымных подземельях Дальнего Востока. Меньшая часть перерабатывается на морфий и героин и идет туда же. Их впрыскивают — яд в этом виде еще более заманчив и притягателен.

Торговцы морфием и героином имеют свое твердое правило. Чтобы расширять свою клиентуру, они отпускают первые дозы наркотика совершенно бесплатно. Нужно только заразить человека, и он уже будет рабом продавца.

Нет в мире товара, который приносил бы такие невероятные, чудовищные прибыли, как опий и его препараты. В Швейцарии, которая является одним из крупнейших производителей наркотиков, себестоимость кило опиума — 800 золотых франков. В кило — сто тысяч доз (доза — количество, принимаемое в один раз). Считая даже минимальную цену в пятьдесят сантимов за дозу, кило дает пятьдесят тысяч золотых франков. На самом же деле доза продается часто вдвое и втрое дороже.

Наркотики — вот товар, который не страдал до сих пор ни от каких кризисов! Его потребитель устойчив. Этот потребитель — десятки миллионов восточных пролетариев и крестьян.

Маковый дурман застилает безысходный ужас реальной жизни. Пробежав пять часов без остановки, придерживая руками разрывающееся сердце, китайский рикша, двуногая лошадь со смертельно расширенными глазами, не променяет укола морфием на кусок хлеба, даже на глоток воды.

Десять процентов всего мужского населения, пять процентов всего населения Китая курит опиум, впрыскивает морфий и героин. Это значит не меньше двадцати пяти миллионов человек, регулярно, ежедневно, всю жизнь применяющих наркотики. Дети на каждом шагу глотают опиумные шарики... Знал ли какой-нибудь купец рынок более выгодный, твердый и устойчивый?

Борьба за рынок яда идет уже давно. Несколько раз Китай пробовал воспротивиться ввозу опиума. В свое время Англия ввозила его больше всех. Великая Британия с оружием в руках отстаивала свое «право» отравлять китайский народ. В середине прошлого века велась даже война; она в истории так и называется — опиумная война. Китайцы были разбиты, Англия захватила Гонконг, превратила его в основную базу по импорту в Китай наркотиков.

За последние десятилетия, сильно оттеснив конкурентов, Япония взяла в свои руки основной ввоз наркотиков в Китай. Выросла большая промышленность по производству ядов. В 1917 г. она ввезла свыше 600 тысяч унций морфия. С тех пор японский импорт яда круто идет вверх. Его нельзя учесть никакими подсчетами и цифрами — через таможни идет ничтожная доля. Все остальное вливается контрабандой, мощными потоками, через все щели и отверстия. Когда прибыль на продукте превышает де-

сять тысяч процентов, какие препятствия могут казаться страшными для продавца? Он ломает любое препятствие — где может — рублем, а где нужно — кинжалом, пулей, наконец, своим же товаром. За флакон морфия, за пять горошин опиума китайский пограничник пропустит целые тюки.

Маньчжурия уже давно стала самым богатым из опиумных рынков Японии. Еще до официальной оккупации, под твердым и открытым покровительством японских консульств бойко работали курильни и продавцы морфия и героина.

На японской концессии в Мукдене, под защитой японской полиции, работали двести курилен и сто продавцов морфина. Средний продавец делает в день от сорока до пятидесяти впрыскиваний.

В Чанчуне, Цинане, Тяньцзине, Фучоу японские пункты сбыта наркотиков исчисляются тысячами. Вокруг них орудуют и кормятся, кроме самих продавцов, таможенники, полицейские, шпионы, военные.

Японская печать прошумела на весь мир подробностями смерти капитана Накамура, которая якобы послужила причиной для ввода японской армии в Маньчжурию — «в целях наведения порядка». Репортеры рассказали в патриотических тонах биографию Накамуры, все его доблести и душевные качества.

Не упомянули только об одном.

О том, что капитан Накамура был, кроме всего прочего, торговцем и поставщиком японского морфия и опия в Маньчжурию. У него при аресте нашли большой груз наркотиков. И первые строки письменного допроса, текст которого мы раздобыли только в Женеве, эти строки говорят:

— Как ваше имя?

— Я капитан Шинтара Накамура.

— Какова причина вашего приезда в Китай?

— Наблюдение за состоянием китайских железных дорог.

— Для какой цели вы применяете героин, находящийся в вашем владении?

— Это только фармацевтический товар.

Не меньше половины всех японских чиновников и административных лиц, пребывающих в Маньчжурии, имеют непосредственное отношение к торговле наркотиками. Об этом свидетельствуют сами японцы, об этом за-

явил господин Кикучи, секретарь японской «ассоциации по борьбе с внедрением опиума».

Немедленно по занятии Маньчжурии японские власти ввели свою монополию на опиум и другие наркотики. Китайским беднякам к этому не привыкать. Каждый кочующий генерал, вступая в завоеванный им город, немедленно вводил опиумную монополию в свою пользу. Телеги с наркотиками неизменно движутся в хвосте военных генеральских обозов.

...Руководители антиопиумной комиссии очень любезны с представителем советской печати. Более любезны, чем разговорчивы.

— Может быть, вы выпьете с нами кофе? Или, может быть, чаю? Ведь вы, русские, любите чай.

— Спасибо. Я уже пил. А вот, может быть, вы все-таки расскажете, что предприняла ваша комиссия по части борьбы с японским ввозом наркотиков в Китай? Докладывали вы об опиумном порабощении Маньчжурии? Какие материалы у вас собраны по этому поводу?

— Неужели ни чая, ни кофе? И шоколад не станете пить? Ведь Швейцария — классическая страна шоколада... Нет, специальных материалов по этому вопросу мы не имеем. Особенно в связи с этим печальным конфликтом. Горячо рекомендуем посмотреть материалы конференции в Бангкоке. Эта конференция подготовлялась долго — пять лет. Зато проведена была очень серьезно. Мы уже говорили — она обошлась около полумиллиона золотых франков.

Я беру к себе домой бангкокские протоколы. Их много, они безупречно отредактированы и изданы. Сотни страниц отличного канцелярского языка. Где же решения?

Вот решения.

Их четыре. Все вместе обошлись в полмиллиона. Значит, каждое решение стоило сто двадцать пять тысяч золотых франков.

Решение первое: «Считать необходимым запретить оптовым торговцам опия заниматься розничной продажей».

Решение второе: «Считать необходимым запрещение продажи наркотиков «малолетним».

Решение третье: «Определение термина «малолетний».

Решение четвертое: «Считать необходимым запрещение розничной продажи наркотиков в кредит, допуская ее только за наличный расчет».

Я больше не пошел в дом 59 на рю де Паки. Господа из антиопиумной комиссии, кроме всего прочего, еще и нагло соврали. По источникам менее официальным, но совершенно достоверным, удалось твердо установить, что конференция в Бангкоке, с ее издевательскими четырьмя решениями, обошлась Лиге наций не в полмиллиона, а в пятую долю этой суммы. Остальные четыре пятых — специальными ассигновками внесли Сиам, Голландия, Япония и Великобритания. Те самые страны, правящие классы которых наиболее заинтересованы в торговле опиумом. Продавцы опиума попросту купили конференцию, с ее делегатами и протоколами!

Соединенные Штаты не участвовали в антиопиумной конференции. Именно потому, что производят очень мало наркотиков и очень боятся их. Американское правительство само напугано наступлением ядов. Тридцать процентов личного состава американского морского и воздушного флота заражены наркоманией. Когда американское военное судно приходит в восточный порт, на домах мгновенно появляются тысячи вывесок зубных врачей. Моряки и летчики спешат к вывескам. Крейсер ушел — «зубные врачи» исчезают. Под вывесками дантистов торгуют морфином, героином, кокаином. Противодействуя японскому наркотическому внедрению в Китай, Америка печется не о китайском народе, а о своих военных кадрах.

На рю де Паки все продажно, здесь все покупается. Работа антиопиумной комиссии — только ширма для жирных сделок, гигантских подрядов на поставку тысяч тонн страшнейших ядов. Тысяч тонн, а одно только кило содержит сто тысяч доз, сто тысяч отравлений!

Вокруг тихого дома на рю де Паки пахнет большими, миллионными делами. Где-то здесь прячется мировая биржа ядов!

...На развалинах горящих домов уцелевший от артиллерийского огня желтый полускелет отдает чужеземному офицеру последнюю оставшуюся монету и, опрокинувшись на спину, вдыхает дурман ядовитого шарика. Его тело каменеет, а мозг впускает роскошные сны. Добрые драконы, мягко подплывая по воздуху, не бросают бомб, а кормят грудью маленького кули и его заплаканную

голодную семью. На деревянной тарелке появляется рис, хижина встает и сама строится из обуглившихся обломков...

Встает в голубом дыме и другое видение: красивых и спокойных европейцев, кавалеров и дам, у зеркального автомобиля, на гладком асфальте богатого швейцарского города. У этих людей — золото и бриллианты на пальцах, золото и бриллианты вкраплены в мраморную свежесть белья, золото и бриллианты на женских шеях, в розовых женских ушах. И все золото и все бриллианты взяли эти люди у маленького кули, дав взамен липкий зеленый шарик смерти.

1932

В норе у зверя

Пешеходы медленно переправлялись через асфальтовую ширь Елисейских Полей. Они скоплялись на тротуарах у перекрестков, дремотно следили за лакированной струей автомобилей, смотрели, как полицейский ажан в пелеринке останавливает поток. Перейдя половину улицы, опять ждали на срединном островке, пока не застынет на несколько секунд другая, встречная струя авто. Тогда перебирались дальше, на тот берег улицы. Машины обступили людей со всех сторон. Они текли непрерывно и бесконечно в шесть рядов, во всех направлениях, они отстаивались на углах и у ворот, они умильно и назойливо выглядывали из роскошных витрин автомобильных магазинов, умоляя купить, нанять, взять с собой. Послушные, безмолвные эмальированные собаки — их расплодили без числа, а теперь обнищалые люди не в силах содержать это стадо на колесах, не в силах поить маслом и бензином; люди отступаются от машин, предлагают их за четверть цены, бросают их в сараях тускнеть и стариться.

Мы пересекли поток Елисейских Полей, миновали величественные и безлюдные автомобильные салоны, и новое кафе с сафьяновыми креслами, расставленными по тротуару, и подземный пляж-кабак Лидо, и святилище американского отеля Клэридж. Париж богачей и иностранных бездельников готовился к ежедневному великолепию второго завтрака. Мы свернули на узкую улицу Колизе.

Дом номер двадцать девять был обыкновенным, слегка закопченным домом боковой парижской магистрали. Нижний этаж занят автомобильной прокатной конторой и гаражом. Во втором этаже, на двери, несколько дощечек с надписями.

Позвонили. Высокий господин в пенсне, с прической ежиком, седыми усами, скупо приоткрыл дверь. И спутник мой, слегка волнуясь, спросил:

— Не могли бы мы видеть его превосходительство русского генерала Миллера?

Секретарь ответил на хорошем французском языке:

— Его превосходительство генерал Миллер выехал из Парижа на пятнадцать дней.

— Мерси.

— Силь ву пле.

Дверь закрылась. Машинально и молча мы спустились по ступенькам. В гараже мыли машину. Мы вышли обратно на улицу Колизе.

Тут же, у ворот двадцать девятого номера, забыв о конспирации, я горячо втолковывал своему спутнику-французу:

— Нисколько не важно видеть именно генерала Миллера! Пожалуй, он даже наименее интересен из всей головки белой эмигрантской военщины. После исчезновения генерала Кутепова официальным главой организованных остатков белой армии был избран Миллер вовсе не как самый умный, или самый активный, или самый храбрый из белых генералов. Скорее, как самый бесцветный и дипломатичный. Нужна была фигура для представительства, для внешнего мира. Фигура, которая заслоняла бы подлинных оперативных руководителей и при этом не мешала бы им. Кутепов всех скрутил в бараний рог, он всех держал в крепкой своей лапе, грозно правил в Общевоинском союзе сначала именем Николая Николаевича, а потом своим собственным. Недаром звали его подчиненные: «Кутеп-паша»... Генералы Шатилов, Абрамов, Драгомиров, Лукомский, Бредов, Витковский, адмирал Кедров — вот настоящие хозяева эмигрантских военных кадров. Серенький Миллер не мешает им. Вернемтесь назад. Миллера, наверно, кто-нибудь да заменяет. Уж такой обычай у всех русских людей. Может быть, нам повезло: мы увидим зверей более хищных, чем те, что обычно показываются здесь наружу.

Мы опять поднялись по лестнице двадцать девятого номера, опять позвонили и сказали недовольному обладателю ежика и седых усов:

— Вы были так любезны, сообщив нам, что его превосходительство русский генерал Миллер сейчас в отъезде. Не будете ли вы добры сказать, кто его заменяет на время отсутствия?

Он сказал чуть живее:

— Генерала Миллера заменяет генерал Шатилов. По какому делу вам угодно его видеть?

— Мы журналисты, хотели бы получить интервью для нескольких газет. Генерал здесь?

Белый чиновник колебнулся. С печатью надо быть вежливым.

— Он здесь, но...

Мы уже перешагнули порог и стояли в темноватой учрежденской передней со шляпами в руках, с будничной светской деликатностью людей, которые не сделают лишнего шага без приглашения. Секретарь пораздумал и сказал уже приветливо:

— Ле женераль Шатилофф сейчас занят, но я ему все-таки доложу. Попрошу вас пройти во внутренние комнаты.

Уже пятнадцать минут, как нас пригласили сесть. На коленях лежит фотографический аппарат. Мой француз уже скучает. А я нет! Я бы просидел еще столько же, разглядывая полуприкрытыми глазами эту заурядную и невероятную комнату.

Ведь стул, на котором я сижу, — он стоит не в партере театра, где ставят историко-революционную пьесу. Ведь здесь настоящий царский военный штаб через пятнадцать лет после полного разгрома и изгнания белых армий!

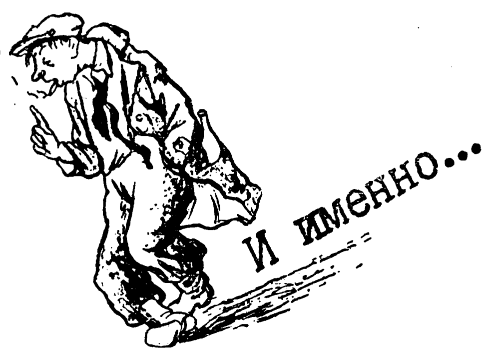
Настоящий царский штаб, состарившийся, одряхлевший, с расшатавшимися зубами, потасканный в бегствах и эвакуациях, но сохранивший своих людей, свою обстановку, даже воздух свой — кисловатый, с отдушкой аниса и сургуча и благопристойной пыли. На деревянных стоечках вдоль стен книги, папки с делами, кипы старых бумаг, видимо, дореволюционной, если не довоенной давности. На стенах портреты: Николай Романов, Николай Николаевич, Колчак, Врангель, адмирал Макаров со своей патриаршей бородой... Сколько раз меняло квартиру это имущество на длинном пути своем от петроградской

П

Партия очень ценит,
очень дорожит

ДИСЦИПЛИНОЙ

при выполнении
ее заданий.



...поэтому надо
рубить на части тех,
кто, спекулируя,
злоупотребляя
этой дисциплиной,
переводит
выполнение
в издевательство,
беспрекословность –
в солдафонство.



арки Главного штаба сюда, на боковую уличку около парижской Арк-де-триомф!

Примасленные благообразные седеющие господа перекладывают на столах книги и бумаги. Это полковники, секретари штаба... Узнаю знакомые обложки: много советской литературы. Здесь не очень интересуются нашей беллетристикой. Но читают и собирают комплектами «Красную звезду», «За индустриализацию», «Вестник воздушного флота», даже «Красную Бессарабию»...

У полковников за письменными столами немало работы. Российский общевоинский союз — это больше, чем военное министерство белой эмиграции. Это сама белая армия, включая и кадры, и их хребет.

На улице Колизе управляют и командуют большим, сложным и разбросанным хозяйством. При союзе состоят: первый армейский корпус генерала Витковского, донской корпус генерала Абрамова, кавалерийская дивизия генерала Барбовича, кубанская казачья дивизия генерала Зборовского, целая куча военных школ, лицеев и кадетских корпусов во главе с военной академией (Высшие военно-научные курсы).

Полковники строчат бумаги, пишут циркуляры, диктуют их на машинку. Сколько лет прошло с тех пор, как советские полки победили, разогнали и вышвырнули белую армию, развеяли ее клочья по ветру! А здесь, на улице Колизе, все еще управляют разодранными человеческими клочьями, все еще повелевают ими.

Солдат Деникина и Врангеля, казак, обманом посаженный на корабль и увезенный куда-нибудь в Аргентину, не может и через десять лет вырваться из цепкой офицерской паутины.

Если он работает в Бордо на заводе, или в Шампани на виноградниках, или в Чили на серебряных рудниках, все равно он остается нижним чином девятого драгунского великой княжны Марии Николаевны, или шестьдесят третьего углицкого пехотного генерал-фельдмаршала Апраксина, или какого-нибудь еще чьего полка.

К нему, измотанному после работы, подходит посланец от начальства или местной войсковой группы и передает приказание — чаще всего по денежной части: внести за будущий месяц или довнести за прошлый. Вложить свою лепту на ремонт русского храма в Пирее и на чествование генерала Остроухова по случаю восьмидесятилетия его беспорочной службы в офицерских чинах. И за-

пуганный, порабощенный даже здесь, офицерами, нижний чин угрюмо вносит и опять без конца вносит свою лепту.

Не вносить лепту нельзя. Белогвардейское офицерство связано с предпринимателями, с управляющими заводов, плантаций, рудников. Они посредничают между хозяевами и русскими эмигрантами-рабочими, они ручаются перед фабричной администрацией за благонадежность своих нижних чинов. Малейшая провинность, непослушание по военной линии — нижний чин мгновенно вылетает на улицу, он без работы, голодает.

Так поддерживают отсюда, с улицы Колизе, патриотический дух остатков императорской армии. И журнал «Часовой», восхваляя традиции белой армии, нравоучительно пишет: «Офицер по самому существу своему должен быть отцом и старшим братом солдата, но не его товарищем».

Организационный костяк белых войск, его оперативный штаб — это первый отдел Общевоинского союза, мозг и руки военной и воинствующей зарубежной контрреволюции.

Начальник первого отдела — генерал Павел Николаевич Шатилов.

Из боковой двери выходит еще не старый мужчина с длинной кавалерийской талией. Он оправляет на ходу пиджак. И предупредительно улыбается двум приподнявшимся со стульев французским журналистам.

— Месье... Ву дезире?..

Он проводит в свой кабинет: небольшая комната с грязноватыми обоями. Он усаживает у стола, и слушает наши вступительные французские любезности, и отвечает, пытливо смотрит, и я тоже смотрю полуприкрытыми глазами — так вот какой вы, ваше превосходительство, Павел Николаевич Шатилов! Вот куда вас занесло!

Монархия, контрреволюция дали в гражданскую войну не худших своих генералов. Боями против Красной Армии руководили полные сил и стратегического воображения военачальники, не занимавшие в мировую войну высших постов только из-за семейственности и протекционизма придворных кругов. Считая себя затертой и обиженной, недостаточно продвинутой, «генеральская молодежь» кинулась показывать свои таланты и докан-

чивать карьеру в войне за восстановление царской России. Многого стоило пролетарским стратегам-самоучкам направить русло генеральских карьер в другую сторону и похоронить эти карьеры здесь, на улице Колизе.

Генерал Шатилов — активнейший деятель гражданской войны, боролся с Красной Армией на Северном Кавказе и на Украине. Командовал большими кавалерийскими соединениями, вплоть до конного корпуса. Был ближайшим соратником, личным другом и несменяемым начальником штаба Врангеля. Из-за него Врангель впервые открыто передрался с Деникиным. И его, назло Деникину, демонстративно восхваляет в своих мемуарах.

«Генерал Шатилов, прекрасно подготовленный, с большим военным опытом, великолепно разбиравшийся в обстановке, отличался к тому же выдающейся личной храбростью и большой инициативой».

Как обидно после таких аттестаций уныло сидеть на мели, коротать долгие годы в штатском пиджачке, терзаться бессильными судорогами честолюбия в обществе выживших из ума военных старичков!

Впрочем, и здесь, на улице Колизе, генерал Шатилов не может жаловаться на узость своих функций. В ведении первого отдела состоят все важнейшие оперативно-командные рычаги Общевоинского союза.

Начальнику первого отдела подчинены все белые воинские организации на территории Франции и ее колоний. А также — на территории Финляндии, Дании, Голландии, Польши, Италии, Испании, Англии, Швеции, Норвегии, Швейцарии, в Египте, в Сирии и Персии.

Начальнику первого отдела подчинены и гвардейское объединение, и общество офицеров генерального штаба, и союз офицеров — участников войны, и кавказский и сибирский офицерские союзы, и общество галлиполийцев, и «объединение железных стрелков». При нем состоят и разведка, и международный шпионаж, и организация террористических актов в духе Горгулова. Он распоряжается военными курсами и кадетскими корпусами и даже бойскаутами — сопливыми белогвардейчиками, еле понимающими русский язык.

Это сложное хозяйство живет не само для себя. На стене у начальника штаба русской белогвардейщины — маленькая карта Европы и большая карта Маньчжурии. На столе, поверх бумаг, пачка номеров московского журнала «Плановое хозяйство». Зверь, забившись в берлогу,

всё еще собирает силы к прыжку. Он не выпускает из глаз те места, в какие ему хотелось бы раньше всего вцепиться когтями и зубами.

Много забот у генерала Шатилова. Сейчас, в отсутствие председателя, прибавились еще сношения с внешним миром, с печатью. Надо отвечать на вопросы журналистов, науськивать их на Советы и при этом опровергать вещи, для данного момента неудобные, отмежевываться, возмущенно пожимать плечами, разводить руками... Ну-ка, посмотрим, как у начальника первого отдела получается пожиманье плечами и разведенье руками!

— Справедливы ли, мон женераль, те сведения, какие за последнее время распространились в широких кругах, что руководимый вами союз является на самом деле русской монархической армией, расквартированной в разных странах и объединенной регулярным штабным и строевым руководством?

Заместитель генерала Миллера пожимает плечами слегка-слегка. Руками разводит только на сорок пять градусов, над столом. Он улыбается снисходительно и даже с оттенком сожаления к вопрошающему.

— Не знаю, нуждаются ли даже подобные слухи в опровержении. Это чепуха, распространяемая большевиками через «Юманите». Наша организация не имеет ничего общего с армией. Это чисто гражданское русское объединение бывших участников войны, ставящее себе задачи исключительно морального порядка.

— Например?

— Например... Ну, например... сохранение наших старых традиций, составление истории полков и их военных походов в мировой войне...

— В мировой? В гражданской тоже?

— Да, если хотите, и в гражданской.

Как это приятно слышать члену редакции «Истории гражданской войны»! Генерал Шатилов продолжает объяснять:

— Кроме того, мы занимаемся экономической взаимопомощью, далее — воспитанием наших детей в национальном духе, любительским изучением военных вопросов, спортивными упражнениями, охраной наших уцелевших знамен и прочих реликвий.

— Но никак не регулярным военным обучением и не оперативной подготовкой нового реванша за ваше тяжелое поражение в России?

Ле женераль Шатилофф нахохлился и глядит враждебно-испытующе. Тон вопроса был в самом деле неосторожен. Генерал делает паузу... Нет, он не догадался, с кем говорит. Он разводит руками уже более энергично.

— Мы делали бы что-нибудь подобное, если были бы в какой-нибудь мере армией, как о нас говорят большевики. Но ведь я уже сказал вам и подчеркиваю еще раз: мы — не армия. Мы ничего общего и похожего с армией не имеем. Мы являемся совершенно цивильным, идейно-моральным, имеющим своей целью только воспитательно...

Я предупредительно записываю ответы в книжечку. Как он нагло разговаривает, этот гладенький женераль Шатилофф! Нагло и насмешливо. Почти издеваясь над французскими простяками-газетчиками, пришедшими слушать его нахальные откровения. Впрочем, так принято здесь, в Париже. «Цивильный» характер белого Общевоинского союза — это версия, которую принято произносить с улыбкой и шаловливым подмигиванием.

В своих официальных печатных документах на русском языке, — предполагая, что французы, если не по невежеству и не по лени, то из деликатности в эти документы заглядывать не будут, — «спортсмены» улицы Кolизе сообщают открыто и ясно:

«Сущность положения о Русском общевоинском союзе заключается в том, что *с русской армией объединились в составе этого союза все те воинские организации, которые желали быть с нею в связи.* Этим организациям были сохранены их названия, порядок внутреннего управления и самостоятельность во внутренней жизни. *Во главе Р. О. В. союза по его положению стал главнокомандующий, и с этого времени армия стала Р. О. В. союзом*».

Уже после всех скандалов и разоблачений о действиях русских белогвардейцев во Франции — орган РОВС, журнал «Часовой», приводя «краткое расписание Российской императорской армии», невозмутимо указывал:

«Подчеркнуты все полки, сохранившие свои кадры как части или *под видом* объединений и союзов за рубежом».

Начальник первого отдела штаба остатков белой армии разговаривает с иностранным журналистом, как с маленьким ребенком. Что, если перестать качать ему в

ответ головой, не повторять с полупонимающим «уй, се са, сэ клер», а остановиться и сказать, не по-французски, а совершенно русским басом:

— Да будет вам врать, почтенный! Кому вы заливаете баки?! Это не в коня корм, все ваши легальные заверения!

Вот удивился бы!..

У них тоже свое расслоение, свои оценки, у этих побитых и изгнанных рабочим классом маршалов Николая Романова, не признанных и отвергнутых страной полководцев, диктаторов, гвардейских сверхчеловеков, придворных гениев.

Одни, уединившись на покой в тихих виллах, обеспеченные до конца жизни вывезенным с родины грабленым золотом, махнули рукой на всякие и всяческие перспективы. Они заняты только подведением итогов. Они выпускают многотомные мемуары и сводят в них долгие счеты с врагами. Не с большевиками — тут они пока бессильны. Счеты с бывшими сослуживцами, конкурентами, соперниками. Обвиняют друг друга в предательстве, в «забвении интересов России», в плохом вождении войск, в лихоимстве и взяточничестве. Перелагают друг на друга ответственность за свое поражение и, может быть, искренне верят, что победа Красной Армии имела причиной бездарность одних генералов или могла быть предотвращена талантами генералов других.

Другие бредят наяву. Организуют кружки теософов и спиритов, ведут церковные интриги вокруг нескольких уцелевших за границей монастырей и соборов. Комбинируют смесь католичества с православием и буддизма со старообрядчеством. Или публично фантазируют на бумаге, за гонорар. Бывший донской атаман генерал Краснов закончил двадцать девятый роман. В романе большевики гибнут, сраженные неслыханными изобретениями белогвардейских инженеров. Против Советского Союза автор пускает невидимые в небе голубые воздушные аппараты, газовые стены длиной в десятки километров, через которые никак не может проникнуть враг, мощное радио, заглушающее все советские станции и громко, на весь СССР, возвещающее смерть коммунистам и гибель коммунизму. Орган генерала Шатилова, журнал «Часовой», скорбит о беспочвенности фантазий Краснова:

«Если у нас осталась только надежда на газовые стены и другие жюльверновские средства, тогда дело пло-

хо... Тогда наше поколение победы, конечно, не увидит...»

Есть третья часть бывших руководителей вооруженной контрреволюции в нашей стране. Эти еще пробуют бороться. Но и они не смеют мечтать даже о каких-нибудь попытках нанести удар Стране Советов своими собственными силами. Главный расчет — на богатых и гостеприимных покровителей. На штабы капиталистических государств. На владельцев военных заводов. На нефтяную аристократию. На международную полицию и контрразведку. На всю подгнившую изнутри, но еще богатую золотом и пулеметным свинцом систему охраны ростовщиков и угнетателей. На эту систему вся надежда русской белогвардейщины в ее подготовке к новому прыжку. При этой системе кормятся верхушка «белого воинства» и вся свора на улице Колизе.

Дай-ка я его сфотографирую. Как не заполучить в альбом большевика-газетчика эту хищную птицу!

— Мон женераль, вы разрешите сделать снимок?

Он что-то кокетливо бормочет о плохом освещении комнаты. Но доволен, почти в восторге. Он уже видит себя, отпечатанного нежно-коричневой краской во всю страницу роскошного французского журнала. И, предвкушая галантный текст: «Известный — ле селебр — русский генерал Поль Шатилофф, глава храбрых русских комбатантов во Франции»... Нет, милый, ты прогадал. Это совсем из другой фильмы...

— Как же вы будете снимать? Здесь понадобится большая выдержка.

Он сам не знает, как он прав. Выдержка нужна большая. Надо собрать всю свою выдержку, чтобы стоять и на расстоянии трех шагов целиться в этого человека, в живого, уцелевшего начальника штаба деникинской и врангелевской армий, прошедшего огнем и мечом по рабочим кварталам, по крестьянским пашням Украины и Крыма, подготовляющего и сейчас, через пятнадцать лет, новый разбойничий набег.

Это похоже на тир в военной школе: мы стреляли на занятиях в деревянного белого генерала. Здесь генерал живой, и очень близко. Зато в руках не «максим» с пулеметными лентами, а безобидная «лейка» с лентой из целлулоида.

Считаю про себя: одна секунда, две, три, пять...

Руки должны не дрожать, чтобы снимок был не шевеленый.

Генерал услужливо повернул закаменевший бюст, смотрит неподвижными глазами, стараясь не моргать. Совсем, как на мишени.

— Мерси!

Его покорность комична и вызывает озорное чувство.

— Вы разрешите, генерал, еще разок? Мне кажется, я обладаю сейчас надлежащей выдержкой.

Он застывает еще раз, весьма охотно... И вопросительно смотрит, не надо ли еще.

— Если не ошибаюсь, генерал, ваш союз и в этом году устраивал парад «возжения пламени» — на могиле неизвестного солдата под Триумфальной аркой?

— Да, только на днях.

— Если не ошибаюсь, на этот раз участники парада были не в своей форме и без знаков отличия, а в штатском платье?

— Да, на этот раз мы были в штатском.

— Чем была вызвана такая перемена? Вы опасались протеста со стороны советского посольства в Париже?

— О, нет! — Начальник первого отдела делает пренебрежительный жест. — Это нас мало трогает.

— Тогда почему же?

— Это была корректность в отношении наших гостеприимных хозяев. Мы не хотели создавать французскому правительству излишних затруднений в его отношениях с Советами.

Как трогательно слышать эти отрадные слова, полные заботы о франко-советских отношениях! Их произносит руководитель штаба разбойничьих контрреволюционных банд, имеющий своим повседневным основным занятием провокацию войны Франции с Советским Союзом, укрывающий у себя террористов, шпионов и профессиональных убийц. Горгулов был членом Общевоинского союза, он получал документы и удостоверения здесь, на улице Колизе. Миллер вынужден был официально подтвердить это газетам. Кто бы мог подумать, что здесь, в беседах с журналистами, так бережно устраняют препятствия между Францией и Советским Союзом!

...«Откатились» — упоительное словечко из военных сводок зимы девятнадцатого года. «Части белой армии откатились от Орла...» «Откатились от Харькова»... «Откатились от Ростова»...

Военная диктатура помещиков и капиталистов из петербургских дворцов через всю страну, через моря отка-

тилась в скромные комнатушки на улицу Колизе. Смертельно раненный зверь убежал далеко. Он забился в узкую нору и медленно здесь издыхает. Издыхает, но не издох. Он лежит здесь слабый, но еще в тысячу раз более хищный и разъяренный, призывая других зверей вместе ринуться на старые поля его добычи. Если интервенции не будет, зверь так и околеет здесь, в изгнании. Но при большой стае хищников он найдет в себе силы быть самым кровожадным и самым свирепым.

Генерал провожает до дверей и просит прислать снимок, если он будет удачным.

1932

Черная долина

Совсем маленький этот город Эссен. Одна длинная главная улица. Тянется, как в Смоленске, как в Вятке, снизу наверх, змеится, меняя название, то пузырясь площадями, то сжимаясь в тонкую асфальтную жилку.

На длинной главной улице — все, как в любом небольшом городе. Магазины, рестораны. В витринах — вилки, и ложки, и браслеты, и бусы из зеркальной крупповской нержавеющей стали.

На главной улице — вокзал, и ратуша, и кирха. Памятник Альфреду Круппу, первому здешнему повелителю, родоначальнику сталелитейной династии эссенских Круппов. У памятника в сумерках ныряют проститутки — угловатые, молчаливые, с длинными ногами и руками, с большими старушечьими сумками. От неоновых рекламных огней фиолетовые тени ложатся на их лица.

Здесь все в городе для Круппа, все от Круппа, все вокруг него. И витрины, и пассажиры автобусов, и проститутки, и газеты.

У входа в кино размалеваны большие плакаты. Румяный офицер в униформе начала века защемил между рейтуз шикарную блондинку с бокалом в руке, щекочет желтыми усами нежную женскую шею.

Сейчас в большой моде военные фильмы о довоенном времени.

Эссенский универмаг «Эпа» светится пятью этажами. И все пять этажей почти пусты. Только внизу, у одной

двери — толчея, настоящее столпотворение. Дирекция универмага в рекламных целях, и при этом без всякого убытка для себя, торгует дешевой порцией горячих бобов на свином сале. Потертые люди стоя, прижимая к груди мисочки, обжигаются бобами. Среди них шныряют несколько тощих теней с пепельными лицами. Они подхватывают пустые миски, вылизывают остатки бобов и жира. Это строго запрещено. Время от времени барышня выходит из-за прилавка, выгоняет голодных нищих на улицу. Она грозит позвать полицию, если это еще раз повторится. Но это повторяется еще и еще.

На площади, наискосок от «Эпы», в витрине аптечного склада — громадные буквы:

«Все для ухода за собаками!» И картинка: в кровати под одеялом лежит собачка, рядом на стуле — собака-доктор в белом халате щупает у больной пульс. Под кроватью — горшок. На ночном столике — бутылка лекарства, на сигнатурке написано: «Салипирин для нашего Бобика».

Вот и весь город Эссен, если не смотреть по сторонам.

А если посмотреть, если отойти переулком в бок от главной улицы, окажется, что Эссен — большой город, совершенно не похожий на германские города.

Громадное, необозримое пятно, ровно исчерченное узкими полосками улиц. Улицы из совершенно одинаковых одно- и двухэтажных домов.

Дома черновато-бурого, дымно-закопченного цвета. Лестница в мезонин — не внутри, а прилеплена снаружи, по стене дома. Чахлый палисадник. И все вместе — как унылое воронье гнездо зимой.

Домов много. В Эссене семьсот тысяч жителей.

Это не город. Это военное поселение прусских промышленных Аракчеевых.

Вечером в громадном рабочем городе темно. Редкие газовые фонари.

Главная улица с огнями кино и магазинов — только светлая щель в темном каменном плоскогорье. Если смотреть сверху, с башни, — черное рубчатое пятно, перечеркнутое белой извилистой чертой.

Кучка людей собралась у входа в маленький дом. Двери широко раскрыты. Так открываются двери маленьких жилых домов только при несчастьях, чтобы пропустить покойника, или полицию, или пожарных.

Это полиция. Кучка соседей прислушивается. Гости возятся внутри дома, где-то внизу; доносится ровное мужское рокотанье и высокий женский плач. Соседи переговариваются кратко:

— Уголь нашли?

— Да, нашли уголь.

Из погреба, через сени, прямо на улицу, молча выходит процессия. Двое полицейских — один с мешком угля в руках; хозяин дома в жилетке, с распахнутым воротом рубашки, жена, двое подростков.

Рабочего ведут посредине мостовой, вслед за мешком. Этот уголь он насобирал, вынося целое лето каждый день по куску в карманах или за пазухой. Улица шумит — темно-серая, узкая, улица одинаковых одноэтажных домов. Дирекция заводов Круппа выстроила эти дома — темные, тихие коробочки, созданные для покорности и безмолвия.

Но улица шумит: отчего отводят в тюрьму этого горняка, который запас себе немного угля на зиму?! Ведь не золота, а угля — угля, который некуда девать.

Громадные горы выше многоэтажных домов, громадные горы добытого из земли и невывезенного, непроданного угля высятся вокруг города. Они все выше, их все больше, все теснее смыкаются они вокруг узких рабочих улиц. Кажется, они скоро обрушатся на дома, раздавят их, утопят в своей блестящей колючей черноте.

Громадные горы. А рабочий, отнесший себе домой один мешок из всего добытого за лето угля, получит два месяца тюрьмы.

Газеты пишут: преступность чудовищно возросла в Рурской области.

Полиция Эссена, Дортмунда, Гельзенкирхена, Дуисбурга сбилась с ног. Слишком много работы для полиции. Да еще какой работы! Неблагодарной, скучной, унизительной.

Нет того, чтобы в норд-экспрессе вор-джентльмен, прокравшись в шелковой пижаме по коридору спального вагона, похитил бриллиантовое ожерелье дочери голландского миллионера. И чтобы инспектор, купив за казенный счет фрак, пошел искать преступника на великосветский бал.

Тысячи, десятки тысяч крупповских и тиссеновских рабочих таскают из шахт под полой куски угля. Целый океан преступлений.

Тысячи безработных приходят на помещичьи поля и уносят в мешках картофель.

В мутной, отравленной фабричными отходами воде Рура и соседних реках каждый день находят маленькие детские трупы.

Сколько хождений и дежурств, сколько арестов и протоколов! Сколько переписки! Хозяева шахт требуют от полиции, чтобы каждый похититель, хотя бы двадцати кило угля, был разыскан, арестован, предан суду. Помещики и крестьяне засыпают полицию жалобами, требованиями вооруженной охраны картофельных полей.

А главное, куда девалась старая немецкая добропорядочность, где старая немецкая честность, где стыд и раскаяние нарушителей закона? Преступники не опускают голов перед судьями. Матери утопленных, задушенных младенцев не прячут свои лица. Цепляясь за судебный барьер, они кричат о голоде, о нищете. Знакомые и соседи не отворачиваются от них.

Кому отворачиваться! Три миллиона человек живут в четырнадцати городах Рурской черной долины. Из них больше миллиона безработных, состоящих на пособии или уже лишенных его. Каждый третий человек выбит из жизни, питается милостыней, каждый третий человек уже не со вчерашнего дня, уже второй год стоит с протянутой рукой.

И безработица, и нищета, и голод имеют в черной долине свои ступени. Среди безработных Рура есть триста тысяч горняков, которые уже не получат работы никогда. Триста тысяч смертников капиталистического хозяйства.

Почему? Да потому, что суточная добыча одного горняка возросла с двадцать седьмого года с полутора до двух с половиной тонн. Если даже допустить, что положение изменится, что весь рурский уголь будет куплен, что уголь будут рвать из рук, все равно триста тысяч человек будут излишком рабочей силы; никогда больше не дождутся они чести и радости спуститься в шахту. Они могут идти, куда хотят. Они, и жены их, и дети их.

А те, кто остался на работе?

Добыча угля каждого горняка выросла вдвое. Добыча для хозяина. Этот эффект достигнут не механизацией, не вводом в производство новых машин. Успех добыт кнутом голода. Общая заработная плата по всей каменноугольной промышленности Рурского бассейна сократилась с двадцать седьмого года на две трети.

Бывает, после долгих, бессильных и злых разговоров на работе и дома, после тревожных прерывистых снов на голодный желудок, молодой парень-горняк попадает вместе с внезапными друзьями в пивную.

Холодное хмельное пиво обжигает внутри. Слабая истощенная голова накаляется чужим жаром. После двух кружек парня начинает тошнить. Его ведут в уборную, ласково поддерживая за руки, подпирая спину. Держат его повисшую голову, пока его рвет в раковину умывальника...

Он пропадает несколько вечеров, а потом приходит, одетый в новую, из цейхгауза, коричневую холщовую рубаху, в желтые краги, с крючковатым крестом на рукаве. Семья, родные молча расступаются. Новый гитлеровский штурмовик косит взглядом по углам, он тоже молчит и благодарен родным за то, что они его ни о чем не расспрашивают. Ему стыдно сказать: в гитлеровской казарме прикармливают вареными бобами с кусочками свинины, там дают по пачке дешевых папирос каждый день, по кружке пива, дают билет на патриотическое гуляние.

Горняки на работе не так чутки с ним. Есть братский обычай: выходя из шахты, смывая под душем угольную грязь, шахтеры моют друг другу спины. Двое горняков могут быть незнакомы, они могут быть в ссоре — все равно, если один подставит другому спину, другой сполоснет ее водой.

Еще летом кто-то из горняков выдвинул лозунг:

— Гитлеровцам спину не мыть!

Это охватило сразу все шахты Рурской области.

— Соленые солдаты пусть хотят с черными спинами!

Рабочие называют фашистских штурмовиков солеными солдатами. Отменив запрет штурмовых отрядов, правительство получило взамен поддержку национал-социалистов при проведении высокого налога на соль.

Углекоп выходит из клети, идет под душ. Он фыркает и ежится под водяной струей, он просит соседа смыть уголь со спины.

Сосед уже готов это сделать. Но видит на скамье коричневую рубашку. На вешалке коричневый картуз с фашистским крестом.

— Пошел к черту, соленая сволочь. Мы не моем спину гитлеровским холуям!

Фашист сжимает кулаки, он хочет наброситься на

оскорбителя. Но кругом злые глаза, сдвинутые брови, тесное кольцо ненависти. Опасно связываться. Лучше промолчать. Уходит. Вслед яростные возгласы:

— Выгнать бы эту свинью из нашей шахты!

Один, как затравленный волк, человек в коричневой рубашке пробирается к воротам. Здесь его ждут несколько таких же. Вместе гитлеровцы чувствуют себя храбро. Они идут наглой стайкой посреди тротуара, задирают прохожих, и уже рабочая публика, в одиночку встречая коричневую ватагу, сторонится, молчаливо торопится обойти.

Фашистский террор не прекращается в черной долине. Каждый день то в Бохуме, то в Эссене, то в Дуисбурге коричневые люди врываются с револьверами в руках в рабочие дома, в квартиры коммунистов, пристреливают, подкалывают, избивают. Рабочим трудно сопротивляться не потому, что опричники вооружены до зубов, но потому, что коричневая армия легальна, а каждый организованный акт самозащиты революционных рабочих раздувается полицией и газетами в целое вооруженное коммунистическое восстание, и сотни людей сейчас же идут в тюрьму, и нужны месяцы, годы, чтобы их оттуда вызволить.

Разные бывают на свете преступники и правонарушители.

Вот, например, мазилы.

Говорят, что самые отчаянные мазилы в городе Дортмунде Рурской области.

Говорят, таких мазил, как в Дортмунде, нигде больше не сыскать...

Мазила — это в Германии не пренебрежительная кличка. Мазила — это специальность. Кисточка, ведерко с краской — это особый род оружия. Главным образом революционного, большевистского оружия. Имеют своих мазил и фашисты, но у них это выходит слабо. Социалдемократических мазил совсем почти нет. Дерзко измазывать лозунгами чистенькую, аккуратную стену богатого дома, нарушать девственную чистоту хозяйского забора — об этом страшно даже подумать меньшевистскому уму.

Коммунистическая молодежь создала по всей стране озорные отряды мазил. Часто к комсомольцам примы-

кают взрослые рабочие, иногда даже старики. В темную ночь, в утренних сумерках стайкой безмолвных теней крадется мазильная колонна к своей жертве. Несколько минут тихой возни — тени исчезают. И утром прохожие, усмехаясь, читают на фасаде большого дома, между зеркальными окнами контор и магазинов:

«Долой фашистских убийц!»

«Выбирайте коммунистов!»

«Да здравствует Советская Германия!»

Управляющий домом, орава швейцаров, маляров, мужская и женская прислуга озабоченно возятся, таскают тряпки, ведра горячей воды, мыло, щетки.

Но надпись нелегко стереть. Мазилы применяют цепкую, въедливую краску. Ее трудно выводить — приходится замазывать известкой каждую отдельную букву. Это еще больше бросается в глаза. Прохожий всматривается в белые пятна, расшифровывает их...

Каждый город имеет своих мазил. Одни хуже, другие лучше. Одни посмелее, другие поскромней. Но дортмундские мазилы превыше всех. Совсем захватили город.

Из Берлина приехал в Дортмунд важный чиновник министерства. Проехал по улицам, ужаснулся. Нет, это чудовищно! Нет, это беспримерно! Весь город, все лучшие здания осквернены большевистской кистью!

Бурное заседание муниципального совета. Приезжий сановник попрекает бургомистра, всех его помощников. Ведь Дортмунд — самый измазанный город во всей Пруссии! Во всей Германии! Да, да! Может быть, даже во всей Европе, во всем мире!! Ведь это скандал! Не город, а большевистский клуб! Надо что-то сделать, надо снять позор!

Муниципальные вожди сидят, опустив головы. В самом деле, это ужасно! Надо что-то сделать. Надо стереть, закрасить наглухо стенную агитацию. Пусть городская казна отпустит необходимые средства. Надо спасти честь Дортмунда.

Финансовый советник вскакивает, он вне себя. Еще чего не хватало! Еще весной город истратил немало денег на восстановление фасадов домов, измазанных большевиками в дни президентских выборов. Несколько тысяч марок пропало зря: надписей ни стереть, ни закрасить не удалось.

Все взоры муниципального совета обращены на начальника полиции. В глазах окружающих начальник по-

лиции читает гнев и скорбь. Начальник полиции — социал-демократ. Его фонды стоят сейчас низко. Начальник смущен. Он встревожен.

Начальник полиции разъясняет, что дортмундские комсомольцы — сущие черти. Здешние мазилы, в самом деле, первые в Германии. Их краска — не краска, это прямо смола, это клей, это сургуч, это черт знает что. У них свои методы работы — очень хитрые и ловкие методы. Они не таскают с собой ведро краски, нет. Каждый мазила носит при себе маленькую кисть и краску в консервной баночке. Если им хочется сделать большую надпись в двенадцать букв, они заранее примеряются к облюбованному месту, подкрадываются цепью в шесть человек, каждый пишет на стене только две буквы — вся операция продолжается несколько секунд. Стыдно признаться, но бывает, что антиправительственные надписи на домах возникают в буквальном смысле за спиной у полицейских. Стоит только постовому отвернуться, взглянуть в другую сторону, и...

При всем этом начальник полиции полагает нужным честно, по-меньшевистски, признать свою вину и отмежеваться. Он обещает начать с завтрашнего же дня, без всякой затраты городских сумм, силами чинов полиции и с безвозмездной помощью широкой общественности, в кратчайший срок устранить большевистские лозунги с фасадов домов.

Назавтра в Дортмунде грандиозное и очень веселое уличное зрелище. Полиция, «Союз республиканского флага» вышли на штурм. Привезли пожарные лестницы, малярные скребки, бочки с известкой и алебастр.

Толпы рабочих окружили участников полицейской экспедиции. Неуклюжий член «рейхсбаннера» карабкается по карнизу, беспомощно размахивает шваброй. Над ним громадная малиновая строка: «Хайль Москау!» Он пробует соскоблить букву «М», это оказывается труднее, чем можно было думать. Снизу насмешки, хохот, свистки. Не справившись с «М», он берется за восклицательный знак. И вдруг, отчаявшись, машет рукой, спускается вниз под иронические аплодисменты.

Социал-фашистский «воскресник» провалился. Он дал даже обратные результаты. Уже к вечеру на сотнях домов, в виде вызова, появились новые, совсем свеженькие лозунги.

...Руководителей дортмундского комсомола пригласили в ратушу. Муниципальный советник долго усаживал их в глубокие кожаные кресла. Предлагал кофе, сигары.

— Я слышал, молодые люди, что у вас иногда возникают затруднения с полицией. Вам запрещают собрания, уличные демонстрации, спортивные слеты. Я, хотя совсем не коммунист, нахожу это неправильным. Полиция, пожалуй, чересчур строга к вам. Юность должна пользоваться известной свободой своих проявлений. Я готов уладить ваши отношения с полицией в этом направлении. Но пообещайте мне, вы, молодежь, что на стенах городских зданий прекратятся эти безобразные надписи, уродующие вид города.

Комсомольцы гордо улыбнулись. Нет, не да. Свое всегерманское первенство по мазильному делу они так легко покидать не собираются. Они, комсомольцы Дортмунда, будут устраивать митинги, когда найдут нужным. И пойдут демонстрировать на улицы, когда захотят. И соберут своих физкультурников, когда следует. А когда придется писать на стенах лозунги, мы их будем писать, господин муниципальный советник!

Уже в сумерках большевистские райкомщики вынимают из карманов принесенные из дому картофельные ломтики и медленно их жуют, стараясь убедить желудок, что это именно столько и именно то, что он мечтал получить целый день. Но после четверти часа тишины дверь с улицы хлопает опять очень резко.

Щуплый парень, густо запудренный веснушками, пришел по срочному и важному делу.

— Наш завод завтра хочет бастовать. Цементный завод. Тысяча рабочих. И вся тысяча на выборах голосовала за коммунистов! Вся тысяча до одного! У нас уже есть стачечный комитет. Настроение боевое. Ребята прислали меня сюда получить помощь, совет, инструкции, получить литературу. У нас может получиться хорошая стачка, помогите нам не напутать, не наделать ошибок!

— Отлично. Прежде всего вам надо организовать постоянный пункт стачечного комитета, установив на нем постоянное дежурство. Конечно, все коммунисты, члены партии, кандидаты, комсомольцы должны быть мобилизованы.

— А у нас никаких коммунистов нет.

— Как так? Ты ведь говоришь — весь завод поголовно голосовал за коммунистов!

— Да, голосовал. Поголовно голосовал. Но коммунистов у нас нет. Наоборот, есть много социал-демократов и христианских социалистов. Конфликт с дирекцией начался у нас еще перед выборами, народ решил, что, кроме как за большевиков, пролетарию голосовать нет смысла.

— И это правда, ты единственный партиец на вашем заводе?

Веснушки невесело улыбаются.

— Да и я не партиец. Только собираюсь поговорить на этот счет... Да и не только я. У нас много ребят.

Он мнется и, подняв голову, добавляет:

— Я думаю, вы не обидитесь, но это не наша только вина, что на таком заводе, как наш, до сих пор нет ячейки и нет ни одного члена партии. Рабочие рвутся к коммунистам, и не всегда ваши комитеты умеют организованно охватить и влить в свое русло эти стремящиеся к вам потоки.

Большой день сегодня в Гамборне. Приехал и будет выступать в летнем театре берлинский «Красный рупор».

Уже с четырех часов дня у летнего сада собираются люди. Они спорят и возмущаются. Неужели так и будет, как объявлено сегодня в газетах?!

А в газете сегодня сказано, что на спектакль берлинской рабочей труппы «Красный рупор» смогут попасть только члены коммунистической партии Германии. Не потому, что так хочет труппа, не потому, что так хочет партия. Потому, что так хочет полиция. Потому, что «Красному рупору» ввиду антигосударственного характера его репертуара запрещены всякие публичные представления. Труппе дозволено выступать только на закрытых собраниях партийных организаций.

В Гамборне есть театр, несколько хорошо обставленных звуковых кино. Они пустуют, владельцы прогорают. А сегодня весь город собрался у дверей летнего театра, весь город хочет посмотреть и прослушать «Красный рупор».

Уже в четыре часа полиция устанавливает свой контроль у входа в театр. Они предварительно осматривают зал — не пробрался ли кто с утра. И потом начинают проверять входящих.

Они делают это с полицейской и с немецкой точностью.

Куда ни глянь,

куда ни повернись,

кого ни послушай,

кто бы что бы ни делал,

все делают

все делают

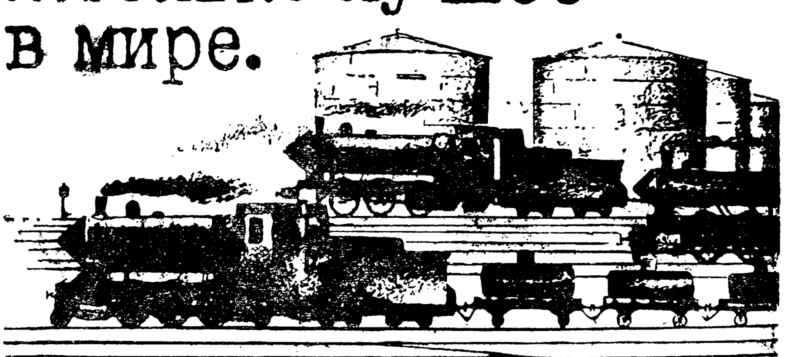
все делают

все делают

все делают

все делают...

...только лучшее в мире.



Лучшие в мире архитекторы
строят лучшие в мире дома.
Лучшие в мире сапожники
шьют лучшие в мире сапоги.
Лучшие в мире поэты пишут
лучшие в мире стихи.
Лучшие актеры играют в лучших
пьесах, а лучшие часовщики
выпускают первые в мире часы.



Похвала скромности (1936)

— Только члены партии имеют право входа. Только члены партии. Предъявляйте ваши партийные билеты. Только члены партии! Вернитесь, мадам, у вас книжка МОПР, по ней пройти нельзя. Только члены партии. Члены семьи? Только если они члены партии. Остановитесь, господин. У вас не уплачены членские взносы за три месяца. Ваш билет недействителен. Вы не можете пройти. Что? Вы внесете деньги потом? Ваше дело. Но сегодня вы в театр пройти не можете.

Полицейский проверяет уплату большевиками партийных взносов — вот последний успех государственного правового порядка в Германской республике.

В семь часов, после вступительных речей гамборнского агитпропа, в превеликом напряжении и волнении зала, под грохот аплодисментов выступает весь ансамбль «Красного рупора» в полном составе — восемь человек. Девятый сидит за роялем. И до полуночи — пять часов без передышки — комсомольские актеры занимают сцену. Передышка на пятнадцать минут дается только слушателям: труппа во время антракта продолжает работать: продавать брошюры, ноты, граммофонные пластинки с революционными песнями.

Пятеро парней и три девушки — чего только не вытворяют они за весь вечер на дощатых гамборнских летних подмостках!

Поют. Сами при этом играют, нагруженные цимбалами, бубнами, барабанами, шумовыми инструментами.

Танцуют. Маршируют по сцене со знаменами.

Декламируют в одиночку и хором. Разыгрывают пьески, одноактные скетчи и одноактные трагедии. Переодеваются тут же, на сцене. Тут же переставляют и декорации, вернее — бутафорию, очень простую, убогую.

Это очень похоже на «Синюю блузу» и сродни нашему Траму. Только еще больше насыщены и пересыщены политикой. Ребята извергают целые тучи тезисов и лозунгов, они прочитывают под музыку и барабан целые резолюции.

У нас бы это осудили, особенно по нынешним временам, когда нет никакой необходимости пришивать агитацию ко всему, что попадается под руку. Здесь, где рабочий, да и то далеко не всякий, имеет единственным завоеванием свою сознательность, политическая часть спектакля поглощается жадно, как брызги воды на раскаленном железе.

Три четверти программы рассказывают о Советском Союзе. Пятеро парней и три девушки, поминутно переодеваясь, напяливая на себя то кепки, то генеральские фуражки, то красные косынки, то интеллигентские шляпы, обстоятельно изображают и Октябрьскую революцию, и гражданскую войну, и восстановление промышленности, и борьбу с оппозицией, и Днепрострой, и что хотите.

Горняки Гамборна, притаив дыхание, смотрят и слушают жизнь Советской страны в нехитром, но бурном изображении берлинских комсомольцев. Они неистово хлопают краснофлотцу, колхознику, они кричат «пфуй!» оппортунисту (дымчатые очки, унылые висячие усы), попу (широкая юбка, шляпная картонка на голове) и кулаку (страшное существо с оскаленными зубами, с черной бородой из конского волоса). Они укоризненно рассматривают неопределенно одетое суетливое существо, именующее себя «дер фальше ударник» — лжеударник. Они подпевают советским песням и отбивают такт ногами.

Под плясовую музыку на сцену плывут три девушки в пестрых до земли платках, под русских баб. У нас опять-таки осудили бы их наряд. Сказали бы: лубочная деревенщина...

Нет, здесь это выглядит и звучит иначе. Здесь пестрый российский платок воспринимается как живой символ реальности большевизма и Страны Советов. «Бабам» хлопают до исступления. Но сзади, у входа, что-то творится. Что-то заварилось. Шум, споры.

Музыка останавливается. Танцовщицы застыли, стоят смирно, успокоительно улыбаются публике. Сколько таких скандальных историй доводится претерпевать этим боевым девочкам.

В проходе появляется полиция. Оказывается, здесь только что совершено преступление. В зал пробрался комсомолец, а ведь полиция разрешила доступ на спектакль только членам партии. Чиновник и двое полицейских шагают к эстраде. Представление будет прекращено перед самым окончанием. Этого требуют власти. Они требуют еще и штрафа с распорядителей спектакля.

Нет, спектакль не будет прекращен. В страшной ярости, в лютой злобе, сжимая черные кулаки, горняки преграждают полиции путь на сцену. От рева сотен голосов можно оглохнуть.

Одну секунду кажется неизбежной кровь. Окруженные со всех сторон, помутневшие от страха полицейские хватаются за оружие. Это их движение вызывает внезапную холодящую тишину.

Еще одно мгновенье... Полицейские поворачивают назад. По мере того, как они, приближаясь к выходу, ускоряют шаг, вслед им возобновляется громовой рев — уже веселый, смешанный со свистом и издевательскими аплодисментами.

Горняки возбужденно усаживаются на стулья, долго оглядываясь назад, на выход. Музыка возобновляется. При всеобщем восторге три молоденькие бабы в российских, в советских платках, окаменевшие на время стычки с полицией, оживают.

Они пляшут тихо, потом все быстрее, потом совсем буйно и радостно. Они пляшут «Яблочко». Не всегда и не везде плясать «Яблочко» — простая и доступная вещь.

Эссен — Дуисбург — Дортмунд — Гамборн.

1932

Послесловие

Свой первый фельетон Михаил Кольцов напечатал в газете «Правда» в 1920 году, и с этого времени он не просто постоянный сотрудник центральной партийной газеты нашей страны, но и самый популярный советский фельетонист. На протяжении почти 20 лет миллионы советских читателей, открывая «Правду», ждали фельетоны М. Кольцова. Он становится выдающимся мастером художественного репортажа, как иногда называют жанр фельетона. Разнообразные по теме, необычайно оперативные и предельно лаконичные, изобретательные, политически острые и злые, бьющие точно по мишени, неизменно остроумные, его фельетоны всегда проблемны. И в этом смысле они — образец высокого литературного творчества, огромного художественного мастерства. «Малая форма», к которой традиционно «приписывается» фельетон, вмещала под пером Михаила Кольцова бесконечно много: он писал о политических врагах русской революции и Советского государства, создав великолепную сатирическую галерею «великих людей» «февральского марта» — царских сановников, эсэров, меньшевиков; сделал художественные эскизы о белой эмиграции, представшей в его фельетонах как «свалка истории»; писал убийственные по своей идеологической прицельности международные фельетоны; целые циклы разоблачительных фельетонов о современности. И был в них беспощаден ко всякого рода проходимцам: жуликам, расхитителям, взяточникам, ротозеям, бюрократам, самодурам, чинушам, мещанам. Писал он и положительные очерки-фельетоны о наших достижениях, пронизанные идеей социалистической новизны. Чтобы написать их, Михаил Кольцов пробует сам различные профессии: работает в качестве педагога в школе, ездит как шофер такси по Москве, служит делопроизводителем в загсе. И в этом проявлялась неуемная, жадная к жизни, динамичная и активная натура Кольцова.

Знавшие его люди помнят его прежде всего в движении — в самолете или в вагоне международного экспресса, в автомобиле, на океанском лайнере. Он любил находиться в центре событий, о которых собирался рассказать, его влекли острые противоречия, неожиданные ситуации, исключительные испытания. Так, в

1927 году он под вымышленным именем отправился в Будапешт, в «царство фашиста Хорти». В Германии он проникает в Зонненбургскую тюрьму и посещает там Макса Гельца. В 1932 году пробирается в логово русской белогвардейщины — к генералу Шатилову, получает у него интервью и сам делает фотоснимок.

Он все хотел видеть собственными глазами и у себя в стране: как закладываются новостройки пятилеток, вводятся новшества в промышленности и в сельском хозяйстве, как растут колхозы, крепнут города. И Михаил Кольцов пересекает всю страну, вглядываясь и размышляя, накапливая материал для острых фельетонов обо всем старом и косном, что мешало строительству нового.

Михаил Кольцов был первым советским журналистом, объехавшим Европу и Азию. Он был первым советским журналистом, сделавшим «нестеровскую петлю» и увлекательно рассказавшим об этом в очерке. Он был первым советским журналистом, стоявшим во главе многих интересных культурных начинаний: выступал инициатором озеленения городов и спорил по этому вопросу с архитекторами и садоводами; по его почину возникали сотни образцовых чайных на месте грязных трактиров и пивных.

Современники называли его «рыцарем культурной революции». Жажда знать, видеть, рассказывать, активно лично участвовать в созидании новой жизни вели Михаила Кольцова за рамки узкой литературной работы и открывали в нем талант организатора: именно он создает агитационную эскадрилью им. А. М. Горького, организует большое Журнально-газетное издательство с разносторонней и обширной программой, выступает основателем и первым редактором журнала «Огонек», редактирует сатирические журналы «Чудак» и позднее «Крокодил», вместе с Горьким — «За рубежом». Он осуществляет многие замыслы Горького, с которым крепко дружил и плодотворно сотрудничал: издание серии «Жизнь замечательных людей», «Библиотека романа», «История молодого человека XIX века».

В 1938 году Михаил Кольцов избирается членом-корреспондентом АН СССР и депутатом Верховного Совета РСФСР. Литературная деятельность М. Кольцова оборвалась на «Испанском дневнике». Но и в незаконченном виде эта книга сегодня занимает первое место среди всего написанного о гражданской войне в Испании.

Выдержали испытание временем и фельетоны М. Кольцова. Они писались автором как своеобразная сатирическая летопись современности, как художественная хроника тех дней. Но публицистическая злободневность и партийная принципиальность открывали далекую перспективу их жизни для читателя. И сегодня нам глубоко созвучно то, что 50—60 лет назад волновало М. Кольцова — борьба за новый быт и мораль, за очищение Советского государства и его аппарата от бюро-

кратов и приспособленцев, борьба за социалистическую демократию и законность, борьба за мир, дружбу, интернациональное сотрудничество.

Стали далеким прошлым конкретные люди и события, о которых рассказывал М. Кольцов, но как никогда современен кольцовский смех, помогающий и сегодня движению вперед, смех поучительный, умный, оптимистический.

Н. Е. Васильева,
кандидат филологических наук

Содержание

ꭒꭒꭒ

Михаил Ефимович Кольцов

Фельетоны

Зав. редакцией А. Лукашин
Редактор Н. Гашева
Художественный редактор Т. Ключарева
Технические редакторы Н. Слесарева, Г. Пантелеева
Корректор Г. Черникова

ИБ № 1729
Сдано в набор 04. 02. 87.
Подписано в печать 05. 08. 87.
Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. тип. № 2.
Гарнитура «Школьная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,94.
Уч.-изд. л. 25,0. Тираж 200 000 экз.
(2-й завод 50 001 — 125 000 экз.). Заказ № 948.
Цена 1 р. 50 к.
Пермское книжное издательство. 614000,
г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. Книжная
типография № 2 управления издательств,
полиграфии и книжной торговли. 614001,
г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.
OCR Давид Титиевский, июль 2020 г., Хайфа

Кольцов М.
К62 **Фельетоны. — Пермь: Кн. изд-во, 1987. — 444 с.**

В книгу вошли фельетоны, созданные Михаилом Кольцовым в 20—30-е годы.

К $\frac{4702010200—56}{М152(03)—87}$ Без объявл. **ББК 84.Р7-4**



В 1988 году в Пермском книжном издательстве выйдет в свет книга пьес Евгения Шварца «Дракон». Пьесы созданы в 40—50-е годы, но вечные сюжеты, положенные в их основу, решенные в сатирическом ключе, звучат остро и сегодня. Вслушайтесь только в реплики персонажей некоторых пьес Шварца:

«— Сытость в острой форме внезапно овладевает даже достойными людьми. Человек честным путем заработал много денег. И вдруг у него появляется зловещий симптом: особый, беспокойный, голодный взгляд обеспеченного человека. Тут ему и конец. Отныне он бесплоден, слеп и жесток...»
«Тень», 1940

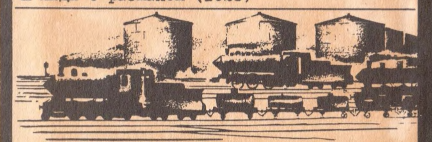
«— Ну что ты, сыночек, как маленький — правду, правду... Я ведь не обыватель какой-нибудь, а бургомистр. Я сам себе не говорю правды уже столько лет, что и забыл, какая она, правда-то. Меня от нее воротит, отшвыривает. Правда, она знаешь чем пахнет, проклятая?..»
«Дракон», 1943

«— Говорить о любви правду так страшно и так трудно, что я разучилась это делать раз и навсегда. Я говорю о любви то, чего от меня ждут...»
«Обыкновенное чудо», 1954

«— ...Связи связями, но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят: а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым...»
«Золушка», 1946

Напомним читателю, что в 1986 году издана книга Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». Фельетоны Кольцова и пьесы Шварца — еще два издания своеобразной библиотечки советской сатиры. Готовятся к печати другие произведения. Следите за рекламой!

- Устарелая жена (1927)
- Пустите в чайную (1928)
- Люди с размахом (1928)



- Вторая Москва (1928)
- Современники (1928)
- Волга вверх (1923 – 1928)
- Расспросы с участием (1928)



- Даже как-то странно (1928)
- В тени Арарата (1928)
- Все, как принято (1929)
- Демократия по почте (1929)
- Те, кто угощает (1930)
- Куриная слепота (1930)
- Акробаты кстати (1930)
- Душа болит (1930)
- Метатели копий (1930)
- К вопросу о тупоумии (1931)
- Скорей, скорей в тюрьму! (1931)
- Как пускать хлеб по ветру (1931)
- Действующие лица (1931)
- Кто смеется последним (1932)

Упрямое, непреклонное в своем движении к намеченной цели подлинное большевистское руководство партии растолкало разношерстный сброд, преграждавший генеральный путь. Идя по этому пути, мы не хотим знать рабской зависимости от буржуазного хозяйства. Идя по этому пути, мы строим свои винторезные станки. И станки револьверные, и карусельные, и шлифовальные, и поперечно-строгальные, и сверлильные, и двухшпиндельные, и универсальные, и всякие.



- Иван Вадимович – человек на уровне (1933)
- Три дня в такси (1934)
- Семь дней в классе (1935)
- Писатель и читатель в СССР (1935)
- Похвала скромности (1936)
- В загсе (1936)

